И.И.ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ
ПИСЬМА


ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ
ПИСЬМА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р 1
П 88

Составление, вступительная статья
и комментарии
М. П. Мироненко и С. В. Мироненко

П $\frac{4702010100-1860}{080(02)-89}$ 1860–89

© Составление. Вступительная статья. Комментарии.
Издательство «Художественная литература», 1988 г.

ДЕКАБРИСТ ИВАН ПУЩИН

Два обстоятельства навсегда вписали имя Ивана Ивановича Пущина в историю нашего отечества — дружба с Пушкиным и принадлежность к движению декабристов. «Мой первый друг, мой друг бесценный»,— сказал о нем Пушкин, ясно и просто определив место Пущина в своей жизни. Для государства же он был «преступником», «бунтовщиком», мятежником». В николаевской России не было места таким, как Пущин. В июле 1826 года Верховный уголовный суд приговорил его за участие в восстании декабристов — неудавшейся попытке повернуть ход российской истории — к вечной ссылке в Сибирь на каторгу. «Друг Пушкина», «декабрист» — таковы исходные точки нашего интереса к Пущину. Интереса, который, то нарастая, то утихая, перешел из века минувшего в век нынешний.

Но этим только не объяснить причину той огромной притягательной силы личности Пущина, которая выделила его из блестящей среды современников, а нас вновь и вновь побуждает обращаться к его жизни и судьбе.

А ведь в обыденном понимании он не совершил, казалось бы, ничего выдающегося. Находясь несколько лет в центре тайных обществ, Пущин никогда не был лидером движения, как Пестель, Рылеев или Никита Муравьев. Не стяжал он лавров и на ниве государственной деятельности, не прославился в сфере литературы, искусства, науки. И тем не менее его «Записки о Пушкине» и письма издавались десятки раз, а сама жизнь Пущина стала предметом исследований и даже художественного осмысления.

Впрочем, для знавших Пущина в этом не было никакой загадки. Перед особым, поистине безграничным обаянием личности Пущина отступали непреодолимые, казалось бы, барьеры. Его современники, люди различных политических убеждений и взглядов, разного возраста, социального положения, противоположные во всем, в одном — отношении к И. И. Пущину — оказывались удивительно

единодушными. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать посвященные ему страницы воспоминаний и писем.

«Благородство, воспитанность, добродушие, скромность, чувствительность, с мужеством и тонким честолюбием, особенно же рассудительность суть отличные его свойства»,— писал о Пущине нелюбимый лицеистами воспитатель М. С. Пилецкий. «При счастливых способностях отличается редким прилежанием,— отмечал профессор российской и латинской словесности Н. Ф. Кошанский.— Он соединяет понятливость с рассуждением и, кажется, лучше ищет твердых, нежели блистательных успехов»[1]. Даже сухой и желчный М. А. Корф, лицейский однокашник, достигший в царствование Николая I вершин бюрократической карьеры, автор книги о восстании 14 декабря, вызвавшей возмущение не только самих декабристов, но и всей передовой России, с несвойственной ему теплотой вспоминал о Пущине: «Один из тех, которые наиболее любимы были товарищами, с светлым умом, с чистой душой, он имел почти те же качества, как и Есаков, и кончил еще несчастливее»[2]. «Иван Иванович Пущин — <...> благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды...» — это уже из воспоминаний Н. И. Греча, которого в его поздние годы также не заподозришь в симпатиях к декабристам[3].

Среди декабристов, которых по праву можно считать цветом русского общества первой четверти XIX века, Пущин занимал совершенно особое, одному ему свойственное место. «Мало найдется людей, которые бы имели столько говорящего в их пользу, как Пущин»,— сказал о нем Н. В. Басаргин, кратко выразив общее мнение декабристов. В Сибири с особой силой проявился дар Пущина привлекать к себе всех гонимых. Ссыльные поляки отзывались о нем как о «бриллианте среди декабристов». Одна из самых точных и глубоких характеристик Пущина принадлежит польскому революционеру Руциньскому: «Много благородства в характере, отзывчивый и щедрый, притом веселый и остроумный, любим был повсюду. В женщинах был безмерно счастлив. Всем сердцем любил свою родину, но без фанатизма. Основательно знал отечественную литературу, правильно, даже красиво говорил и писал по-русски. Патриотизм его был истинным, просвещенным, вызывал симпатию и уважение. Эти взгляды поставили его выше всех его товарищей»[4].

---

[1] Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811—1817 гг. Спб., 1913. Т.3. С. 24.

[2] Там же. С. 21.

[3] Греч Н. И. Записки о моей жизни. Спб., 1886. С. 407.

[4] Шостакович Б. С. Политические ссыльные поляки и декабристы в Сибири.//Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.— февраль 1917 г.), Иркутск, 1973. Вып. 1. С. 278.

Замечательно, что ни время, ни суровые испытания не меняли этого человека. И по прошествии почти тридцати лет каторги и ссылки он ни в чем себе не изменил. «Когда я с ним познакомился,— вспоминал о нем представитель нового поколения общественных деятелей Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста И. Д. Якушкина,— ему было 55 лет, но он сохранил и твердость своих молодых убеждений, и такую теплоту чувств, какая встречается редко в пожилом человеке. Его демократические понятия вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала бы судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми. Люди самых противоположных с ним убеждений относились к нему с глубоким уважением».

С восхищением писал о Пущине А. И. Герцен. «Читали ли в «Атенее» отрывки из записок И. И. Пущина? — спрашивал он в одном из писем 1859 года писательницу М. А. Маркович (Марко Вовчок). — Что за гиганты были эти люди 14 декаб < ря > и что за талантливые натуры»[1].

Но были и полярные мнения. Для иных представителей правого крыла русского общества Пущин — никчемная личность, значение которой, казалось им, было непомерно преувеличено. Квинтэссенцию подобного взгляда выразил историк Лицея, человек крайне реакционных взглядов Н. Гастфрейнд. Отвечая на появившуюся в печати критику составленной им биографии Пущина, он писал в 1913 году: «Пущин — вот личность не по заслугам раздутая! Не проявив никакого исключительного участия ни в заговоре, ни в самом бунте, Пущин тем не менее сохранил за собою ореол сочувствия, приобрел себе нимб декабристской святости». И далее: «Единственное важное дело, которое он совершил в жизни, это то, что он не увлек за собою Пушкина и написал о нем свои воспоминания»[2].

Так в чем же тайна притягательной силы личности Пущина? Что определяло глубокую и искреннюю любовь одних и что, даже спустя полвека после его смерти, заставляло нападать на него других? Что, наконец, привлекало и привлекает в судьбе и личности Пущина нас сегодня?

Лучший ответ на эти вопросы — письменное наследие декабриста, значительная часть которого представлена в этой книге. Его записки и письма — свидетельства таланта, нравственной высоты, исключительной гуманности, благородства и терпимости, которые составляли суть его личности.

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1962. Т. 26. С. 291.
[2] Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. Т. 3, С. V.

Родился Пущин 4 мая 1798 года в большой семье (кроме него, в ней было одиннадцать детей), ведущей родословную от начала XV века. Несмотря на то, что отец Пущина владел несколькими сотнями крепостных крестьян, семья не была богатой. Так, брат Пущина Михаил впоследствии вспоминал, что нуждался в средствах на обмундирование и вообще на содержание себя в гвардии. Не тихая и размеренная помещичья жизнь в провинции, а активное служение отечеству, сопровождающееся продвижением по службе, чинами и наградами,— таковы были традиции семьи. Дед Ивана Ивановича, адмирал Петр Иванович Пущин, был сенатором, отец — генерал-лейтенант Иван Петрович — генерал-интендантом флота и также сенатором, сенатором был и дядя Пущина, Павел Петрович.

Первоначальное воспитание Пущин получил дома под началом иностранных наставников. «Из воспоминаний детства,— писал бывший двумя годами его моложе брат Михаил,— более всего внедрились в память серьезность отца, помешательство матери, начальство старших сестер, отсутствие всякого присмотра со стороны гувернеров Trinité, Вранкена, Trоррé и других, баловство старшей любимой нами няни Авдотьи Степановны и при ней дружба с горничными»[1]. Психическая болезнь матери, Александры Михайловны Рябининой (рассудок вернулся к ней только незадолго до смерти в 1841 году), конечно, наложила тяжелый отпечаток на детские годы Пущина. Семейными делами распоряжалась старшая незамужняя сестра Анна Ивановна, отличавшаяся строгим нравом. Достаточно сказать, что уже после возвращения Пущина из сибирской ссылки она отказалась признать его незаконных детей и принимать их в своем доме.

В 1811 году открылось новое, невиданное доселе в России учебное заведение — Царскосельский лицей, и Пущин оказался в числе его первых воспитанников.

Нет нужды подробно рассказывать о лицейских годах Пущина — Иоанна Великого или Большого Жанно, как называли его товарищи. Лучше всех об этом периоде своей жизни рассказал он сам в «Записках о Пушкине». Каждый, кто прочтет их, поймет, что за удивительное явление был Лицей первых шести лет своего существования. Однако на ряд обстоятельств следует все же обратить особое внимание.

Мысль об учреждении Лицея принадлежала крупнейшему государственному деятелю России первой трети XIX века М. М. Сперанскому. Лицей, по его замыслу, должен был стать одним из звеньев разработанного им плана коренного преобразования страны, в основе которого лежало ограничение самодержавия выборными

---

[1] Пущин М. И. Записки.//Русский архив, 1908, № 11. С. 410.

учреждениями и постепенное уничтожение крепостного права. Для осуществления задуманного требовались широко образованные чиновники, убежденные в необходимости реформ. Нужны были люди, которые с юности усвоили бы передовые идеи своего времени. Планы Сперанского получили поддержку Александра I. Так возник Лицей.

Директором его был назначен известный просветитель-демократ В. Ф. Малиновский, автор «Записки об освобождении рабов» (1802) и трактата «Рассуждение о войне и мире» (1803), где изложил проект установления вечного мира как «условия, нераздельного с истинными успехами человечества». Статьи его, печатавшиеся в журналах, были пронизаны идеями патриотизма, равенства всех людей и народов. В трудах Малиновского ощущается связь с идеями радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Недаром В. К. Кюхельбекер в показании на следствии по делу декабристов говорил о том, что «Путешествие» переписывают «с жадностию и дорожат каждым дерзким словцом», хотя в целом отзывался о нем сдержанно, признаваясь, что «мало что понял»[1]. Можно, впрочем, усомниться в искренности этих последних слов, сказанных в условиях следствия. Напомним и о том мощном воздействии, которое оказало творчество Радищева, и в частности его ода «Вольность», на молодого Пушкина.

По справедливому замечанию современного исследователя, «лицеистам внушалось, что в области правления в России предстоит еще сделать очень многое для благосостояния народа»[2]. Ведущее место в пропаганде такого рода идей принадлежало, конечно, профессору А. П. Куницыну, читавшему в Лицее курс политических и нравственных наук. В первоначальной редакции стихотворения «19 октября» Пушкин писал:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

В словах «он создал нас» нет преувеличения. Куницын поразил лицеистов уже речью при открытии Лицея, где, говоря об обязанностях гражданина и воина, ни разу не упомянул имени присутствующего императора Александра I. Время было еще такое, что Александр высоко оценил смелость Куницына и, по словам Пущина, тут же наградил его Владимирским крестом. Слава Куницына гремела

---

[1] Восстание декабристов. Материалы. М., 1926. Т. II. С. 167.
[2] Штрайх С. Я. Декабрист И. И. Пущин.//Пущин И. И. Записки о Пушкине; Письма. М., 1956. С. 11.

тогда по всему Петербургу. «В рассуждении первоначальных прав все люди как нравственные существа между собой совершенно равны,— внушал Куницын 15—17-летним юношам, готовившим себя к государственной службе,— ибо все имеют одинаковую природу, из которой проистекают все общие права человечества». В лицейском курсе «Изображение системы политических наук» проводилась мысль, что верховная власть учреждается в интересах всего общества, которое состоит из независимых граждан, находящихся «под законами верховной власти». При этом Куницын особенно подчеркивал, что «люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты»[1]. Добавим к этому, что в системе преподавания предполагалось непременное знакомство юношей с лучшими произведениями западноевропейских буржуазных экономистов, философов и публицистов,— и картина разительного разрыва между российской действительностью и достижениями передовой мысли была налицо.

Годы учения в Лицее совпали с великими событиями мировой истории — Отечественной войной 1812 года, разгромом Наполеона и капитуляцией наполеоновской Франции. Россия, принесшая освобождение народам Европы, сама оставалась оплотом рабства. Все это формировало то обостренное патриотическое чувство, в котором преданность Отечеству диктовала жажду перемен в нем.

Из стен Лицея Пущин вынес и редкое чувство товарищества — «лицейского братства» — «братства», основанного не на кастовых привилегиях, каких-либо корпоративных началах, а только на исключительном чувстве внутренней свободы. «У нас по крайней мере царствует, с одной стороны, свобода (а свобода дело золотое)... с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся»[2],— писал А. Д. Илличевский. Преданность лицейскому братству, пронесенная Пущиным через все испытания, была одним из тех нравственных устоев, которые впоследствии так привлекали к нему окружающих.

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

Так писал Пушкин, прощаясь с Лицеем.

---

[1] Красный архив, 1937, № 1 (80). С. 116 (записи лекций Куницына, сделанные лицеистом А. М. Горчаковым).
[2] Цит. по кн.: Ш т р а й х С. Я. Указ. соч. С. 11.

В июне 1817 года состоялся выпуск лицеистов первого курса, а 29 октября Пущин был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Конную артиллерию. Закончились годы учения, и девятнадцатилетний юноша вступил на поприще служения отечеству.

Еще во время учебы в Лицее в 1814—1815 годах Пущин, а вместе с ним и другие лицеисты (Дельвиг, Вольховский, Кюхельбекер) стали часто посещать собрания «Священной артели», организованной офицерами Гвардейского генерального штаба и гвардейских полков и ставшей тем организационным ядром, из которого несколько лет спустя образовалось первое тайное декабристское общество — Союз спасения. Возникшая по примеру многих существовавших тогда среди гвардейских и армейских офицеров артелей как средство улучшить свое материальное положение, «Священная артель» быстро превратилась, по выражению Пущина, в «мыслящий кружок». Одним из инициаторов ее создания был будущий основатель Союза спасения А. Н. Муравьев. Его брат, Николай Николаевич Муравьев, вспоминал: «Однажды, сидя с братом и Бурцовым, нам пришло на мысль жить вместе, нанять общую квартиру, держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя. С другого же дня все отправились ходить по улицам для отыскания удобного помещения. Бурцов нашел квартиру в Средней Мещанской улице, где мы и поместились. Каждый из нас имел особую комнату, а одна была общая; в хозяйстве соблюдался порядок под моим управлением в звании артельщика»[1].

Пущин, по его собственным словам, «почти жил» в образовавшемся содружестве, где постоянно шли беседы о «предметах общественных», о «зле существующего порядка вещей» и о «возможности изменения, желаемого многими втайне».

Одновременно с вступлением в гвардию Пущин делает еще один принципиальный выбор — становится членом тайного общества декабристов. В 1817 году он был принят Бурцовым в Общество верных и истинных сынов отечества, или Союз спасения. На следствии он признался в этом только после многих месяцев запирательства, ложных показаний о будто бы принявшем его в общество и вскоре умершем гренадерском офицере Беляеве[2]. В «Записках о Пушкине» Пущин так объяснял мотивы решения Бурцова: «Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела».

О службе Пущина в гвардии мы знаем чрезвычайно мало, как, впрочем, мало известно и о деятельности его в эти годы в тайном обществе. Внешне служба шла успешно. 20 апреля 1820 года Пущин

---

[1] Муравьев Н. Н. Записки.//Русский архив, 1886, № 2. С. 131—132.

[2] Восстание декабристов, Т. II. С. 232.

был произведен в подпоручики, а 21 декабря 1822 года получил чин поручика. Однако через месяц последовала неожиданная отставка — 26 января 1823 года он был уволен от военной службы «для определения к статским делам». Внешним поводом к этому послужило столкновение с вел. кн. Михаилом Павловичем, который придрался к Пущину из-за ничтожного упущения в форме. Однако в демонстративной отставке было скрыто гораздо большее, чем только протест против муштры и аракчеевских порядков, все упорнее насаждавшихся в армии.

До 1823 года «декабристские» дела Пущина почти неизвестны. Понятно, что недавно вступивший в службу Пущин не мог еще быть среди участников «московского заговора» 1817 года, не был он среди организаторов Союза благоденствия (хотя Е. П. Оболенский назвал Пущина в числе тех, кто принадлежал к управе И. Г. Бурцова, где состоял и он сам[1]). Не участвовал он и спустя три года ни в знаменитых «петербургских совещаниях» 1820 года, ни в Московском съезде 1821 года, не было его и среди учредителей Северного общества. Нет, конечно, он принимал участие в жизни общества, бывал на собраниях членов, обсуждал программные документы, но голос его звучал тогда, видимо, еще не так громко, чтобы донестись до нас через толщу времени.

В 1819 году Пущин в числе других членов тайного общества (И. Г. Бурцова, Ф. Н. Глинки, Н. М. Муравьева) был приглашен Н. И. Тургеневым к участию в «Обществе 19 года и XIX века» и к сотрудничеству в предполагавшемся при нем журнале. Но ни то, ни другое начинание по цензурным и некоторым другим причинам не осуществилось[2].

Переход в гражданскую службу — это был первый известный «декабристский» поступок Пущина. Пущин поступил так в полном соответствии с программными положениями Союза благоденствия. В «Зеленой книге» — уставе общества, получившем свое название по цвету обложки, — было записано, что каждый член Союза благоденствия должен был избрать для своей практической деятельности одну из четырех возможных отраслей: 1) человеколюбие (имелось в виду участие в деятельности различных благотворительных обществ, больниц, сиротских приютов, а также мест, «где страждет человечество», — тюрем, острогов и проч.), 2) образование, 3) правосудие и 4) общественное хозяйство.

Однако, поступив в соответствии с убеждениями, Пущин сделал шаг, не только далеко выходивший за рамки норм, принятых в тогдашнем обществе, но необычный даже в среде самих декабристов.

---

[1] Восстание декабристов. Материалы. М., 1925. Т. I. С. 252.

[2] Нечкина М. В. Движение декабристов, М., 1955. Т.I. С. 247—249.

Следуя принципам Союза благоденствия, члены его создавали ланкастерские школы, где обучали грамоте сотни и тысячи солдат и крестьян, занимались благотворительностью в самом широком понимании этого слова. Служившие в армии отказывались применять телесные наказания и боролись за гуманное обращение с солдатами, многие были членами вольных литературных обществ, проповедовавших активную гражданскую позицию, но никто не помышлял избрать для осуществления своих идеалов путь, на который вступил Пущин. Известно, что поступок Пущина хотя и вызвал глубокое уважение декабристов, но примером для подражания не стал[1].

Сохранилось свидетельство, что Пущин замышлял даже поступить на службу в полицию квартальным надзирателем, чтобы доказать, «каким уважением может и должна пользоваться та должность, к которой общество относилось в то время с крайним презрением». Только просьбы сестры, умолявшей Пущина не совершать безрассудного шага, заставили его изменить решение[2]. Отказавшись от мысли служить в полиции, Пущин решил поступить в судебное ведомство. В июне 1823 года он был назначен сверхштатным членом в Петербургскую уголовную палату, а в конце года стал судьей Московского надворного суда. Мотивы действий Пущина были понятны не только товарищам по тайному обществу, но и более широкому кругу людей. М. А. Корф, например, вспоминал, что «он пошел служить в губернские места, сперва в Петербурге, потом в Москве, с намерением возвысить и облагородить этот род службы, которому в то время не посвящал себя еще почти никто из порядочных людей»[3].

Гвардейские эполеты были жертвой той пользе, которую Пущин надеялся принести, внося в низшие судебные инстанции «благородный образ мыслей, те чистые побуждения, которые украшают человека и в частной жизни, и на общественном поприще»[4]. Племянник Пущина А. И. Малиновский (сын сестры Марии и лицейского однокашника Ивана Малиновского) вспоминал: «Об этой службе дяди Ивана Ивановича я живо помню рассказ моего отца: в один из своих проездов через Москву отец мой видел своего друга и товари-

---

[1] В 1824 г., правда, под непосредственным влиянием Пущина на службу в Московский надворный суд поступил племянник Е. П. Оболенского С. Н. Кашкин, бывший с 1823 г. членом Московской управы Северного общества. Еще ранее, в 1819 г., заседателем Петербургской палаты уголовного суда стал К. Ф. Рылеев, вступивший в общество четырьмя годами позднее.

[2] Штрайх С. Я. Указ. соч. С. 16.

[3] Грот К. Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Спб., 1899. С. 251.

[4] Оболенский Е. П. Воспоминания. // В сб.: Общественное движение в России в первой половине XIX в. Спб., 1905. С. 235.

ща по Лицею разбирающим у Иверских ворот (вероятно, в здании присутственных губернских мест) какой-то спор торговок о лотке ниток и дивился терпению, с каким Иван Иванович выслушивал их словесное состязание»[1].

Надо сказать, что эти действия Пущина имели широкий общественный резонанс. Уже сам факт его появления в высшем московском свете в мундире надворного судьи производил всеобщее смятение. Надворный судья на балу, скажем, у московского генерал-губернатора,— событие по тем временам неслыханное. «Это вещь небывалая,— приговаривал глава московских «тузов» князь Юсупов,— тут кроется что-нибудь необыкновенное»[2].

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Так сказал об этом Пушкин в одном из вариантов стихотворения «19 октября».

Однако служба в надворном суде была лишь видимой частью «декабристской» деятельности Пущина. Не менее наполненной была тайная, скрытая от посторонних взглядов.

В 1823 году, еще в Петербурге, он принял в тайное общество К. Ф. Рылеева. Нужно ли говорить о ценности этой акции? Рылеев принес с собой в общество вполне сформировавшиеся республиканские взгляды и стремление к самым радикальным действиям.

Вообще после относительного затишья в предыдущие год-полтора, с 1823 года жизнь тайного общества забурлила с новой силой. Пестель на юге, в Тульчине, а Никита Муравьев на севере, в Петербурге, активно работали над программными документами — «Русской правдой» и конституцией. На петербургской квартире Пущина лидеры «северян» встречались с А. П. Барятинским, приезжавшим в Петербург по поручению главы Южного общества П. И. Пестеля, и обсуждали эти документы. В среде более радикально настроенных членов Южного общества возникли тогда планы ареста Александра I и шла речь о начале революционных действий.

Но в Москве жизнь тайного общества после съезда 1821 года практически замерла. Лидеры московской управы Союза благоденствия И. А. и М. А. Фонвизины, И. Д. Якушкин постепенно отошли от активного участия в обществе. И для молодого и полного сил Пущина открывалось широкое поле деятельности.

Прежде всего нужно было объединить разрозненных участников движения, привлечь в тайное общество новые силы. Организа-

---

[1] ИРЛИ, шифрованный фонд, № 15863—15864, л. 15 об.— 16.
[2] См. наст. изд. С. 66.

ционной основой для сближения стал полученный Пущиным от Рылеева текст конституции Н. Муравьева. Вокруг проекта будущего устройства России разгорались жаркие споры, на отдельные ее статьи составлялись письменные возражения. Списки конституции распространялись среди москвичей. Так постепенно общими усилиями в Москве создавалась управа Северного общества. А. И. Кошелев, побывавший на одном из ее заседаний, вспоминал: «Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, восемнадцатилетним юношею, у внучатого моего брата, Мих. Мих. Нарышкина: это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement <покончить с этим управлением>»[1].

Пущин постоянно переписывался с Рылеевым и Оболенским (письма эти, по понятным причинам, не сохранились). Каждый новый член, попадая в Москву, непременно оказывался в кругу людей, близких Пущину. Так произошло, например, с В. И. Штейнгейлем. Принятый в тайное общество в начале 1825 года Рылеевым, он в феврале – начале марта приехал в Москву, чтобы получить у Пущина проект конституции Н. Муравьева, и здесь близко с ним сошелся. «Спасибо, что полюбил Пущина,– писал Штейнгейлю Рылеев,– я еще от этого ближе к тебе. Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек»[2].

В свободной России не будет рабства – в этом были едины все декабристы, и к подготовке коренного социального переворота была направлена вся деятельность тайного общества. Но ведь это было делом будущего. Стремление к практическому осуществлению этих замыслов – облегчению участи крестьян уже сегодня, сейчас,– приводит Пущина к созданию в Москве так называемого Практического союза. К участию в нем Пущин привлек не только членов тайного общества, но и чиновников Московского губернского правления. «В начале прошлого 1825-го года,– показывал он на следствии,– не находя никаких средств к распространению общества и желая хотя несколько содействовать к общему благу в духе оного, я учредил <...> союз, имеющий целью личное освобождение дворовых людей». Члены союза обязывались «непременно» освобождать своих дворовых и «сверх того при всяком случае, где есть возможность к освобождению какого-нибудь лица», оказывать этому денежное или «какое-либо другое по мере возможности» пособие[3].

---

[1] Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 13.
[2] Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 491.
[3] Восстание декабристов. Т. II. С. 213.

Конечно, результаты деятельности Пущина и его товарищей не стоит преувеличивать. Оживление жизни тайного общества в Москве в 1823—1825 годах все же нельзя сравнивать с действиями декабристов в Петербурге и на юге. Нужно признать, что при понятном стремлении скрыть на следствии истинные масштабы декабристской деятельности Пущин все же вряд ли был далек от истины, говоря о скудости существовавших тогда средств к распространению общества. С этим вполне согласуются и мысли, которыми он поделился в мае 1825 года с близким ему А. А. Бестужевым. «Говорил, что начинать прежде 10 лет и подумать нельзя,— писал Бестужев,— что нет для того ни людей, ни средств» [1].

В начале 1825 года Пущин посетил в Михайловском Пушкина, куда тот был сослан под надзор местных властей. Напомним, что только он да Дельвиг навестили опального поэта в его псковском изгнании (А. М. Горчаков, оказавшись вблизи, не приехал к другу, он вызвал Пушкина к себе). Несмотря на предупреждения А. И. Тургенева и В. Л. Пушкина об опасности навлечь на себя неудовольствие императора, Пущин остался верным лицейской дружбе.

...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.

(А. С. Пушкин, «19 октября»)

Осенью 1825 года после кончины Александра I и до присяги Николаю Москва была полна самых противоречивых слухов. В этой обстановке Пущин не мог больше находиться в стороне от центра событий и, выхлопотав себе отпуск по семейным обстоятельствам, отправился в Петербург.

Существует версия, что, выезжая из Москвы, Пущин отправил Пушкину письмо, которым вызывал его в столицу. Об этом в одну из встреч на Кавказе рассказал декабристу Н. И. Лореру брат Пушкина Лев: «Однажды он получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайловского, при самом почти выезде, попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра» — и вернулся в свой мирный уединенный уголок» [2]. Так ли это было на самом деле, неизвестно. Нет сомнения, однако, что

---

[1] Восстание декабристов. Т. I. С. 444.
[2] Л о р е р Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 204.

в декабре 1825 года Пушкин намеревался уехать из Михайловского. Об этом свидетельствуют несколько современников (А. Мицкевич, со слов самого Пушкина, С. А. Соболевский, М. И. Осипова)[1]. Было ли тому причиной письмо Пущина, и если так, то с какой целью декабрист вызывал Пушкина в Петербург? Надеялся ли, что смутная обстановка междуцарствия поможет поэту вырваться из михайловской ссылки? Или, быть может, считал необходимым его присутствие в Петербурге, если декабристам удастся использовать момент для коренных перемен в обществе и государстве? Сам Пущин ни словом не обмолвился об этом ни тогда, ни после, и эти вопросы до сих пор остаются неразрешенными.

8 декабря 1825 года Пущин приехал в Петербург и на следующий же день виделся с Рылеевым и Оболенским. До восстания оставалась только неделя. Никогда — ни до, ни после — в жизни Пущина не было времени, столь насыщенного практическими действиями. Это была кульминация всей его жизни в тайном обществе. Следственное дело Пущина подробно освещает каждый шаг его деятельности по подготовке восстания. Чуть не по нескольку раз на день он участвует в заседаниях тайного общества — то в разработке планов восстания, то в выборе его политических и военных руководителей. За сдержанными строками письма к С. М. Семенову в Москву: «Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов» — чувствуется невероятное напряжение последних дней перед восстанием. И вновь, даже в этом коротком послании, на первом плане вечные для Пущина нравственные оценки: «Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов».

Он убежден, что восстание необходимо и неотвратимо. В противоположность А. Одоевскому, одержимому мыслью об очищающей гибели за правое дело («Умрем, ах, как славно мы умрем»,— постоянно повторял он накануне восстания), Пущин вплоть до вечера 13 декабря не считал поражение неизбежным. Во время следствия он не воспользовался возможностью представить себя скептиком и тем облегчить свою участь. На поставленные вопросы: «Вы <...> говорили, что и с одною горстью солдат можно все сделать; говорили о грабеже и убийствах и о том, что можно и во дворец забраться. <...> Скажите, точно ли вы были сего мнения?» — Пущин твердо и спокойно ответил: «Я был такого мнения, что должно действовать»[2].

Всю неделю Пущин находился рядом с Рылеевым. Он выступал активным проводником идей Рылеева, убеждал колеблющихся, во-

---

[1] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. I. С. 538.

[2] Восстание декабристов. Т. II. С. 223—227.

одушевлял товарищей, внушал уверенность в успешном исходе восстания. Да и в плане на 14 декабря, разработанном С. П. Трубецким, им были предназначены совместные действия — явиться в Сенат и потребовать принятия манифеста, который возвестил бы России об уничтожении самодержавия, установлении временного правления и введении свободы слова, совести, освобождении крестьян, отмене рекрутчины.

Вместе с Рылеевым Пущин в ночь с 13 на 14 декабря убеждал Каховского решиться на цареубийство — ясно было, что нельзя рассчитывать на успех, пока жив будет император. «Когда, возвратясь из экипажа,— показывал на следствии А. А. Бестужев (речь шла о Морском гвардейском экипаже),— вошел я в кабинет Рылеева, Оболенский и Пущин на выходе целовали Каховского; когда я сделал то же, прощаясь и с ними, Рылеев сказал мне: «Он будет ждать царя на Дворцовой площади, чтобы нанести удар»[1]. С этим расстались до утра следующего дня — дня, решившего и судьбу России, и судьбу Пущина.

14 декабря, «в день происшествия я поехал с Рылеевым на Дворцовую площадь,— отвечал Пущин на вопросы Следственного комитета,— ходил по бульвару все в ожидании войск, долго ходивши и не видя никого, мы возвратились домой, натурально рассуждая о плане нашем и отчаиваясь в успехе. Потом часу во 2-м пошли опять через Синий мост и, пройдя оный, встретили Якубовича, который объявил нам, что Московский полк у Сената. Мы туда поспешили — я остался у каре до самого того времени, как все войско от картечных выстрелов разбежалось. Занимался тем, что ходил по фасам и разговаривал с солдатами в ожидании других полков. Оружия при мне никакого не было. Куда Рылеев от меня ушел, я не знаю»[2].

За этими лапидарными строками — трагедия поражения, крушение всех надежд и замыслов, спокойное и ясное сознание, что все кончено. Здесь же — и трагедия личная: «Рылеев от меня ушел...» В день великих испытаний Пущин ни в чем себе не изменил — до конца, до последнего картечного залпа находился он на площади, среди солдат, пытался организовать их отступление, чудом остался жив (его шуба была пробита в нескольких местах картечью). После того как на площадь не явился выбранный накануне диктатором С. П. Трубецкой, а А. М. Булатов и А. И. Якубович вопреки плану не возглавили войска, Оболенскому и Пущину пришлось взять команду на себя. Декабрист А. Е. Розен вспоминал, что «всех бодрее в каре стоял И. И. Пущин, хотя он, как отставной, был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спо-

---

[1] Восстание декабристов. Т. I. С. 458—459.
[2] Там же. Т. II. С. 212.

койствие и бодрость»[1]. Рылеева же на площади не было. Что пережил в эти часы Пущин, мы не знаем. Ясно одно — в решающий момент он выбрал свой путь и остался до конца на площади.

Вечером 14 декабря на квартире Рылеева состоялось собрание членов тайного общества. Декабристы и на следствии и позже, в Сибири, неохотно и скупо вспоминали об этой последней встрече, поэтому подробности ее трудно восстановить. Известно только, что Рылеев посылал Н. Н. Оржицкого на юг во 2-ю армию с известием: «Трубецкой и Якубович изменили...»[2]

Весь день 15 декабря Пущин был еще на свободе. Оставалось время, чтобы уничтожить компрометирующие бумаги. Самые ценные (конституция Никиты Муравьева, переписанная рукой Рылеева, рукописи стихов Пушкина, Рылеева, Дельвига) были спрятаны в портфель и переданы в надежные руки (скорее всего, Е. А. Энгельгардту)[3].

Утром этого дня к Пущину приехал его лицейский товарищ А. М. Горчаков, «привез ему заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить его на иностранный корабль, готовый к отплытию»[4]. Пущин отказался. Исследователи не раз выражали сомнение в достоверности этого эпизода, однако нельзя не заметить, что поступок такого рода вполне укладывается в кодекс поведения Пущина.

16 декабря Пущин был арестован и на следующий день по распоряжению Николая I помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Пущин принадлежал к тем немногим декабристам, кто вел себя на следствии чрезвычайно сдержанно, скупо давал показания. Следственное дело Пущина невелико по объему. Следователям в лучшем случае удавалось добиться от него подтверждения показаний, уже имевшихся в их распоряжении. Вплоть до конца следствия он отказывался признать очевидный факт — вступление в тайное общество по предложению Бурцова, хотя оно было подтверждено целым рядом свидетельств. Лишь 19 мая 1826 года он признался, что действительно был принят Бурцовым, а Беляев, которого он называл прежде, «есть вымышленное лицо <...>, употребленное из чувства некоторого сострадания к Бурцову»[5]. Мужественно перенес Пущин все тяготы заключения в крепости, ни разу не впал в отчаяние и не проявил и тени раскаяния. По свидетельству А. Е. Розена, когда декабристов вывели для соверше-

---

[1] Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 125.

[2] Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М., 1975. С. 327.

[3] О том, как портфель вернулся к владельцу, см. прим. 31 к «Запискам о Пушкине».

[4] Якушкин Е. И. Воспоминания об И. И. Пущине.— В кн.: Записки И. И. Пущина о Пушкине. Спб., 1907. С. 92.

[5] Восстание декабристов. Т. II. С. 232—233.

ния приговора суда, «И. И. Пущин, по обыкновению, был весел и заставлял громко хохотать целый собравшийся кружок»[1].

Пущин был отнесен к I разряду государственных преступников и приговорен судом к смертной казни отсечением головы. По «всемилостивейшей» конфирмации Николая I 13 июля 1826 года смертная казнь была заменена ссылкой в Сибирь «вечно на каторжные работы». Спустя месяц срок каторги был сокращен до двадцати лет.

Более года пробыл Пущин в Шлиссельбургской крепости, и лишь в октябре 1827 года его, вместе с П. А. Мухановым и А. В. Поджио, отправили в Читу. Закованный в ручные и ножные кандалы, Пущин стойко перенес весь нелегкий путь в Сибирь. С января 1828 года начался суровый период испытания «каторжными норами» в Читинском остроге. Здесь он оказался в одной комнате с друзьями-москвичами. Эта комната, поскольку в ней находились «большею частью московские уроженцы», была прозвана Москвою. И. Д. Якушкин вспоминал: «В комнате, в которой меня поместили, нас было четырнадцать человек <...>. Большой каземат был невообразимо дурно построен; окна с железными решетками были вставлены прямо в стену без колод, и стекла были всегда зимой покрыты толстым льдом. В комнате нашей вообще было и холодно и темно»[2]. В каземате стоял постоянный кандальный шум, не позволявший, по признанию М. А. Фонвизина, даже «читать какой-нибудь роман, не требующий ни малого напряжения внимания»[3]. Оковы были сняты лишь в августе 1828 года.

Работы в Чите были необременительны. Декабристы засыпали землей так называемую Чертову могилу или мололи муку на мельнице. Постепенно на артельных началах устраивалось общее хозяйство. В образовавшуюся артельную кассу более имущие декабристы вносили крупные суммы, чтобы обеспечить жизнь своих товарищей, не получавших помощи от родных. Декабристская артель была предметом неусыпных забот Пущина в Сибири.

Активная умственная деятельность ни на минуту не замирала в Чите. Почти сразу же возникла здесь декабристская «тюремная академия». «Все они сами учились или учили других»,— справедливо замечал Е. И. Якушкин. Пущин мечтал заняться переводами и просил старого лицейского директора Е. А. Энгельгардта прислать для этого какое-нибудь сочинение на французском языке, «с которого перевод мог бы быть напечатан на русском и с выгодою продан».

---

[1] Розен А. Е. Записки декабриста. С. 173.
[2] Якушкин И. Д. Записки, статьи и письма. М., 1951. С. 108.
[3] Фонвизин М. А. Сочинения и письма, Дневник и письма. Иркутск, 1979. Т. 1. С. 143.

Здесь, в Чите, в 1828 году А. Г. Муравьева передала Пущину послание А. С. Пушкина.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

В 1830 году декабристов перевели во вновь отстроенную Петровскую тюрьму. Во время одного из переходов пришло известие о французской революции и падении монархии. Оно было встречено пением «Марсельезы» и шампанским.

Новая тюрьма, построенная по плану, утвержденному Николаем I, оказалась малопригодной для жилья — сырой, холодной, без окон. Лишь путем долгой переписки и при помощи влиятельных родных декабристам удалось добиться, чтобы в камерах были прорублены небольшие окна. В Петровском заводе Пущин провел девять лет. Чем были заполнены эти годы, мы узнаем из писем Е. А. Энгельгардту и родным, которые под диктовку Пущина писали жены его товарищей (самим декабристам до выхода на поселение переписка была запрещена). Чтение книг, газет и журналов (родственникам удалось организовать регулярную доставку их в Сибирь), обсуждение прочитанного с товарищами, воспоминания о минувшем времени, традиционное празднование лицейской годовщины 19 октября — вот круг занятий Пущина. «Благодаря довольно счастливому его нраву,— сообщала М. Н. Волконская Е. А. Энгельгардту в 1832 году,— он умеет найтись и в своем теперешнем положении и переносить его терпеливо».

После окончания срока каторги Пущин указом от 10 июля 1839 года был определен на поселение в Туринск — небольшой городок Тобольской губернии, куда он приехал 17 октября и где провел три года. Здесь 8 сентября 1842 года родилась его дочь Аннушка. Матерью ее была молодая якутка, происходившая из бедной семьи. О браке с ней Пущин не помышлял, но дочь взял к себе, горячо любил и заботился о ее воспитании. В Туринске Пущин продолжал жить интенсивной интеллектуальной жизнью. В начале 1840-х годов он помогал М. А. Фонвизину в работе над записками по крестьян-

скому вопросу, редактировал их, искал возможность отправить в Россию и каким-то способом довести до сведения верховной власти[1]. В эти же годы он взял на себя редакцию перевода философских сочинений Паскаля, подготовленного П. С. Бобрищевым-Пушкиным, работал и над статьями для «Земледельческой газеты», которую издавал Е. А. Энгельгардт.

Жизнь на поселении резко меняла положение декабристов. Как ни тяжела была она в Чите и Петровском заводе, но совместное существование давало возможность приспособиться к суровым условиям, позволяло черпать силу в дружеском общении, в товарищеской среде, где мужали и закалялись характеры. Выход на поселение, объективно менявший положение декабристов к лучшему, таил в себе и опасность — расселенные по бескрайним просторам Сибири, отделенные друг от друга порой тысячами верст, ссыльные легко могли утратить то духовное и моральное единство, которое помогало им выжить в тяжелой обстановке каторги.

Здесь, в условиях поселения, открылось для Пущина широчайшее поле деятельности. Разнообразны и ответственны были его обязанности по делам Малой артели, образовавшейся для помощи декабристам. Заботы о высылке денежных сумм нуждающимся в поддержке, постоянное внимание к нуждам семей умерших товарищей, забота об их детях — вот далеко не полный перечень обязанностей, которые добровольно взял на свои плечи Пущин.

Каждый прожитый в Сибири год, месяц, день — это борьба за сохранение собственного достоинства вопреки бесконечным ограничениям и притеснениям властей. Малейшее улучшение условий существования давалось напряжением всех сил. Для поездки в другой город за медицинской помощью или для перевода в другое место жительства требовались годы переписки с Петербургом, бесконечные представления прошений, хлопоты родных. В 1843 году Пущину удалось добиться разрешения на перевод в Ялуторовск, где он прожил вплоть до амнистии 1856 года. В Ялуторовске в 1849 году родился сын Пущина Иван, матерью которого была вдова Кюхельбекера Дросида Ивановна.

Особенности характера позволяли Пущину находить общий язык с самыми различными людьми, постоянное стремление помочь ближнему словом и делом делали Пущина центром сибирской колонии декабристов. Дружеская поддержка письмами товарищей по изгнанию стала постепенно главным делом его жизни на поселении. Время, к счастью, пощадило большую часть этих свидетельств его неутомимой деятельности. По нескольким архивам нашей стра-

---

[1] Мироненко С. В. Крестьянский вопрос в трудах декабриста М. А. Фонвизина.//Исторические записки, М., 1975. Т. 96. С. 197—230.

ны разбросаны переплетенные Пущиным по годам письма его «соузников». Десятки томиков составили, как говаривал он сам, «библиотеку добрых листков». Сотни писем Пущина разлетались по разным углам Сибири. Многие из них дошли до нас (число выявленных писем приближается сейчас к тысяче), треть их, наиболее важная, публикуется в данной книге.

Письма, как писал когда-то Герцен, «больше, чем воспоминания; это само прошедшее, задержанное и нетленное». В полной мере это относится к письмам Пущина. Прочтите их — и вы поймете правоту слов Рылеева: «Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек». В письмах, вошедших в эту книгу, отразилось все многообразие жизни декабристов в Сибири. Письма Пущина и, конечно, письма к нему — это энциклопедия тридцатилетней сибирской эпопеи декабристов.

Вчитываясь в них, понимаешь, что легкая, как будто ни к чему не обязывающая «болтовня» (сам Пущин не раз обращался к себе с призывом «кончать болтовню»), обсуждение самых простых житейских проблем, неисчерпаемый юмор, подшучивание («подмигивание» — недаром Е. И. Якушкин вспоминал, что, когда однажды Пущину было некому подмигнуть, он подмигнул висящим в углу образам) над собой и своими адресатами — это и есть свидетельство светлого разума, нравственной несокрушимости, неисчерпаемого мужества и скромности этого необыкновенного человека.

Простота и искренность, внутренняя свобода и чувство достоинства, великая терпимость и полное отсутствие самолюбования делают письма Пущина выдающимися человеческими документами. В этом смысле удивительно письмо, написанное его будущей жене. «Ужели ты в самом деле думаешь, что я кого-нибудь виню или осуждаю? — спрашивал он весной 1856 года Н. Д. Фонвизина. — Именно ни тени ничего этого во мне нет. Я осужден в первом разряде и считаю своим уделом нести это осуждение. Тут действует то же чувство, которое заставляло меня походом не сидеть на лошади, а вести ее в поводу, когда спешивалась вся батарея, — чуть ли не я один это делал и нисколько не винил других офицеров, которым не хотелось в жар, по глубокому песку проходить по нескольку верст. То же самое на мельнице, я молол постоянно свои 20 фунтов, другие нанимали. Разве я осуждал кого-нибудь? В походе за Байкалом я ни разу не присел на повозку. Меня же называли педантом». Он просто поступал согласно своим принципам, и сами эти поступки оказывали огромное моральное воздействие.

Мелкие на первый взгляд детали, оценки разных событий, воспоминания о прошлом, отзывы о знакомых, близких и дальних, постепенно сливаются в единую и очень цельную картину — автопортрет самого автора. Письменное наследие Пущина, запечатлевшее

его нравственный облик, необыкновенно поучительно. Вот незначительная на первый взгляд, но очень характерная деталь. Как известно, декабристам, возвращенным по амнистии 1856 года в Европейскую Россию, запрещено было жить в Петербурге и Москве и даже приезжать туда на краткий срок для лечения. Получить разрешение на это удавалось лишь после длительных усилий влиятельных родственников и друзей. Далеко не всегда эти хлопоты были успешными. Так, Пущину в начале 1857 года позволили остаться для лечения в Петербурге, а И. Д. Якушкина 28 марта 1857 года заставили немедленно выехать из Москвы. Пущин писал об этом его сыну: «Я все хлопочу. Разрешено ли Ив. Дм. остаться в Москве до излечения, как мне <...>. Это все меня волнует, как всякая несправедливость, особенно когда меня ставят в исключительное положение». Из этого же письма мы узнаем, что Пущин пытался помочь Якушкину через своего «агента» в III Отделении (имя этого «агента» остается до сих пор неизвестным).

Здесь все «по-пущински»: и хлопоты за друга — продолжение сибирского «маремьянства» (от пословицы «Маремьяна-старица обо всех печалится»),— и органическое неприятие каких бы то ни было преимуществ для себя. В беглой фразе отразился один из коренных нравственных принципов Пущина. Согласимся, что и сегодня эта мысль и этот принцип остаются не всегда досягаемым примером.

Нравственная гармоничность и цельность личности И. И. Пущина особенно рельефно проступают в случаях, когда жизнь сталкивала его с людьми иной, официальной среды. Это и сибирская администрация, и чиновники, приезжавшие на время в Сибирь из Петербурга и Москвы. В сентябре 1850 года он с горечью писал Е. А. Энгельгардту о впечатлениях от встреч с молодыми чиновниками, приехавшими с сенатором Толстым ревизовать управление Западной Сибирью. Особенно поразило Пущина «апатичное равнодушие ко всему» этого нового поколения, откровенность, с которой молодые люди признавались, что «надобно служить, чтобы себя обеспечить». «Эта мысль,— писал Пущин,— больше или меньше проглядывала во всех доводах. Я старался им доказать, что никогда не думал об этом в их годы, когда приносил свою лепту в общее дело. Кажется, им все это казалось басней. За стеною можно бы подумать, что они старики, а мы юноши, так взгляды их были несогласны с юною душой». Годы николаевской реакции не прошли бесследно. Тот социальный слой, который в 1820-е годы выдвинул из своей среды поразительную по бескорыстию, благородству помыслов и дел, способности к самопожертвованию ради общественного идеала плеяду борцов, теперь формировал циников-бюрократов. «На нас здесь смотрят как на живые улики,— продолжал Пущин,— мы проповедуем — но голос теряется в пустыне — иные даже почитают нас сума-

сшедшими, которых правительство за честные правила выбросило из утробы общества». Иными и не могли казаться в николаевской России эти люди, опередившие свое время. Неудивительно поэтому, что в письмах Пущина есть мысли, высказанные как будто сегодня. Говоря о язвах современного ему общества, Пущин обращается к своему старому учителю с вопросом о том, как излечить их, и сам отвечает: «Я думаю, другого нет, кроме мнения и гласности, которые, к сожалению, до сих пор в русском царстве считаются преступными, как будто дело общее (res publica) не есть дело каждого».

Идеи гласности, правды, свободного выражения общественного мнения, столь важные для нас сегодня как залог нравственного здоровья общества, были, как мы видим из писем Пущина, знаменем передового человека прошлого века. В этой близости идеалов, при всем различии общественного строя прошедшей и нынешней эпох нашей истории, разгадка поистине всенародного интереса к судьбе и наследию первых русских революционеров.

По манифесту 26 августа 1856 года бывшие «государственные преступники» могли вернуться в Европейскую Россию и жить под строгим надзором полиции всюду, кроме столиц. Пущину по просьбе сестры Е. И. Набоковой разрешено было остаться на время в Петербурге. Здесь, на пригородной даче, он прожил с 18 ноября 1856 до начала мая 1857 года, встречался с лицейскими друзьями, ездил в Лицей, занимался делами по Малой декабристской артели. «Мы должны плотнее держаться друг друга, хотя и разлучены»,— писал он М. И. Муравьеву-Апостолу. 15 декабря он «без попа» молился в Казанском соборе в память о казненных товарищах.

В мае 1857 года произошло событие, решительно изменившее обстоятельства жизни Пущина. На склоне лет, после долгих колебаний он решился связать жизнь с вдовой своего друга, декабриста М. А. Фонвизина — Натальей Дмитриевной, женщиной незаурядной, духовно ему близкой.

Женитьба принесла Пущину душевное спокойствие, у него появился свой дом, более прочным стало материальное положение. Как знать, сумел ли бы он без этого совершить последнее дело своей жизни — написать «Записки о Пушкине»? После свадьбы Иван Иванович и Наталья Дмитриевна поселились в подмосковном имении Фонвизиных Марьино, в версте от небольшого уездного городка Бронницы. Здесь Пущин работал над воспоминаниями о Пушкине.

Появлением их мы обязаны настойчивости Е. И. Якушкина, сына декабриста, собирателя и пропагандиста декабристского наследия, инициатора создания многих декабристских мемуаров. Еще при встречах в Ялуторовске, куда Е. И. Якушкин приезжал в 1853 и 1855 годах, он уговаривал Пущина записать рассказы о Пушкине. Важ-

ным стимулом для согласия послужило то обстоятельство, что в вышедших «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина», подготовленных П. В. Анненковым, по цензурным причинам не нашла отражения тема декабристских связей Пушкина. Однако тогда обещание не было исполнено.

Только оказавшись после амнистии в Петербурге, в оживленной общественной атмосфере кануна реформ, в условиях, когда после долгих лет безгласия стало возможным в той или иной форме касаться в печати запретных страниц прошлого, старый декабрист возвращается к мысли о «Записках». Встречи с товарищами по Лицею, с П. А. Вяземским, личное знакомство и беседы с П. В. Анненковым, новые, ранее немыслимые публикации пушкинского наследия и – в те же месяцы – новая клевета на дело декабристов в книге Корфа (первой «для публики») «Восшествие на престол императора Николая I» – вот впечатления, под влиянием которых формировались мысли о будущих «Записках».

«Спасибо вам за труды для меня около Пушкина,– писал он Е. И. Якушкину 13 апреля 1857 года.– Я непременно сделаю тоже все, что вам обещал, хотя уверен, что это будет единственно для вас, а в публику не может идти». «Дайте опериться»,– просил он своего корреспондента несколько времени спустя. Только 25 февраля 1858 года в письме из Марьина к жене в Петербург появляется первое известие о начале работы: «Эти дни я все и думаю и пишу о Пушкине. Пришлось наконец кончить эту статью с фотографом». И еще через несколько дней (1 марта): «Я теперь все с карандашом – пишу воспоминания о Пушкине». Работа, однако, завершена была лишь к концу лета 1858 года. 30 июля Пущин сообщал Е. И. Якушкину: «Еще пять листов уже готовы – быстро подвигаемся к концу», а 15 августа начал то письмо к нему, которое сопровождало отправляемую с оказией (21 августа из Марьина уезжал гостивший там петрашевец С. Ф. Дуров) законченную рукопись. Но и завершив свои мемуары, Пущин исключал возможность их издания, ограничивал круг возможных читателей и специально просил его *«не производить... в литераторы»*.

В ряду воспоминаний современников о великом поэте «Запискам о Пушкине» принадлежит особое и совершенно исключительное место. В сложной мозаике разрозненных биографических фактов, эпизодов отдельных встреч или рассказов о более или менее длительном общении с поэтом, в столкновении субъективных, противоречивых и меняющихся во времени оценок его поступков, речей Пущин, столь скромно оценивающий свои возможности мемуариста, обнаруживает редкое понимание личности поэта. Конечно, благодатную почву для этого создавала сама лицейская тема, пронизывающая весь замысел замечательных мемуаров. Именно она

позволила Пущину не просто рассказать о лицейских годах, но будто незаметно передать тот «дух революционных преобразований», который сделал вольнолюбивые стихи молодого Пушкина знаменем целого поколения, а Пущина и Кюхельбекера привел на Сенатскую площадь. Удивительную прелесть «Записок» составляют не только тонкость и такт рассказа о Пушкине, но и принципиальный отказ мемуариста от отбора каких-то особенно значительных фактов или тенденциозного их истолкования. Лицейский быт, беглые портреты преподавателей, детские шалости, ссоры и примирения — вот достоверный фон, без которого нельзя было бы понять ни «лицейский дух», ни поэзию Пушкина, где лирическое возвращение к лицейским истокам нашло столь полное выражение. «Записки о Пушкине» — произведение свободного человека, сложившегося под воздействием декабристского вольнолюбивого идеала. Поэтому же воспоминания Пущина не только важнейший вклад в мемуарную Пушкиниану, но не менее важный памятник декабризма. В своем двойном значении, по справедливому замечанию В. Э. Вацуро, это — «произведение, едва ли не единственное в своем роде»[1].

Исследовательская литература, освещающая проблему «Пушкин и декабристы», очень велика; собраны, казалось бы, даже мельчайшие данные[2], но нельзя не заметить, что прямо к ней относящихся мемуарных свидетельств самих декабристов очень немного. В сущности, кроме рассказа И. Д. Якушкина в его «Записках» о пребывании Пушкина в Каменке в 1821 году и горьком разочаровании его, когда разговор о тайном обществе был представлен декабристами как шутка[3], только воспоминания Пущина позволяют многое понять и в причинах несостоявшейся декабристской судьбы Пушкина, и в сложном отношении к нему декабристов на каторге и в ссылке. В «Записках о Пушкине» важно все — и то, как неприметно расходятся пути друзей: раннее вступление Пущина в тайное общество и мотивы, заставлявшие его так долго хранить эту тайну от ближайшего друга,— все, что создавало разные политические биографии, несмотря на очевидную духовную и идейную близость.

Центральное в этом смысле место «Записок» принадлежит свиданию в Михайловском в январе 1825 года — последней встрече друзей. Драматизм рассказа Пущина, обостренный его знанием того, что последовало за этим свиданием, не заслоняет от читателя непосредственности впечатлений этой встречи, с самой сложностью, а иной раз и неразрешимостью ситуаций, в которые ставили

---

[1] Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников.// А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 8.

[2] См. об этом в книге Н. Я. Эйдельмана «Пушкин и декабристы» (М., 1979).

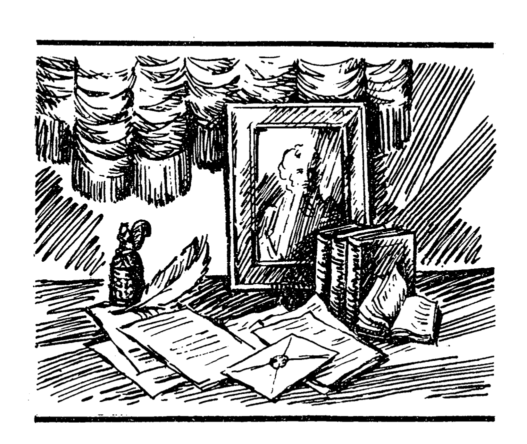
[3] Якушкин И. Д. Записки, статьи и письма. С. 43.

собеседников обсуждавшиеся вопросы. Недаром именно этот эпизод «Записок» стал предметом стольких исследований и породил многие и все еще далеко не исчерпавшие источник толкования. Но и не задаваясь целью исторического изыскания, нельзя без сердечного волнения читать это повествование. По мастерству психологического рисунка эта последняя встреча друзей «пред грозными судьба́ми», в одиноком, занесенном снегом доме не уступает лучшим страницам русской литературы.

Прочтите «Записки о Пушкине» — и вы еще раз убедитесь, какой необыкновенной личностью был Иван Иванович Пущин. Рассказывая о Пушкине, о Лицее, о самом себе, он смог так полно выразить свой внутренний мир, подняться над временем и одновременно отобразить его с необыкновенной точностью. Читая «Записки» и письма, мы воочию видим нового человека, сформированного свободным духом декабризма.

Умер Пущин 3 апреля 1859 года. «Для всех благородно мыслящих, — писал декабрист Н. Р. Цебриков, — потеря Ивана Ивановича Пущина тяжелым свинцом легла на сердце. Я его лично совершенно не знал, но всех отзыв был один, что он был лучший патриот и лучший человек».

М. П. Мироненко,
С. В. Мироненко



ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Е. И. Якушкину



Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься — и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова[1]. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.

Собираясь теперь проверить былое с некоторою отчетливостию, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал с лишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное, всплыли бы некоторые заветные мелочи — печать того времени! Не знаю, почему тогда вдруг мне показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования! Теперь самому любопытно бы было взглянуть на себя тогдашнего, с тогдашнею обстановкою; но дело кончено: тетради в печке и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исторической точности — прошу смотреть без излишней взыскательности на мои воспоминания о человеке, мне близком с самого нашего детства: я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается и собственная моя личность; прошу не обращать на нее внимания. Придется, может быть, и об Лицее сказать словечко — вы это простите, как воспоминания, до сих пор живые! Одним словом, все сдаю вам, как вылилось на бумагу.

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Старик, с лишком 80-летний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России,— не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками[2]. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр. Милорадович, тогдашний корпусной командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» Поклонился, повернул лошадь и ускакал. Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частию тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру[3] не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его.— Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый,

тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляду. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали нас вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей, на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда отдавалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее[4]. Таким образом я сделался товарищем Пушкина.— О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего В. Ф. Малиновского[5], куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отпросился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтоб недаром пропадало время до вступления моего в Лицей.— При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду;

эти свидания вошли в обычай, так что, если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня. Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и прибранит, когда мы надоедали ей нашими рановременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить — а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностию и некоторою свободою в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12-ть лет) с скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым — признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтение, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острову, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я поплакал, рас-

ставаясь с домашними,— сестры успокоили меня тем, что будут навещать по праздникам, а на Рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеем. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью: *№ 13. Иван Пущин;* я взглянул налево и увидел: *№ 14. Александр Пушкин.* Очень был рад такому соседу, но его еще не было — дверь была заперта. Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие новобранцы. Мелкого нашего народу с каждым днем прибывало. Мы знакомились поближе друг с другом, знакомились и с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого — и таким образом знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все 30-ть воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной мере, то есть вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.

Настало наконец 19-ое октября, день, назначенный для открытия Лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры. По левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц[6], в<еликого> к<нязя> Константина Павловича и в<еликой> к<нягини> Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента м<инистерства> н<ародного> просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высоч<айше> дарованную ему грамоту. (Единственное из учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Я не знаю, есть ли и теперь другое, на этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее при императоре Николае разрешено наказывать с родительскою нежностию лозою смирения[7].)

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский со свертком в руке. Бледный как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать[8].

Смело, бодро выступил профессор полит<ических> наук А. П. Куницын — и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатле-

ния, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему — верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру[9]. Куницын вполне оправдал внимание царя — он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

(*Пушкин.* Годовщина 19 окт<ября> 1825 года)

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтоб он не приподнимался, и спросила его: «Карош суп?» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!»* Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос[10], — только все это вместе почему-то

---

* Да, сударь! *(фр.)*

побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов соника[11] попал на зубок; долго преследовала его кличка: monsieur. Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостию ко всем — она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово.

Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной...— и пр.[12].

(Изд. Анненкова, т. 7, стр. 25. Г-н Анненков напрасно относит эти стихи к 1819 году; они написаны в Лицее <в> 1816-м.)

Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!»

Пока мы обедали — и цари удалились, и публика разошлась.— У графа Разумовского был обед для сановников, а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал.

Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он как душа неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен!
Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы; нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.

(*Пушкин.* Годовщина 19 октября 1825 года)

Дельвиг, в прощальной песне 1817-го года, за нас всех вспоминает этот день:

Тебе, наш царь, благодаренье!
Ты сам нас юных съединил

И в сем святом уединеньи
На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали десертом à discrétion* вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора.

Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приехали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущениями этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в дерптский журнал. Этот почтенный человек не предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжение трех первых выпусков[13].

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностию. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей.— Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы. Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной

* вволю *(фр.)*.

связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения.— Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслию Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитывать с нами своих братьев, в<еликих> к<нязей> Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами — плебеями.

Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811-м году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее. Во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией. В третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты: всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате: железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умыванья, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам нетрудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные

занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались — шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди.

От 7-ми до 9-ти часов — класс.

В 9-ть — чай; прогулка — до 10-ти.

От 10-ти до 12-ти — класс.

От 12-ти до часу — прогулка.

В час обед.

От 2-х до 3-х — или чистописанье, или рисованье.

От 3-х до 5-ти — класс.

В 5-ть ч<асов> — чай; до 6-ти — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.

По середам и субботам танцеванье или фехтованье.

Каждую субботу — баня.

В половине 9-го часа — звонок к ужину.

После ужина до 10-ти часов — рекреация. В 10-ть вечерняя молитва — сон.

В коридоре на ночь ставили ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но зато, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстух, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма — отпечаток того времени — постепенно уничтожалась: брошены ботфорты; белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами, только когда учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншей; в наше время была m-me Скалон. У каждого была своя печатная метка: номер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а у стола и на постели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. — При

утреннем чае крупитчатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистой водой.

При нас было несколько дядек: они заведовали чисткой платья, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский, сделавшийся нашим домашним restaurant. У него явился уголок, где можно было найти конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру, разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом, вместо казенного чая, ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей.— Был и молодой Сазонов — необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе.

Сазонов был моим слугою
И П<ешель> доктором моим.

(Стих. *Пушкина*)

Слишком долго рассказывать преступления этого парня — оно же и не идет к делу[14].

Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812-го года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея,— мы всегда были тут, при их появлении; выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой торжественной за братьями летел...[15]

(Изд. Анненкова, т. II, стр. 77)

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции — Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях,— всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное.

Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья — в этой семье свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь,— тут образовались связи на всю жизнь.

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня — тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность — и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостию, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило.— Бывало, вместе промахнемся — сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактом,* это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных

столкновений вседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственною ей иногда пошлостию. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище.— Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся.

(*Пирующие студенты.* Изд. Ан<ненкова>,
том II, стр. 19, 1814)

Потом опять, в 1817-м году, в альбоме, перед самым выпуском, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! Она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

(Изд. Анненкова, т. II, стран. 170)

Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Малиновского, междуцарствием (то есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта[16].

Не пугайтесь! Я не поведу вас этой длинной дорогой — она вас утомит. Не станем делать изысканий — все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны оставаться достоянием нашим: нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось[17], но мы и теперь молодеем, когда, собравшись, заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, г<оспода>, будем пробовать перья — опишите мне, пожалуйста, розу стихами». — Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 1811-м году и никак не позже первых месяцев 12-го. — Упоминаю об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об этом не упоминают[18].

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные наши песни, точил на всех эпиграммы и пр.[19]. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностию, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку.

Из уважения к истине должен кстати заметить, что г-н Анненков приписывает Пушкину мою прозу (т. 2, стр. 29, VI). Я говорю про статью «Об эпиграмме и надписи у древних». — Статью эту я перевел из Ла-Гарпа и просил Пушки-

на перевести для меня стихи, которые в ней приведены. Все это, за подписью П., отправил <я> к Вл. Измайлову, тогдашнему издателю «Вестника Европы». Потом к нему же послал другой перевод, из Лафатера: «О путешественниках». Тут уж я скрывался под буквами «ъ — ъ». Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту из нашего дома в Петербурге, я просил туда же и адресоваться ко мне в случае надобности.— Измайлов до того был в заблуждении, что, благодаря меня за переводы, просил сообщать ему для его журнала известия о петербургском театре: он был уверен, что я живу в Петербурге и непременно театрал, между тем как я сидел еще на лицейской скамье. Тетради барона Модеста Корфа ввели Анненкова в ошибку, для меня очень лестную, если бы меня тревожило авторское самолюбие[20].

Сегодня расскажу вам историю гогель-могеля, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла сериезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина и на меня, как вы сами увидите.

Мы, т. е. я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности, один из них, а именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты.

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось — дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее:

1) Две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы,

2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению; и

3) занести фамильи наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна была иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально.

Второй смягчался по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером.

Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где мы только трое и были записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на всю будущность после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?
Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вакхом нежились лениво
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?
Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!..

Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали:
  И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.
  Убегаем торопливо;
Вмиг исчез минутный страх!
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах.
  Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор!
  О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год, в часы беспечны,
Поминать его вином[21].

(Изд. Анненк<ова>, т. II, стран. 217)

По случаю гогель-могеля Пушкин экспромтом сказал в подражание стихам И. И. Дмитриева:

(Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вон...— и пр.)[22]
Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали
И Фому прогнали вон.

(Остальных строф не помню — этому с лишком сорок лет.)

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамильи не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шуму и огорчило наших родных, благодаря премудрому распоряжению

начальства. Все могло кончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не вздумали формальным образом донести министру[23].

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкой, очень хорошенькой. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:

От всенощной, вечор, идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой,— кричит,— управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила?
Постой — о всем узнает муженек!»
«Тебе ль грозить,— Марфушка отвечает,—
Ванюша что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.
В чужой ...соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна»[24].

«Вот что ты заставил меня написать, любезный друг»,— сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов,— мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ.

Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущин, не давайте волю язычку»,— прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на

этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надобно сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: «Что же вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: *«Нулю!»* — «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтоб переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было — все делалось à livre ouvert*.

На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе» (Изд. Анненк<ова>, т. II, стр. 81). В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца — его уж не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати[25].

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать... — и пр.

(Изд. Ан<ненкова>, т. II, стр. 213)

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь лет. Стихи

---

* без подготовки, с листа *(фр.)*.

сами по себе очень милы, но для нас имеют особый интерес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства[26].

«Красавице, которая нюхала табак» (Изд. Ан<ненкова>, т. II, стр. 17). Писано к Горчакова сестре, кн<ягине>Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этих стихов, плод разгоряченного молодого воображения.

К ЖИВОПИСЦУ

Дитя харит, воображенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши — и пр.

(Изд. Ан<ненкова>, т. II, стр. 69)

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..[27]

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих «Пирующих студентов». Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пьесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое — и пр.

Внимание общее — тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать — он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

Писатель! за свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта; стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска.

Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именинник — и пр.[28]

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется в многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечерней зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гуляющих в саду, разумеется, и нас, l'inévitable Lycée*, как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и кн<яжна> Волконская. У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать — она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду?

Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин, на беду, был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что это непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама кн<яжна> Волконская. Что делать ему? — Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело неладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединясь к нам, стоявшим у оркестра. Я ему советовал открыться Энгельгардту и просить его за-

* неизбежный Лицей *(фр.)*.

щиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а Волконский государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что же это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио, теперешний сенатор Наполеона III*), но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей».

Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашелся и отвечал имп<ератору> Александру: «Вы меня предупредили, государь, — я искал случая принести в<ашему> в<еличеству> повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии; приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет — уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit**», — шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, с своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично; он никак не сознавал этого, все уверял меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оста-

---

* Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; он был избран французскими филеленами в начальники и убит в Греции в 1829 году. *(Прим. И. И. Пущина на полях рукописи.)*

** Между нами, старушка, быть может, в восторге от ошибки молодого человека *(фр.)*.

лось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать,— наконец я перестал и настаивать, предоставя все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко — тут смесь и дельного и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер — он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные, прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, на пруде, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию. Раз, на зимней

нашей прогулке в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, он говорит Есакову, с которым я часто ходил в паре:

И останешься с вопросом
На брегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?

Так точно, когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

С лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: «В таком случае, надо бы познакомить их с фронтом». Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей, если в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказания поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей

быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видал камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы. Между нами мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности, но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где, на лошадях запасного эскадрона, учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот его куплет:

Bonjour, messieurs!..* Потише.
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'équitation?**

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрадное памятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены[29]. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивой, незнакомой далью. Кто не спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так за-

* Здравствуйте, господа! *(фр.)*
** Когда же будем заниматься верховой ездой? *(фр.)*

ветно-приветлива, что невольно даже при мысли о наступающей свободе оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах — сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!

(«Прощальная песнь» Дельвига)

Наполнились альбомы и стихами и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на 6-м листе этого рассказа.

Дельвига:

Прочтя сии набросанные строки
С небрежностью на памятном листке,
Как не узнать поэта по руке?
Как первые не вспомянуть уроки
И не сказать при дружеском столе:
«Друзья! у нас есть друг и в Хороле!»

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

Илличевского стихов не могу припомнить; знаю только, что они все кончались рифмой на Пущин. Это было очень оригинально[30].

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через 32 года со всеми положенными мною рукописями[31].

9-го июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромен. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения кн<язя> Голицына. Государь не взял даже с собой кн<язя> П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс, после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас,

по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чинов и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь: слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией и музыкой. Понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился с нами с обычною приветливостию и пошел во внутренние комнаты, взяв к<нязя> Голицына под руку[32]. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего,— возразил он,— я сегодня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики,—пахло отъездом! При выходе из Лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября, между тем как товарищи наши, поступившие в гражданскую службу, в июне же получили назначение—в том числе и Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили моей судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Па-

вел Колошин и Семенов[33]. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком — я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и товарища моего Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностию и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собой, как за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мной мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно — стихами и прозой. Не знаю, к счастию ли его или несчастию, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818-м году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостию и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов[34]. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей[35].

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов. Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Напр., однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы и на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время – по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта – вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственною улыбкою выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак – он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять

с тогдашними львами! (Анахронизм! — тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)[36]

Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе, — видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном, — далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне; но, при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй!», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса![37]

(Стих. *Пушкина*)

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее *стрикс,* маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825-го года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все, желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между прочими были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле!» — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай, — право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Н<иколай> Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Staël «Considérations sur la Révolution française»* и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него — вот я и здесь!»[38].

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал, не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему

* м-м Сталь «Взгляд на французскую революцию» *(фр.)*.

же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

— Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils*. Видно, вы не знаете последнюю его проказу.

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить: он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном пред целию самого союза.

---

* Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына *(фр.)*.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частию свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В генваре 1820-го года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя, какой это Пушкин? Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.)[39] Я тут ровно ничего не понимал,— живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило. В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей — остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы.

Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицмейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицмейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Луч-

ше велите дать мне перо и бумаги — я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял, в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободной откровенностию, торжественно воскликнул: «Ah! c'est chevaleresque!»* — и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их к графу в кабинет[40]. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту — обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт! — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать с Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его!»

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края[41].

Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825-го года.

---

* Ах! это по-рыцарски! *(фр.)*

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, а впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе тех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у москов<ского> военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамильи, всю московскую публику), спрашивает Зубкова, кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я надворный судья.

«Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве![42]

В 1824-м году в Москве тотчас узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти,— надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню[43]. Все это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в 4-х верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свидания с родными,

я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28-мь дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад».— «Не советовал бы. Впрочем, делайте, как знаете»,— прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону — мчались среди леса по гористому проселку — все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов — опасности нет: в сторону не бросятся, все лес и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извивистой тропой — вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные воро-

та, при громе колокольца. Не было силы остановить лошадей у крыльца — протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая,— чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. и пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта — дом не топлен. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр. Вопросы большею частию не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались. Подали нам кофе — мы уселись с трубками. Беседа пошла правиль-

нее — многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга! Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым[44].

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего изгнания в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням гр<афа> Воронцова *из ревности;* думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии (I).

Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.

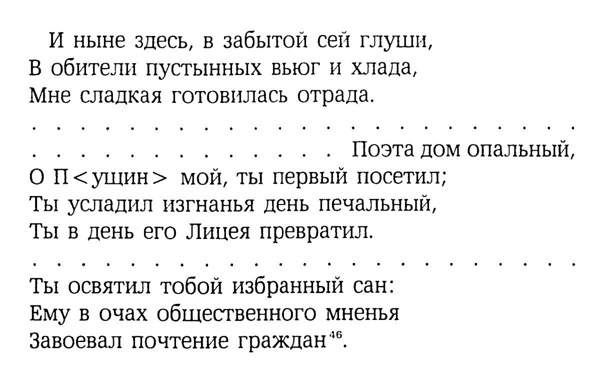
Среди разговора ex abrupto* он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи

---

* внезапно *(лат.).*

его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорей кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском[45], хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи. Это было ему по́ сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19 октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое судейство:


И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада.
. . . .
. . . . Поэта дом опальный,
О П<ущин> мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
. . . .
Ты освятил тобой избранный сан:
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан[46].

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не мо-

гут выпытать»[47]. Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его — мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть[48].

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах — и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль — улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было — я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов[49].

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой — начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*[50]. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее — праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати[51].

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подразумевая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря[52].

Я подошел под благословение. Пушкин тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, по-

мешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилью, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел faire bonne mine à mauvais jeu* и старался уверить его в противном; объяснил ему, что я Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820-м году с ним встречался. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию — я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» — для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастию, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, нежданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы — хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь — а форточку открыл. Все это неприятно на

---

* делать хорошую мину при плохой игре *(фр.)*.

меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как,— подумал я,— хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был биллиард; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчание имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на биллиарде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностию Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить — на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

Сцена переменилась.

Я осужден. 1828-го года, 5-го генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог[53]. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Псков, 13-го декабря 1826

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах,— а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось. Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого пред самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мной и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом. По приезде моем в Тобольск в 1839-м году я послал эти стихи к Плетневу — таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ[54].

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел об нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года».

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли! [55]

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве — и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастие.

———

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — *там,* на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали идти тем же шагом и в прежнем направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самих обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни *газетные* известия. Таким образом в генваре 1837-го года возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер[56]. Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностию упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и пр. Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, так далека была от меня мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди

живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере; но в итоге выходило одно, что его не стало и что не воротить его!

Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть пред его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня — далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов (II).

Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?

Вопрос дерзкий, но мне может быть простительный! Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом: эта пустая и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства приняли, в глазах моих, вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если бы и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастию, и в другой сфере жизни несвоевременно было

прервано. Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной и общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были, сверх того, могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решетки, а о живых людях разве только слышать. Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашел бы тех материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26-го августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке[57].

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он между прочим рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить ее за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне: этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20-ть лет!..

Им кончаю и рассказ мой.

И. П.

С. Марьино, август 1858

ПРИМЕЧАНИЯ

(I) Случайно довелось мне недавно видеть копию с переписки гр. Нессельроде с гр. Воронцовым, вследствие которой Пушкин был сослан из Одессы на жительство в деревню отца. Поводом к этой переписке, без сомнения, было перехваченное на почте письмо Пушкина, к кому именно писанное — мне неизвестно; хотя об этом письме Нессельроде и не упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до императора сведениям о поведении и образе жизни Пушкина в Одессе его вел<ичество> находит, что пребывание в этом шумном городе для молодого человека во многих отношениях вредно, и потому поручает спросить его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что совершенно согласен с высочайшим определением и вполне убежден, что Пушкину нужно больше уединения для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка из письма Пушкина, которое в полном составе его мне неизвестно:

— «Читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю? Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого Атеизма. Здесь Англичанин, глухой философ, единственный умный Атей, которого я еще встретил. Он исписал листов тысячу, чтоб доказать qu'il ne peut éxister d'être intelligent, Créateur et régulateur*, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души.— Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная»[58].

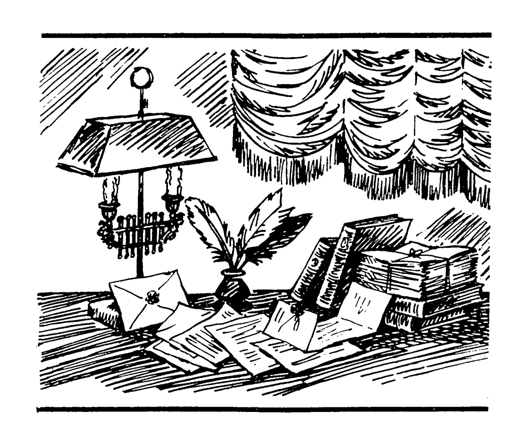
Из дела видно, что Пушкин по назначенному маршруту через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск отправился из Одессы 30 июля 1824 года, дав подписку нигде не останавливаться на пути по своему произволу и, по прибытии в Псков, явиться к гр<ажданскому> губернатору.

9 августа того же года Пушкин прибыл в имение отца своего с<татского> с<оветника> Сергея Львовича Пушкина в Опочковском уезде.

(II) Прилагаю переписку, которая свидетельствует о всей черноте этого дела[59].

---

* что не может существовать существо разумное, Создатель и правитель *(фр.)*.



ПИСЬМА

1. В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

Царское Село, 19 сентября 1820 г.



С большим удовольствием читал письмо твое к Егору Антоновичу, любезнейший мой Вольховский; давно мы поджидали об тебе известия; признаюсь, уж я думал, что ты, подражая некоторым, не будешь к нам писать. Извини, брат, за заключение. Но не о том дело — поговорим вообще.

Не могу тебе ничего сказать важного, после твоего отъезда, кажется, по несчастию или по счастию, все в том же положении; мои заботы — о ремонте, кроме многих других, которые непременно сопряжены с моим существованием. Пожелай мне счастливого конца хотя в этом деле[1]. Знакомые наши друзья понемногу разъехались; Нарышкины, Оболенские в Москве, Тучков, также получив отставку, отправляется на родину. Колошин все еще в Варшаве[2] и, кажется, останется в отлучке больше положенного сроку, ибо царь <от>правляется на со<вещание к> кор. Прус<скому и> имп. Австрийскому[3]... это... круг... почтен... тебе кланяется. Лицейских мало, очень мало. Случается потосковать — нечего делать,— очень чувствую, что Володи нет. Малиновский один верный остался — и изредка Саврасов. Прочие, не знаю, по каким обстоятельствам, не видимы.

Желаю, брат, тебе всевозможного успеха в исполнении всего возлагаемого на тебя[4]. Не забывай нас и будь счастлив — вот искреннее желание друга твоего.

Иван Пущин.

P. S. Верно, ты читал в газетах, что Бурцов получил <орден> Анны 2-й степени. Порадуйся. Дай бог ему успеха. Но меня удивляет, что я до сих пор не имею от него ответа на письмо, которое было писано тобою. Не понимаю, что это значит. Я пишу у Егора Антоновича <...>.

2. В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

Москва, 8 апреля 1824 г.

На другой день приезда моего в Москву (14 марта) комедиант Яковлев вручил мне твою записку из Оренбурга[1]. Не стану тебе рассказывать, как мне приятно было получить о тебе весточку; ты довольно меня знаешь, чтоб судить о радости моей без всяких изъяснений. Оставил я Петербург не так, как хотелось, вместо пяти тысяч достал только две, и то после долгих и несносных хлопот. Заплатил тем, кто более нуждались, и отправился на первый случай с маленьким запасом.

Приехал сюда совершенно в новый мир — до сих пор не могу еще хорошенько опомниться. Жить мне у Павла прелестно; семья вся необыкновенно мила — он так счастлив, что, кажется, совсем забыл о...[2], надобно надеяться, однако, на время, которое возвратит его друзьям таким, как он был прежде. Он оставил службу по неприятностям, но, вероятно, устроивши дела свои в деревне нынешним летом, опять начнет трудиться для пользы общественной[3]. Не верь его отчаянию, можно служить, довольствуясь тем, что удастся сделать хорошего.

Мой Надворный суд не так дурен, как я ожидал. Вот две недели, что я вступил в должность; трудов бездна, средств почти нет. На канцелярию и на жалованье чиновников отпускается две тысячи с небольшим. Ты можешь поэтому судить, что за народ служит,— и, следовательно, надобно благодарить судьбу, если они что-нибудь делают. Я им толкую о святости нашей обязанности и стараюсь собственным примером возбудить в них охоту и усердие.

Кашкин определяется ко мне заседателем; я его просил хорошо обдумать свое намерение — он решился на сей подвиг,— я ему чрезвычайно благодарен, авось вместе дело пойдет дружнее[4].

В Москве пустыня, никого почти или, лучше сказать, нет тех, которых я привык видеть в Петербурге,— это сделалось мне необходимостью[5].

Черевин, бедный, все еще нехорош — ждет денег от Семенова, а тот до сих пор ни слова к нему не пишет...

<N->ские очень милы в своем роде, мы иногда собираемся и вспоминаем старину при звуках гитары с волшебным пением Яковлева, который все-таки не умеет себя представить.

Здесь Алексей Тучков, я иногда с ним видаюсь в свободные часы от занятий.

В Москве я почти ни с кем не знаком, да вряд ли много и познакомлюсь. Приятно было по службе встретить некоторых людей благородных — вообще приемом начальства я не могу довольно нахвалиться.

A propos — старшинство отказано, и я остаюсь назло всем *благородным* человеком[6].[*] Весьма равнодушно принял сию весть, присланную к Светлому празднику; все прочие представления князя[7] высочайше утверждены.

Вот тебе, любезный Володя, все, что можно сказать в тесных пределах письма[8]. Молю бога, чтоб ты, кончивши благополучно поручение свое, порадовал скорее меня своим приездом. Сколько нам нужно будет потолковать! Беседа твоя усладит меня. Не знаю, что ты думаешь? Не знаю, что ты предпримешь?

Если тебе будет <время>, пусти грамотку ко мне прежде твоего выезда из Оренбурга<...>; по моему расчету, это письмо тебя должно непременно там на<йти. Пр>ощай! Будь здоров и счастлив.

3. А. С. ПУШКИНУ

Москва, 1825 г., февраля 18-го.

Опять я в Москве, любезнейший Пушкин, действую снова в суде. Деньги твои возвращаю: Вяземская их не берет, я у себя оставить не могу; она говорит, что получит их от одесского приятеля, я говорю, что они мне не следуют. Приими их обратно,— я никак благоразумнее не умею поступить с ними

Живи счастливо, любезнейший Поэт! Пиши мне послание и уведоми о получении суммы[1].

[*] Между прочим *(фр.)*.

Кюхельбекера здесь нет. Он в деревне у матери и, вероятно, будет у тебя[2].

Много знакомых твоих и любопытных о тебе расспрашивают. Я, по возможности, удовлетворяю их любопытству. Между прочим, И. И. Дмитриев меня забросал вопросами за обедом у Вяземского.

Прощай, будь здоров. Кланяйся няне.

Твой *Иван Пущин.*

На днях тебе пришлю Рылеева произведения, которые должны появиться: «Войнар<овский>» и «Думы»[3].

Мой ад<рес>: у Спаса на Песках, близ Арбата, в доме графини Толстой.

4. А. С. ПУШКИНУ

12 марта <1825 г., Москва>.

Здравствуй, любезнейший Пушкин.

До сих пор жду от тебя ответа и не могу дождаться. Хоть прозой уведомить меня надобно, получил ли ты посланные мною деньги.

Между тем я к тебе с новым гостинцем. Рылеев поручил мне доставить тебе труды его — с покорностию отправляю.

Вяземский был очень болен. Теперь, однако, вышел из опасности: я вижу его довольно часто — и всегда непременно об тебе говорим. Княгиня — большой твой друг.

Хлопотавши здесь по несносному изданию с Селивановским, я, между прочим, узнал его желание сделать второе издание твоих трех поэм, за которые он готов дать тебе 12 тысяч. Подумай и употреби меня, если надобно, посредником между вами[1]. Впрочем, советовал бы также поговорить об этом с петербургскими книгопродавцами, где гораздо лучше издаются книги.

Все тебе желают мильон хорошего. Мы ждем Ломоносова на днях из Парижа.

Твой *Иван Пу<щин>.*

Марта 12. Знамен<ательный> день[2].

5. А. С. ПУШКИНУ

2 апреля <1825 г.>, Москва.

Наконец получил послание твое в прозе, любезный Пушкин![1] Спасибо и за то. За проклятую délicatesse* я с княгиней бранился; она велела сказать тебе, что ты хорошо сделаешь, когда при деньгах пришлешь ей долг, что она отнюдь не хочет тебе его простить. Только желает, чтоб ты тогда ей заплатил, когда сам будешь иметь довольное количество монеты.

Вяземский совсем поправился, начал выезжать. Все тузы московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают *Онегина.*

Мы ждем сюда дипломата Ломоносова, который уже в Петербурге. Будь здоров.

Твой *Иван Пущин.*

Ее высокоблагородию Прасковье Александровне Осиповой. В *Опочке.* Для доставления в село Троегорское. А вас покорно прошу отослать А. С. Пушкину.

6. М. И. ПУЩИНУ

<Москва>, 30 мая <1825 г.>.

Вот Якубович, любезнейший Михайло![1]. Прошу тебя с ним познакомиться или узнать его короче, если с ним прежде был знаком. Ты не узнаешь в нем прежнего шалуна—все это прошло. Грузинский воздух прогнал дурь из головы: он там наблюдал, думал и учился[2]. Впрочем, опять не надобно искать в нем совершенства, как некоторые полагают в Москве. Я всегда с удовольствием с ним видался; рассказы его были для меня занимательны, хотя я любил бы, чтобы он не делал столько восхищений и не употреблял бы высокопарных слов, которые напоминают мне Белоусовича. <...>

Якубовича ты должен познакомить с твоими товарищами, особенно прошу с Назимовым свести его[3]. <...>

---

* деликатность *(фр.).*

Летом, признаюсь, несносно действовать в суде, где, впрочем, дела идут порядочно. <...>

Нарышкин с батальоном стоит в двух верстах от Москвы — его иногда посещаем.

Твой *Иван П.*

7. М. И. ПУЩИНУ

Москва, 26 июля 1825 г.[1]

<...> Я располагаю нынешний год месяца на два поехать в Петербург — кажется, можно сделать эту дебошу после беспрестанных занятий целый год. Теперь у меня чрезвычайно трудное дело на руках. Вяземский знает его — дело о смерти Времева. Тяжело и мудрено судить, всячески стараюсь как можно скорее и умнее кончить, тогда буду спокойнее. <...>

Пиши ко мне: твои известия гораздо интереснее моих — у меня иногда от дел голова так кружится, что я не знаю, чем начать и чем кончить!

8. М. И. ПУЩИНУ

<Москва>, 9 ноября <1825 г.>[1]

В начале декабря я непременно буду — в письме невозможно всего сказать: откровенно признаюсь тебе, что твое удаление из Петербурга для меня больше, чем когда-нибудь, горестно. <...> Я должен буду соображаться с твоими действиями и увидеть, что необходимость заставит предпринять. <...>[2]

9. С. М. СЕМЕНОВУ[1]

<Петербург, 12 декабря 1825 г.>

Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внуше-

но, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову. Прощай, вздохни об нас, если... Успех в руках бога!!

10. ОТЦУ И СЕСТРАМ[1]

17—31 октября <1827 г.>

Здравствуйте, милые мои, я опять, благодаря бога, нашел возможность писать к вам. Может быть, утешат вас минуты, которые с добрым моим товарищем путешествия <...> с тем, который должен будет вам доставить эту тетрадку[2]. О чем? И как спросить?

С каким восхищением я пустился в дорогу, которая, удаляя от вас, сближает. Мои товарищи *Поджио* и *Муханов.* Мы выехали 12 октября, и этот день для меня была еще другая радость — я узнал от фельдъегеря, что Михайло произведен в офицеры.

Я не буду делать никаких вопросов, ибо надеюсь на милость божию, что вы все живы и здоровы,— страшно после столь долгой разлуки спросить. Я молился о вас, и это меня утешало.

Начнем с последнего нашего свидания, которое вечно будет в памяти моей. Вы увидите из нескольких слов, сколько можно быть счастливым и в самом горе. Ах, сколько я вам благодарен, что Annette, что все малютки со мной[3]. Они меня тешили в моей золотой тюрьме, ибо новый комендант[4] на чудо отделал наши казематы. Однако я благодарю бога, что из них выбрался, хотя с цепями должен парадировать по всей России.

Будущее не в нашей воле, и я надеюсь, что как бы ни было со мной — будет лучше крепости, и, верно, вы довольны этой перемене, которую я ждал по вашим посылкам, но признаюсь, что они так долго не исполнялись, что я уже начинал думать, что сапоги и перчатки присланы для утешения моего или по ошибочным уведомлениям, а не для настоящего употребления.

Продолжение впредь, теперь мешают. Я все возможные случаи буду искать, чтобы марать сию тетрадку до Тобольска. Извините, что так дурно пишу,— я восхищаюсь, что

и этим способом могу что-нибудь вам сказать в ожидании казенной переписки, которую, верно, нам позволят иногда; по возможности будем между строками писать лимонным соком...

Adieu. Молю бога о вас.

22-е <октября 1827 г.>.

Мы едем довольно спокойно — фельдъегерь добрый человек[5]. Дорогой я видел в Ладоге Кошкуля на секунду,— он мне дал денег и ни слова не сказал,— видно, боялся, ибо убежал, поцеловавши меня, а я остался с вопросом об вас. Признаюсь, меня это удивило и немного пугает. Твердое упование на бога подкрепляет и утешает. С нетерпением жду известия об вас.— Annette, надеюсь, что ты будешь аккуратна по-прежнему, однако будь осторожна с *лимоном,* ибо Муханов мне сегодня сказал, что уже эта хитрость открыта, и я боюсь, чтобы она нам не повредила. Пиши смело о делах семейных и об друзьях.

Об Муханове уведоми как-нибудь сестру его: она живет в Москве на Пречистенке и замужем за Шаховским, зовут ее Лизавета Александровна. Скажи ей, что брат ее перевезен был из Выборга для присоединения к нам двум — и, слава богу, мы все здоровы.

Первые трое суток мы ехали на телеге, что было довольно беспокойно; теперь сели на сани, и я очень счастлив. Не знаю, как будет далее, а говорят — худа дорога, сделалось очень тепло. Заметь, в какое время нас отправили, но слава богу, что разделались с Шлиссельбургом, где истинная тюрьма. Впрочем, благодаря вашим попечениям и Плуталову я имел бездну пред другими выгод; собственным опытом убедился, что в человеческой душе на всякие случаи есть силы, которые только надо уметь сыскать.

Во-первых, спасибо Eudoxie за «Martyrs»*[6], я ими питался первое время, и Annette за все книги, которые другим также пригодились, хотя *Фридберг* купил мне «Génie de Christianisme»**[7], но более ничего не мог выпросить. Я уверен, что вы его с разных сторон атаковали, но он на этот счет слишком аккуратен. Тюрьму он поправил и много делал нам до-

* «Мучеников» *(фр.).*
** «Дух христианства» *(фр.).*

бра вообще. Спасибо Плуталову — посылки ваши меня много утешали, и я мог иногда с другими делиться. Верно, Варенька Рябинина делала кисет! Кто положил группу? — Малютки очень похожи — особенно Катя имеет необыкновенное выражение участия. Я знаю только, что Catherine родила благополучно дочь[8], но где она — мне неизвестно. Когда-то бог даст мне узнать это все. Опять скажу, что удивляюсь Кошкулю, что он мне ничего не сказал.

Поцелуйте у батюшки и матушки ручки и скажи ему, что я получил от Кошкуля 300 рублей, — для сведения.

Вы не можете себе представить, с каким затруднением я наполняю эти страницы в виду спящего фельдъегеря в каком-нибудь чулане. Он мне обещает через несколько времени побывать у батюшки, прошу, чтобы это осталось тайною, он видел Михайла два раза, расспросите его об нем. Не знаю, где вообразить себе Николая, умел ли он что-нибудь сделать. Я не делаю вопросов, ибо на это нет ни места, ни времени. Из *Шлиссельбурга* не было возможности никак следить, ибо солдаты в ужасной строгости и почти не сходят с острова.

Я слышал, что *Вольховский* воюет с персами; не знаю, правда ли это[9]; мне приятно было узнать, что наш compagnon de malheur* оставлен дышать свободнее в других крепостях[10].

Мне дано на дорогу сверх порционов 50 рублей, а остальные, с лишком тысячу, генерал обещал переслать по почте к иркутскому губернатору[11]. Прошу вас ничего мне не присылать, ибо у нас всего множество; я не хочу, чтобы вы обо мне много хлопотали. Пишите только чаще, этого я жду как нельзя более. Теперь до свиданья. Из Макарьева на Унже я послал поклон к фон Менгденам и Колошиным чрез смотрителя. Спасибо, что вздумалось мне положить в чемодан пестрый кушак; я думаю, что ты, Алексей (это память Колошиной). Еще удастся, может, помарать эти листки. Прощайте, стучат — надо прятать.

25 <октября 1827 г.>.

Завтра две недели, что мы путешествуем. Я имел дорогой две прелестные минуты, о коих я должен с вами побе-

* товарищ по несчастью *(фр.).*

седовать и коими я насладился со всею полнотою моего сердца. В Ярославле Якушкина с матерью имела свидание с мужем, который едет перед нами. Мы приезжаем туда вечером пить чай, вдруг являются к нам <нрзб.> люди и спрашивают, не имеем ли мы в чем-нибудь надобности,— мы набрали табаку и прочих вещей для дороги. Это был человек *Уваровой,* сестры Лунина, которая ждала своего брата *Лунина.* Она пришла в дом и вызвала фельдъегеря; от него узнала, что здесь Муханов, которого она знает, и какими-то судьбами его пустили к ней. Вслед за сим приходят те две и вызывают меня, но как наш командир перепугался и я не хотел, чтоб из этого вышла им какая-нибудь неприятность, то и не пошел в коридор; начал между тем ходить вдоль комнаты, и добрая Якушкина в дверь меня подозвала и начала говорить, спрося, не имею ли я в чем-нибудь надобности и не хочу ли вам писать. Меня это так восхитило, что я бросился целовать руки у этой милой женщины. Мать ее благословила меня образом и обещала непременно скоро с вами повидаться в Петербурге.

Сегодня мы нагнали Якушкина, и он просил, чтоб вы им при случае сказали по получении сего письма, что он здоров, с помощью божьей спокоен. Вообрази, что они, несмотря на все неприятные встречи, живут в Ярославле и снабжают всем, что нужно. Я истинно ее руку расцеловал в эту дверь... Я видел в ней сестру, и это впечатление надолго оставило во мне сладостное воспоминание,— благодарите их.

Второе — в Вятке я узнал, что тут некоторое время жил Горсткин под надзором губернатора, и у него была вся семья, и вот уже несколько времени, что он отправился в деревню.

Еще тут же я узнал, что некто *Медокс,* который 18-ти лет посажен был в Шлиссельбургскую крепость и сидел там 14 лет, теперь в Вятке живет на свободе. Я с ним познакомился в крепости, и там слух носился, что он перемещен был в другую крепость. Это меня мучило[12].

Скоро кончится мое маранье — подвигаемся к Тобольску. Ах! ужели не позволят мне к вам писать... Пусть меня всего лишают, я все перенесу, но за что же вас наказывать. Истинно вам говорю, что для меня и, верно, для нас всех тяжеле преступления огорчение родных. Я чувствую надобность страдать и благодарю бога, что он необыкновенным образом меня укрепляет. Без ропота малейшего все

переношу и будущим не пугаюсь, но за что же вы должны <нрзб.> под этим тяжелым лишением. Вот один ропот, который я непрестанно делаю, и молю бога, чтоб он вас наделил спокойствием, которое одно может победить все волнения жизни.

Для меня эти два года истинно были полезны — я научился терпению, которого у меня недоставало, научился между тем зрело рассуждать.

Я не говорю вам в подробности обо всех ваших милых посылках, ибо нет возможности, но что меня более всего восхитило — это то, что там было распятие и «Торжество евангелия», о коих я именно хотел просить.

Устал, милые мои, извините — мы опять едем на телегах, ибо снег стаял. Остановились на два часа отдохнуть, и я пользуюсь первым сном фельдъегеря, хочется и самому немного прилечь, бока разломило. Бог с вами! До завтра.

26 <октября 1827 г.>.

Сегодня я пробежал вчерашнее писание и восхитился бестолковицею; видно, что это было писано полусонным человеком, который совершенно полагался на ваше снисхождение. Скоро, любезные мои, я должен буду кончить эту работу; надеюсь, однако, докончить все листики.

Последнее наше свидание в Пелле было так скоро и бестолково, что я не успел выйти из ужасной борьбы, которая во мне происходила от радости вас видеть не в крепости и горести расстаться, может быть, навек[13]. Я думаю, вы заметили, что я был очень смешон, хотя и жалок. Хорошо, впрочем, что так удалось свидеться. Якушкин мне говорил, что он видел в Ярославле семью свою в продолжение 17 часов, и также все-таки не успел половины сказать и спросить.

Ну! любезные мои, пора нам начинать опять прощаться, хотя горько, но надо благодарить бога, что и так удалось покалякать. Не знаю только, разберете ли вы это маранье.

Поздравляю Ивана Александровича генерал-лейтенантом[14]. Как мне жаль, что я его не видал. Это был бы задаток на будущее.

Ma chère Catherine, бодрись, прости мне те печали, которые я причиняю вам. Если вы меня любите, вспоминайте обо мне без слез, но думая о тех приятных минутах, кото-

рые мы переживали. Что касается меня, то я надеюсь с помощью божьей перенести все, что меня ожидает. Только о вас я беспокоюсь, потому что вы страдаете из-за меня.

Однако я убежден, что тот, кто меня поддерживает, не оставит и тебя, которая во всех отношениях заслуживает всяких благ. Спасибо, дорогая Катерина, за заботы о моем белье. Аннетта уже говорила мне об этом. Поцелуй милых деточек, подари им от меня «Génie de Christianisme» — pour la jeunesse*. Эта книга им будет полезна, особенно чрез несколько времени. Как я вам благодарен, что у меня две малютки. Катя с таким участием на меня смотрит, что много со слезами некоторого восхищения на нее глядел. Сама собиралась быть в крепости, как-то ей понравится туда, куда мы едем.

Annette! Кто меня поддерживает? Я в Шлиссельбурге сам не свой был, когда получал письмо твое не в субботу, а в воскресенье,— теперь вот с лишком год ни строки, и я, благодаря бога, спокоен, слезно молюсь за вас. Это наше свидание. У Плуталова после смерти нашли вашу записку, но я ее не видал, не знаю, получили ли вы ту, которую он взял от меня и обещал вам показать.

Пожалуйста, Алексей[15], сохраняй свое мужество — авось когда-нибудь еще здесь увидимся.

Пишите ко мне и иногда присылайте книг, если можно, в Нерчинск, на имя коменданта Лепарского. Что-нибудь исторического или религиозно-философского.

Eudoxie, ты добра и, я уверен, готова на всякое пожертвование для <меня>, но прошу тебя не ехать ко мне[16], ибо мы будем все вместе, и вряд ли позволят сестре следовать за братом, ибо, говорят, Чернышевой это отказано[17]. Разлука сердец не разлучит.

Marie, верно, ты делала шнурочек милый для креста?

Никак не умею себе представить, что у вас делается; хотел бы к вам забраться в диванную нечаянно, и сия минута вознаградила бы меня за прошедшее и много укрепила вперед. Истинно говорю вам, вашими молитвами я, грешный, ведь и всегда пользуюсь пред другими разными выгодами. Я немного похудел от долгой жизни без движения — ходил на шести шагах, даже головная и зубная боль, которые меня часто прежде беспокоили, теперь совсем оставили. Я думаю, что это от *доверенности,* которую я перестал оказы-

---

* «Дух христианства» — для юношества *(фр.).*

вать. Смейся, добрая Annette, и растолкуй всем, если не понимают этого.

Варя и *Лиза,* конечно, не забывают меня, а при случае что-нибудь скажут мне о себе.

Посылаю я вам доброго моего *Привалова* или Шувалова, расспросите его об нашем путешествии; он по-своему расскажет вам подробности, которых невозможно описывать.

Егор, я думаю, теперь уже в знать попал, но я уверен, что это не заставит его забыть меня; наша связь выше всех переворотов жизни.

Я надеюсь, что Михайла с вами в переписке. Как я рад, что он опять офицер[18]; напишите, чтобы он ко мне послал грамотку, авось дойдет.

Николя! Как часто я вспоминаю нашу переписку в Алексеевском равелине — с нетерпением жду продолжения[19]. Не знаю, как тебя вообразить теперь: в мундире или во фраке и где? Уверен только, что где бы ты ни был, а будешь то, что от тебя ожидаю; надеюсь также, что когда-нибудь все это узнаю. Бог велик, и с его помощию можно носить в себе те силы, коих прежде и не подозревал. Любезный друг, вот тебе поручение — прошу тебя со свойственною тебе осторожностию приложенную при сем записку вручить своеручно коллежскому асессору Казимиру Казимировичу Рачинскому, который живет у Каменного театра, в доме Гаевского, и служит в иностранной коллегии. Ты с ним познакомься при этом случае. Он может быть вам полезен, ибо он очень знаком с Лавинским. Эта записка от Александра Поджио, который со мной едет.

Прощайте до Тобольска — мы спешим. В знак, что вы получили эту тетрадку, прошу по получении оной в первом письме ко мне сделать крестик — х. Это будет ответом на это бестолковое, но от души набросанное маранье; я надеюсь, что бог поможет ему дойти до вас. Я вам в заключение скажу все, что слышал о нашей будущности,— adieu.

Тобольск, 31 октября <1827 г.>.

Сегодня в 8 часов утра мы переехали Иртыш и увидели на горе Тобольск. День превосходный, зимний, и мы опять в санях. Ясно утро — ясна душа моя. Остановились прямо у губернатора, который восхитил меня своим ласковым

и добрым приемом; говорил с нами очень долго и с чувством. Между прочим, сказал, что *Евгений (точно!)* [20] давно спрашивает обо мне; он обещал сказать ему обо мне сегодня же и сообщить мне от него, что он знает об вас. С нетерпением жду этого, хотя эти известия будут не очень свежи. Я уверен, что это Иван Александрович с ним в переписке и пилит его обо мне. Губернатор велел истопить нам баню, и мы здесь проведем дня два, чтоб немного отдохнуть и собраться с силами на дальнюю дорогу.

Фельдъегерь едет назад с одним жандармом, а другие двое с частным приставом на обывательских лошадях везут нас до Иркутска, где с нас снимут цепи. Мы теперь живем на квартире, и добрый полицмейстер нас угощает, как добрый и попечительный человек. Бог их всех наградит — я только умею быть истинно благодарным и радоваться в душе, что встречаю таких людей. Поблагодарите губернатора чрез архиерея, я у него в несколько минут душу отвел после беспрестанных сцен в дороге с извозчиками, не забывая той, которая была при нашем свидании. Долго буду помнить я эту лестницу!

Теперь надобно вам сообщить то, что я слышал об нашей участи. Может быть, оно не верно, но по крайней мере, как говорят, мы все будем в местечке *Читинская* (найдите на карте — это между Иркутском и Нерчинском). Будем жить четверо в одной комнате и ходить на какую-то работу, но без принуждения большого. Работе всякой я рад, ибо, говорят, не дадут нам ни бумаги, ни пера. Книги, надеюсь, у нас не возьмут, — это ужасно, если лишить сего утешения. Насчет нашей переписки говорят разно, и потому я не знаю, что думать, — утешаюсь надеждой. Буду всячески стараться и законно и беззаконно к вам писать. Удавалось — авось удастся и оттуда.

Лепарский [21] отличный человек, и это заставляет меня думать, что правительство не совсем хочет нас загнать. Я за все благодарю и стараюсь быть всем довольным. Бога ради — будьте спокойны, молитесь обо мне!

Я прошу поцеловать ручку у батюшки и матушки. Если провидению не угодно, чтоб мы здесь увиделись, в чем, впрочем, я не отчаиваюсь, то будем надеяться, что бог, по милосердию своему, соединит нас там, где не будет разлуки. Истинно божеская религия та, которая из надежды сделала добродетель. Обнимите всех добрых друзей.

Егор Антонович часто со мной — особенно в наши праздники. Я в их кругу провожу несколько усладительных минут. Если Малиновский в Питере, то скажите ему от меня что-нибудь. Всем, всем дядюшкам и тетушкам поклоны. Может быть, из Иркутска скажу вам несколько слов — adieu, adieu. Наградите щедро моего *Привалова,* он *добр.*

Письмо Муханова отошли осторожно по адресу. Почтенного священника благодарите, обнимите. Бог с вами.

Извините, я почти готов не посылать этого маранного письма — не знаю, как вы прочтете, но во уважение каторжного моего состояния прошу без церемонии читать и также не сердиться, если впредь получите что-нибудь подобное. К сожалению, не везде мог я иметь перо, которое теперь попало в руки.

Прошу тебя, милая Annette, уведомить меня, что сделалось с бедной *Рылеевой.* Назови ее тетушкой *Кондратьевой.* Я не говорю об Алексее, ибо уверен, что вы все для него сделаете, что можно, и что скоро, получив свободу, будет фельдъегерем и за мной приедет.

11. СЕСТРАМ

<Иркутск>, 13 декабря 1827 г.[1]

Пишу роковое число и, невольно забывая все окружающее меня, переношусь к вам, милым сердцу моему. Много успел со времени разлуки нашей передумать об этих днях — вижу беспристрастно все происшедшее, чувствую в глубине сердца многое дурное, худое, которое не могу себе простить, но какая-то необыкновенная сила покорила, увлекала меня и заглушала обыкновенную мою рассудительность, так что едва ли какое-нибудь сомнение — весьма естественное — приходило на мысль и отклоняло от участия в действии, которое даже я не взял на себя труда совершенно узнать, не только по важности его обдумать. Ни себя оправдывать этим, ни других обвинять я не намерен, но хочу только заметить, что о пагубном 14 декабря не должно решительно судить по тому, что напечатано было для публики.

Будет время когда-нибудь, что несколько пояснится это дело для многих, которые его видят теперь, может быть, с другой точки. Я скажу вам только, что, вникая в глубину души и сердца, я прошу бога просветить меня и указать

мне истину. Е<гор> А<нтонович> принимает только *хорошо* и *худо;* поэтому я обвиняю себя безусловно: то, что мы сделали, пред законом — *худо,* мы преступники, и постигшая нас гибель справедливая. Но, признавая пагубные последствия наших необдуманных начинаний, я не могу не надеяться на того судию, который судит не по тому, что *делают* слабые, слепые смертные, а по тому, что *хотят* они делать. Он нам судия! Он, поддержавший меня поныне, даст мне силу перенести участь, которая в отдаленности кажется ужаснее, нежели вблизи и на самом деле.

Меня здесь мучит только ваше обо мне горе — меня мучит слеза в глазах моего ангела-хранителя, который в ужаснейшую минуту моей жизни забывал о себе, думал еще спасти меня. Простите, Е<гор> А<нтонович>, простите, родные, все то горькое горе, которое я навлек на вас. Не осудите только прежде свидания со мною, не здесь — так там. Да, я буду с вами *там,* я буду с вами, родные, безвинные на сем мире; я буду с вами, Е<гор> А<нтонович>, и вы меня примите опять. Нет, не *опять,* вы меня никогда из сердец ваших не отдалили: я в них; нашу связь, нашу любовь, нашу дружбу ни приговоры светских судилищ, ни 7000 верст — ничто не расторгнет; эта связь простирается и за нынешнюю мою могилу в Чите, за последнюю могилу, которая меня отсюда освободит. Прощайте, родные, прощайте, Е<гор> А<нтонович>. Простите, простите!

12. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Иркутск, 14 декабря 1827 г.

Вот два года, любезнейший и почтенный друг Егор Антонович, что я в последний раз видел вас[1], и — увы! — может быть, в последний раз имею случай сказать вам несколько строк из здешнего тюремного замка, где мы уже более двадцати дней существуем. Трудно и почти невозможно (по крайней мере я не берусь) дать вам отчет на сем листке во всем том, что происходило со мной со времени нашей разлуки,— о 14-м числе надобно бы много говорить, но теперь не место, не время, и потому я хочу только, чтоб дошел до вас листок, который, верно, вы увидите с удовольствием; он скажет вам, как я признателен вам за участие, которое вы оказывали бедным сестрам моим после моего несчастия,— всякая весть о посещениях ваших к ним

была мне в заключении истинным утешением и новым доказательством дружбы вашей, в которой я, впрочем, столько уже уверен, сколько в собственной нескончаемой привязанности моей к вам.— Эти слова между нами не должны казаться сильными и увеличенными — мы не на них основали нашу связь, потому я смело их пишу, зная, что никакая земная причина не нарушит ее; истинно благодарен вам за утешительные строки, которые я от вас имел, и душевно жалею, что не удалось мне после приговора обнять вас и верных друзей моих, которых прошу вас обнять; называть их не нужно — вы их знаете; надеюсь, что расстояние 7 тысяч верст не разлучит сердец наших.

Я часто вспоминаю слова ваши, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Благодаря бога, я во всех положениях довольно спокоен и очень здоров — что бог даст вперед при новом нашем образе жизни в Читинской, что до сих пор от нас под большим секретом,— и потому я заключаю, что должно быть одно из двух: или очень хорошо, или очень дурно.

Тяжело мне быть без известий о семье и о вас всех,— одно сердце может понять, чего ему это стоит; там я найду людей, с которыми я также душою связан,— буду искать рассеяния в физических занятиях, если в них будет какая-нибудь цель; кроме этого, буду читать сколько возможно в комнате, где живут, как говорят, тридцать человек.

Не знаю, как и где вас вообразить; при свидании с родными я узнал, что вы с Фрицом тогда были в Финляндии, и мне кажется, что вы теперь там поселились, но зачем — сам не знаю. Теперь же вся ваша семья пристроена, и Воля, которой теперь большой Владимир, верно, уже государственный человек. Если эти строки дойдут до вас, то я надеюсь, что вы, если только возможно, напишете мне несколько слов. Если родные имеют право писать к нам, то и вам правительство не откажет прибавить несколько слов,— для меня это будет благодеяние.

Где и что с нашими добрыми товарищами? Я слышал только о *Суворочке,* что он воюет с персианами,— не знаю, правда ли это,— да сохранит его бог и вас; доброй моей Марье Яковлевне целую ручку. От души вас обнимаю и желаю всевозможного счастия всему вашему семейству и добрым товарищам. Авось когда-нибудь узнаю что-нибудь о дорогих мне.

Ваш верный *И. П.*

13. И. П. ПУЩИНУ

Иркутск, <декабрь 1827 г.>.

Шесть тысяч верст между нами, но я при всех малых ожиданиях на помощь правительства не теряю терпения и иногда даже питаю какие-то надежды. Нас везут к исполнению приговора; сверх того, как кажется, нам будет какая-то работа, соединенная с заключением в остроге,— следовательно, состояние гораздо худшее простых каторжных, которые хотя и бывают под землей, но имеют случай пользоваться некоторыми обеспечениями за доброе поведение и сверх того помощью добрых людей устроить себе состояние довольно сносное. Между тем как нас правительство не хочет предать каждого своей судьбе и с некоторыми почестями пред другими несчастными (как их здесь довольно справедливо называют), кажется, намерено сделать более несчастными.

Например, ужасно то, что сделали с нашими женами, как теперь уже достоверно мы знаем (желал бы, чтобы это была неправда!). Им позволено и законами, и природными всеми правами быть вместе с мужьями. После приговора им царь позволил ехать в Иркутск, их остановили и потом потребовали необходимым условием быть с мужьями — отречение от дворянства, что, конечно, не остановило сих несчастных женщин; теперь держат их розно с мужьями и позволяют видеться только два раза в неделю на несколько часов, и то при офицере[1]. Признаюсь, что я не беру на себя говорить об этом, а еще более судить; будет, что богу угодно.

Мы выехали из Тобольска 1 ноября на обывательских лошадях, с жандармами и частным приставом, который так добр, что на ночь позволяет нам снимать цепи, что мы делаем с осторожностью, ибо за этими людьми присматривают, и всякое добро может им сделать неприятность.

Мы почти всякую ночь ночевали часов шесть, купили свои повозки, ели превосходную уху из стерлядей или осетрины, которые здесь ничего не стоят,— словом сказать, на пятьдесят коп. мы жили и будем жить весьма роскошно. Говядина от 2 до 5 коп. фунт, хлеб превосходный, и на грош два дня будешь сыт.

В Шлиссельбурге я ужасно сдружился с Николаем Бестужевым, который сидел подле меня, и мы дошли до такого совершенства, что могли говорить через стену знаками и так скоро, что для наших бесед не нужно было лучшего языка. Ах! Когда я буду в возможности показать вам мильон наших хитростей? Я надеюсь, что Annette не откажется повидаться с его матерью и сестрами и сказать им, что мы имели сие утешение и что их Михайло уехал из Шлиссельбурга 29 сентября сего года с первой партиею. Добрый Плуталов несколько раз хотел дать мне прочесть донесение, на котором я только увидел надпись Суворочки, но я не мог его убедить.

При отправлении моем наш офицер сказал, что Фридберг нашел у покойника вашу записку ко мне, но я ее никогда не получал[3].

Прощаясь, я немного надеялся кого-нибудь из вас видеть в Ладоге или по крайней мере найти письмо. Впрочем, мы хорошо сделали, что не приехали, ибо Желдыбин никак бы не позволил свидания. Благодарите Кошкуля, но между тем скажите, что я никак не понимаю, отчего он не мог слова мне сказать об вас.

Я очень часто об этом думал и, верю, был бы ему гораздо благодарнее, нежели за деньги. Правда, что свидание наше было под выстрелом, но можно было найти средство (даже должно было). Надеюсь на бога.

14. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Чита, 14 марта 1830 г.

На днях получил доброе письмо ваше от 8-го генваря, почтенный, дорогой мой друг Егор Антонович! Оно истинно меня утешило и как будто перенесло к вам, где я бывал так счастлив. Спасибо вам за подробный отчет о вашем житье-бытье. Поцелуйте добрую мою М<арью> Я<ковлевну> и всех ваших домашних: их воспоминание обо мне очень дорого для меня; от души всех благодарю.

Об себе я ничего особенного не имею вам сказать, могу только смело вас уверить, что, каково бы ни было мое положение, я буду уметь его твердо переносить и всегда найду в себе такие утешения, которых никакая человеческая

сила не в состоянии меня лишить. Я много уже перенес, и еще больше предстоит в будущем, если богу угодно будет продлить *надрезанную* мою жизнь; но все это я ожидаю, как должно человеку, понимающему причину вещей и непременную их связь с тем, что рано или поздно должно восторжествовать, несмотря на усилия людей — глухих к наставлениям века. Желал бы только, чтоб все, принимающие в судьбе моей участие, не слишком горевали обо мне; их спокойствие меня бы еще более подкрепило.

Не откажите мне, почтенный друг, в возможности чем-нибудь отсюда вам быть полезным в расстроенных ваших обстоятельствах; зная ваши правила, я понимаю, как вам тягостно не предвидеть близкого окончания ваших дел. Пришлите мне какое-нибудь сочинение на французском языке, с которого перевод мог бы быть напечатан на русском и с выгодою продан, — я найду средства скоро и по возможности хорошо его перевести и способ его к вам доставить. Вы этим мне доставите величайшее утешение. У нас здесь много книг прекрасных, но я не знаю, что может лучше разойтись. Vous êtes sur le lieux. Vous devez le savoir bien mieux que moi*.

Может быть, это мечта, но мечта для меня утешительная, сладостная. Объяснений между нами не нужно: я пойму, если вы пришлете мне какую-нибудь книгу и скажете в письме, что она вам нравится, — тогда я прямо за перо с некоторыми добрыми друзьями и спечем вам пирог. Но — увы! — когда еще этот листок до вас долетит и когда получу ответ? Мильон верст!

Человек — странное существо; мне бы хотелось еще от вас получить или, лучше сказать, получать письма, — это первое совершенно меня опять взволновало. Скажите что-нибудь о наших чугунниках[1], об иных я кой-что знаю из газет и по письмам сестер, но этого для меня как-то мало. Вообразите, что от Мясоедова получил год тому назад письмо, — признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее был очень рад.

Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голоса знакомого из-за Байкала. Надеюсь, что есть еще близкие сердца. Но, бога ради, чтоб никто не знал из неосторожных, что я кой-как к вам постучался

* Вы на месте должны знать это гораздо лучше, чем я *(фр.)*.

в дверь — и на минуту перенесся в круг доброй семьи, которую вечно буду любить. Маленькой Annette мильон поцелуев от дяди *Пу*... Еще последняя просьба: не откажите мне помогать советами добрым моим сестрам, если они будут иметь в них нужду при могущей скоро случиться перемене в их семейных делах. Хотя при жизни отца они и не в большом порядке, но я с ужасом думаю, что будет, если он скончается. Бог вам поможет.— Прощайте, будьте счастливы, сколько вам желает искренний друг ваш.

15. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Петровский завод, 29 ноября 1830 г.

Милостивый государь Егор Антонович!

С удовольствием исполняю поручение Ивана Ивановича[1], который просит меня передать вам чувства, возбужденные в нем последним вашим письмом, начатым на Уральском хребте и оконченным в Петербурге. <...>

Он просит сказать доброму своему Егору Антоновичу, что он совершенно ожил, читая незабвенные для него строки, которыми так неожиданно порадован был 10 сего месяца. Письмо ваше служит ему новым доказательством драгоценной и утешительной для него дружбы, которая ни временем, ни обстоятельствами не изменяется. Конечно, он никогда в ней не сомневался, но тем не менее убедиться в ней приятно. Сладко жить в памяти добрых людей. По крайней мере вы узнаете, что верный вам прежний Jeannot все тот же; что он не охлажден тюрьмою, с тою же живостью чувствует, как и прежде, и сердцем отдохнул при мысли, что добрый его старый директор с высот Уральских отыскивал отдаленное его жилище и думу о нем думал. Спасибо вам, почтенный человек! Верьте, что чувства ваши достойным образом разделяются и что понятен стон благородной вашей души, скорбящей о бедствиях человечества.

В первом вашем письме вы изложили весь ваш быт и сделали его как бы вновь причастным семейному вашему кругу. К сожалению, он не может вам дать того же отчета — жизнь его бездейственная, однообразная! Живет потому, что провидению угодно, чтоб он жил; без сего убеждения с трудом бы понял, к чему ведет теперешнее его существование. Впрочем, не огорчайтесь: человек, когда

это нужно, находит в себе те силы, которые и не подозревал; он собственным опытом убедился в сей истине и благодарит бога. Провидение посетило бедствием Россию; ужасная болезнь свирепствует. Плачевное сие известие из отечества сильно потрясло наши сердца...[2]

Смерть Саврасова его поразила; в душе пожелал ему светлой вечности и сказал с вами: ему теперь легче! Не стало одного доброго товарища, который кому-нибудь мог быть полезен, а он жив и здоров. Как это все понять? <...>

Дайте ему весточку о лицейских его товарищах; о некоторых из них он ничего не слыхал с самой разлуки с вами; всех их помнит и любит по-прежнему. <...>

Вам преданная *А. Розен.*

16. А. И. ПУЩИНОЙ

Петровский завод, 29 ноября 1830 г.

В письме вашем от 28 сентября, которое получено братцем вашим в самый Екатеринин день, вы между прочим просите кого-нибудь из нас описать вам новое наше жилище. По поручению Ивана Ивановича с удовольствием исполняю ваше желание, любезнейшая Анна Ивановна[1], и постараюсь, сколько могу, дать вам ясное понятие о столь занимательной для вас тюрьме.

Она построена четвероугольником, но до сих пор казематы занимают только три фаса, четвертый же обнесен частоколом. Здание сие построено на конце заводского селения по другую сторону речки, на ровном месте, примыкающем к горе. Ворота сделаны в среднем фасе, возле оных находится гауптвахта, мимо которой надобно проходить. Входя во двор, против самого входа вы видите особое строение, где находится кухня с большой комнатой для обеда и с разными кладовыми для запасов. Кругом видите вы отдельные дворы, обнесенные также частоколом, куда выходят окна коридора; коридор разделен на 12 отделений, шириною он в три аршина; в каждом отделении по пяти номеров, а в некоторых и шесть — всего 64 номера. Против каждого окошка в коридоре находится дверь, ведущая в комнату и над которою прорублено другое окно, величиною более квадратного аршина, и оно-то должно освещать каземат, имеющий восемь аршин глубины, шесть ширины

и пять вышины. Освещение сие, конечно, довольно скромно и не позволяет заниматься при самой ясной погоде иначе, как с открытою дверью. Тот фас, где братец ваш и мы живем, особенно темен, потому что солнечный луч никогда к нам не доходит и, следовательно, окна в коридоре очень сильно замерзают при больших морозах.

Иван Иванович занимает в третьем отделении 14-й номер, а мы во втором 11-й. Иван Иванович очень спокойно и удобно убрал свою комнату. В ней играет свою роль ковер, который наконец прибыл сюда несколько дней тому назад с моими вещами. Стол, на котором он занимается, украшен рукоделием добрых его сестриц. Тут особенно отличается, добрая, несравненная Annette, чудесная ваша табачница, шитая бисером. Иван Иванович в восхищении от нее и не наглядится. Чудесное сие произведение доставлено ему на прошедшей неделе вместе с девятью фунтами табаку, шестью салфетками, двумя парами шитых подтяжек и лексиконом Ольдекопа[2]. Он знает, кому из вас чем из этих вещей он обязан, и вполне каждого, в свою очередь, благодарит за не заслуженную им дружбу. Как выразить вам то, что братец ваш препоручает вам написать о огромном вашем предприятии — вышить ему покрышку на диван и на стулья. Вы можете быть уверены, что это будет для него больше нежели приятно; он убежден, что и вам утешительно для него работать, но мучит его та мысль, что труд сей ужасно тяготит ваше зрение и может ему повредить. Бога ради, не принуждайте себя; прекратить этой работы вы, верно, не согласитесь — братец ваш и не смеет этого просить, но убеждает вас не торопиться для него со вредом для ваших глаз, которых сохранение ему дороже своих собственных.

Евгений не умеет довольно изъяснить вам признательность за доброе ваше в нем участие; он братскими чувствами вам за это платит, — к сожалению, ничем другим не может доказывать вам своей благодарности душевной. Вы беспокоитесь, как видно по письму вашему, о здоровье доброй Елизаветы Петровны, тогда как она теперь совершенным здоровьем наслаждается; вы можете представить, как эта чудесная перемена с самого прихода в Петровское нас радует. Выехала из Читы больная, а приехала сюда здоровою — необыкновенная милость божия. Сама она к вам не пишет, потому что теперь вы получаете через меня известия о братце, и сверх того он думает, что вы не совсем бы-

ли довольны ею, когда она исполняла должность секретаря при Иване Ивановиче. Впрочем, придет время, когда она опять будет писать,— через год и восемь с половиною месяцев мы поедем на поселение.

Иван Иванович здоров, бодр и весел. Вас всех братски обнимает, у батюшки и матушки целует руки. Рад от вас слышать, что Михаил Иванович умел сохранить твердость духа после всех испытанных им бедствий. Всем помнящим его посылает дружеский поклон, особенно единственному человеку Суворочке. <...>

Вам преданная
А. Розен.

17. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Петровский завод, 5 февраля 1832 г.

Милостивый государь Егор Антонович[1].

<...> Грустно ему было читать в письме вашем о последнем 19 октября[2]. Прискорбно ему, что этот день уже так мало соединяет людей около старого директора. Передайте дружеский поклон Ивана Ивановича всем верным союзу дружбы; охладевшим попеняйте. Для него, собственно, этот день связан с незабвенными воспоминаниями; он его чтит ежегодно памятью о всех старых товарищах, старается, сколько возможно, живее представить себе быт и круг действия каждого из них. Вы согласитесь, что это довольно трудно после столь продолжительной и, вероятно, вечной разлуки.— Воображение дополняет недостаток существенности. При этом случае Иван Иванович просит напомнить вам его просьбу, о которой, по поручению его, писала уже к вам: он желал бы иметь от вас несколько слов о каждом из его лицейских товарищей. Вы, верно, не откажете исполнить когда-нибудь его желание,— это принесет ему истинное удовольствие.

Про себя он ничего не может вам сказать особенного. Здоровье его постоянно хорошо,— это не безделица при его образе жизни. Время, в котором нет недостатка, он старается сократить всякого рода занятиями. Происшествий для него нет — один день как другой; следовательно, рассказывать ровно нечего. Благодаря довольно счастливому

его нраву, он умеет найтись и в своем теперешнем положении и переносить его терпеливо. В минуты и часы, когда сгрустнется, он призывает на помощь рассудок и утешается тем, что всему есть конец! Так проходят дни, месяцы и годы. <...>

А. Розен.

18. С. Г. ВОЛКОНСКОМУ

<Петровский завод, 11 марта 1832 г.>

Давно я не имел такого приятного, успокоительного чувства. Сегодня разбудил меня Поджио с радостной вестью о *сыне*[1]. Между нами не нужны, я надеюсь, общие поздравления. Поцелуйте за меня ручку у Марьи Николаевны — поцелуйте малютку. Скоро надеюсь сам увидеть его. Я рад, что угадал: уверен был, что родится сын; почему? — меня не спрашивайте.

Ваш верный *И. Пущин.*

В<ладимир> И<ванович> по-своему радуется вместе со мной и поздравляет вас с новым либералом. Однако картина удачно была послана?

Приписка А. В. Поджио:

Dieu soit loué! Nous prenons du café avec Poushine et nous nous entretenons de l'heureuse issue avec toute la joie possible. Que Dieu vous soit en aide!*

19. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

<Петровский завод>, 5 октября 1834 г.

Милостивый государь Егор Антонович[1].

Вместе с моим письмом вы получите *6 видов:* они вас познакомят с местами, где был и где теперь живет преданный вам человек. Иван Иванович уверен, что вы с удовольствием увидите места, где он работал; второй и третий вид изображают овраг и улицу на Нерчинскую дорогу, где летом производилась работа. *Ключи* и *Укырь* дадут вам понятие о забайкальской природе. В бурятской деревне, во время

---

* Слава богу! Пьем с Пущиным кофе и с огромной радостью беседуем о счастливом исходе. Бог в помощь! *(фр.)*

перехода из Читы в *Петровский завод,* поставлены были юрты. Увидя их, вы можете себе представить все ночлеги в продолжение дороги. Наконец, последний вид взят с переднего фаса тюрьмы на здешний завод. Я выставила числа, когда Ив<ан> Ив<анович> приехал в Читу, в котором месте когда был и прибытие его сюда[2]. Вы, верно, найдете местечко в галерее ваших воспоминаний и для этих сибирских видов. Простите, что в них мало искусства, но я вам ручаюсь за верность. Примите их с тем чувством, с каким они к вам посылаются: тогда, верно, они доставят нам некоторое утешение. <...>

Сказать же о себе что-нибудь особенного ему нечего. Вот скоро девять лет, что он живет, исполняя на практике истину, которую вы часто ему повторяли: немудрено жить, когда хорошо; умей жить, когда худо. Откровенно признается вам, что не так легко приводить в исполнение это правило, но тем не менее находит в себе силы переносить настоящее свое положение и надеется и впредь не ослабеть духом. В единообразной его жизни нет происшествий: дружба некоторых из его товарищей, попечения родных, ваши письма много-много доставляют ему приятных минут и заставляют иногда, не заглядывая вдаль, наслаждаться настоящим. В прошедшем часто он встречает вас и все доброе ваше семейство...

Ив<ан> Ив<анович> радуется успехам по службе некоторых из его лицейских друзей и желает им всего радостного. Его поразило сильно известие о смерти Семена Семеновича[3]. Вы же слова не говорите о вдове его и детях. Участь их беспокоит Ив<ана> Ив<ановича>, и вы, верно, напишете что-нибудь об них.

Ив<ан> Ив<анович> искренно желает вам всего хорошего, дружески жмет вам руку и поручает передать его поклон всем вашим. Он уверен, что в нынешнем месяце, 19 числа, соберутся у вас или где-нибудь лицейские. Вы им скажите, что Ив<ан> Ив<анович>, несмотря на отдаление, мысленно в вашем кругу: он убежден, что, не дожидаясь этого письма, вы уверили всех, что он как бы слышит ваши беседы этого дня и что они находят верный отголосок в его сердце. Еще раз обнимает он вас и надеется, что вы на досуге порадуете его письмом, которое для него всегда желанный гость. <...>

Совершенно вам преданная
Е. Трубецкая.

20. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

7 февраля 1836 г. Петровский завод.

На этой неделе я получил письмо ваше, почтенный друг Егор Антонович[1]. Я очень порадовался, что оно от нескольких чисел. Первые строки навели на меня уныние; я никак не умею себе представить вас больным и с истинным утешением на той же странице увиделся с вами несколько дней после, когда ваше расположение уже опять напомнило мне того Егора Антоновича, который весельем своим умел радовать и других. Вы здоровы, и все вокруг вас чувствуют облегчение; будьте уверены, что я разделяю с семейством вашим приятность этого чувства. Мне памятно, как трудно с вами, когда вы нездоровы. <...>

Из письма Annette вы давно узнали, что я получил *шесть лет*[2] еще в декабре месяце; вы видели мою благодарность, повторять ее не буду. Вы давно меня знаете. Напрасно вы думаете, что я не мог услышать тех напевов, которые некогда соединяли нас. Добрые мои товарищи нашли возможность доставить мне приятные минуты. Они не поскучали разобрать всю музыку и спели. Н<иколай> Крюков заменил Малиновского и совершенно превзошел его искусством и голосом. Яковлев нашел соперника в Тютчеве и Свистунове. Вы спросите, где же взялись сопрано и альт? На это скромность доброго моего секретаря не позволяет мне сказать то, что бы я желал и что, поистине, я принимаю за не заслуженное мною внимание*. Вы согласитесь, почтенный друг, что эти звуки здесь имели для меня своего рода торжественность; настоящее с прошедшим необыкновенным образом сливалось; согласитесь также, что тюрьма имеет свою поэзию, счастлив тот, кто ее понимает. Вы скажете моим старым товарищам лицейским, что мысль о них всегда мне близка и что десять лет разлуки, а с иными и более, нисколько не изменили чувств к ним. Я не разлучаюсь, вопреки обстоятельствам, с теми, которые верны своему призванию и прежней нашей дружбе. Вы лучше всякого другого можете судить об искренности такой привязанно-

---

* Как видите, речь идет обо мне и Камилле Ивашевой, и должна вас заверить, что это делалось с живым удовольствием. *(Прим. М. Н. Волконской,* на фр. яз.)

сти. Кто, как Вы, после стольких лет вспомнит человека, которому мимоходом сделал столько добра, тот не понимает, чтобы время имело влияние на чувства, которые однажды потрясли душу. Я более Вас могу ценить это постоянство сердца, я окружен многими, которых оставили и близкие, и родные; они вместе со мною наслаждаются Вашими письмами, и чувства Ваши должны быть очень истинны, чтобы им, несмотря на собственное горе, доставить утешение и некоторым образом помирить с человечеством. Говоря Вам правду, я как будто упрекаю других, но это невольное чувство участия к другим при мысли Вашей дружбы ко мне. Теперь я обращаюсь к издателю «Земледельческой газеты»[3]. Мне кажется, что он шутил надо мною, желая, чтоб я разводил здесь картофель. Это немного мудрено, потому что почти со времени Елисаветы этот овощ во всеобщем употреблении между жителями средней полосы Сибири. Здесь, как и в России, у всех крестьян огороды очень хороши, а в некоторых местах разводят картофель даже в поле. Я не говорю о нашем Петровском, здесь ничто не созревает по особенным причинам местности, и картофель и огурцы почти всякий год погибают в июне от мороза. В окрестности же, в расстоянии 30 верст, по всем деревням все прекрасно родится, и оттуда нас снабжают всем. Впрочем, не Вы одни нападаете на нашу Сибирь, для которой многое можно сделать, но не в этом отношении. Профессор Гугуль недавно издал книгу и говорит, что в Камчатке картофель немногим более горошины[4]. Это обидно, там со времени Екатерины он произрастает и достигает всегда обыкновенной величины. Вообще о нашем климате, которого не за что, впрочем, хвалить, можно сказать, что растительность так быстра и сильна, что у нас в Чите в одно лето Amarantas Melancolice вырастает в сажень в высоту. Вы извините, что я вступился за честь Сибири. Я бы больше Вам сказал, но для этого надобно иметь положительные и точные сведения, которых за стенами тюрьмы собрать мудрено; прошу Вас только верить мне на слово и иметь лучшее мнение о состоянии нашего края.

Отчего Вы думаете, что мы не читаем Вашей газеты? Я уже Вам писал, что мы ее получаем и всегда с особенным вниманием следим за всеми улучшениями и нововведени-

ями. Для Вас, я очень понимаю, чрезвычайно приятно войти в сношение с полезной целью с добрыми нашими крестьянами. Вы любите этот народ и, верно, окажете ему пользу Вашими агрономическими наставлениями.

Я так заговорился, что забыл поблагодарить Вас за семена, которые, впрочем, еще у моей сестрицы, Анны Ивановны. Я приложу все возможные старания, чтобы вырастить их. <...> Вы будете иметь от Анны известие о ходе наших трудов; я говорю наших, потому что я искусен только на произращение салата, нежнейшие растения имеют попечителей искусных, ученых и опытных. Я только пользуюсь их трудами[5] <...>.

21. М. И. МАЛИНОВСКОЙ

Петровский завод, 30 октября 1837 г.[1]

<...> Вы увлечены, потому и даете волю вашему воображению. Не понимаю, откуда ваша уверенность и ожидание собственноручных моих писем[2]. Напрасно вы ждете из Петербурга от сестер что-нибудь в этом роде. Кажется, вам еще надобно отложить ожидание. Напрасно вы думаете, что мною обладает какое-нибудь нетерпенье. Благодаря бога, до сих пор не имел случая на себя жаловаться и сам столько лет находил в себе силы, то, без сомнения, теперь не время беспокоиться о том, что рано или поздно должно со мной случиться. Вы воображаете, что я уже переменил место. Конечно, придет время, когда меня повезут на поселение, и вижу в этом одно утешение, что сам возьму перо в руки и буду вам писать то, что теперь диктую. <...>

22. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Петровск<ий завод>, 4 декабря 1837 г.[1]

В последних днях прошлого месяца вечно юный ваш Jeannot получил доброе июльское письмо старого своего директора. Почтенный друг Егор Антонович, кажется, вы нарочно медлили отправлением вашей грамотки, чтоб она

дошла до меня около того времени, когда чувства и мысли мои больше обыкновенного с вами и с товарищами первых моих лет. Сердечно благодарю вас за верную ко мне дружбу и не берусь выражать моей признательности; вы меня знаете и не потребуете уверений, которые не передаются бумаге[2].

Поговорим теперь, как мы, бывало, говаривали в вашем кабинете: вы в больших креслах, я возле вас. Это воспоминание позволит мне найти прежнюю откровенность. Признаюсь, она не совсем согласна с теперешним способом наших сообщений; но, проникнутый последним вашим письмом, я хочу вызвать ее из памятной мне старины. Таким образом, мои мысли вслух как будто останутся совершенно между мною и вами, и вы найдете в сем ответ на молчный ваш вопрос, который, как вы можете себе представить, поразил меня неожиданностью. Дружба и доверенность ваша заставляют меня коснуться предмета щекотливого, доселе совершенно чуждого нашей беседы.

Вероятно, моя Annette давно, именем моим, поздравила вас с женитьбой Воли; я искренно пожелал счастья вашему сыну, узнавши об его намерении из письма сестры. Сближение ваше с новыми родными напомнило вам сибирского вашего друга. Кажется, вы часто от меня слыхали, что я радушно был принят в том семействе и что я всегда платил им той же дружбой[3].

Появление ваше в их кругу, известность моих чувств к вам, конечно, могли обратить мысль и разговор на того, который вместе с другими своими сослуживцами некогда посещал гостеприимную Пустынку и сохранил благодарное чувство за внимание добрых хозяев. Вот мое прошедшее: все в нем естественно и ничего нет необыкновенного. Как же вы хотите, чтоб я позволил себе мечты и вообразил, что могу упрочить чье-либо счастие и что память обо мне возбуждает что-нибудь, кроме сердечного сострадания к теперешнему моему положению, не совсем обыкновенному?

Что вы сами скажете про человека, понимающего все лишения, неразлучные с настоящим и будущим его существованием, если он решится принять великодушную жертву, на которую так способно возвышенное сердце женщины? И где же взять те убеждения, без которых не созидается ничего прочного? Все эти вопросы доказывают вам, по-

чтенный друг, что я на добрые ваши слова обращаю взор не шуточный, но исполненный той же любви и доверенности, которые вы мне показываете. Во всем, что вы говорите, я вижу с утешением заботливость вашу о моей будущности; тем более мне бы хотелось, чтоб вы хорошенько взвесили причины, которые заставляют меня как будто вам противоречить, и чтоб вы согласились со мною, что человек, избравший путь довольно трудный, должен рассуждать не одним сердцем, чтоб без упрека идти по нем до конца. Так я всегда думаю, и потому мысль моя никогда не останавливалась на возможности супружества для меня. Ни лета мои, ни положение, ни домашние обстоятельства не позволяют мне искать чего-нибудь нового, приятного, когда все около меня загадочно и неопределенно.

Добрый друг мой, сколько мог, я вам, одним вам, высказал мои мысли по совести; вы меня поймете. Между тем позвольте мне думать, что одно письменное участие ваше представило вам нечто в мою пользу; в заключение скажу вам, что если б и могли существовать те чувства, которые вы стараетесь угадать, то и тогда мне только остается в молчании благоговеть пред ними, не имея права, даже простым изъявлением благодарности, вызывать на такую решимость, которой вся ответственность на мне. Таков приговор судьбы моей.

Об одном прошу вас: не обвиняйте меня в непризнательности к попечительной вашей дружбе. Поистине не заслуживаю такого упрека, и мне кажется, что если б я иначе думал и отвечал вам, то вы могли бы считать меня легкомысленным и недостойным той доверенности, которою я дорожу и которую стараюсь оправдать добросовестностию.

Сегодня я без пощады заставлю вас мною заниматься. Кончив разговор дельный, хочется немного поболтать с вами о старине нашей. Как водится, 19 октября я был с вами, только еще не знаю, где и кто из наших вас окружал. Тут у меня обыкновенно рассказы, которые и здесь между товарищами находят сочувствие. Вероятно, от вас услышу подробности этого дня. Хотелось бы подать голос бедному Вильгельму, он после десятилетнего одиночного заключения поселен в Баргузине и там женился[4]; вы об нем можете узнать от его сестры. Верно, мысли наши встретились на разных точках Сибири; некоторые воспоминания не старе-

ют, а укрепляются временем. Лицей в том числе для меня. <...>

Только что хочу благодарить вас за памятные листки о последних минутах поэта-товарища[5], как узнаю из газет, что нашего Илличевского не стало[6]. Еще крест в наших рядах, еще преждевременная могила! Вы скажите, что и как? О Пушкине давно я глубоко погрустил; в «Современнике» прочел письмо Жуковского; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нем, читая Спасского и Даля[7]. Мы здесь очень скоро узнали о смерти Пушкина, и в Сибири даже, кого могла она поразить как потеря общественная.

Прощайте, добрый друг мой, большое спасибо вам за то, что вы, несмотря на ваши занятия, уделили мне минутку дорогого вашего времени. Надобно вас пощадить. Вы там не так свободны, как я свободен в своей тюрьме. Совсем заболтался, по крайней мере вы во всем этом узнаете меня, верного вам друга, а мне только и надобно. В этом случае я ужасный эгоист, но вы, может быть, также заметите, что это чувство при некоторых обстоятельствах не позволяет мне перейти должных границ. Дружески жму вашу руку. Сестра моя доставит вам это письмо.

23. И. В. МАЛИНОВСКОМУ[1]

<Петровский завод>, 20 июня 1838 г.

В день воспоминаний лицейских я получил письмо твое от 8 апреля, любезный друг Малиновский; ты, верно, не забыл 9 июня[2] и, глядя на чугунное кольцо, которому минуло 21 год, мысленно соединился со всеми товарищами, друзьями нашей юности. Теперь мы можем с полным убеждением повторить слова Дельвига, который тогда нам провещал: *«Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас»*[3]. Уверенность в дружбе неизменной смягчает горечь непреложного исполнения этого пророчества. Мы розно и между тем вместе; взаимность чувств не знает разлуки. Побеседовал я мысленно с прежними однокашниками, почтил благодарностию тех, которые попечениями услаждали первые годы нашей жизни, и в душе пожелал вам и им всем радостных ощущений. С грустью посетил <места>, где покоится прах людей, нам близких и невозвратимых.

Ты меня извинишь, любезный друг, что я, может быть, невольным образом передаю тебе мрачность моих мыслей. Самые приятные впечатления в воспоминании имеют этот отпечаток. И кто ж меня поймет, если не ты, добрый Иван? Прошу тебя на досуге поговорить мне побольше и поподробнее о наших чугунниках. Некоторые из них для меня совершенно исчезли, а все хочется знать. Года два тому назад почтенный Егор Антонович писал мне обо всех по *алфавитному списку,* с тех пор уже много перемен. Изредка утешает меня старый наш директор необыкновенно милыми письмами. От искреннего сердца ему спасибо. Хлопоты домашние и занятия не мешают ему радовать меня; надобно быть здесь, чтобы вполне оценить дружеское внимание, за которое истинно не умею быть довольно благодарным. <...>

24. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

Петровский завод, 2 марта 1839 г.[1]

Спасибо тебе, друг Иван, за отчет обо всех, с кем ты дорогой повидался, и за сердечный отзыв о всей нашей семье. Во всем узнаю тебя и радуюсь, что мы после стольких лет разлуки друг друга понимаем, как будто не расставались. Это меня утешает за нас обоих. В одном только я не совсем доволен тобою — ты не сказал мне подробно обо всех наших лицейских, или мне это так кажется, потому что хотелось бы узнать многое, все. <...> Верно, ты познакомился у Егора Антоновича с новыми родными сына его Владимира — словечко и об них.

Из Каменки я ожидаю ваших вестей, как вы устроились двумя семьями? Кажется, и Вольховский теперь сельский житель и, вероятно, сахаровар. Михайло мой весь в сладости, только об этом и говорит[2]. <...>

Уже с поселения почаще буду всех навещать моими посланиями, ты и Марья будете иметь свою очередь; прошу только не поскучать многоречием и большей частью пустословием моим. Между тем, по старой памяти, могу тебе заметить, что ты *не знаешь внутренних происшествий*[3]. Поклон твой Митькову остается при тебе по очень хорошей причине: я не могу передать его в Красноярск, где он с 1836 года. Все здешние твои знакомые тебя приветствуют. <...>

25. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

Петровский завод, 19 мая 1839 г.[1]

Ты скажешь, любезный друг Иван, доброму нашему Суворочке, что я с истинным участием порадовался за него, прочитавши отставку бригадного командира. Михайла мне говорит об его намерениях хозяйственных. Желаю ему и вам полного успеха. Теперь или, может быть, раньше у вас погостили эстландские переселенцы[2]. Ты можешь себе представить, с каким восторгом мы здесь получили известие о позволении Розену жить близ Ревеля. Я этому рад более, нежели бы он остался в Каменке. Эта мысль, может быть, вам не понравится; но вы со мной согласитесь, что, живши там, можно иногда быть и в Каменке, а в том краю несравненно более средств к воспитанию детей. В отставке Розен не откажется иметь помощь, это дает ему способы более радеть о нравственном образовании. <...>

Через два месяца буду сам передавать вам мои мысли. Это первая приятная минута нового, ожидающего меня положения. Будьте снисходительны ко всему вздору, который я вам буду говорить после принужденного 13-летнего молчания. <...>

26. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Иркутск, 16—17 августа <1839 г.>

Ты удивляешься, друг Оболенский, что до сих пор я не говорю тебе словечка: надеюсь с полною уверенностию, что ты меня не упрекаешь в чем-нибудь мне несвойственном. Без объяснений скажу тебе, добрый Евгений, что ты меня истинно утешил твоими двумя листками: первый я получил в Чертовкине, а второй в Иркутске. Душевно рад, что ты сколько-нибудь примирился с мыслью об Етанце, но все-таки желал бы тебя из нее извести. Сделать ты должен это сам: стоит только тебе написать письмо к генерал-губернатору, и перевод последует без малейшего затруднения. К<атерина> Ивановна говорила с Пятницким и поручает мне тебе это сказать: сама она сегодня не пишет при

всем желании, потому что Володя не на шутку хворает,— у них руки упали; ты не будешь ее винить.

Начнем с начала: приехал я с Поджио и Спиридовым на одной лодке с комендантом, плац-майором и Барановым в г. Иркутск 9-го числа[1]. Мы первые вошли в столицу Сибири, ужасно грязную по случаю ежедневных дождей. Слава богу, что избегли этого горя на море, где мы бечевой шли пять суток[2]. Скучно было, но ничего неприятного не случилось.

Поместили нас в общественном доме. В тот же вечер явились К<аролина> Карл<овна> с Нонушкой и Марья Николаевна с Мишей. Объятия и проч., как ты можешь себе представить. Радостно было мне найти прежнее неизменное чувство доброй моей кумушки[3]. Миша вырос и узнал меня совершенно — мальчишка хоть куда: смел, говорлив, весел.

На другой день вечером я отправился в Урик. Провел там в беспрестанной болтовне два дня, и теперь я в городе. Насчет *Гымыля*[4] моего все усердно расхлопотались, и я уже был переведен в деревню Грановщину близ Урика, как в воскресенье с почтою пришло разрешение о *Туринске*.

Все наши по просьбам родных помещены, куда там просили, кроме Трубецких, Юшневских и Артамона[5]. Они остались на местах известного тебе первого расписания. Не понимаю, что это значит, вероятно, с почтою будет разрешение. Если Барятинского можно было поместить в Тобольск, почему же не быть там Трубецким?! В Красноярск Давыдов и Спиридов: следовательно, нет затруднения насчет губернских городов.

Вообще все здесь хорошо приняты от властей — учтиво и снисходительно: мы их не видим и никакого надзора за нами нет. Я встретил Пятницкого у Кар<олины> Карловны и доволен его обращением.

Вообрази, любезный Оболенский, что до сих пор еще не писал домой,— голова кругом, и ждал, что им сказать насчет места моего поселения. Здесь нашел письмо ото всех Малиновских; пишут, что Розенб<ерг> у них пробыл 5-ть дней и встретился там с семейством Розена. <...>

Не могу тебе дать отчета в моих новых ощущениях: большой беспорядок в мыслях до сих пор и жизнь кочевая. На днях я переехал к ксендзу Шейдевичу; от него, оставив вещи, отправлюсь в Урик пожить и полечиться; там пробуду дней десять и к 1 сентябрю отправлюсь в дальний путь;

даст бог, доберусь до места в месяц, а что дальше — не знаю.

Грустно подумать, что мы расстались до неизвестного времени; твоя деревня, как говорится, мне шибко не нравится; не смею предлагать тебе Туринска, где, может быть, тоже тоска, но лучше бы вместе доживать век. По крайней мере устройся так, чтобы быть с Трубецкими: они душевно этого желают. Ребиндер хотел на этот счет поговорить с твоей сестрой,— пожалуйста, не упрямься.

Кучевский поселен в *Тугутуе,* славном селении по Якутскому тракту, в 60 верстах от Иркутска. Все хвалят его деревню, об нем мне много рассказывала толстая хозяйка в думном доме, где они до нас с Быстрицким проживали. Кажется, он совершенно здоров и не унывает. Быстрицкий помещен в 8 верстах от Урика.

Что тебе сказать для полного понятия моей жизни в Иркутске? — Я редко дома, навещаю женатых почти всякий день, видаю отца Василья и Медведникова, купца. Это знакомство во всех отношениях приятное; у них живет племянница Каролины Карловны, премиленькая девушка[6],— и все они полюбили необыкновенно твоего друга, не знаю за что! Я начал с того, что у них поселился с 9 часов утра до 5 вечера, на первое знакомство. Теперь редкий день не забегу на минуту; беда только, что всякий день дожди и надобно от грязи спасаться на извозчике: это стоит денег — а их немного. Спасибо, что ты мне дал двести рублей, без них я бы пропал; да и теперь еще не знаю, как устроюсь: покупаю казанскую телегу, и немного останется капитала — разве пока здесь подойдут капиталы срочные. Ни Артамон, ни Вадковский не получили денег — я уверен был, что мы их найдем в Иркутске для погашения долгов, в которых я как будто участвую. Странное дело! <...>

Сделай дружбу, уведомь Глебова, что Муханов постоянно в Братском остроге. Я обещал несчастному жителю *Кабанска* написать прямо, но истинно не знаю, что ему сказать, кроме этого уведомления. Насчет возможности уплатить его долг 500 р. я не знаю никакого средства: все без денег. К тому же Трубецкой в Чертовкине ему дал 200 рублей. Не стану, друг Оболенский, передавать тебе впечатление, которое на меня произвел Глебов, это невыразимо жестоко: главное, мне кажется, что он никак не хочет выйти из бездны, в которую погряз. Все-таки советуй ему как-нибудь перебраться к Муханову, его присутствие в Кабанском

нисколько не прибавляет возможности уплатить долг: может быть, Муханов найдет средство его удовлетворить.— Поджио и все наши тебе сердечно кланяются. <...>

17 августа

Вчера вечером поздно возвратился домой, не успел сказать тебе, любезный друг, слова. Был у преосвященного, он обещал освободить Иакинфа[7], но не наверное. Просидел у Юшневских вечер. Днем сделал покупку, казанскую телегу за 125 рублей,— кажется, она довезет меня благополучно с моим хламом. Может быть, можно бы и дешевле приискать колесницу, но тоска ходить — все внимание обращено на карман, приходящий в пустоту.

Сегодня после обеда отправляюсь погостить и полечить ногу в Урик, там останусь дней десять — и 1 сентября в путь. Пора, друг Оболенский, обнять тебя — до другого письма: не знаю, удастся ли написать к тебе прежде Красноярска. Будь здоров, скажи мне побольше о себе и обо всем, что у тебя делается. У меня голова кругом идет, не могу еще привыкнуть к бесказематной жизни. Наконец, финансы требуют скорейшего выезда из города — что день, то расход,— трудно, брат, нам справляться с практической жизнью, мы совершенно от нее отстали.

Прощай — разбирай как умеешь мою нескладицу — мне бы лучше было с тобой говорить, нежели переписываться. Что ж делать, так судьбе угодно, а наше дело уметь с нею мириться. Надеюсь, что у тебя на душе все благополучно. Нетерпеливо жду известия от тебя с места.

Поджио недоволен Усть-Кудой — и дом и все ему не нравится. Денежные дела в плохом состоянии. Тоска об этом говорить. Прощай, друг,— сердечно жму тебе руку. <...>

27. М. И. и И. В. МАЛИНОВСКИМ

Иркутск, 25 августа 1839 г.[1]

<...> Довольно вам знать, что я здесь и что постоянно тот же, как вы меня знавали в старые годы. Кажется, судьба не отказала мне в свежести чувств, без которой отравлена преждевременно жизнь,— дышу теперь свободнее, но груст-

но расстаться с добрыми спутниками тяжелой эпохи моей жизни. Не нужно вам говорить, как много душа страдает, прощаясь навеки после столь долгого соединения. Невозможно удалить эту мысль; как-то невольно она является первою на бумаге, сколь ни велико утешение беседовать с вами. Вы поймете мое справедливое чувство и без упрека прочтете несвязные мои строки.

Надобно твердо быть уверенным в испытанном вашем снисхождении и бесконечной доброте, чтоб так непринужденно и небрежно болтать с вами: по-моему, это необходимое условие — иначе посылаешь сочинение, а не письмо.

Любезный друг Иван, прими меня, каков я есть, узнай старого признательного тебе лицейского товарища; с прежнею доверенностью детства и юности обращаюсь к тебе сердцем: ты, верный добрым воспоминаниям, поймешь мое дружеское приветствие без дальнейших объяснений. Голос друга лишний раз заставит встрепенуться твое любящее сердце; не требуй сегодня от меня разговоров; я бы сел возле и молча беседовал с тобой — в таком положении нахожусь, взяв перо, чтобы сказать тебе словечко после бесконечного молчания. Для посторонних я пишу бессмыслицу, а ты найдешь в ней того, с кем многое тебя сроднило и с которым тебя не разлучают ни обстоятельства, ни тысячи верст. С восторгом уединяюсь в этих убеждениях утешительных; скажи, что я прав, и этого твоего слова мне довольно. <...>

В Иркутске прощаюсь со многими товарищами. <...>

Вообразите наши разговоры и вы поймете, что я в сильном и не для всякого понятном волнении: радостно и тяжко — вот в двух словах изображение всего моего существования.

Вольховскому искренно жму руку.

Не забывайте верного вам друга.

И. Пущин

28. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 1. Иркутск, 2 сентября 1839 г.

Любезный друг Евгений, вчера получил добрый твой листок от 7 августа. Не стану благодарить тебя за снисходительную твою дружбу ко мне: она нас утешала обоих и бу-

дет утешать в разлуке неизбежной; мы чувствами соединим твой восток с моим западом и станем как можно чаще навещать друг друга письмами. Ты теперь уже, верно, получил мое письмо к тебе, написанное по приезде; хочу сказать несколько слов накануне выезда. Завтра сажусь в казанскую телегу и отправляюсь в Туринск. Грустно удаляться от тебя и от некоторых близких. Надеюсь на помощь божию: как-нибудь устроюсь на новом месте. Ты подробно будешь знать о моем существовании: оно должно быть достойно нашего положения; это убеждение дает силы, необходимые в трудном нашем поприще.

Душевно рад, что ты довольнее Етанцой, нежели я ожидал; но все-таки не хочу думать, чтоб ты должен был там оставаться. <...>

Вчера был в Разводной у Якубовича: домик чистенький, хозяева добрые. Он меня *дружелюбно* угостил чудесной ухой и дичью своей охоты. Вечером погрустил с Трубецкими: они потеряли в 9 часов Володю. Без надежды страдал малютка пять дней — и наконец страданья его кончились. Мать безропотно грустит. Сегодня буду у них, завтра расстанусь с ними совсем. Пиши к ним и к Якубовичу: он ни строчки не получил ни от кого. В Урике все тебя обнимают дружески. Давыдовы уехали 29-го числа. Я надеюсь их догнать до Красноярска. Все наши разъехались по местам. После меня останутся только Трубецкие, и те теперь не замедлят доплыть до Оёка. Извини, добрый мой Евгений, что с таким беспорядком с тобою беседую. Тороплюсь, надобно укладывать чемодан и разный вздор; ты знаешь, как мне это скучно. Нет тебя, вечного моего помощника.

Забыл было сказать тебе адрес Розена: *близ Ревеля мыза Ментак.* К нему еще не писал. В беспорядке поговорил только со всеми родными поодиночке и точно не могу еще прийти в должный порядок. Столько впечатлений в последний месяц, что нет возможности успокоиться душою. Сейчас писал к Annette и поговорил ей о тебе; решись к ней написать, ты ее порадуешь истинно.

До отъезда увижу Ксенофонта; что найдешь нужным сделать для него насчет учения, пиши прямо к Марье Николаевне: она знает и все устроит[1]. Грустно мне с ними разлучаться: эти дни опять сжились вместе. Прощай, друг, крепко жму тебе руку; без объяснения люблю тебя.

Старый твой друг *И. Пущин*

Ал. Поджио здоров, приветствует тебя; устраивает себе уголок в доме брата. <...>

Обо всех наших здешних товарищах-друзьях на досуге поговорю тебе.

29. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 2. Туринск, 18—27 октября 1839 г.

Вчера в полночь я прибыл в Туринск. Сегодня же хочу начать беседу мою, друг Оболенский. Много впечатлений перебывало в знакомом тебе сердце с тех пор, как мы с тобою обнялись на разлуку в Верхнеудинске[1]. Удаляясь от тебя, я более и более чувствовал всю тяжесть этой скорбной минуты. Ты мне поверишь, любезный друг, испытывая в себе мое чувство.

Из Иркутска я к тебе писал; ты, верно, давно получил этот листок, в котором сколько-нибудь узнал меня. Простившись там с добрыми нашими товарищами-друзьями, я отправился 5 сентября утром в дальний мой путь. Не буду тем дальним путем вести тебя — скажу только словечко про наших, с которыми удалось увидеться.

В Красноярске первый привал: Бобрищев-Пушкин, Митьков и Спиридов радушно приняли меня — у них отдохнул телесно после ужасно дурной дороги, а душевно нашел отраду в старом дружеском кругу. Павел Сергеевич обещал непременно написать тебе после нашего свидания. Мы как будто с ним не расставались: добрый, почтенный человек во всем смысле слова. Брата его больного я не видал. С некоторого времени он опять в больнице; не было возможности оставить его на свободе[2]. Ты можешь себе представить мильон вопросов, ответов, прерываемых рассказов, воспоминаний вечных, с которыми сроднилось все наше существование,— все это было и радостно и грустно: опять разлука.

Поехал дальше. Давыдовых перегнал близ Нижнеудинска, в Красноярске не дождался. Они с детьми медленно ехали, а я, несмотря на грязь, дождь и снег иногда, все подвигался на тряской своей колеснице. Митьков, живший своим домом, хозяином совершенным — все по часам и все

в порядке. Кормил нас обедом — все время мы были почти неразлучны, я останавливался у Спиридова, он еще не совсем устроился, но надеется, что ему в Красноярске будет хорошо. В беседах наших мы все возвращались к прошедшему*. <...>

В Омске дружеское свидание со Степаном Михайловичем. После ужасной, бесконечной разлуки не было конца разговорам, — он теперь занимает хорошее место, но трудно ему, бедному, бороться со злом, которого на земле очень, очень много[3]. Непременно просил дружески обнять тебя: он почти не переменился, та же спокойная, веселая наружность; кой-где проглядывает белый волос, но вид еще молод. Жалуется на прежние свои недуги, а я его уверяю, что он совершенно здоров. Трудится сколько может и чрезвычайно полезен.

В Тобольске я у Фонвизиных как родной. Тут я нашел твое письмо от 5 сентября. Спасибо тебе, любезный друг, что ты меня так бескорыстно наделяешь добрыми твоими письмами. Извини, что до сих пор не писал к тебе. Верь, что мыслию гораздо чаще с тобой, нежели с пером в руках: ты один из немногих, с которым я всегда вместе. Рано утром пишу тебе эти бредни, из которых ты увидишь умственный мой теперешний беспорядок. С самого выезда из Петровского все еще не могу войти в себя. Ты не будешь искать сочинения в моих листках, потому говорю тебе все, что попадется. Приведи в порядок, как знаешь. Покамест прощай, сейчас прибежал Басаргин.

23 <октября>

Приехавши ночью, я не хотел будить женатых людей — здешних наших товарищей. Остановился на отводной квартире. Ты должен знать, что и Басаргин с августа месяца семьянин: женился на девушке 18 лет — Марье Алексеевне Мавриной, дочери служившего здесь офицера инвалидной команды. Та самая, о которой нам еще в Петровском говорили. Она его любит, уважает, а он надеется сделать счастие молодой своей жены. <...>

---

* Далее полторы строки зачеркнуты другими чернилами.

Вслед за Басаргиным явился ко мне Ивашев, потащил к себе: Камилла Петровна необыкновенно добра и встретила меня как брата. Про себя скажу тебе, что я вчера перебрался на наемную квартиру, к одной бедной пожилой вдове, которая с семейством своим скоро выезжает отсюда в Тобольск. Дом мой один из самых древних в Туринске, и я еще не знаю, будет ли это постоянным моим жилищем. У меня три комнаты — в дверях надобно нагибаться,— это тоска, часто стукаюсь лбом для развлечения. Нанял помесячно юношу пятнадцати лет, который моим начальником штаба, и старуху, которая варит мне кашу. Сегодня первый раз обедал дома — она хорошо меня накормила, может быть потому, что при этой операции был надзор хозяина. Вообще ты издали можешь видеть, как я глуп в отношении всех этих хлопот. Невольно ищу Горбачевского и Грузина[4]. Здесь необыкновенно все дешево — и у меня прихотей мало — лишь бы было чисто приготовлено. Вероятно, со временем все уладится. До сих пор еще не умею тебе сказать, как я это все найду. Сердце как-то сжато.

Город хуже, нежели я ожидал, может быть потому, что его еще не знаю. Товарищи довольны своей судьбой — мы, т. е. Анненков и я, не совсем с ними согласны. К тому же на другой день моего приезда выпал снег и беспрерывный осенний ветер — эта погода не располагает к благосклонному воззрению на окружающие предметы.

Здоровье мое хорошо: вероятно, дорога мне сделала пользу — я в Иркутске часто чувствовал прилив крови к голове, и старинная песнь возвращалась — биение. Теперь этого покамест нет. В образе жизни моей принята новая система: как можно больше ходить и не пить водки перед обедом — последняя статья в действии с выезда из Урика. Я нашел, что так мне гораздо лучше, и навсегда отказываюсь умножать откупной доход. Ты, верно, похвалишь мое намерение, хотя по общим правилам принято, что водка необходима для желудка молодых людей наших лет. Я убедился в противном, поддерживаю его стаканом кваса, который здесь вообще везде хорош и вкусен.

Насчет журналов здесь бедность, я нашел только «Revue Etrangère» и петербургские газеты; эту статью по возможности мы приведем в порядок. <...>

27 <октября>

Надобно кончать, любезный друг: пора отправлять письма. Эти дни я все ходил смотреть квартиры — выбор труден; вообще довольно плохо, я не ожидал, чтобы в городе эта статья была так затруднительна. Проза, да и только! Как мне жаль, что тебя нет возле меня, ты бы слушал пресмешные рассказы, но неудачи между тем не слишком меня забавляют. Нетерпеливо жду, когда засяду на зимний постой. Басаргин гулял по разным домам и еще холостой купил свой домишко; теперь пристроил и там живет довольно тесно. Мы часто видаемся.

Ивашевы много тебе велят сказать хорошего; Камилла Петровна расспрашивала меня о всех твоих домашних,— она живо помнит то время, когда исполняла должность твоего секретаря. Мы так все теперь рассеялись, что, право, тоскливо ничего не знать о многих. Бывало, все известия стекались в Петровское. В Тобольске я слышал о смерти Одоевского: он умер от болезни на Кавказе[5]. Пожалуйста, любезный Оболенский, говори мне все, что узнаешь о ком-нибудь из наших,— я также буду тебя уведомлять по возможности. Не могу еще справиться с огромной моей перепиской. Надобно писать в разные страны, но не могу собраться — убийственные повторения, которых почти невозможно избежать, говоря многим лицам об одном и том же предмете.

Премилое получил письмо от почтенного моего Егора Антоновича; жалею, что не могу тебе дать прочесть. На листе виньетка, изображающая Лицей и дом директорский с садом. Мильон воспоминаний при виде этих мест! — С будущей почтой поговорю с ним. До сих пор не писал еще к Розену и не отвечал Елизавете Петровне.

Трудно высказать тебе состояние теперешнее моей души: многого мне недостает и все еще как-то не клеится. Ты знаешь, как я попал в Туринск? Annette назначила два места: этот город и Ялуторовск. Жребий пал на Туринск, и она говорит, что могу перепроситься, если мне не нравится назначение. Ты можешь себе представить, что я покамест и не думаю искать перемены, как прежде не искал быть здесь. Все держусь старого моего правила: как можно меньше просить о чем-нибудь кого-нибудь. Одно, что попросил бы, это чтобы быть с тобой,— но и это не от меня зависит. Обнимаю тебя крепко. Не забывай.

И. Пущин

30. И. В. МАЛИНОВСКОМУ и В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

Туринск, 27 октября 1839 г.[1]

<...> Сюда я приехал десять дней тому назад; все это время прошло в скучных заботах о квартире и т. п. От хлопот этих отдыхаю в кругу здешних моих товарищей: их трое — Ивашев, Анненков и Басаргин; двое первых давно женаты, а третий незадолго до моего приезда здесь женился. Я очень рад, что, расставшись недавно с большой моей сибирской семьей, нашел в уединении своем кого-нибудь из наших. В них для меня заключается все общество: можно разменяться мыслию и чувством. Верите ли, что расставания с друзьями, более или менее близкими, до сих пор наполняют мое сердце и как-то делают не способным настоящим образом заняться.

Новый городок мой не представляет ничего особенно занимательного: я думал найти более удобств жизни, нежели в самом деле оказалось. До сих пор еще не основался на зиму — хожу, смотрю, и везде не то, чего бы хотелось без больших прихотей: от них я давно отвык, и, верно, не теперь начинать к ним привыкать. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские места, которые наводят тоску после разнообразных картин Восточной Сибири, где реки и горы величественны в полном смысле слова. Эта разница поражает, когда постепенно от востока к западу приближаешься. Мое путешествие было осеннее, но я испытал и тут всю силу впечатлений. Земля у нас уже покрыта снегом. <...>

Благодарю тебя, любезный друг Иван, за добрые твои желания — будь уверен, что всегда буду уметь из всякого положения извлекать возможность сколько-нибудь быть полезным. Ты воображаешь меня хозяином — напрасно. На это нет призвания, разве со временем разовьется способность; и к этому нужны способы, которых не предвидится. Как бы только прожить с маленьким огородом, а о пашне нечего и думать.

Главное — не надобно утрачивать поэзию жизни: она меня до сих пор поддерживала,— горе тому из нас, который лишился этого утешения в исключительном нашем положении.

Из Красноярска я привез тебе дружеское приветствие старого твоего однополчанина Митькова: он завелся дом-

ком и живет полным хозяином,— много мы с ним потолковали про старину, ты был на первом плане в наших разговорах. <...>

31. И. Д. ЯКУШКИНУ

Туринск, 16 ноября 1839 г.

Вы давно знаете, почтенный мой Иван Дмитриевич, что я уже месяц ваш сосед. Поджидал весточки от вас, но, видно, надобно первому начать с вами беседу, в надежде, что вы <не> откажете уделить мне минутку вашего досуга. Вы должны быть уверены, что мне всегда будет приятно хоть изредка получить от вас словечко: оно напомнит мне живо то время, в котором до сих пор еще живу; часто встречаю вас в дорогих для всех нас воспоминаниях. Никак не думал, чтоб так тяжело было расставаться с тюрьмой и привыкать к новому быту поселенца. Дорогой я имел утешение обнять многих товарищей, которые все с прежнею дружбой встретили приезжего, минутного гостя.

С Трубецкими я разлучился в грустную для них минуту: накануне отъезда из Иркутска похоронили их малютку Володю. Бедная Катерина Ивановна в первый раз испытала горе потерять ребенка: с христианским благоразумием покорилась неотвратимой судьбе. Верно, они вам уже писали из Оёка, где прозимуют без сомнения, хотя, может быть, и выйдет им новое назначение в здешние края. Сестра мне пишет, что Потемкиной[1] обещано поместить их в Тобольск. Не понимаю, почему это не вышло в одно время с моим назначением.

В Урике я много беседовал о вас с Муравьевыми и Вольфом. Все они существуют там старожилами. Нонушке теперь гораздо лучше: она совершенно большая девушка и чрезвычайно милая. Александр — жених и, вероятно, теперь соединил уже свою участь с участью m-lle Josephine[2]. Это супружество решено было в мою бытность там. Миша, мой крестник, узнал меня и порадовал детскою своею привязанностию.

Как жаль мне, добрый Иван Дмитриевич, что не удалось с вами повидаться; много бы надобно поговорить о том, чего не скажешь на бумаге, особенно когда голова как-то не в порядке, как у меня теперь. Петр Николаевич мог некото-

рым образом сообщать вам все, что от меня слышал в Тобольске. У Михайлы Александровича погостил с особенным удовольствием: добрая Наталья Дмитриевна приняла меня, как будто мы не разлучались; они оба с участием меня слушали — и время летело мигом.

Что вам сказать о Туринске? — Я попал сюда потому, что сестра в просьбе своей назначила два города: Туринск и Ялуторовск — жребий пал на первый. Товарищи мои вам знакомы: теперь все трое женатые люди; стараются сколько возможно приучить меня к новому месту моего пребывания; но я еще не освоился с ним. Все это время нездоровится и не могу войти в обыкновенный ход занятий. Все хлопочу об устройстве уголка и хозяйства. Вы можете себе представить, как это все тоскливо человеку, который никогда не думал ни о чем, живя вечно в артелях. Надобно привыкнуть, поместиться en pension* нет возможности.

Пожалуйста, почтенный Иван Дмитриевич, будьте довольны неудовлетворительным моим листком — на первый раз. Делайте мне вопросы, и я разговорюсь, как бывало прежде, повеселее. С востока нашего ничего не знаю с тех пор, как уехал, — это тяжело: они ждут моих писем. Один Оболенский из уединенной Етанцы писал мне от сентября. В Верхнеудинске я в последний раз пожал ему руку; горькая слеза навернулась, хотелось бы как-нибудь с ним быть вместе.

Скоро ли к вам дойдут мои несвязные строки? Скоро ли от вас что-нибудь услышу? Говорите мне про себя, про наших, если что знаете из писем. Нетерпеливо жду вашего доброго письма. Приветствуйте за меня Матвея Ивановича. Обоим вам желаю всего приятного и утешительного.

Верный ваш *И. Пущин.*

Все наши вам кланяются — большие и малые здоровы.

32. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 3. Туринск, 1 декабря 1839 г.

Вот месяц, что я к тебе писал отсюда, друг Оболенский; в продолжение этого времени, долгого в разлуке, ты, вер-

---

* на квартире со столом *(фр.).*

но, мне сказал словечко, но я ничего не получал после письма твоего от 5 сентября, которым ты меня порадовал в Тобольске.

Не знаю, испытываешь ли ты то, что во мне происходит; только я до сих пор не могу привести мыслей своих в порядок. Чего-то сильно недостает: не раз мечтал об нашем соединении и сердечно хотел бы с тобой быть вместе. Если б ты мог как-нибудь это устроить, я думаю, мы оба были бы довольны. Даже скажу более: от тебя зависит выбор места в здешних краях; впрочем, дело не в том или другом городе, главное — чтобы быть нам соединенным под одной крышей. Любезный друг, это не слова, а искреннее мое желание, которого силу познал теперь более, нежели в Петровском, где мы были ежедневно неразлучны. Подумай о том, что я тебе говорю, и действуй через твоих родных, если не найдешь в себе какого-нибудь препятствия и если желания наши, равно сильные, могут быть согласованы, как я надеюсь. Не могу простить себе, что не умел настоять при разлуке: она слишком тяжела, чтобы не постараться скорее прекратить ее. Тебе понятно мое чувство, ты не должен удивиться, прочитавши мое приглашение: я прошу более для себя, нежели для тебя, и потому уверен, что ты дружески отзовешься на мой голос.

Вот моя исповедь, когда-то узнаю, что ты ее выслушал? В исполнении моего желания не хочу сомневаться: все зависит от тебя.

В продолжение всего этого времени хлопочу и хвораю. Странное положение: ничего нет особенно значительного, а сам не свой. Нездоровье во всем мешает, и все делаешь нехотя и оттого неудачно. Все здешние мои товарищи всячески стараются рассеять мою хандру, но до сих пор мы все не успеваем. Кажется, я прежде не был таков, и мне прескучно это глупое состояние. Нечто похожее на состояние Ивана Васильевича: ты можешь представить, как мне странно самому находить это сходство и не уметь пересилить себя[1]. Это расположение отзывается и в письмах: пишу к родным по обыкновению, но не так, как бы хотелось, и им это прискорбно. <...>

Басаргин в полном смысле хозяин. Завелся маленьким домиком и дела ведет порядком: все есть и все как должно. Завидую этой способности, но подражать не умею. Мысль не к тому стремится. <...>

Верный твой друг *И. Пущин.*

Ивашевы дружески тебе кланяются. К<амилла> П<етровна> с участием расспрашивает часто о всех твоих. Премилая старушка madame Ledantu.

33. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 4. 12 генваря 1840 г., Туринск.

<...> Существование мое здесь не представляет ничего любопытного — все время как-то нездоровится, и оттого недоволен своим расположением духа. На готовую землю пало грустное, сильное впечатление. Ты с участием разделишь горе бедного Ивашева. 30-го декабря он лишился доброй жены — ты можешь себе представить, как этот жестокий удар поразил нас всех,— трудно привыкнуть к мысли, что ее уже нет с нами. Десять дней только она была больна — нервическая горячка прекратила существование этой милой женщины. Она расставалась с жизнью, со всем, что ей дорого в этом мире, как должно христианке. Укрепившись причащением святых тайн, она с спокойною душой утешала мужа и мать, детей благословила, простилась с друзьями. Осиротели мы все без нее,— эта ранняя потеря тяготит сердце невольным ропотом. Ивашев горюет, но понимает свою обязанность к детям: она заставляет его находить твердость, необходимую в таких трудных испытаниях. Ему подает достойный пример почтенная madame Ledantu. Я с истинным уважением смотрю на ее высокую покорность волепровидения.

Второе твое письмо получил я у них, за два дня до кончины незабвенной подруги нашего изгнания. Извини, что тотчас тебе не отвечал,— право, не соберу мыслей, и теперь еще в разброде, как ты можешь заметить. Одно время должно все излечивать — будем когда-нибудь и здоровы и спокойны.

Наконец, любезный друг, я получил письма от Марьи Николаевны. Давно мне недоставало этого утешения. Она обещает писать часто. Ты, верно, с Трубецкими в переписке; следовательно, странно бы мне рассказывать отсюда, что Сутгова матушка к нему начала снова писать по-прежнему

и обеспечила их будущность[1]; это я узнал вчера из письма Марьи Казимировны — невольно тебе сообщаю старую весть, может быть давно уже известную. Переписка моя с родными та же, что и в Петровском, — жаль только, что не вместе с тобой читаем письма. <...> Скажи, каким образом Вильгельм пишет на твоем листке? Или он переведен куда-нибудь? Видно, они расстались с братом[2]. Пушкины нынешнюю зиму перейдут в Тобольск. Пав<ел> Сергеевич очень доволен этим перемещением: будет вместе с Фонвизиными, и брату лучше в этом заведении, нежели в Красноярске, а может быть, перемена места произведет некоторую пользу в его расстроенном положении.

Опоздал я сегодня беседой с тобой — надеюсь, что ты простишь нескладицу больного человека. Не хочется откладывать на неделю отправление. Будущий раз поговорю побольше. Говори мне о Горбачевском, от него нет ни строки: правда, и сам виноват, к нему не писал. Трудно, любезный Евгений, ко всем писать, а хочется про всех слышать. Спрашивай меня, когда замечаешь неполноту в письме. От Розена еще не имею ответа. Писал к нему по приезде сюда. Крепко обнимаю тебя. Пиши ко мне; что ты скажешь на мое письмо от 1 декабря? Басаргин дружески жмет тебе руку. Добрый друг — прощай. Надобно еще писать к Annette.

Твой *И. Пущин.*

34. И. Д. ЯКУШКИНУ

Туринск, 19 генваря 1840 г.

Доброе письмо ваше от 15 декабря, почтенный мой Иван Дмитриевич, дошло до меня за несколько дней до Нового года, который мы здесь очень грустно встретили. Верно, молва прежде меня уже известила вас о несчастии в семействе Ивашева — он лишился доброй и милой Камиллы Петровны. 30-го декабря она скончалась, после десятидневной нервической горячки. Вы можете себе представить, как этот жестокий и внезапный удар поразил нас всех. До сих пор не верится, что ее нет с нами; без нее опустел малый круг. Эта ранняя потеря набросила ужасную мрачность на все окружающее. 2-го генваря мы отнесли на кладбище тело той, которая умела достойно жить и умереть с необык-

новенным спокойствием, утешая родных и друзей до последней своей минуты. Вы с участием разделите с нами скорбное чувство. Ивашев с покорностию переносит тяжелую потерю; почтенная m-me Ledantu примером своим поддерживает его. Счастие для него и для сирот, что она здесь; ее попечения необходимы для всего семейства — я смотрю на нее с истинным уважением.

Благодарю вас, добрый Иван Дмитриевич, за все, что вы мне говорите в вашем письме. Утешительно думать, что мы с вами не разлучены; признаюсь, я бы хотел, чтоб мы когда-нибудь соединились в одном городке, мне бы гораздо лучше было; как-то здесь неудачно началось мое существование...

Наконец получил я письма из окрестностей Иркутска: Марья Николаевна первая подала голос. Александр женился 12-го ноября и счастлив, как обыкновенно молодой супруг в первое время. Особенно мне приятно было узнать, что матушка Сутгова опять в прежних с ним сношениях; со времени его женитьбы она перестала к нему писать — и это сильно его огорчало. Бедный Сосинович умер от апоплексического удара в октябре месяце[1]. <...> Поговорите мне о ваших занятиях — рыба, памятник давних наших трудов[2], со мной. Прощайте.

Иван Пущин.

Товарищам в Ялуторовске мой поклон с лучшими пожеланиями.

35. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Туринск, 25 генваря 1840 г.

Вы имеете полное право, почтенный друг Егор Антонович, быть недовольным мною: нужна испытанная ваша доброта, чтобы простить мне с лишком трехмесячное мое молчание; до сих пор не благодарил вас за письмо ваше на лицейском листке[1], которое меня встретило в Тобольске. Взглянуть на эти знакомые места, вспомнить все, что так живо во мне, было истинное наслаждение. Часто я всматриваюсь в милый рисунок и мысленно беседую с вами и с теми, которые делили со мной впечатления молодости. Спасибо вам, от души спасибо за счастливую мысль навестить

меня этою неожиданностию. Я перелетел к тому счастливому времени, когда начал питать к вам благодарное чувство,— оно навсегда останется моим утешением.

Вы давно уже знаете, что я худо начал мое новоселье в Туринске. Все это время нездоров самым неприятным образом; по-видимому, все в порядке, но почти беспрерывно испытываю такое волнение и биение сердца, которые мешают и думать и заняться, как должно. Мною овладела какая-то мрачность; я ужасно не люблю этого состояния, тем более что оно совершенно мне несвойственно и набрасывает неприятную тень на все окружающие предметы. До сих пор умел находить во всех положениях жизни и для себя, и для других веселую мысль,— теперь как-то эта способность исчезла; надеюсь, что это временный туман, он должен рассеяться, иначе тоска. Вот причина, почему так долго не говорил с вами. Трудно еще откладывать, хотя чувствую, что не могу представиться к вам в том виде, в котором вы привыкли видеть вашего Jeannot. Время даст мне возможность исправить то, что от меня зависит,— вы не поскучаете несвязными моими словами.

Новая моя жизнь на поселении не представляет покамест ничего занимательного. Сначала я был озабочен глупыми хлопотами о хозяйстве, в котором ничего не понимаю. Кочевал по разным квартирам, более или менее неудобным, пока наконец бросил якорь в доме товарища Ивашева, где живу уже неделю en pension. Это существование служит нам взаимным утешением — мы живем больше в своем кругу,— город мне знаком по прогулкам, вообще довольно однообразным. Хожу всякий день для движения — в полчаса обойден весь город. Весна оживит окрестности, которые два дня после моего приезда покрылись снегом, и теперь пред глазами белая равнина, отпечаток Тобольской губернии. Здесь с трудом найдешь что-нибудь похожее на великолепную природу Восточной Сибири: я к ней больше привык, там я был довольнее собой — там многие из друзей остались, разлука с ними тяжела, с трудом привыкаю к этой мысли. Впрочем, оставим эту струну — она издает слишком мрачный звук. Поговорим о другом.

11-го ноября вы не заметили меня, почтенный друг, в кругу ваших посетителей, собравшихся на годовщину семейного, неизменно счастливого вашего существования:

я радостно приветствовал вас и добрую Марью Яковлевну. <...>

Скажите мой дружеский привет нашим друзьям Лицея — я недавно получил доброе письмецо от Вольховского, который чудесно действует в Каменке: они поселились там доброй семьей. Бывший предводитель[2] часто наделяет меня иероглифами, которые я всегда с удовольствием разбираю. Пишите ко мне, когда «Земледельческая газета» даст вам досужую минуту. Не нужно вам говорить, что мне необходимо иногда слышать ваш голос; вы это знаете и, верно, по возможности будете доставлять мне это утешение. Не перечитываю письма моего, боясь бросить его в печь. Вы снисходительно прочтете его и побраните за пустоту в голове: не обвиняйте только сердца, оно то же в верном вам друге.

И. Пущин.

36. И. Д. ЯКУШКИНУ

23 февраля <1840 г., Туринск>.

<...> 26 генваря является ко мне городничий и показывает предписание губернатора, где сказано: спросить у г. И. Пущина объяснение на слова: рыба и пр. (я их подчеркнул карандашом), в которых может заключаться противузаконный смысл; отобранные сведения немедленно доставить и прислать для освидетельствования памятник под названием рыба с первою почтою[1].

Я объяснил со смехом пополам, послал нашу рыбу в Тобольск. Между тем шутя пересказал этот необыкновенный случай в письме к сестре — с следующей почтой возвращается и рыба, и ваше письмо при бумаге к городничему, где велено сказать мне, чтоб я двусмысленных выражений и слов не употреблял, если хочу, чтоб они доходили по адресам. Сегодня я и это дополнение к истории о рыбе писал к сестре. Пусть читают в канцелярии и покажут губернатору, что он не имеет права возвращать писем. Формально дела заводить не стоит. <...>

37. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Туринск>, 25 февраля 1840 г.

Вчера прочел письмо ваше к Ивану Александровичу[1]: с удовольствием пользуюсь случаем сказать вам, Петр Николаевич, несколько слов признательных в ответ на то, что ко мне относится. Не требуйте от меня изъяснений, но будьте уверены, что свидание наше в Тобольске навсегда оставило во мне приятное воспоминание. Сохраните то же впечатление, и мы тогда будем хорошо понимать друг друга,— это главное в наших товарищеских сношениях, которые должны быть определены настоящим образом. Я видел вас с парома на последнем перевозе, как вы подъезжали к станции, и не имел никакой возможности еще раз обнять вас на разлуку. Проводник мой — настоящий альгвазил*, поклонник г-на губернатора, надоел мне ужасно. Мне еще теперь жаль, что вы так хлопотали догнать меня и заботились о пирогах, до которых мне никакой не было нужды.

Прискорбно слышать, что вы нездоровы,— в утешение могу только сказать, что я сам с приезда сюда никак не могу войти в прежнюю свою колею: ужасное волнение при прежнем моем биении сердца не дает мне покоя; я мрачен, как никогда не бывал, несносен и себе и другим. Пускал из руки кровь, ставил пиявки, но пользы большой еще не вижу. Заняться ничем не могу настоящим образом, и вообще тоскливо проходит время. Туринск ничего не представляет занимательного для меня, ни с кем не знаком, хотя были приглашения. Кочевал на двух квартирах, теперь переселился en pension к Ивашеву в исполнение давнего приглашения доброй Камиллы Петровны, которая, видя хлопоты холостого моего, глупого хозяйства, непременно хотела меня от них избавить. Грустно, что она нас покинула; ее кончина, как вы можете себе представить, сильно поразила нас — до сих пор не могу привыкнуть к этой мысли: воспоминание об ней на каждом шагу; оно еще более набрасывает мрачную тень на все предметы, которые здесь и без того не слишком веселы.

Вообще я недоволен переходом в Западную Сибирь, не имел права отказать родным в желании поселить меня поближе, но под Иркутском мне было бы лучше. Город наш

---

* судебный чиновник, жандарм *(исп.)*.

в совершенной глуши имеет и какой-то свой отпечаток безжизненности. Я всякий день брожу по пустым улицам, где иногда не встретишь человеческого лица. Женский пол здесь обижен природой, все необыкновенно уродливы.

Извините меня, что я не уведомил вас в свое время о получении Тьера,— мне совестно было Тулинова заставить писать и казалось, не знаю почему, что вы должны быть уверены в исправной доставке книг[2]. Пожалуйста, поделитесь с нами, если у вас есть что-нибудь новое, любопытное. Пришлите продолжение «Débats» — они долго здесь гостили, и Ив<ан> Ал<ександрович> еще не прочел их — нет причины, чтоб он когда-нибудь кончил. Неимоверная медленность. Если нет случая, адресуйте с почтой Тулинову чрез вашего Демина. Мы все вам будем благодарны за книги — у нас бедность. Выписываем только «Петербургскую газету», «Сын отечества» и «Современник». Ивашеву присылают «Revue Etrangère» и обещают еще что-то. С этим чтением недалеко уедешь.

Переписка моя плохо идет — по болезненной пустоте моей головы. Не знаю, когда придет она в порядок,— я уже в Тобольске нехорошо себя чувствовал. Ожидаю весны,— может быть, воздух излечит меня, теперь никуда не гожусь. Дайте мне скорей пример к выздоровлению, я постараюсь вам подражать. Жаль, что я не попал в Ялуторовск,— там, должно быть, живее. К Якушкину иногда пишу — губернатор ко мне придирается, видно, за то, что глупо с нами поступил в Тобольске,— это иногда бывает.

Когда-нибудь я вам расскажу забавный случай по случаю слова *рыба* (название нашей карты с Якушкиным), которое было в моем письме,— рыбу мою требовали в Тобольск и вместе с нею возвратили мне письмо мое к Якушкину с замечанием не употреблять двусмысленных выражений, наводящих сомнение своею таинственностию, в письмах, если хочу, чтоб они доходили по адресам.

Все эти подробности я сообщил сестре, пусть канцелярия читает и бесится губернатор. Я рассказал это в виде шутки, и довольно удачно. Кажется, он надеялся открыть какую-нибудь важную тайну — а ларчик просто открывался.

Прощайте, Петр Николаевич, обнимаю вас дружески. Поздравляю с новым неожиданным гостем[3], на этот раз не завидую вам. Если что узнаете об наших от Ив<ана> Сем<еновича>, расскажите: мысленно часто переношусь на

восток. Имел известия от Волконских и Юшневских — вы больше теперь знаете. Я давно порадовался за Сутгофа — это Ребиндер устроил, объяснив матери обстоятельства, как они были.

Вряд ли Вадковский сюда будет — по письму Волконского от 14 генваря видно, что он остается в Кузьмихе, а до обзаведения позволено прожить в Иркутске[4]. Артамон переведен в Малую Разводную и также по болезни в Иркутске. Впрочем, вы все это расспросите у приезжего. Не ищите в этих несвязных строках ни слога, ни мыслей. Поздно, спешу и сам не знаю, что говорю.— Анненков вам больше говорит. Вы, верно, знаете, что Мих<аил> Александрович ожидает перевода на Кавказ; он мне секретно писал об этом[5]. Горесть брата, потерявшего сына, побудила его искать случая увидеться с ним[6].

Мы часто здесь бываем вместе — это единственное мое общество, которое умножается еще тремя поляками, довольно скучными и пустыми людьми. Поклонитесь Фохту, когда он перестанет на вас дуться. Кончились страдания бедного нашего Краснокутского — я думаю, он решился умереть, чтоб избавиться от попечения Ивана Федоровича[7].

Верный ваш *И. Пущин.*

38. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 5, 29 февраля 1840 г., Туринск.

Давно пора побеседовать с тобой, любезный друг Евгений; все поджидал твоего письма; наконец прошедшая почта привезла мне твой листок от Нового года; благодарю тебя сердечно за добрые твои желания, в которых я нахожу старую, неизменную твою дружбу.

<...> Не постигаю, почему ты так долго не получил моего письма отсюда тотчас по моем приезде: твои листки доходят до меня скорее, нежели мои к тебе; видно, знают, что я нетерпеливее тебя ожидаю их,— расстояние, кажется, одинаково. Во всяком случае, ты из них узнаешь больше или меньше, что со мной делается, и увидишь, что моя новая жизнь как-то не клеится, нездоровье мое сильно мне наскучает, я никак не думал, чтобы пришлось так долго хворать: прежде все эти припадки были слабее и проходили

гораздо скорей. С лишком месяц, как я переселился к Ивашеву,— хозяева мои необыкновенно добры ко мне, сколько возможно успокаивают меня; я совершенно без забот насчет житейских ежедневных нужд, но все не в своей тарелке; занятия не приходят в порядок; задумываюсь без мысли и не могу поймать прежнего моего веселого расположения духа. Надеюсь, что оно возвратится, иначе тоска.

Душевно рад, любезный друг, что ты живешь деятельно и находишь утешительные минуты в твоем существовании, но признаюсь, что мне не хотелось, чтоб ты зарылся в своей Етанце. Кто тебе мешает пристроить семью, о которой постоянно имел попечение, и перейти к Трубецким, где твое присутствие будет полезно и приятно. <...> Мне батюшка прислал тысячу рублей на обзаведение, часть их пошла на покрытие издержек дороги, которая мне много стоила,— остальными покамест живу. <...>

Странный человек Кучевской — ужели он в самом деле не будет тебе отвечать, как, бывало, говаривал? Мне жаль, что я его не навестил, когда был в Иркутске: подробно бы тебя уведомил об его быте; верно, он хорошо устроился. Борисовы сильно меня тревожат: ожидаю от Малиновского известия о их сестрах; для бедного Петра было бы счастие, если бы они могли к ним приехать[1]. Что наш сосед Андреевич? Поговори мне об нем — тоже ужасное положение[2].

Как тюремная наша семья рассеялась и как хотелось бы об них всех подробно все знать.

Страдания бедного Краснокутского кончились: в начале нынешнего месяца он угас; существование его было так тяжело в продолжение десяти лет, что смерть — награда.

Ты знаешь, что Барятинский в Тобольске, приехал туда больной — не знаю, каково теперь его здоровье; в Красноярске он целый месяц пролежал в постели. Воды, кажется, вместо облегчения ему повредили. Швейковский достиг Кургана; туда ожидают Щепина-Ростовского. Других переселений в наши края не слыхать. От Якушкина я получил одно письмо — он здоров и по-прежнему занят неутомимо. Жалею, что мы не вместе с ним поселены: может быть, это было бы лучше. <...>

Твой верный *И. Пущин.*

39. М. А. ФОНВИЗИНУ

<Туринск>, 13 марта 1840 г.

В двух словах скажу вам, почтенный Михаил Александрович, что три дня тому назад получил добрейшее письмо ваше с рукописью. От души благодарю вас за доверенность, с которою вы вверяете полезный ваш труд[1]. Тут же нашел я, открыв письмо из Иркутска, и записочку доброго нашего Павла Сергеевича. Радуюсь вашему соединению. <...>

Я думаю, что вы не попадете на Кавказ, если не будете сами просить,— кажется, это необходимое условие.

Не постигаю, каким образом все наши в Минусинске вздумали вдруг решиться на такую меру[2]. Это для меня странно, знаю только, что Беляевых сестры давно уговаривают надеть суму.

Пользуюсь случаем доставить вам то, что вы желали получить от меня[3]. Кажется, случай верный, а другого не скоро дождешься в нашем захолустье.

Сообщенные вами новости оживили наше здешнее неведение о всем, что делается на белом свете,— только не думаю, чтобы Чернышева послали в Лондон, я туда давно назначаю Ал. Орлова, знаменитого дипломата новейших времен. Назначение Бибикова вероятно, если Канкрин ослеп совершенно[4].

Рад услышать, что желание Ивановского исполнилось, а еще более рад, что Данзас верен старой дружбе[5]. Эти опыты не всегда удаются.

Не прощаю К<аролину> Карл<овну>, что она вас не навестила. Можно бы, кажется, проехать несколько верст лишних в память Петровского союза.

Предполагаемое упорство в мнениях Вадковского может быть для него к лучшему — в Иркутске ему жизнь предстоит приятнее, но этот способ отказывать меня удивляет, почему он упорствует больше другого. Я думаю, *они* сами не знают?

Вы, верно, слышали, что мне из Тобольска возвращено было одно письмо мое к Якушкину, после разысканий о *рыбе*. Мою карту, которую мы так всегда прежде называли, туда возили и нашли, что выражения двусмысленны и таинственны. Я все это в *шутках* описал сестре. Кажется, на меня сердится Горчаков, впрочем, это его дело. <...>

Волнение мое не прекращается—вожусь с пиявками и порошками,—все надоело ужасно, сделался совершенный хроник.

Дружески приветствую Наталью Дмитриевну. Все наши вам кланяются.

Пушкину Ивашев скоро пошлет копию с образа Спасителя, о котором давно П<авел> С<ергеевич> просил его. Она готова, но Ивашев медлен больше, нежели прежде. Скоро Пушкин должен получить от Юшневских остальную сумму? Душевно рад, что Якубовича дела поправились и что он действует не как простой потребитель.

Прощайте... В знак получения письменной тетрадки скажите, что Барятинский занимается по-прежнему греческим языком[6]. Я не сомневаюсь в верности доставления, но все-таки хочется иметь убеждение, что дошло. Будьте все здоровы и вспоминайте иногда искренно вас любящего и уважающего *И. П.*

Пушкин простит, что я к нему особенно не пишу,—он знает меня хорошо и не взыщет с хворого бестолкового человека. <...>

40. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 6. 21 апреля 1840 г., <Туринск>.

<...> Мне очень живо представил тебя Вадковский: я недавно получил от него письмо из Иркутска, в котором он говорит о свидании с тобой по возвращении с вод. Не повторяю слов его, щажу твою скромность, сам один наслаждаюсь ими и благословляю бога, соединившего нас неразрывными чувствами, понимая, как эта связь для меня усладительна. Извини, любезный друг, что невольно сказал больше, нежели хотел: со мной это часто бывает, когда думаю сердцем,—ты не удивишься. Воображаю тебя в хозяйственных твоих хлопотах, постройках; желаю успеха полного во всех твоих предприятиях—я сам ничего не предпринимаю, живу на всем готовом и как-то мало думаю чем-нибудь заводиться. Это бездействие имеет свою невыгодную сторону, но я не умею из него выйти. Вообще существование мое не то, что я ожидал, заглядывая во время оно из тюрьмы на поселение. <...>Очень рад, что наконец А<лександр> Л<укич>[1] отозвался из Тугутуя,—поздравь

его и от меня на новоселье: понимаю, как тебе приятно получить его признательный голос и как ты радуешься его обзаведению. Насчет пособия, выдаваемого из казны, которого до этого времени ни он, ни другие не получают, я нисколько не удивляюсь, потому что и здесь оно выдается несколько месяцев по истечении года, за который следует. Странно, что деньги, необходимые для существования, не достигают своего назначения своевременно. Тяжело, любезный друг, подумать о многих из наших в финансовом отношении, а помочь теперь нет возможности; что бог даст вперед.

<...> Батюшка и матушка здоровы, всегда об них статья особенная в письме Annette. Не читаем мы вместе всех этих добрых писем, любезный Евгений! Веришь ли, что почти всякий раз эта мысль со мной, когда закрываю листки. Невольно иногда, живя в прошедшем, хочу из своего 14 номера[2] выйти в коридор и прийти к тебе с полученной почтой в теплый твой уголок, где я, бывало, грелся и телесно и душевно. <...>

Ивашев обнимает тебя; ему, бедному, эти дни тяжелы грустным воспоминанием — она унесла с собой все земные радости. Не знаю, сказал ли я тебе, что мы с половины марта живем в новом его доме, который нас всех просторно помещает. У меня отдельные две большие комнаты, бываю один, когда хочу, и в семье, когда схожу вниз. Хозяева рады постояльцу, но этот последний не всегда приятный собеседник. Не знаю, буду ли в Туринске тем, что был прежде,— до сих пор все не то. Мне бы необходимо нужно было пользоваться советами Вольфа,— верно бы, не так расхворался там. В ту же пору хоть бы и возвратиться в окрестности Иркутска: я писал об этом к Annette.

Прощай, любезный друг Оболенский, мильон раз тебя целую, больше, чем когда-нибудь. Продолжай любить меня по-прежнему. Будь доволен неполным и неудовлетворительным моим письмом. Об соседях на западе нечего сказать особенного. Знаю только, что Беляевы уехали на Кавказ. Туда же просились Крюковы, Киреев и Фролов. Фонвизину отказано. Крепко обнимаю тебя.

И. Пущин.

41. М. А. ФОНВИЗИНУ

28 апреля 1840 г., Туринск.

Опять к вам, добрый и почтенный Михаил Александрович, с просьбою. Податель этого листка здешний мещанин Кудашев привез в Тобольск рекрута-наемщика. Помогите ему сдать этого молодца: при сдаче обыкновенно встречаются затруднения и издержки. Нельзя ли вам отклонить первые, если они найдутся, и избавить его от последних или по крайней мере, сколько возможно, уменьшить. Я говорю, как вы можете представить, об издержках противузаконных. Этот честный и уважаемый человек сколотился деньгами, чтобы нанять молодца за своих детей, славнейших ребят. Купцы, у которых двое старших в приказчиках, дали ему их жалованье вперед — иначе он должен бы был скрепя сердце расстаться с одним из кровных. Поговорите с ним, он вам все объяснит лучше меня, и вы с удовольствием будете его слушать — он человек очень неглупый.

Не извиняюсь, что преследую вас разного рода поручениями; вы сами виноваты, что я без зазрения совести задаю вам хлопоты. Может быть, можно будет вам через тезку Якушкина[1] избавить этого человека от всяких посторонних расходов. Словом сказать, сделать все, что придумаете лучшим; совершенно на вас полагаюсь и уверен, что дело Кудашева в хороших руках.

Вообразите, что на прошедшей почте получил от Спиридова новое странное поручение: теперь уже не зовет в Тобольск за благодарностию, а просит, чтобы мои родные взяли Гленова сына из Нарвы, где он в пансионе, и определили в кадетский корпус[2]. Странно и довольно трудно!

Скажите, видели ли вы нового астраханского прокурора, доволен ли он своим назначением?[3] Верно, они по старому знакомству погостили у вас в Тобольске.

От Тулинова вчера узнал, что Степан Михайлович наконец асессор и начальник отделения; это известие истинно порадовало меня,— по крайней мере, он несколько теперь оперится и не так будет ему опасен наш Штейнгейль[4].

Гаюс мне писал из Омска несколько слов; надеюсь, что он у вас поболтал,— большой оригинал мой толстый двоюродный племянник!

Посылаю вам записки Andryane[5] — вы и Наталья Дмитриевна прочтете с наслаждением эту книгу, — кажется, их у вас не было. Если успеете — с Кудашевым возвратите, — я хочу их еще послать в другие места. Пушкин, верно, также охотно их пробежит.

Ивашев третьего дня через Тулинова просил вас выслать сюда его деньги, за исключением двухсот рублей, которые вы отдадите Кудашеву; они ему следуют по счету Ивашева с Басаргиным.

У Басаргина родился на второй день праздника сын, именем Александр, — следовательно, в полном смысле слова наследник[6]. Малютка не совсем что-то здоров и вряд ли будет жив — она его не доносила. Грустное происшествие в нашем захолустье — причем все в том же однообразии, начиная с меня. Кажется, я здесь не уживусь и чуть ли не отправлюсь в обратный путь, на восток. Без всяких шуток, надобно серьезно лечиться у Вольфа — что-то необыкновенное во мне происходит. Писал к сестре, не знаю, успеет ли она это устроить. Это нигде не может сделаться, как в Петербурге.

Все это между нами до поры до времени. В престранном я положении; что ни делал, никакого нет толку. Таким образом, жизнь — не жизнь.

Пора обнять вас крепко, дружески, почтенный Михаил Александрович, добрую Наталию Дмитриевну приветствуйте за меня, Пушкину пожмите руку. Желаю вам от искреннего сердца всего приятного.

Верный ваш *И. П.*

Все наши свидетельствуют вам дружеское почтение. Вы мне скажете словечко радостное с Кудашевым: ваше письмо мне всегда подарок.

Из Иркутска имел письмо от 25 марта — все по-старому, только Марья Казимировна поехала с женой Руперта лечиться от ревматизма на Туркинские воды. Алексей Петрович живет в Жилкинской волости, в юрте; в городе не позволили остаться. Якубович ходил говеть в монастырь и взял с собой только мешок сухарей — узнаете ли в этом нашего драгуна? Он вообще там действует — задает обеды чиновникам и пр. и пр. Мне об этом говорит Вадковский.

42. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 7. <Туринск>, 23 мая 1840 г.

Мне всегда больно, любезный друг Евгений, когда твое письмо начинается тем, что давно не имел моего обычного листка,— и тут невольно выражается мое удивление, почему твои послания достигают до меня прямо, между тем как мои путешествуют в Петербург[1]. Странное дело! Постановление должно быть общее; отчего же оно иначе в разных местах приводится в исполнение? Я выигрываю; за что же ты теряешь? Любезный друг, мои листки и без того пусты — что же они должны быть, когда ты их получишь через сто лет. <...>

43. И. Д. ЯКУШКИНУ

28 мая 1840 г., Туринск.

<...> Странно, что мне иногда кажется, что в Ялуторовске у вас я бы лучше начал свою поселенческую жизнь. Отчего такая уверенность? — право, не знаю. Здесь и Басаргин, и Ивашев как нельзя больше показывают мне дружбы, но мне это как-то не в коня корм. Скоро должен получить ответ от сестры, не знаю, допустят ли возвратиться на берега Ангары? По крайней мере надобно надеяться, что не откажут съездить в Тобольск. Авось тамошний доктор что-нибудь полезное мне сделает — особенно мне не нравится нынешняя моя привычка задумываться, прежде этой беды не знавал. Вероятно, тут физические причины, которых действие так сильно на расположение души, что я не могу от них отделаться. Ужасно редко удается быть, как прежде, веселым для себя и для других. Вы напрасно думаете, что мое присутствие сколько-нибудь облегчает существование Ивашева. <...> Для меня, собственно, они делают большое одолжение, что хлопочут за меня и приняли в свою артель. Эта мысль принадлежит покойной Камилле Петровне, она первая пригласила меня к себе на хлебы. Ужасно недостает ее для всех нас здесь — судьбе было угодно переселить ее в лучший мир. Анненковых видаю ино-

гда,— они живут гораздо тише, нежели в Петровском, никаких индейских историй нет; но вообще все это ужасная проза.

Басаргин больше всех хлопочет и устраивает свои дела. Женитьба его гораздо удачнее Сутгофа. Он доволен своим существованием — это главное его достоинство.

<...> Не удивляюсь перемене фронта в Беляевых — это почти общая участь энтузиастов, как они: никогда нет благоразумной середины с похвальными порывами. На Петра я мало и прежде надеялся, досадно за Александра. Не худо, что вы им отпели проповедь[1],— авось за Уралом будут сколько-нибудь пристойными представителями распадающейся нашей лавочки. Вообразите, что Киреев потому спешит на Кавказ, что туда отправились Беляевы. Кажется, это не из последних нервических припадков. Не могу представить себе Александра Крюкова с чашечкой — туда же стремящегося. Все это тоска.

<...> В Урике я с Ф<ердинандом> Б<огдановичем> много толковал про вас — от него и Кар<олины> Карловны получал конфиденции. Как-то у них идет дело с Жозефиной Адамовной, молодой супругой Александра? Много от нее ожидать нельзя для Нонушки. Она недурна собой, но довольно проста и, кажется, никогда наставницей не может быть.

Наш разъезд из тюрьмы в финансовом отношении был необыкновенно удачен: все нуждавшиеся в пособии получили по 1150 р. каждый. Знакомый вам казначей[2] удачно все устроил: все ахали, соберутся ли долги? Все было собрано к развязке, все получили наличными деньгами сполна, и сверх того осталось 2800 р., которые я отдал Сутгофу и Юшневскому на подъем, с тем чтобы они их выслали тем, которые из других разрядов не получили того, что наши ветераны. Недавно получил известие, что и это исполнено. <...>

Свои дела устроил благодаря добрым родным, которые прислали маленький мильон на расплату вечно существующих долгов. <...>

Вы узнаете меня, если вам скажу, что по-прежнему хлопочу о журналах,— по моему настоянию мы составили компанию и получаем теперь кой-какие и политические и литературные листки. Особенно благодарен Свистунову за «Débats». Он прислал нам последние шесть месяцев прошлого года. Вы смеетесь моей страсти к газетам и, верно,

думаете, что мне все равно, как, бывало, прежде говаривали. Кто вам рассказывает политические новости? Получают ли у вас газеты и журналы? <...> Книгами мы не богаты — перечитываю старые; вообще мало занимаюсь, голова пуста. Нужно сильное потрясение, душа жаждет ощущений, все окружающее не пополняет ее, раздаются в ней элегические аккорды.

<...> Горбачевский в Петровском существует хорошо, завел лошадей и возит руду и пр.[3]. Ипполит Завалишин там женился <...>. Соловьев и Мозалевский 26 марта должны были выезжать — не знаю еще, где поселенье. Им оставлено было денег больше по расчету того, чтобы они получили казенного содержания на поселении. Горестно только, что они плохо там свои дела устроили: все истребили. Я это знаю по письму Спиридова — тайному[4], у меня с разными точками изредка прямые сношения: дорогой я это устроил через некоторые лица.

Бедный Борисов в плохих — Андрей бушует, и уже раз его привозили в Верхнеудинск, чтобы оставить в больнице, но Петр опять выпросил и теперь сам со всеми прекратил сношения, ни к кому не пишет; я боюсь, чтобы это положение не подействовало и на него, чтобы он не пустил себе пули в лоб.

Андреевич в больнице под надзором; сначала пускали ходить, но он всякий день покупал мильон товаров и не платил денег. Должны были поставить сторожа. <...> Первое слово Якова Максимовича в Удинске было, что мы его обокрали и разорили. Кажется, невозвратно потерян. <...>

Верная моя Annette строит надежды на свадьбу наследника[5], писала ко мне об этом с Гаюсом, моим родственником, который проехал в Омск по особым поручениям к Горчакову; сутки прожил у меня. Спасибо, что завернул: мы с ним наговорились досыта, но все мало — только раздражило это минутное свидание с человеком, который всех моих видел и в Паричах был у Михайлы. <...>

Я думаю, что наши близкие ожидают чего-нибудь от этого торжества, но мне кажется, ничего не может быть, хотя по всем правилам следовало бы, в подражание Европе, сделать амнистию. У нас этого слова не понимают. Как вы думаете, что тут выкинет наш приятель? Угадать его

мудрено. Н<иколай> П<авлович> как медведь, нелегко сказать, что он думает.

Как вам понравилась причина отказа Мих<аилу> Александровичу? Если б не он сам мне написал, я бы не поверил[6]. Я почти предсказывал Фонвизину, что его не пустят, если он сам не напишет форменного письма со всеми условленными фразами; я видел образчик этого у С<ергея> Г<ригорьевича>, которому Александр Раевский его прислал. Ужасно на это решиться. <...>

Верный ваш *И. П.*

Вы, верно, знаете, что Семенов наконец асессор и начальник отделения с 3500 р. жалованья. Чижов также произведен в прапорщики и правит должность старшего адъютанта в штабе. Мне все это пишет мой племянник Гаюс из Омска. Он добрый малый, с участием сообщает все, что может быть для меня занимательно.

Семенов сам не пишет, надеется, что ему теперь разрешат свободную переписку. Вообразите, что в здешней почтовой экспедиции до сих пор предписание – не принимать на его имя писем; я хотел через тещу Басаргина к нему написать – ей сказали, что письмо пойдет к Талызину. Городничий в месячных отчетах его аттестует, как тогда, когда он здесь находился, потому что не было предписания не упоминать о человеке, служащем в Омске. Каков Водянико и каковы те, которые читают такого рода отчеты о государственных людях?

44. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

<Туринск>, 14 июня 1840 г.

<...> Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадаешься, про что я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение, и все это после нашей разлуки. <...> [1]

45. М. А. ФОНВИЗИНУ

14 июня 1840 г., Туринск.

Сегодня писал к князю[1] и просил его позволить мне ехать в Тобольск для лечения — нетерпеливо жду ответа в надежде, что мне не откажут в этой поездке. До того времени, если не сделается мне заметно хуже, думаю подождать с порошками, присланными Павлом Сергеевичем. Если же почему-нибудь замедлится мое отправление, начну и здесь глотать digitalis, хотя я не большой охотник до заочного лечения, особенно в такого рода припадках, которым теперь я так часто подвергаюсь.

Как вы поживаете, почтенный Михаил Александрович? Давно нет от вас известия. Надеюсь, что вы и добрая Наталья Дмитриевна здоровы и сколько возможно пользуетесь приятностями короткого сибирского лета. У нас теперь жаркое время, большею частью дождливое; однако это не мешает мне по вечерам в прохладные часы ходить по окрестностям нашего городка. Движение на чистом воздухе несколько успокаивает мое волнение. Днем большей частию дома чем-нибудь занят: нахожу развлечение в детях Ивашева; Машенька премиленькая девочка, очень умна и меня занимает. Меньшая ее сестричка Верочка преуморительная пышка, не говорит еще, не ходит, но жестами и ползком все выражает и всюду пробирается. Часто навещает мое уединение, мы с ней в большой дружбе. Петруша больной мальчик, вот уже три года ему, не может двигаться, в сильной степени английская болезнь. Жаль его, бедного, а помочь нечем здесь; делают все, что можно, пользы большой нет. Авось с годами укрепятся его силы, пока будет владеть ногами. Странно, что на лицо он чрезвычайно свеж, чего я обыкновенно не замечал в детях, подверженных этой болезни. Марья Петровна занимается огородом и цветами — большая до них охотница и знает хорошо это дело.

Извините меня пред добрым Пушкиным, что я сегодня не пишу к нему особо: он уверен, что я вполне чувствую и ценю его дружеское участие, не будет на меня сердиться, что я по вторичному его настоянию не начинаю еще предполагаемого курса лечения.

Авось мы свидимся, почтенный Михаил Александрович, душевно желал бы иметь это удовольствие и найти у вас в Тобольске здоровье, которого утрата сильно преследует меня здесь.

На случай приезда моего вы потрудитесь приискать мне квартирку в вашем соседстве; я не хочу и не смею вас беспокоить моим постоянным присутствием. Это значило бы злоупотреблять вашей добротой; у Пушкина также не думаю поместиться: верно, у них и без меня довольно тесно. Вы прежде меня узнаете, будет ли мне дано позволение ехать, и тогда приищите мне уголок; я неприхотлив, как вам известно, лишь бы найти добрых, тихих хозяев, что, впрочем, не всегда легко.

Последние известия из Иркутска у меня от 3 мая: М<ария> Н<иколаевна> мне пишет обо всем, рассказывает о посещении в Оёк, в именины Лизы была у них с детьми и хвалит новый дом Трубецких, который на этот раз, как видно из ее описания, не соображен по теории Ноева ковчега[2]. Все там здоровы и проводят время часто вместе.

Прощайте, добрый Михаил Александрович, дружески приветствуйте от меня Наталью Дмитриевну. Крепко обнимаю вас мысленно в надежде скоро лично это сделать.

Пожмите руку Пушкину и поклонитесь Барятинскому. Все наши посылают вам и Наталье Дмитриевне поклоны.

Искренно преданный вам *И. Пущин.*

Скажите П<авлу> С<ергеевичу>, что я не намерен более путешествовать в известном вам фаэтоне — найду что-нибудь поспокойнее для моей преждевременной старости.

46. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 8. Туринск, 27 июня 1840 г.

<...> Признаюсь — не смею в этом уверяться, но искренно хотел бы скорее обнять тебя, скоро уже год, что мы поцеловались на Селенге. Глотал я тогда горячие слезы, они у меня на сердце, пока не брошусь в твои объятия. На прошедшей почте получил от сестры ответ на намерение мое перебраться в ваши края — но, кажется, об этом нечего и думать — она полагает это невозможным и советует мне оставить эту мысль. Вопрос в том: доберешься ли ты до меня сюда и позволят ли твои дела расстаться с Етанцой? Пожалуйста, приезжай — вместе нам будет легче, если не должно быть совсем хорошо, что очень трудно в нашей жизни, испещренной разными необыкновенностями. <...> С тобой возвратится ко мне спокойствие духа, которое — важное

условие в болезни моей. Для излечения я прошусь на время в Тобольск – через месяц должен получить разрешение от генерал-губернатора. Там, по словам Пушкина, есть опытный, хороший доктор, который, может быть, найдет возможность помочь мне чем-нибудь вдобавок к гидропатии[1], которою я теперь себя неутомимо лечу.

<...> Брат Петр на Кавказе; поехал по собственному желанию на год в экспедицию. Недавно писал ко мне из Прочного Окопа, где приняли его Нарышкины с необыкновенною дружбою: добрый Мишель чуть не задушил его, услышав голос, напоминающий меня. Теперь они все в горах, брат в отряде у Засса. <...>

Не думай, однако, чтобы я разбогател; как-то имею дар всегда быть без денег. <...>

Твой верный *И. Пущин.*

47. Е. И. ТРУБЕЦКОЙ

28 июня 1840 г., <Туринск>.

Две недели, как получил, добрая Катерина Ивановна, прямое письмо ваше от 25-го мая с листками из Етанцы. Тотчас не благодарил вас за доброе ваше дружеское участие, ожидая от сестры ответа на мое намерение перебраться к вам как будто восвояси. Последняя почта привезла мне ожидаемое письмо. Увы! кажется, не быть мне у вас. Сестра находит это невозможным: видно, надобно просить самого Никса[1] и она не решается; между тем по словам ее заметно, что она просит меня повременить в каких-то надеждах на свадьбу, – они все там с ума сошли на этом пункте, от которого, признаюсь, я ничего не ожидаю[2]. Хотя и немудрено, чтобы сделали что-нибудь. Вот каким образом мне теперь невозможно настаивать, особенно узнавши, что Оболенский писал в мае об Туринске. Я с прошедшей почтой сказал сестре, чтобы она там на этот счет хлопотала у Дубельта. Если же узнаю, что Евгения мне не дадут, то непременно буду пробовать опять к вам добраться, – покамест нет возможности думать об этом соединении, и, пожалуйста, не говорите мне о приятном для меня свидании с вами и с вашими соседями. Эта мысль преследует меня больше,

нежели бы должно: благоразумие велит помириться с разлукой, которая для меня тяжела с первой минуты.

Листки Оболенского необыкновенно взволновали меня — согласен с Сергеем Петровичем, что непременно должно вытащить его из Етанцы: видно, он болен, как и я. Мало имею надежды, чтоб сюда перевели, но по крайней мере вы успеете в случае отказа перевести его к себе. Денежные дела меня не беспокоят, они устроятся, как все, что деньгами можно кончить, но существование его там в одиночестве так не должно продолжаться; я многих выражений истинно не понимаю — он в каком-то волнении, похожем на то, что я ощущаю при биении моего сердца. <...>

Признаюсь, вызывая его сюда, я не об одном себе думаю, он угадал истинное основание моего желания. Давно уже по его письмам видел, что он не на месте и что вы и Марья Николаевна преследуете его и гоните сюда. Первое мое приглашение было написано 1-го декабря, также вдруг за полчаса до отсылки писем к городничему. Что из всего этого выйдет, право, не знаю.

Через месяц я буду в Тобольске, просил г<енерал>-г<убернатора> позволить мне туда переехать на время для излечения болезни. Ф<он>в<изин> уведомил меня, что не будет отказа, и ужасно приглашает побывать у них, — я с удовольствием туда отправлюсь, может быть, Дьяков, тамошний хваленый доктор, что-нибудь хорошего со мной сделает, во всяком случае, будет маленькое развлечение от туринской хандры, которая как-то поселилась во мне с здешним воздухом и делает меня равнодушным ко всем прелестям города. Впрочем, с наступлением лета мне несколько лучше: ванны и холодная вода, которую пью без пощады, несколько убавляют внутреннее мое трепетание. Не с кем мне здесь ходить, как бы хотелось, — все женатые как-то заленились, parties de plaisir* не существуют. Старушка Марья Петровна, бывшая моя невеста, слишком молода для больших прогулок, она утомляется довольно около своих капустных грядок; иногда помогаю ей в поливке по старой памяти, как бывало в артельном огороде. Парники ее с дынями и арбузами, но как-то она плохо действует по старой школе. Я умею только критиковать, а научить не в состоянии.

---

* увеселительные прогулки *(фр.)*.

Annette советует мне перепроситься в Ялуторовск, но я еще не решаюсь в ожидании Оболенского и по некоторой привычке, которую ко мне сделали в семье Ивашева. Без меня у них будет очень пусто — они неохотно меня отпускают в Тобольск, хотя мне кажется, что я очень плохой нынче собеседник. В Ялуторовске мне было бы лучше, с Якушкиным мы бы спорили и мирились. Там и климат лучше, а особенно соблазнительно, что возле самого города есть роща, между тем как здесь далеко ходить до тени дерева. <...>

Об Нарышкиных имею известие от брата Петра из Прочного Окопа,— Нарышкин чуть было не задушил его, услышав знакомый ему мой голос. Родственно они приняли моего Петра, который на год отправился по собственному желанию в экспедицию. Теперь они все в горах. Талызин уехал в Петербург и, кажется, не воротится, я этому очень рад. При нем я бы не поехал по приглашению Фонвизина[3].

Верно, вы от Ивана Сергеевича слышали историю о рыбе, то есть о географической карте, которую мы с Якушкиным чертили в Петровском. За это на меня гонение от губернатора,— вероятно, Якушкин рассказал Персину это важное событие. Мне жаль, что Персин не видал моих родных и не заехал сюда. Поблагодарите его за записочку, из Тобольска мне ее переслали вместе с другими письмами, привезенными Львовым, который всем обещал сюда заехать и не показал носа; разве на обратном пути будет. <...> Официальные мои письма все, кажется, к вам ходят через Петербург — с будущей почтой буду отвечать Сергею Григорьевичу, на днях получил его листок от 25-го числа — он в один день с вами писал, только другой дорогой. Ваших милых деток часто вспоминаю. Марья Николаевна говорит, что Зиночка в большой дружбе с Нелинькой; воображаю их вместе, воображаю всех вас в семейном вашем кругу, только не умею себе представить новой сцены. <...> Читали ли вы «Les mémoires» d'Andryane*; если нет, скажите — я вам перешлю, все с удовольствием прочтут эту замечательную книгу[4].

Сегодня прощайте, добрая Катерина Ивановна, может быть, завтра еще...

---

* «Мемуары» Андриана *(фр.)*.

48. И. Д. ЯКУШКИНУ

11–16 июля 1840 г., <Туринск>.

На последней почте я получил от неизменной моей Annette известие, что она 4-го июня написала и послала просьбу о моем перемещении на Ангару. Увидим, что из этого выйдет,– я не думаю, чтоб отказали; кажется, мудрено найти затруднение исполнить это желание, вынужденное обстоятельствами. Согласен с вами, что гораздо лучше мне было там остаться, я и хотел было это сделать, но как-то совестно было отказать родным в утешении что-нибудь для меня сделать: они воображают, что это необыкновенная милость,– я нисколько не разделяю этого мнения. Письма в Иркутске и даже в Урике получаются только несколькими днями позже Туринска – это главное. Насчет приезда сестры ко мне, когда позволят обстоятельства, она везде меня найдет. <...> Ожидаю покамест увольнения из Омска[1], чтобы отправиться в Тобольск. Непременно хочется заглянуть к вам, но не знаю, удастся ли исполнить это сердечное желание. Вы второпях не отвечаете на мой вопрос: может ли наше свидание остаться без огласки от ваших властей? Если нельзя будет добраться до вашего жилья, я постараюсь вас вызвать в ближайшую подгородную деревню – тут, вероятно, вам нетрудно будет до меня доехать как будто для прогулки.

<...> Пользуюсь случаем послать вам записки Andryane и «Историю революции» Тьера, хотя вы не отвечали мне, хотите ли их иметь. Когда все желающие у вас их прочтут, возвратите книги Басаргину, но не через официальную почту. Тьер запрещен русской цензурой и здесь тайно: он уже был и в Омске, и в Тобольске, и в Кургане у Свистунова[2]. <...>

16-го. Сейчас приехал нарочный из Тобольска с разрешением моей поездки: послезавтра отправляюсь из Туринска. Невозможно к вам заехать, к крайнему моему сожалению. С прошедшей почтой наш городничий получил предписание тотчас уведомить губернатора, если кто-нибудь к нам или к полякам проедет. Следовательно, мудрено надеяться, чтоб мой набег остался без огласки. <...> Вы были одна из причин, которые заставили меня ехать на запад, и, как нарочно, до вас-то и не добрался. <...> Спасибо Мих<аилу>

Александровичу, он действует для меня — Горчаков 13-го приехал в Тобольск, а 14-го отправлен урядник с бумагой. <...>

Верный ваш *И. П.*

<...> P. S. Энгельгардт мой почтенный поручает мне доставить ему сведения о Туринске для земледельческой его газеты. К сожалению, я на отъезде получил его письмо и вряд ли что-нибудь соберу. Нельзя ли вам что-нибудь сказать о Ялуторовске в статистическом, агрономическом и этнографическом отношении. Я ему перешлю ваш труд, и он будет благодарен за любопытную статью. Можно прибавить кой-какие исторические сведения. Басаргин обещает прислать мне в Тобольск материалы[3]. Сделайте то же на досуге.

49. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

19 июля 1840 г., Туринск.

На прошедшей неделе не удалось мне, почтенный и добрый друг мой Егор Антонович, поблагодарить вас за ваше мартовское письмо, которое долго странствовало; через Иркутск наконец оно дошло до меня, и я насладился вашей беседой; рано или поздно она всегда для меня истинное утешение. Спасибо вам за дружеские ваши советы — исполнением постараюсь доказать, что я умею ценить ваше доброе ко мне участие. Мне очень жаль, что не прежде получил ваши листки,— теперь я отправляюсь в Тобольск, куда просился съездить для советов с медиком, и вряд ли буду иметь возможность исполнить ваше желание насчет описания Туринска. Не обещаю; но если из собранных некоторых сведений и из того, что Басаргин мне обещает туда переслать, выйдет нечто путное и достойное вашего внимания, то непременно доставлю вам все ценное, и вы тогда увидите, годно ли оно для вашей *газеты.*

Я не писатель и очень строг в этом отношении, особенно к самому себе. Надобно говорить дельно или ничего не говорить — и самый предмет должен быть некоторой особенной занимательности. Не совсем уверен, чтобы Туринск этим отличался: в свое время вы сами будете об этом судить.

Пожалуйста, присылайте мне что-нибудь дельное, любопытное для перевода; с уверенностию, что этот труд может быть полезен, я охотно примусь за него. Желал бы очень чем-нибудь содействовать лицейскому вашему предприятию[1] — денежных способов не имею, работать рад, если есть цель эту работу упрочить, без этой мысли нейдет на лад. Вы справедливо говорите, что у меня нет определенного занятия,— помогите мне в этом случае, и, без сомнения, урочное дело будет иметь полезное влияние и на здоровье вместе с гидропатией, которая давно уже в действии. Я сам с давних пор признаю целебность чистой холодной воды — теперь усилил приемы и наружно и употребляю ежедневно. <...>

И. Пущин.

50. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 9. 1 августа 1840 г. Тобольск.

<...> Неделя тому, как я приехал в Тобольск посоветоваться с доктором и полечиться: постоянное нездоровье заставило меня решиться просить позволения на время оставить Туринск, где напрасно искал облегчения. Здесь теперь пользует меня г-н Дьяков: я строго соблюдаю его советы, желаю всеми силами скорее выйти из числа хворых людей, в число которых, сам не знаю почему, попал с самого моего приезда на запад Сибири. <...> Здесь я живу, как и в Туринске, в кругу товарищей, которые часто навещают меня. С Мих<аилом> Алекс<андровичем> и Пушкиным много ходим, иногда и Наталья Дмитриевна с нами путешествует. Мне предписано движение — при самой строгой диете, приемы digitalis, недавно ставил пиявки. <...>

51. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 10. 4 сентября 1840 г., Тобольск.

<...> Много хотел бы сказать тебе о намерении твоем — как, кажется, произнести слово: женюсь; но, вероятно, ты помнишь все наши толки на этот счет и припомнишь

постоянное мое мнение. Я его не изменяю, напротив, еще больше убеждаюсь в невозможности для нас, в нашем положении, сделать такой шаг. Вполне уверен, что ты, писавши ко мне, был под влиянием минутного движения, очень естественного для уединенного жителя Етанцы, и никак не хочу словам твоим придавать обширного, дальнейшего смысла. Вообще я неохотно в нашей переписке касаюсь таких предметов, которые требуют откровенного, близкого сообщения. Одним словом, я хочу и надеюсь встретить тебя совершенно тем, как мы с тобой расстались. <...>

Недавно получил письмо от Нарышкиных из Кисловодска. Он сам приписывает несколько слов — глаза у него очень болят, но, кажется, можно надеяться на облегчение, будет видеть. <...> Все наши на Кавказе здоровы, по этим последним известиям; брат Петр часто видается со всеми. Назимов с ним в одной роте. Пронесся было слух, что ему отняли ногу, но это несправедливо и не подтверждается даже, чтоб он был ранен. <...>

Барятинский давно собирается к тебе писать, но все как-то не соберется. Он тебе дружески кланяется. Положение его совершенно то же, что и прежде: безгласен, как буква «ъ»[1]. Финансовые его обстоятельства также не в блестящем виде. Живет вместе с Пушкиным, который хозяйничает за него и за себя; при малых своих способах он всегда умеет сводить концы с концами. Не всем нам дано это искусство, как я убеждаюсь из собственного своего опыта. Пожалуйста, соединись скорей со мной, я себя отдам тебе в полное управление; ты, верно, теперь научился распоряжаться; разбогатеем, по крайней мере не будем записывать с минусом, как иногда со мной бывает при всем желании и решимости действовать иначе.

Сейчас заходил ко мне Мих<аил> Алекс<андрович> и просил написать тебе дружеской от него поклон. С Натальей Дмитриевной я часто вспоминаю тебя; наш разговор, чем бы ни начался, кончается тюрьмой и тюремными друзьями. Вне этого мира все как-то чуждо. Прощай, любезный друг! Дай бог скорее говорить, а не переписываться.

Верный твой *И. Пущин.*

5-го сентября. Сегодня получил от Annette письмо 12-го августа; она говорит, что послан запрос в Иркутск об моем переводе и соединении с тобой, любезный друг[2]. Теперь можно спокойно ожидать к зиме разрешения, — вероятно, на Ангаре дадим друг другу руку на житье!

52. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Тобольск>, 5 сентября 1840 г.

<...> Дьяков говорит, что это хроническое воспаление сердца, с которым неразлучны припадки ипохондрии. Они-то хуже всего. <...>

Пусть все желающие прочтут Тьера. Понимаю, что вы им наслаждались[1].

53. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 11. 9 октября 1840 г. Тобольск.

<...> Барятинский все собирается к тебе писать, но, кажется, не скоро соберется. Это время для него не совсем хорошо, хотя он и не чувствует, чтоб здешний климат ему вредил; вообще доволен, что поселен в Тобольске: живет по-прежнему уединенно, занят греческим языком, койкогда меня навещает, я также от времени до времени захожу к нему. Он живет вместе с Пушкиным недалеко от меня, а Фонвизины против моего теперешнего жилища. Редкий день, чтобы с ними не видался хоть на минуту. <...>

Из Туринска мне часто пишет Басаргин, и Ивашев иногда стряхает свою лень: оба они с дружбою вспоминают тебя и хотели бы очень видеть нас обоих в их городке. Ивашев даже воображает, что мы займем весь верхний этаж его дома, которого половину я нанимал и где до сих пор мой хлам напоминает постояльца. Не могу довольно благодарить их за участие и не умею себе представить, чтоб они могли находить приятность в таком собеседнике, каким я был почти постоянно во время пребывания моего у них. Или я в совершенном заблуждении на свой счет, или они необыкновенно снисходительны, только мне казалось, что я должен был всем казаться несносен. Теперь не имею в себе в такой сильной степени этого неприятного чувства, как-то гляжу на все веселее, деятельность возвращается, и есть надежда, что все придет в порядок. <...>

54. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 13. 10 декабря 1840 г. Тобольск.

<...> На днях получил письмо от брата Петра из Прочного Окопа. Нарышкин приписывает несколько слов. Глаза его несколько лучше. Лиз<авета> Пет<ровна> хворала, но снова здорова. Они оба приветствуют тебя и воображают, что мы скоро будем вместе. Ты, верно, знаешь, что Лорер произведен[1]. Об других еще ничего нет. На Кавказе свежая могила: Лихарев убит пулей прямо в сердце; лег на месте, не успел вздохнуть[2]. Мы недавно получили здесь это известие — почти в одно время с письмом Давыдова о смерти Аврамова, не знаем подробностей его кончины[3]. Пушкин сегодня пишет к Лисовскому. Обе эти вести поразили нас, — может быть, и ты уже об них слышал. Такого рода известия как-то скоро доходят: они летят скорее приятных. <...>

55. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 17 генваря 1841 г.

Как сон пролетели приятные минуты нашего свидания. Через 24 часа после того, как я взглянул в последний раз на вас, добрый мой Иван Дмитриевич, я уже был в объятиях детей и старушки Марьи Петровны. Они все ожидали меня как необходимого для них человека. Здесь я нашел Басаргина с женой: они переехали к нам до моего возвращения. Наскоро скажу вам, как случилось горестное событие 27 декабря[1]. До сих пор мы больше или меньше говорим об этом дне, лишь только сойдемся.

Вечер кончился обыкновенным порядком. Ивашев был спокоен, распорядился насчет службы в кладбищенской церкви к 30-му числу, велел топить церковь всякий день. Отдавши все приказания по дому, пошел перекрестить сонных детей, благословил их в кроватках и отправился наверх спать. Прощаясь с Марьей Петровной, сказал, что у него болит левый бок, но успокоил ее, говоря, что это ничего не значит. Между тем, пришедши к себе, послал за доктором — и лег в постель. Через полчаса пришел Карл. Тронул

его пульс — рука холодная и пульс очень высок. Карл пошел в комнату возле — взять ланцет. Возвращается и видит Ивашева на полу. В минуту его отсутствия Ивашев привстал, спустил с кровати ноги и упал без чувств. Тут был Федор, который вместе с одной женщиной приготовлял бинт для кровопускания. Они не успели его поддержать, так это было мгновенно. Бросают кровь, кровь нейдет. Трут, качают — все бесполезно: Ивашев уже не существует.

Между тем пришел Басаргин, которого успели позвать, когда Ивашев послал за лекарем. Он, видя эту картину, спрашивает, ничего не понимая: «Ивашев, что с тобою?» Ответу нет. Глядит — вся левая сторона головы и грудь покрыты синими, багровыми пятнами. Карл плачет. Весь дом на ногах. Марья Петровна совсем синяя стоит над телом — так ее застает Прасковья Егоровна, прибежавшая с мужем. Увели старуху в ее комнату. Наверху покойник, внизу сонные дети и плачущая старуха пред образом на коленях. Все это было между девятью и десятью часами. Приезжают городничий, лекарь, городовой и стряпчий. Сначала хотят вскрывать тело, но Басаргин говорит, что никак этого не позволит. Достаточно наружных признаков, показывающих апоплексический удар. Полиция уходит. Всю ночь тревога в доме. Не нужно этого описывать, вы можете себе представить, что тут происходит.

Утром Машеньку с Петей переводят к Басаргину: он с женой переезжает сюда. Пишет в Тобольск, чтоб я скорее приехал; пишет к родным Ивашева через одного их приятеля, который должен их приготовить к этой ужасной вести. Одним словом, 30 декабря вместо поминок Камиллы Петровны в тот самый час, как она скончалась, хоронят Ивашева, который сам для себя заказал обедню[2].

Теперь вы спросите, что же делается у нас? Грустная печать на всем, но я нашел все гораздо лучше, нежели ожидал: теперь спокойнее, нежели был, когда услышал среди вас о том, что здесь случилось. Дети необыкновенно ко мне привязаны: с Машенькой всякое утро занимаюсь, Петя и Верочка беспрестанно со мной. Верочка уверяет, что меня узнала. По крайней мере бросилась ко мне, когда я вошел, и они все мне приготовили пирожки и ждали с часу на час. С Марьей Петровной поплакали. Она спокойнее несколько, здоровье ее хорошо. Я поселился возле них, чтоб быть ближе. Верх пуст. Дай бог, чтоб все шло, как теперь, пока не

придет позволение сиротам возвратиться к родным: не могу думать, чтоб в этом отказали.

С Завьяловым писал Фонвизиным, Пушкину и Черепанову по известному вам делу[3].

Останься я день в Тобольске, мы с вами бы не увиделись. Почта туда должна была прийти на другой день моего выезда. Не стану говорить вам, как свидание мое с вами и добрым Матвеем Ивановичем освежило мою душу, вы оба в этом уверены без объяснений. У вас я забыл рубашку, значит, скоро опять увидимся. Пока дети здесь, я не тронусь, а потом не ручаюсь, чтоб остался в Туринске.

С нынешней почтой пишем в Екатеринбург, чтоб к памятнику прибавили другую надпись. Зимним путем он будет перевезен — весной поставим и памятник по рисунку самого Ивашева. Не часто бывают такие случаи в жизни.

Скоро будет отсюда случай к вам, я к тому времени приготовлю все, что мне поручали в Ялуторовске. С почтой невозможно отправить заветных рукописей[4]. По-моему бы и можно, но вы будете называть меня неосторожным человеком, и я не хочу в мои преклонные лета заслужить такого мнения.

Басаргин в восторге, что я приехал. Вчера он перебрался домой, но всякий день бывает.

Я сделал визиты тем, которые у меня были. Теперь примусь за переписку Паскаля[5] (половина у Пушкина). Много еще надобно кой-куда написать.

Сейчас отправляемся в церковь — уже 21 день новой могиле.

Прощайте, добрый друг. Крепко обнимите за меня Матвея Ивановича, поцелуйте руку Марье Константиновне, приласкайте деток, если они меня помнят еще. Евгения поцелуйте, когда он приедет к вам утром, — я его рожицу никак не забуду. Пожалуйста, уведомляйте меня о магнетизме, об Оленьке (honni soit qui mal y pense*). Не прощаю себе, что я ее не видал, — не знаю, какое-то чувство меня остановило просить вас об этом. Красавице вашей хозяйке и благодарения и приветствия. Я ее жду к себе в Ирбитскую ярмарку.

Почтенному отцу Степану скажите все, что можете лучшего от меня. Встреча таких людей, как он, во всех отно-

---

* да будет стыдно тому, кто думает об этом плохо *(фр.)*.

шениях приятна и утешительна. Не давайте ему хворать. <...>

Разбирайте, как знаете, мои клетки[6]. Отыщите в них только то чувство, которое без выражения существует,— больше ничего не желает верный вам *П<ущин>*.

Все наши посылают вам дружеские поклоны. Не перечитываю письма; дополните смысл, где его не будет доставать.

56. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 14. 17 генваря 1841 г., Туринск.

Опять из Туринска приветствую тебя, любезный, милый друг Евгений. Опять горестная весть отсюда: я не застал Ивашева. Он скоропостижно умер 27-го декабря вечером и похоронен в тот самый день, когда в прошлом году на наших руках скончалась Камилла Петровна. В Тобольске это известие меня не застало: письмо Басаргина, где он просил меня возвратиться скорее, пришло два дни после моего отъезда. В Ялуторовске дошла до меня эта печальная истина — я тотчас в сани и сюда. <...>

Теперь на наших руках четверо детей, из которых старшему 68 лет,— это их бабушка, приехавшая похоронить и дочь и зятя[1]. Ты можешь себе представить, как эти два удара подействовали на бедную женщину. Слава богу, она хорошо переносит свое положение: здоровье ее поддерживается. Она и все малютки рады моему приезду и рады, что я возвратился здоровый. Что могу, то делаю для них. Басаргин с женой у них жил до вчерашнего дня — ожидал моего возвращения, я его уговорил еще несколько дней пробыть и при мне.

Ты невольно спрашиваешь, что будет с этими малютками? Не могу думать, чтобы их с бабушкой не отдали родным, и надеюсь, что это позволение не замедлит прийти. Кажется, дело просто и не нужно никаких доказательств, чтобы понять его в настоящем смысле. Не умею тебе сказать, как мне трудно говорить всем об этом печальном происшествии. <...> За месяц до этого писал ко мне Ивашев, что ему нездоровится,— я советовал ему больше делать движения. И здесь ему Басаргин то же говорил не раз, советовал даже открыть кровь, но он все полагал лишним —

и приписывал это нездоровье обыкновенным своим припадкам. В день своей смерти нисколько не чувствовал себя хуже, сам заказал обедню в кладбищенской церкви в память своей жены к 30-му числу, и на этой обедне его самого отпевали. Все жители соединились тут — он оставил добрую по себе память в Туринске, где потерял в течение двух лет мать, отца, жену и где, наконец, и сам лег. С трудом верю, что его нет, и часто ищу своего хозяина.

<...> У меня здесь часть Паскаля, доставшаяся на мою долю переписать,— рукописи с нашими помарками никто, кроме нас, не поймет.

Прощай, любезный Евгений,— это письмо несколько замедлит, из Туринска дорога дальше, но к тебе всегда одинаково близок

твой друг *И. Пущин.*

Нарышкин, говорят, произведен из унтер-офицеров в юнкера. Это какое-то новое постановление для разжалованных — я его не понимаю, а потому не сужу. <...>

57. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 15. 16 февраля 1841 г. Туринск.

<...> Все мои родные помешались на предстоящем торжестве: как ни уверяю их, что напрасно они истощают способности надеяться, все свое толкуют. Ты, я думаю, на этот счет согласен со мной.

<...> С Кавказа получил письмо от Назимова и несколько слов от доброго нашего Нарышкина: оба они произведены в юнкера. Это новое положение для тех, которые разжалованы в солдаты. Таким образом, можно несколько раз производить, не давая офицерского чина[1]. <...>

58. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 21 февраля 1841 г.

Начну с моей семьи. Нынешняя почта привезла Марье Петровне письмо, которым дают верную надежду к их возвращению в Симбирск. Бенкендорф обещал исходатайство-

вать это позволение. Теперь, кажется, нельзя сомневаться, что в мае месяце мы их проводим,— может быть, кто-нибудь из родных сюда приедет. Я надеюсь, что недели через две будет положительное известие, которое меня очень успокоит. Старушка и дети здоровы. Она необыкновенно со мною сблизилась, и я убедился, что для них здесь не лишний. Судьба поставила меня какой-то серединой между этими крайностями; без этой середины крайности не всегда соединяются. Поверьте мне, когда я вам говорю, что Марья Петровна с необыкновенною твердостию переносит свое положение. Это истина — совершенно закаленное железо, которое от огня всякий раз делается тверже. Я ее слежу и точно люблю в ее безусловной покорности воле божией. Весь дом меня носит на руках — счастие, что все добрые уроды женского пола, иначе я бы погиб. Катя, которую вы должны помнить, у меня учится — большие делает успехи и скоро будет писать письма лучше Тютчева[1]. С Машенькой занимаюсь всякий день. Она умненькая девочка, не всегда только внимательна, как обыкновенно в ее лета (шесть лет), и мне совестно быть взыскательным, зная, что через два месяца должны расстаться. Больше сократическим способом действую на развитие ее понятий, которые вообще очень раскрыты у всех наших сибирских детей, потому что они все с нами. Недавно я возил ее с большой горы, и она в восхищении. Тут были и не дети, и ваш приятель с известным ему искусством действовал напропалую. <...> Завтра, вероятно, приедут <Черкасовы> — и я опять их за расстроенный флигель посажу. Вообразите, что некому настроить. Анненков мог бы это сделать, но ему нужно на эту операцию три года. Тоска глядеть на него, он как-то опустился жестоко в эти шесть месяцев, что я его не видал. <...>

59. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

27 февраля <1>841 г., Туринск.

<...> Примите это произведение, как оно есть, и ожидайте скоро ящики, которые будут лучше сделаны. Тут не будет препятствия со стороны духовенства, которого влияния я не в силах уничтожить.

В воскресенье меня в два часа утра приятным образом разбудил Гаюс, мой племянник. <...> Главное приятное известие, что матушка здорова, то есть в том хорошем положении, которого мы лучше желать не смеем. <...> Батюшка посылает мне золотые часы с репетицией и двумя новомодными золотыми цепочками, какую-то пару платья в 350 р. и какой-то знаменитый архалук — денег нет! Это точно странно. Annette говорит, что деньги пришлют и что я должен уважить страсть нашего старика к часам, которых у меня теперь трое. Со временем, вероятно, будет мильон, и я буду заводить репетицию, когда придут за деньгами. <...> Знаю, что все глупые денежные дела устроятся, но хотелось бы, чтоб скорее это кончилось. <...>

Хорошо бы, если бы Пушкин прислал скорее Паскаля,— я уже две недели как отправил ему мой пай. Только мне кажется, что он запоздал своей работой. <...>

60. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 7 марта <1841 г.>.

<...> Все это время я имел приятных посетителей — приезжал мой племянник, который в шесть недель из Омска съездил в Петербург и через Туринск возвратился к своему месту, он по особым поручениям при Горчакове,— кажется, я вам говорил, что прошлого года он навещал меня. С ним до света потолковал о всех домашних и обо всем вообще. Через несколько дней после него явился петербургский купчик с посылкою[1]. Человек мне доставил истинное удовольствие своим приездом. Нечто новой школы — я с ним чрезвычайно сблизился, хотя провели вместе только двенадцать часов. Он очень знает всех моих и теперь отправился туда очевидцем неравнодушным моего существования.

<...> Мне отец прислал еще золотые часы с разными цепочками и чудесный чекмень черного атласного сукна и разный другой вздор. Кажется, я скоро заведу лавку — а денег нет. Но это перед деньгами — иногда мне полезно быть без гроша, меньше издерживаю. <...>

61. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 11—12 марта 1841 г.

<...> В чувствах моих не стану также вас уверять: если вы до сих пор сомневаетесь в заветной моей дружбе, то никогда не надеюсь вас в ней уверить. <...>

Странно, что С<ергей> Г<ригорьевич> говорит о Каролине Карловне: «К<аролина> К<арловна> неожиданно нагрянула, пробыла несколько часов в Урике и теперь временно в Иркутске sans feu, ni lieu pour le moment*». Не понимаю, каким образом тетка[1] так была принята, хоть она и не ожидала отверзтых объятий, как сама говорила в Ялуторовске. <...>

Марья Петровна благодарит вас за письмо. Старушка, ровесница Louis Ph<ilippe>, очень довольна, что работа ее вам понравилась, и ей несколько приятно, что в Тобольске умели оценить наше изделие. Мы необыкновенно ладно живем. Она ко мне привыкла, и я к ней. Дети и няньки со мной в дружбе. К счастию, между последними нет красавиц — иначе беда бы моему трепещущему сердцу, которое под холодною моею наружностию имеет свой голос. <...>

Мы с Якушкиным условились, в случае какого-нибудь перемещения, съехаться в Тюмени. <...>

Одна тяжелая для меня весть: Алекс<андр> Поджио хворает больше прежнего. Припадки часто возвращаются, а силы слабеют. Все другие здоровы по-прежнему. Там уже узнали о смерти Ивашева, но еще не получили моего письма отсюда. М<ария> Н<иколаевна> не пишет, С<ергей> Г<ригорьевич> говорит, что она уверена, что я еду. Мнения, как видите, разделены.

И. П.

62. А. П. БАРЯТИНСКОМУ

<Туринск>, 13 марта <1841 г.>.

Спасибо тебе, любезный Александр Петрович, за твое письмо: несколько слов тебе скажу в ответ. Ты меня извинишь, с этой почтой отправляю мильон писем.

---

* теперь без пристанища *(фр.)*.

Очень рад, что твои финансовые дела пришли в порядок. Желаю, чтобы вперед не нужно было тебе писать в разные стороны о деньгах. Должно быть, неприятно распространяться об этом предмете. Напиши несколько строк Семенову и скажи ему общую нашу признательность за пятьсот рублей, которые ему теперь уже возвращены.

Я имел известие из Иркутска. Меня туда ожидают, и я сижу теперь в Туринске и по совести не могу выехать, пока детям Ивашева не позволят переехать Урал.

Волконский преуморительно говорит о всех наших,— между прочим, о Горбачевском, что он завел мыльный завод, положил на него все полученное по наследству от брата и что, кажется, выйдут мыльные пузыри. Мыла нет ни куска, а все гуща — ведь не хлебать мыло, а в руки взять нечего. Сквозь пальцы все проходит, как прошли и деньги. Мы с тобой и без завода пропускаем их. Нам это понятно, но странно, что С<ергей> Г<ригорьевич> удивляется искусству Горбачевского. Я, напротив, уверен, что Горбачевский чудесно устраивает свои дела, а Волконский из зависти над ним трунит. Завод должен отлично идти, потому что он заведен по моему совету, а советовать я мастер, как ты видишь из начала этого листка.

Францов тебе скажет, как мы здесь живем,— он всех видел. Мы его приняли как верного союзника, испытанного в усердии и ревности[1].

Между тем прощай — обнимаю тебя.

Истинно преданный тебе *И. П.*

63. И. Д. ЯКУШКИНУ

16 марта 1841 г., Туринск.

<...> Вчерашняя почта привезла Марье Петровне письма, где говорят, что дело ее идет хорошо, но еще нет окончательного слова от Медведя, который, вероятно, при свадьбе сделает милость нашим сиротам[1].

<...> Хорошо делает М<атвей> И<ванович>, что пишет к Бенкендорфу,— не надобно останавливаться и все средства должно употребить, когда нужно чего-нибудь достигнуть. Не может быть, что Бенкендорф отказал,— будет только несколько дольше царствовать глист[2]. <...>

64. И. Д. ЯКУШКИНУ

4 апреля 1841 г., Туринск.

Спасибо вам, добрый друг Иван Дмитриевич, что вы уделяете мне минуту рассчитанного вашего времени. Я знаю, что это похищение у потомства, но тем не менее прошу вас, без зазрения совести, воровать иногда для верного вам современника.

История с Кар<олиной> Кар<ловной> меня бесит неимоверно, и я не удержался — пустил запрос на Ангару вроде Арбузова *обиняка.* Очень понимаю, как бы нам нужно было, в некоторых случаях, вместе заглянуть в лавочку, где точно очень некстати дурачатся молодые или, лучше сказать, старые люди. Признаюсь вам, во всем этом меня удивляет Никита. Ему бы можно было молвить свое слово — в этом деле его молчание не извинительно. Положим, что К<аролина> К<арловна> могла не делать сюрприза своим появлением, но когда уже сделаны пять тысяч верст, когда в Ялуторовске были и плен и разные приятные встречи[1], то уже поздно поддерживать систему остракизма. Никак и ничем не могу себе этого объяснить: разве несчастие подействовало. Ужели К<аролина> К<арловна> не писала вам с своим вильманстрандским спутником? Прошу, если есть разрешение задачи, сообщить мне его при случае[2].

Верно, что вам трудно о многом говорить с добрым Мат<веем> Ив<ановичем>. Он не был в наших сибирских тюрьмах и потому похож на сочинение, изданное без примечаний,— оно не полно. Надеюсь, он найдет способ добраться до Тобольска, пора бы ему уже ходить без солитера.

<...> насчет неисправности в доставлении нам писем я писал к Annette и просил ее взять место тобольского губернатора; пусть эту невинную шутку читает Ладыженский и III отделение[3].

65. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 17. 18 апреля 1841 г., Туринск.

Не моя вина, добрый мой друг Евгений, что обычные мои письма не вовремя к тебе доходят, и не твоя вина, что я получил, после листка твоего от 15 декабря, другой от 14 февраля.

<...> Annette теперь ожидает, что сделают твои родные, и между тем все они как-то надеются на предстоящие торжества. Спрашивали они мое мнение на этот счет — я им просто отвечал куплетом из одной тюремной нашей песни: ты, верно, его помнишь и согласишься, что я кстати привел на память эту старину[1]. Пусть они разбирают, как знают, мою мысль и перестанут жить пустыми надеждами: такая жизнь всегда тяжела. <...>

Подчас я думаю, что мне должно было для того здесь остаться, чтоб быть наседкой чужих цыплят. Хотя я не мусульманин, но невольно ощущаю на этот раз какое-то предопределение, которому повинуюсь и жду, когда моих цыплят пустят в родимое гнездо. Видно, и для них надобно ожидать необыкновенного дня. Ничего еще нет верного, хотя уже с лишком два месяца, как донесение о смерти Ивашева дошло до Петербурга; родные его там хлопочут, но не могут нашей старушке дать полной уверенности. Я стараюсь всеми силами убедить ее в несомненном отъезде в Буинск,— поистине, не умею себе представить отказа: самое замедление меня удивляет. Благодаря бога, все они здоровы — и я забыл, когда был болен. Приятно мне тебе сказать эту весть. Ты искренно порадуешься, что недаром меня морили голодом, жгли и на убой кормили лекарствами в Тобольске. Спасибо Дьякову-шеленгисту[2]. Он удачно и верно попал на причину болезни. Постоянно держался одного лечения, и успех увенчал его дело. <...>

С Тобольском и Ялуторовском я в частых сношениях. Пушкин медлит с Паскалем — моя работа давно готова и ему отослана. Жду теперь все целое, чтобы отослать в Петербург, в надежде, что это принесет что-нибудь Пушкину. За двести рублей я с ним счелся — у нас беспрестанные денежные дела; чтобы избежать пересылки, он платит там за меня, а я здесь за их поручения по части туринских художников. Непременно пришлю тебе образчик их мертвописи, как говорил некогда Бабака[3], или что-нибудь духовное, или тюремное. Дай только поправиться делам. Я теперь по-прежнему хлопотун и, кажется, наверстываю то время, что не мог возиться. <...>

Что твои питомцы? Ничего ты мне об них не говоришь: видно, хочешь поразить меня их успехами, если придется увидеть[4]. Я сам здесь немного педагогствовал, но это боль-

шею частию кончается тем, что ученик получает нанки на шаровары и не новые сведения в грамматике и географии. Вероятно, легче обмундировать юношество, нежели научать. Не убеждают ли тебя твои опыты в той же истине?

Много бы хотелось с тобой болтать, но еще есть другие ответы к почте. Прощай, любезный друг. Ставь номера на письмах, пока не будем в одном номере. Право, тоска, когда не все получаешь, чего хочется. Крепко обнимаю тебя. Найди смысл, если есть пропуски в моей рукописи. Не перечитываю — за меня кто-нибудь ее прочтет, пока до тебя дойдет. Будь здоров и душой и телом.

Верный твой *И. Пущин.* <...>

66. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

23 апреля <1841 г., Туринск>.

Не благодарите меня за письма, добрейшая Наталья Дмитриевна, читайте только терпеливо частые мои послания. Кажется, вы не можете пожаловаться, чтоб я к вам не писал, лишь бы не сказали: не худо бы ему больше думать, а меньше болтать. Между тем со мной совершенно противное случается. Еще в старые годы почтенный мой директор часто говаривал мне: пожалуйста, не думай, а то наверное скажешь вздор! Этот человек знал меня — я следую его совету и точно убеждаюсь иногда, что, не думавши, как-то лучше у меня выходит. <...>

Зуев привез мне портрет брата Петра, которого я оставил пажом. Теперь ему 28 лет. Ни одной знакомой черты не нахожу — все новое, между тем — родное. Часто гляжу на него и размышляю по-своему. <...>

Я бы отозвался опять стихами, но нельзя же задавать вечные задачи. Что скажет добрый наш Павел Сергеевич, если *странник* опять потребует альбом для нового отрывка из недоконченного романа, который, как вы очень хорошо знаете, не должен и не может иметь конца? Следовательно:

И останешься с вопросом
На брегу Иртышских вод[1].

На заданные рифмы прошу вас докончить мысль. Вы ее знаете так же хорошо, как и я, а ваши стихи будут лучше моих — и вечный переводчик *собственных имен* спокойнее будет думать о ярославском именье. <...>

Вы знаете, как мужчины самолюбивы,— я знаю это понаслышке, но, как член этого многочисленного стада, боюсь не быть исключением <из> общего правила. Про женщин не говорю. Кроме хорошего, до сих пор в них ничего не вижу — этого убеждения никогда не потеряю, оно мне нужно. Насчет востока мы многое отгадали: откровенно говорить теперь не могу,— когда-нибудь поболтаем не на бумаге. Непременно уверен, что мы с вами увидимся — даже, может быть, в Туринске. <...>

Из Иркутска после февральского письма Трубецких я ничего не получал. Еще не имею ответа от М<арьи> Н<иколаевны> на мое первое длинное послание отсюда. Когда что узнаю, вам не замедлю сообщить. Вы, с своей стороны, сделайте то же. <...>

Кар<олина> Кар<ловна> повезла Вадковскому «Записки» Гризье, бывшего maître d'armes*, о России. Мы, помните, в «Пчеле» читали отрывок об Урале. Не воображали, что Лаура — наша знакомая m-me Annenkoff. Матвей Муравьев читал эту книгу и говорит, что негодяй Гризье, которого я немного знал, представил эту уважительную женщину не совсем в настоящем виде; я ей не говорил ничего об этом, но с прошедшей почтой пишет Амалья Петровна Ледантю из Дрездена и спрашивает мать, читала ли Анненкова книгу, о которой вы теперь от меня слышали,— она говорит, что ей хотелось бы, чтоб доказали, что г-н Гризье (которого вздор издал Alexandre Dumas) пишет пустяки. Увидевши, что книга с бреднями имеет ход в Европе, я должен был сказать Анненковой, что ожидаю это знаменитое сочинение. Недели через две я должен получить ее, если Вадковский исполнит мою просьбу. Тогда и вы прочтете, а Анненкова напишет к Александру Дюма и потребует, чтоб он ее письмо сделал так же гласным, как и тот вздор, к которому он решился приложить свое перо[2].

Мне ужасно досадно, что у бедной женщины отнимают единственное ее богатство, и по этому случаю еще больше жалею, что не застал в Ялуторовске К<аролину> К<ар-

---

* учитель фехтования *(фр.)*.

ловну>. Надеюсь, что вы теперь получили подробные известия от Якушкина.

Отец Степан, верно, привозил и отвозил фолианты. <...>

Не говорю вам о нашем духовенстве. Оно такое сделало на меня впечатление, что я не говел именно по этому неприятному чувству. Вы меня будете бранить, но я по-своему, как умею, без такого посредничества, достигаю *Недостижимого* и с попами. <...>

О детях в последнем письме говорят, что недели через три обещают удовлетворительный ответ. Значит, нужна свадьба для того, чтоб дети были дома. Бедная власть, для которой эти цыпушки могут быть опасны. Бедный отец, который на троне, не понимает их положения. Бедный Погодин и бедная Россия, которые называют его *царем-отцом!* [3] <...>

Прощайте. Басаргин пришел звать ходить. Да и вам пора отдохнуть от моей болтовни. Чего не сказал, то до другого раза. Не знаю, сказал ли что-нибудь путного. Судите сами, я не берусь читать своего письма. Жажду вашего листка. Пожалуйста, доставляйте мне иногда весточку через Дорофеева.

Верный ваш *И. П.*

Все вам кланяются — везде обстоит благополучно.

67. И. Д. ЯКУШКИНУ

2 мая 1841 г., Туринск.

Хотя вы ко мне не пишете, добрый мой Иван Дмитриевич, но я не хочу так долго молчать с вами. <...>

Вчерашняя почта привезла нам известие, что свадьба должна была совершиться 16-го апреля. Следовательно, по всем вероятиям, недели через две узнаем здесь милость для детей. Это теперь главная моя забота. Как ни бодро смотрит моя старуха хозяйка, но отказ ее жестоко поразит. Я никак не допускаю этой мысли и не хочу видеть здесь продолжения жестокой драмы. Родные там убеждены, что будет по их желанию: значит, им обещано, но велено подождать до торжества.

На прошедшей неделе получил от Спиридова прямое письмо, в котором много любопытного о нашем востоке. Статью о К<аролине> К<арловне> не стану вам передавать, вы все знаете, и тоска повторять эти неимоверные глупости. Она до июля живет в Оёке.

Поджио Александр был ужасно болен и теперь в опасном положении. У него после 12-дневного задержания мочи сделалась фистула в пахе. Это спасло его от смерти, к которой он уже совершенно приготовился, но до того ослабел, что с ним часто обмороки. Грустно подумать о нем, и признаюсь, такое состояние его, что кажется, если бы сам должен был все это переносить, то лучше пожелал бы неминуемого конца. Страдал он жестоко в последнее время, и я нисколько еще не уверен, чтоб он был теперь жив. Может быть, Трубецкой вам об этом пишет.

Бестужев пишет портреты, берет за них с купцов от 100 до 300. Кажется, можно бы подешевле брать за свободное искусство. Бечаснов учит детей Анкудинова. М<арья> Каз<имировна> воспитывает какую-то девицу за 1000 р. в год. Вот главные черты — прочее все по-старому.

Я жду от Вадковского книгу об Анненковой. Марья Петровна получила письмо из-за границы от своей дочери Амалии, которая уже спрашивает некоторые объяснения по этому случаю. Прасковья Егоровна непременно хочет, увидевши, в чем дело, написать к своей матери в Париж с тем, чтобы ее ответ на клевету, лично до нее относящуюся, напечатали в журнале. Я понимаю, что это непременно должно сделать. За что ее, бедную, лишают единственного ее богатства и чернят тогда, когда она совершенно чиста. Если от Вадковского не будет этой книги, мы ее достанем из Франции. Нельзя ничего сказать, не прочитавши. Я все секретничаю — не хочется прежде времени ее тревожить. Скоро должен быть ответ Вадковского.

Вы знаете, что я не большой поклонник г-жи Анненковой, но не могу не отдать ей справедливости: она с неимоверною любовью смотрит на своего мужа, которого женой я никак бы не хотел быть. Часто имею случай видеть, как она даже недостатки его старается выставить добродетелью. Редко ей удается убедить других в этом случае, но такого намерения нельзя не уважать. Ко всем нашим она питает такое чувство, которое не все заслуживают. Спасибо ей и за то. Не знаю, к чему пришлось все это вам говорить. Между тем пусть добрый Матвей Иванович напишет мне ге-

sumé того, что об ней в книге сказано. На его памяти можно основаться. Прошу его говорить, как оно есть, я не сделаю злоупотребления. Покажу ей, и тогда она сможет действовать, как хочет. До ответа Матвея Ивановича молчу.

С первым случаем вы получите клубнику и камелию. Непременно хочу, чтоб у вас и у М<атвея> И<вановича> были грядки,— она необыкновенно разрастается — у нас здесь пошла жестоким образом в ход. Некоторые говорят, что нас двинут, но я об этом не думаю,— по-моему, из Ялуторовска следует отправить только *двух стариков.* Они уже совершенно отупели в сибирской теплице Н<иколая> П<авловича>, который, как искусный садовник должен*, знает, чем похвастать[1]. <...>

До сих пор не получаю «Débats». Не худо М<атвею> И<вановичу> написать губернатору и попросить отыскать его собственность в глупейшем совете. Три раза просил М<ихаила> А<лександровича> об этом деле, и все никакого толку нет. Недавно благодарил Семенова за Стефановского, который для испытания нашего прислан сюда[2]. Мои письма иногда месяц идут от Тобольска в Туринск.

С Нат<альей> Дмит<риевной> и М<ихаилом> Ал<ександровичем> мы в частых сношениях: они, по доброте своей, уверяют, что мои письма для них приятны. Я по невинности верю и пишу со всевозможными народами. <...>

Вы погибаете в клетках. Пора дать вам отдых. Все наши вам творят поклоны.

Ваш *И. П.*

68. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 18. 16 мая 1841 г., Туринск.

Десять дней тому назад я получил, добрый друг мой Оболенский, твое письмо, вероятно, мартовское, числа нет, ты в нем со мной христосуешься в ожидании праздника. Медленны как наши сообщения, а еще медленнее идет наше соединение. Хоть бы, по случаю свадьбы, нас поместили где-нибудь вместе. Это одно мое желание при этом торжестве. <...>

---

* Так в оригинале.

Теперь нет мне затруднения оставить Туринск. Марья Петровна получила уведомление, что им разрешено ехать в Россию. Душевно рад этому известию. <...>

Очень рад, что ты часто имеешь известия от иркутских наших друзей. Я этим не могу похвастать: давно, очень давно оттуда нет писем. Такое молчание меня начинает беспокоить, тем более что я пишу к ним довольно часто и нет возможности, чтобы они не отвечали. Последний листок Сергея Григорьевича от 12-го февраля; в нем же он обещает чаще писать, зная, что меня беспокоит болезнь Ал<ексанлра> Поджио. Между тем с того времени ни от кого из них ни строки. Я все-таки продолжаю писать, не зная, какой дорогой ходят мои письма. Странно все это: хотелось бы скорее узнать, что за причина такого замедления. Напиши Кат<ерине> Ив<ановне> и спроси, что это значит.

С радостью об отъезде детей под родную крышу я получил и горестное известие. Добрый наш Вольховский после 9-дневной нервической горячки скончался 7-го марта. Ты знаешь, как я люблю этого человека, и потому можешь судить, как мне тяжела эта потеря. Он сам предсказал последний свой припадок — исполнил обязанность христианина, написал письмо о делах семейных и просил доктора иметь попечение о жене. Малиновские в большом горе — вообще все знавшие его сердечно понимают эту утрату. Он должен был умереть, а мы все живем: видно, не пришла еще пора сходить с часов, хотя караул наш не совсем исправен. Впрочем, расчет будет после и не здесь. <...>

Ты меня смешишь желанием непременно сыграть мою свадьбу. Нет! любезный друг. Кажется, не доставлю тебе этого удовольствия. Не забудь, что мне 4 мая стукнуло 43 года. Правда, что я еще молодой жених в сравнении с Александром Лукичом; но предоставляю ему право быть счастливым и за себя и за меня. Ты мне ни слова не говоришь об этой оригинальной женитьбе[1]. Все кажется, что одного твоего письма я не получил. <...>

Мы кончили Паскаля, теперь он уже в переплете. Я кой-где подскабливаю рукопись и недели через две отправлю в Петербург. Вероятно, она вознаградит труды доброго нашего Павла Сергеевича. Между тем без хвастовства должен сказать, что без меня вряд ли когда-нибудь это дело кончилось. Немного ленив наш добрый оригинал. Он неимоверно потолстел. Странно видеть ту же фигуру в виде Артамона. Брат его и Барятинский с ним.

Фонвизины ко мне пишут: я всем им не даю времени лениться. Поневоле отвечают на мои послания. У меня большой расход на почтовую бумагу. <...>

Верный твой друг *И. Пущин.*

69. И. Д. ЯКУШКИНУ

16 мая 1841 г., Туринск.

От вас нет ни слова, почтенный Иван Дмитриевич, а я все-таки к вам пишу, и этот раз вы, верно, будете довольны моим письмом, потому что я могу сообщить вам приятное известие: Марья Петровна получила третьего дня уведомление об отъезде с детьми в Россию. Формальной бумаги еще не получено здесь, но это уже не подлежит сомнению. Вы со мной порадуетесь освобождению малюток. Право, для меня это лучше всякой амнистии, за которую между тем я выиграл бутылку шампанского. Теперь мы начинаем хлопотать о сборах к дороге. Старушка успокоилась: письмо от сестры Ивашева — Хованской из Петербурга. Дети безотчетно радуются. В конце будущего месяца, если бог даст, все будет благополучно, мы их проводим до границы нашего округа. Я дожидаюсь ответа насчет Оболенского — только что получу, начну действовать о переводе своем из Туринска. Может быть, еще поживем вместе.

В мире все радостное смешано с горестию. В одно время с известием о детях я узнал о смерти моего доброго лицейского друга Вольховского. Он умер после 9-дневной нервической горячки. Грустно, почтенный Иван Дмитриевич. Вы знаете меня и поверите с участием моему скорбному чувству. Не станем об этом говорить.

Из Кяхты есть прямое письмо от сына Марьи Петровны[1]. Он в P. S. говорит: 27 взяли Лунина и увезли в Нерчинск. <...> Больше ничего не знаю[2]. С 12 февраля не имею оттуда писем, хотя часто пишу туда. Не постигаю, что там делается. Скажите: нет ли вам какого-нибудь известия? <...> 6-го мая я получил из Тобольска сентябрь, октябрь и ноябрь «Débats». Пяти месяцев от марта до сентября не получал. Где они девались? Прошу Матвея Ивановича вытребовать их из несносного Тобольского совета, который я советовал бы истребить вместе с Стефановским.

Пушкин уже прислал мне в переплете нашу рукопись. Кой-где подскабливаю и отправлю недели через две к Энгельгардту. Кажется, перевод изрядный, по крайней мере довольно отчетливый, что не всегда бывает в русских изданиях <...>[3].

Отцу Стефану мильон приятных вещей: я с истинным утешением останавливаю мысль на этом чистом и благородном создании. Тоска глядеть на окружающих меня попов. <...>

70. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

<Туринск, 29 мая 1841 г.>

Почтенный друг, будьте крестным отцом возрожденного русского Паскаля. Кумой вашей будет Annette.

Младенец несколько ряб лицом, но и эти рябины можно сгладить, если найдете нужным; вы там отыщите хорошего писца. Я бы сам это сделал, но не хочется отдалять доставления к вам рукописи. Она к вам идет прямо чрез Марью Петровну Ледантю, которая имеет право пользоваться почтовыми сообщениями. Постарайтесь денежно вознаградить труд Павла Сергеевича Пушкина, доброго моего товарища. Это вознаграждение для него, с больным его братом, будет существенно полезно. Перевод довольно отчетливый – пора старому Паскалю явиться на нашем языке[1].

С будущей почтой я вам буду писать своей дорогой. Крепко жму вам и Марье Яковлевне руку.

Вы меня уведомите о ходе этого дела.– Я думаю, можно выручить за этот довольно трудный перевод 1500 или 2000 рублей.

71. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 30 мая 1841 г.

<...> Пушкин из Тобольска мне говорит, что вместе с Луниным арестованы в Иркутске один ксендз и два учителя. Это им сказывал Розети, приехавший из Омска, где слышал эти подробности от Фалкенберга[1].

Сестра Annette мне пишет, что надобно по последней выходке Лунина думать, что он сумасшедший. Вот вам все, что я знаю. Не понимаю, какая выходка. Вероятно, со временем дело и нам объяснится. Лунин сам желал быть martyr*; след<овательно>, он должен быть доволен. Я и не позволяю себе горевать за него. Но вопрос в том, какая из этого польза и чем виноваты посторонние лица, которых теперь будут таскать? Я боюсь даже, чтоб Никита не попался: может быть, какие-нибудь лоскутки его найдутся во взятых бумагах. Эта мысль меня не утешает, и хотелось бы скорее узнать, как и что наверное[2]. <...>

Паскаля отправил сейчас на почту — прямо в редакцию «Земледельческой газеты» к Энгельгардту. <...>

72. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

6 июня 1841 <г.>, Туринск.

С прошедшей почтой Марья Петровна Ледантю отправила к вам, почтенный друг Егор Антонович, Паскаля в русском костюме. Постарайтесь напечатать этот перевод товарища моего изгнания, Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина. Он давно над этим переводом трудился, и общими силами кончили его в бытность мою в последний раз в Тобольске. Вам предоставляется право распорядиться, как признаете лучшим: может быть, эту рукопись купит книгопродавец; может быть, захотите открыть подписку и сами будете печатать? Цель главная — выручить денег, потому что Пушкин с братом больным не из числа богатых земли. Чем больше им придется получить, тем лучше.

Мы не знаем положительно, являлся ли Паскаль на нашем языке. Справлялись со всеми возможными каталогами, и нигде его нет. Значит, что если и был когда-нибудь этот перевод в печати, то очень давно и, вероятно, исчез. Может быть, и трудность этой работы останавливала охот-

---

* мучеником *(фр.)*.

ников *приняться за старика* (как говаривал наш профессор Галич). Одним словом, вы, почтенный мой директор, на месте все узнаете, учините надлежащие справки — и пустите в ход сибиряка. Вам позволяется погладить его, если кой-где найдете это нужным. Вы не поскучаете этим делом, я убежден. Нетерпеливо жду вашего мнения и о переводе, и о надежде к изданию. <...>

Верно, мысли наши встретились при известии о смерти доброго нашего Суворочки. Горько мне было убедиться, что его нет с нами, горько подумать о жене и детях. Непостижимо, зачем один сменен, а другой не видит смены? — Кажется, меня прежде его следовало бы отпустить в дальнюю, бессрочную командировку. <...>

Я поджидаю книгу, которую вы хотели заставить меня перевести для лицейского капитала. Присылайте, я душою готов содействовать доброму вашему делу. На днях минет нашему кольцу 24 года. Оно на том же пальце, на который вы его надели. <...>

Приветствуйте всех однокашников за меня. Может быть, 9-е число соединит наличных представителей 1817 года. Тут вы вспомните и отсутствующих; между ними не все ходят с звездами, которые светили нам на пороге жизни. Соединение там, где каждый явится с окончательным своим итогом. <...>

Будьте все здоровы и вспоминайте иногда о сибирском вашем друге.

И. Пущин.

73. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 8 июня 1841 г.

Как снег на голову, явился сейчас ко мне Завьялов и просит письма к вам, почтенные и добрые друзья мои. <...>

Я на его месте непременно ее бы отпустил и донес. Пусть бы лучше за это самовластие наклеили мне нос. Такой нос для меня был бы лучше Белого орла. Теперь же князь своим запросом поставил Ладыженского в невозможность действовать *по здравому смыслу.* <...> Я все-таки надеюсь, что они все в конце июля двинутся. Моя одна забота — лишь бы все были здоровы[1]. <...>

74. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 19. 19 июня 1841 г., Туринск.

<...> Дети с бабушкой, вероятно, в конце июля отправятся. Разрешение детям уже вышло, но еще идет переписка о старушке. Кажется, мудрено старушку здесь остановить. Ты справедливо говоришь, что я к ним привык,— но также согласишься, что желаю от души скорее отправить их домой. Невольно беспокоишься за них, особенно в непостоянное теперешнее время: переход от необыкновенного жара к холоду заставляет иногда трепетать. Как-то страшно, чтоб кто-нибудь из них не занемог. В Туринске на эту семью много легло горя. <...>

Из Иркутска новости тебе известны. Мне пишут кой-что, полных сведений не имею.

Спасибо добрым нашим дамам, они меня не забывают, и вдобавок Марья Казимировна уверяет, что мой письменный слог напоминает m-me Sévigné, tandis que je fais de la prose, sans m'en douter*. Такого рода вещи тем забавны, что и тот, кто их говорит, и тот, кто их слушает, никто не верит. <...>

Я рад, что Борисовых перевели ближе к Иркутску[1], а особенно доволен, что Поджио выздоровел; ты, вероятно, уже с ним виделся,— он должен был отправиться на воды, тебя миновать нельзя. <...>

Пойду сам поливать свою цветную капусту: обещает быть хорошею. Вместе будем ее есть. Скажи мне что-нибудь о Горбачевском. Давно нет от него ни слова. Я отвечаю исправно, но сам не начинаю переписки и тут уже прослыл бесконечным своим письмоводством.

Басаргин тебе дружески жмет руку. Он недавно от меня вышел.

Мы надеялись, что наших поляков настигнут свадебные милости, но, к сожалению, на этот раз им ничего нет. Товарищи их из юнкерской школы возвращены на родину, а нашим, видно, еще не пришло время[2]. <...>

Паскаль отправился к Энгельгардту. Надеюсь, что труд Пушкина оценится и ему будет польза.

Верный твой *И. Пущин.*

---

* мадам Севинье, тогда как я, несомненно, пишу прозой *(фр.)*.

75. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 27 июня 1841 г.

<...> Мне бы самому хотелось скорее перестать переписываться с вами, а просто говорить и подчас спорить, но теперь невозможно проситься. Оболенского надобно дождаться: для него писали о Туринске. След<овательно>, нет возможности отсюда выбираться, пока не вышло чего-нибудь положительного об нем и пока он сюда не доедет. Тогда мы уже сами через генерал-губернатора будем действовать. Родных я не имею духа просить — они и то уже два года пишут и просят то туда, то сюда; это тоска. Лишь бы нас хоть здесь с Евгением соединили. Тогда мы вместе с ним отправимся искать лучшего климата.

<...> В продолжение этого месяца, что я к вам не писал, дошло до меня сначала известие, что 9-го мая отец получил от Бенкендорфа письмо, которым его уведомляют, что всемилостивейше разрешено брату Михайле приехать в отцовский дом на две недели. Только что я произвелся на этот необыкновенно милостивый отпуск, как с последней почтой получаю письмо сестры от 26-го мая, где она говорит, что Михайло по представлению виленского генерал-губернатора освобожден из-под надзора полиции и что ему разрешено свободно приезжать в столицу. Вы можете представить, что это был совершенно неожиданный для меня сюрприз <...>. Я теперь спокоен. Давным-давно мне хотелось, чтоб Михайло был дома,— это нужно для них всех — он несколько восполнит пустоту в семейном нашем кругу. <...>

Из Иркутска я имел письмо от 19 мая — насчет Лунина ни слова[1]. Якубович переведен на Енисей для отыскания золота, по собственной его просьбе, и уже теперь должен быть богат. <...> Борисовы переведены в соседство к Артамону, на Ангару. Я рад за Петра, который погибал в Подлопатной один с братом. Поджио Александр поехал на Туркинские воды. Был сильно болен, но Вольф ему очень помог. <...>

76. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 29 июня <1841 г.>.

<...> Пушкин обещает, что вы *в свое время* пришлете мне стихи Ершова на отъезд наших барышень[1]. <...>

Вы уже знаете, что Мих<аил> может свободно ездить в отцовский дом,— это моя теперь радость.

Скоро расстанусь с малютками, к которым много привык. Это тоже радость. Странное положение, где должно уметь радоваться разлуке. <...> Третьего дня писал к Михаилу Александровичу. <...>

Семенов просил, чтоб я жег его письма и был осторожнее, если хочу иметь его иероглифы[2]. На все согласен, лишь бы ко мне писали. Басаргин ждет меня.

Целую ваши ручки.

Костыльник, вероятно, в Ялуторовске учится географии у Великого мастера[3].

77. И. Д. ЯКУШКИНУ

Туринск, 18 июля 1841 г.

<...> 10-го числа, в 4 часа пополудни, отслуживши на могиле панафиду, семья наша отправилась в Симбирск[1]. Мы проводили их до Усенинова за 17-ть верст от города. Там с ними пробыли до 5 часов следующего утра. Простились навеки. Дай бог им счастливый путь и в добрый час приезд на место. Грустно мне было войти в пустой дом; но в самой задумчивости радовался их отъезду. Ко мне перешел Басаргин с семьей своей, состоящей из жены, тещи и тетки <...>. Живем артелью, скромным образом. Ожидаю скоро Евгения.

<...> От Кат<ерины> Ив<ановны> получил предлинное и премилое письмо, не в роде Сутгова, которое нарочно вам показал[2]. Она, между прочим, говорит, что Лунин не в Акатуе, а просто в Нерчинске поселен и что недавно прислано ему из Петербурга письмо сестры с посылкой при бумаге, в которой сказано: для доставления такому-то, долженствующему быть поселенным в Нерчинске[3]. Значит, ему не так худо, как мы воображали,— и слава богу. <...>

78. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 5 июля—8 августа 1841 г.

Наконец, кажется, поедут Анненковы к вам, добрейшая Наталья Дмитриевна. <...>

Если бы я был Ершов, я бы тут же написал стихи. Покамест ограничиваюсь поэтической прозой, которую вы волею и неволею будете разбирать в вашем дружеском кругу.

1 августа получил письмо от Оболенского. Он меня радостно уведомляет, что сестра его сообщила ему об его переводе в Туринск. Официального приказания ехать *куда следует* еще нет. Его письмо — от 14 июня. Значит, не скоро еще я его дождусь. По крайней мере кажется, несомненно, что будем вместе — и вместе переберемся из Туринска, где я не очень желаю остаться. От Марьи Петровны получил прямое известие из Казани — они благополучно туда доехали в 13 дней. Дети вспоминают туринских приятелей — Машенька пишет сама несколько слов. Петя и Верочка удивляются, что на станциях нет Ван Ваныча, который всегда после обеда давал им конфетку. <...> С их отъездом мои обязанности в Туринске кончились. Последние шесть месяцев я жил совершенно для них и, кажется, присутствием своим несколько их успокаивал. Старушка довольна была своим сожителем.

Я в той же комнате; вместо Марьи Петровны и детей — семья Басаргина. Мы живем ладно, но и эта женитьба убеждает меня, что в Сибири лучше не венчаться. Прасковья Егоровна познакомит вас со всеми дамами, составляющими семью Басаргина. Я скажу только, что это люди добрые, которых можно видеть иногда; часто же с ними быть тоска. Все-таки я благодарен, что они занимаются нашей артелью, хотя разговор наш за столом иногда преоригинальный. Муж доволен — надобно радоваться искусству быть счастливым, если оно так есть, и умению себя обманывать, из упрямства, когда уже нет возможности переменить[1].

Басаргин также не прочит себя на житье в Туринске. Он тоже намерен перейти; только ему труднее моего двинуться с места. <...>

Михаилу Александровичу посылаю три первые номера «Москвитянина», 4-й еще в чтении. <...>

Нельзя ли Степану Михайловичу помочь нам в этом горе? В самом деле, такое положение совершенно уничтожит нашего несчастного Гаврилу Марковича[2].

Покамест расстаюсь с вами. Звонят ко всеношной — жар уменьшился; я пойду не в церковь, а в поле — там можно и подышать и помолиться.

8-е. У нас опять посетитель — Владимир Панаев приехал обозреть фабрику, которая теперь ему принадлежит одному,— он заплатил за нее братьям. Это старый мой знакомый — порядочный человек, только теперь смешон тем, что неразлучен с звездой — носит ее и здесь. Встретился со мной дружески, сегодня вместе проведем вечер; вчера ездили на фабрику. Мне приятно расспросить его о многих старых приятелях и лицейских товарищах, а еще лучше, что он в Петербурге увидит моих родных. Писать, однако, с ним не буду: кажется, это предложение его бы испугало.

Нового занимательного в политическом отношении ничего не слыхал от него. Болтаем про старину — и вспомнили первую мою любовь,— мы тогда с ним часто бывали вместе.

Прощайте, добрая Наталья Дмитриевна. Жму вам дружески руку.

P. S. Не знаю, поедет ли наконец завтра Анненков, но я уже ему отдаю письмо, чтоб он не имел пустых отговорок. Мучение бедной его жене[3].

79. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

№ 21. 8 августа 1841 г., Туринск.

Последняя почта привезла мне, любезный друг Оболенский, твои письма от 6-го и 14 июня. Наконец ты знаешь от Наташи, что мы будем вместе. Как у вас, так и здесь еще нет официального разрешения. Надеюсь, что теперь верно, что мы будем наконец соединены[1]. Постараюсь терпеливо ожидать тебя — рад ли я нашему соединению, не нужно тебе повторять, если до тебя дошли мои листки, писанные после того, на который ты отвечал в июне месяце. <...> Устраивай свои дела и приезжай к нам. Уголок твой будет готов. Не знаю, долго ли мы в нем останемся, но до твоего приезда я ничего не предприму. Увидим вместе, куда перепроситься из Туринска.

Очень верю, что тебе нелегко с востока пуститься вдаль. Я испытал это чувство два года тому назад. Оно сильно меня расстроило и приготовило мою прошлогоднюю болезнь. Между тем согласись, что из Етанцы тебе не худо выехать. Около Иркутска нельзя нам быть, хоть, признаюсь, я никак не понимаю этого затруднения. Сестре отказали меня туда перевести. Ты должен был получить это письмо мое — еще из Тобольска <я> подробно рассказал тебе все это. Впрочем, тоска об таких невозможностях и думать. Приезжай, переговорим досыта, без оглядки. Вот почти два года, что мы ведем переговоры и еще не можем друг другу пожать руку на какой-нибудь точке Сибири.

Завтра провожаем Анненковых. Ты их увидишь прежде меня в Тобольске. Тебе приятно будет обнять там нашего старого знакомого Степана Михайловича. Он недавно переведен туда советником губернского правления и очень доволен своим перемещением. Тот же добрый и уважительный человек. <...>

80. И. Д. ЯКУШКИНУ

5 сентября 1841 г., Туринск.

<...> Новая семья[1], с которой я теперь под одной крышей, состоит из добрых людей, но женская половина, как вы можете себе представить, — тоска больше или меньше и служит к убеждению холостяка старого, что в Сибири лучше не жениться. Басаргин доволен своим состоянием. Ночью и после обеда спит. Следовательно, остается меньше времени для размышления. <...>

История Собанского давно у нас известна. Благодарю вас за подробности[2]. Повара я бы, без зазрения совести, казнил, хотя в нашем судебном порядке я против смертной казни. Это изверг. По-моему, также Собанский счастлив, но бедная его мать нашим рассуждением не удовольствуется. <...>

Не постигаю, почему Матвея Ивановича не пускают в Тобольск. Я бы на его месте давно уже написал Бенкендорфу и послал банку с солитером вместо лекарского свидетельства. <...>

Что брак Свистунова? Ничего не знаю. Плохо ему, больному и ревнивому, брать молоденькую жену[3].

Алекс<андр> Поджио совершенно выздоровел. Это известие меня истинно порадовало. Он возвратился с вод, а Вадковский на смену отправился. Его здоровье, говорят, плохо. <...>

81. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

Туринск, 12 сентября 1841 г.

<...> Не стану вам повторять о недавней нашей семейной потере, но тяжело мне привыкать к уверенности, что нет матушки на этом свете. Последнее время она была гораздо лучше прежнего; только что немного отдохнули от этой сердечной заботы, как богу угодно было кончить ее земное существование[1]. <...>

Благодарю за добрые ваши советы: будьте уверены, что самая *подвижность* моего характера не помешает мне ими воспользоваться с признательностию за вашу дружбу ко мне. <...>

С Басаргиным мы живем ладно — иногда случается поспорить, но без малейшей злобы и неудовольствия. <...>

Прошу вас пригласить к себе соседа вашего, поэта, и вручить ему посылаемые две пиэсы Пушкина. Они нигде не были напечатаны и напомнят юность таланта лицейского моего товарища. Ваше письмо заставило меня припомнить эти стихи, я хотел к ним прибавить еще одно послание, но никак не могу сложить его в старой моей памяти. Пусть Петр Павлович пошлет их Плетневу. Если нельзя было поместить в последние три части его сочинений, пускай по крайней мере в журнале напечатают все эти мелочи, которые имеют неотъемлемое достоинство. Самые небрежности тогдашнего его слога — небрежности великого поэта. <...> К Ершову я не пишу сам потому, что не люблю начинать переписки[2]. <...>

Видно, они скоро надеются отделаться от Кавказа. <...> Нарышкин пошел в горы[3]. <...>

Сюда пишут, что в России перемена министерства, то есть вместо Строгонова назначается Бибиков, но дух остается тот же, система та же. В числе улучшения только налог на гербовую бумагу[4]. Все это вы, верно, знаете, о многом хотелось бы поговорить, как, бывало, прошлого года, в осенние теперешние вечера, но это невозможно на бумаге.

Я бы хотел у вас быть с Ст<епаном> Мих<айловичем>. Мы бы на него вместе с вами напали за его осторожность, как он нас упрекает неосторожностию.

Если б не хлопоты с князем, я бы явился на встречу Оболенского: но об этом нечего и думать, потому что из этого увольнения делают государственное дело.

До сих пор М<атвея> Ив<ановича> не пускают. Жаль, что вы не спросили его сият<ельство>, почему такое неблаговоление к солитеру? Признаюсь, мудрено бы ему найти причину такого произвольного действия. Не говорите этого Семенову; он скажет, что я неосторожен. <...>

Оболенский в последнем письме располагается оставаться в Туринске, но я его буду убеждать перекочевать. <...> Не женить ли мне его и остаться между двумя счастливыми супругами старым холостяком?

Басаргин хочет перебраться в Курган, если мы уедем, но я не имею никакого вожделения к Кургану. Та же глушь, что и здесь, только немного потеплее.

Кар<олина> Кар<ловна> все живет у Трубецких – мы с ней пересылаем друг другу нежности.

От Марьи Николаевны давно нет писем. И Сергей Григорьевич как-то замолчал. Я все-таки к ним *пишу;* пускай лучше бранят за частые письма, нежели за молчание.

Якушкин сообщил мне ужасные подробности убийства Собанского, – повар совершенный изверг. <...>

Обнимаю Пушкина здорового. Не хочу думать, чтоб он до сих пор хворал. <...>

Прощайте, добрейшая Наталья Дмитриевна, имейте терпение прочесть и листок и полулистки, которые нечаянно попались под руку. От души желаю всем всего лучшего.

Ваш верный *И. П.*

82. И. Д. ЯКУШКИНУ

17 октября 1841 г., Туринск.

<...> Об Лунине ничего нет верного и окончательного. Вероятно, скоро проедет наши края Кар<олина> Кар<ловна>. Она вам, а вы мне объясните, в чем дело.

83. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

7 ноября 1841 г., Туринск.

<...> Наш триумвират, несколько вам знакомый, совершенно сибирская проза нараспев. Признаюсь, издали мне эта коллекция казалась сноснее, а как вижу ближе, то никак бы не хотел ими командовать. Надобно иметь большую храбрость или большое упрямство, чтобы тут находить счастие. Впрочем, я этим еще более убеждаюсь в ничтожестве сибирских супружеств[1].

Душевно желаю, чтобы Свистунов доволен был своим уделом чистосердечно,– притворяться всегда тоска, а особенно в этом случае.

Насмешили вы меня вашей классификацией старых женихов. Благодарен вам, что вы по крайней мере хотите меня женить не здесь, а в России. Даже советую поместить меня в категорию Оболенского, а его можно обвенчать. Он найдет счастие там, где я, грешный человек, его и не примечу. Так, по крайней мере, мне кажется. Пожалуйста, отправляя его ко мне, снабдите аттестатом: я хочу знать ваше мнение; оно всегда оригинально, хотя иногда и не совсем справедливо, по-моему.

Насчет Володи с вами не согласен, но душевно желаю ошибиться. Пусть сбудутся ваши предположения о его характере. Способности у него есть, но характер мне не нравится: он мне всегда казался бездушным, и оттого я никакой симпатии к нему не чувствую, хотя вообще люблю новое поколение. <...>

Спасибо вам за ответ о Сутормине – он исправно занимается русской грамотой, явится со временем пред *Коньком-Горбунком*[2]. <...>

Из Иркутска нового ничего нет. Завтра Машенькины именины. Там меня вспомнят. Но Марья Николаевна редко мне пишет – потому и я не так часто к ней пишу. Со мной беда. Как западет мысль, что я наскучаю, так непременно налево кругом сделаю. Не знаю, хорошо ли я думаю, но иначе не могу. <...>

Пошлет ли Ершов стихи – вы ничего не говорите. <...>

84. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

14 ноября 1841 г., Туринск.

<...> Без вашего позволения я не смел прямо отправить холст: в таких случаях всегда боюсь обидеть; не имея привычки брать взяток, боюсь их и давать[1]. <...>

Наконец, я должен теперь узнать, что брат Михайло приехал домой. На последней почте было от них письмо из Пскова уже, 10 октября они пустились в Петербург. В Пскове он виделся с князем Петром Вяземским, который тотчас к нему <явился>, лишь только узнал, что он там[2]. <...>

85. И. Д. ЯКУШКИНУ

17 ноября 1841 г., Туринск.

<...> 15-го числа в ночь у Басаргина родился сын. На днях я буду крестить его, назвали его Василием в память бедного Ивашева. <...>

Мих<аилу> Алекс<андровичу> на днях отправил табачницу вроде вашей, где представлена сцена, происходящая между вами, Пушкиным и Кюхельбекером. Он будет доволен этим воспоминанием, освященным десятилетнею давностию[1]. <...>

Недавно я получил Bernardin de St. Pierre*. Если вы и Матвей Иванович питаете мою привязанность к этому добродушному писателю, то я пришлю его к вам погостить[2]. <...>

Энгельгардт возится с нашим Паскалем и никак не может вывести его в люди. Я советую Пушкину обратиться к прусскому королю — авось он, для чести русской словесности, напечатает эту рукопись. <...>

Умер Рукевич. <...>

86. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ и С. М. СЕМЕНОВУ

29 ноября 1841 г., Туринск.

<...> Вам, Наталья Дмитриевна, посылаю письмо Катерины Ивановны; вы тут найдете подробности о Лунине. Как водится, из мухи сделали слона, но каково Лунину et com-

* Бернарден де Сен-Пьер.

pagnie* разъезжать на этом слоне. <...> При случае возвратите письмо для приобщения к прочим таковым. <...>

С осторожностию пожмите руку за меня Семенову. <...>

Верный ваш *И. П.*

<...> Прошу тебя, любезный друг Степан Михайлович, постарайся, чтоб Кучевскому выдали следующие ему за нынешний год 200 р. В уважение его бедности можно, кажется, губернатору взять на себя ответственность за такую сумму. <...>

87. И. Д. ЯКУШКИНУ

7—8 марта 1842 г., Туринск.

С Пенженским я сказал вам несколько слов, добрый мой Иван Дмитриевич. Не знаю, удастся ли теперь много с вами поболтать. Приезд Оболенского, отъезд Басаргина как-то совершенно привели в беспорядок обыкновенный мой день[1]. Н<иколай> В<асильевич> пробудет у <вас> денька два, и вы успеете с ним поговорить о нашем здешнем житье. На будущей почте я отправляю письмо об нашем переезде из Туринска. Пишу к Горчакову, письмо мое доставит ему сестра моя. Мы просимся с Оболенским в Тобольск, а если нельзя туда, то в Ялуторовск. Вероятно, будет последнее, и мы, может быть, поживем вместе. Назначение Тобольска с общего нашего согласия с Оболенским и по желанию сестры Annette, которая, узнавши от меня, что Басаргин перебирается в Курган, пишет мне, чтоб я окончательно просился в губернский город. К ним недавно приехал Гаюс, мой племянник, которого Мих<аил> Алекс<андрович> и Нат<алья> Дм<итриевна> зарядили этой мыслью. <...>

Не нужно вам говорить, что Оболенский тот же оригинал, начинает уже производить свои штуки. Хозяйство будет на его руках — а я буду ворчать. Все подробности будущего устройства нашего, по крайней мере предполагаемого, вы узнаете от Басаргина. Если я все буду писать, вам не

* и компании *(фр.)*.

о чем будет говорить,— между тем вы оба на это мастера. Покамест прощайте. Пойду побегать, и кой-куда зайти надобно. Не могу приучить Оболенского к движению.

8-е <марта>.

Почта привезла мне письмо от Annette, где она говорит, что мой племянник Гаюс вышел в отставку и едет искать золото с кем-то в компании. 20 февраля он должен был выехать; значит, если вздумает ко мне заехать, то на этой неделе будет здесь. Мне хочется с ним повидаться, прежде нежели написать о нашем переводе; заронилась мысль, которую, может быть, можно будет привести в исполнение. Басаргин вам объяснит, в чем дело.

Пригнал к самому отъезду Басаргина. Он вам отдаст Bernardin de St. Pierre и ваши книги, которые у меня с лишком год гостили: Montaigne, Рейц и пр. Вы по принадлежности отдадите их Матвею Ивановичу с благодарностию[2]. <...>

Поговорите мне о Карол<ине> Карл<овне> и вообще обо всем, что у вас делается. Скажите словечко о новобрачных, как вы все это нашли? <...>

Петю Ивашева записали в гильдию. Опекун их Головинский уже с ними; он вышел в отставку, и соединились с сиротками. От Марьи Петровны довольно часто получаем письма. Она и все малютки здоровы. Еще вас обнимаю.

Верный ваш *И. П.*

Спасибо вам за все, что вы мне говорите о письме Егора Антоновича. Я знал, что вы прочтете с восторгом его строки. Посылаю вам и Матвею Ивановичу «Les Nouvelles Génévoises»[3]. Проглотите их и непременно возвратите с казаком. Я их начинаю переделывать на русские нравы, но хочу, чтобы вы прочли эту книжку. Скажите, как она вам полюбится. Я поставил NB на «Bibliothèque de mon oncle»* <...>.

---

* «Библиотеке моего дяди» *(фр.).*

88. И. Д. ЯКУШКИНУ

10 апреля 1842 г., <Туринск>.

<...> Видно, что вас взволновали толки о предполагаемом моем намерении искать богатства, которого я никогда не думаю иметь. Очень понимаю, что тут много неудобного и мне особенно не свойственного; но не понимаю, почему вы извиняетесь, высказавши мне вашу мысль. Ужели мы не должны и не можем поверить друг другу прямо то, что думаем[1]. <...>

Гаюс до сих пор у меня не был, куда девался этот золотоискатель, не знаю. <...>

89. И. Д. ЯКУШКИНУ

4-го июня 1842 г., <Туринск>.

<...> Среди всех этих посетительниц навестил чиновник Казачинский с письмом от М<ихаила> А<лександровича>. Этот господин, кажется, приезжал наблюдать за умами – хочется им видеть, нет ли здесь сношений с Ирбитскими делами. Там государственные имущества начинают чувствовать, что с них дерут без пощады в две руки. Бедные теряют терпение. Эти обстоятельства вам должны быть известны из Шадринска, где также не совсем ладно идет дело[1].

<...> Гаюс мне прислал через Тюмень письма и чемодан с разными вещами. Отец меня балует, присылает разные уродливые платья, хотя и новомодные. Пальто обращает на себя внимание всех туринских жителей. Сестры по-прежнему милыми безделушками тешат меня. Не знаю, право, за что они так меня любят. Вчуже веселюсь их свиданию с Тулиновой. Она с ними поживет месяца два, пока муж торговаться будет на вино. Потом мы дождемся ее сюда – и тут не будет конца разговорам.

<...> Из Иркутска новости о детях, верно, вам известны. Давыдовы согласились отдать Васеньку и Сашеньку в дворяне, Трубецкие отказались – я это понимаю. Надеюсь, что то же сделали Волконские и Муравьевы. Странно, что Кат<ерина> Ив<ановна> ничего об них не говорит, а от М<арьи> Н<иколаевны> с тех пор я не имел писем. Вид-

но, эта мера, которая, впрочем, делает честь правительству, касается только тех дам, которые были в России уже замужем. Кажется, я бы сам не отдал ребенка, хотя бы обещали сделать его князем, не только дворянином[2].

Лишь бы Лавальша не нашла в этом справедливом чувстве дочери чего-нибудь неприязненного. К<атерина> И<вановна> в ужасном волнении, это видно из последнего ее письма. Натурально, в этом вопросе много pro и contra*, главное, чтоб те, которые избирают то или другое, действовали по полному убеждению.

Верный ваш *И. П.*

90. А. П. БАРЯТИНСКОМУ

<Туринск>, 10 июня <1842 г.>.

Любезный Александр Петрович, я отправил твое письмо к брату. Не знаю, будет ли успех,— желаю искренно, чтоб дела твои поправились. Я не знаю, знаком ли брат с Бобринским,— от него никогда не слыхал об этом знакомстве. Я просил его постараться устроить. Во всяком случае, Николай уведомит, чем кончилось дело.

Скажи Павлу Сергеевичу, что я сегодня не могу ответить на его письмо с Степаном Яковлевичем. Впрочем, я к нему писал в прошедшую субботу с Погодаевым — мое письмо было как бы ответом на то, которое теперь получил от него. С Погодаевым я послал для Натальи Дмитриевны облатки, в переплете «Наль и Дамаянти»[1] и газеты Петру Николаевичу от Матвея.

Евгений вместе со мной жмет тебе руку. Мы здесь живем спокойно, вдали от вашего губернского шума. Может быть, зимою, если позволят власти, я побываю у вас.

Степан Яковлевич привез два экземпляра произведения Кюхельбекера «Нашла коса на камень»[2] с надписью самого автора мне и Оболенскому. Попроси Павла Сергеевича, чтобы он объяснил, откуда явились к нему эти творения,— верно, он их нам прислал. Я в 39-м году в Иркутске купил эту фарсу и там ее оставил. Никак не воображал, чтобы опять явилась ко мне эта пустая книжонка бедного нашего метромана Вильгельма.

---

* за и против *(лат.)*.

Между тем прощай – сегодня много листков отправляю, а время отхода почты уже приближается.

Будь здоров.

Твой *И. П.*

10 июня.

Сегодня же отправляется и твое письмо в Петербург.

91. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 15 июня 1842 г.

<...> Вы должны написать мне подробно о замужестве нервической барышни. <...> И непременно пожелайте ей от меня всего, что обыкновенно желают в этих случаях, как следует государственному преступнику желать – сильно от искренней души[1]. <...>

Понимаю, с каким чувством вы провели несколько дней в Ялуторовске. Ив<ан> Дм<итриевич> также мне говорит о вашем свидании. Наши монашенки повезли ему письмо от тещи, жена даже не хотела писать[2]. Тоска все это, но мудрено винить ее. Обстоятельства как-то неудачно тут расположились, в ином виноват сам Якушкин. Теперь они совершенно чужие друг для друга. <...>

Об нашем доставлении куда следует она, то есть сестра моя, уже не успела говорить Горчакову – он тогда уже не был в Петербурге. Увидим, как распорядится Бенкендорф с нашими сентиментальными письмами. До зимы мы не двинемся, во всяком случае. Хочу дождаться Тулиновых непременно здесь.

Приветствуйте за меня Анненковых. Я слышал, что она ожидает умножения семейства. Дай бог, чтоб это хорошо у них кончилось. К ним не пишу, Федор Федорович им будет рассказывать про нашу жизнь лучше всякого письма. Может быть, скажет многое, чего и нет. <...>

Как бы с переводом Ентальцевых в Тобольск нас не обнесли этой чаркой. Она больше нас имеет право приехать к вам. Может быть, скажут, что слишком много сумасшед-

ших будет вместе, если нас двоих приобщить к Андрею Васильевичу[3].

Подождем, а покамест будем поливать капусту. <...>

Ваш верный *И. П.*

92. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Туринск>, 5 августа 1842 <г.>.

Прошлого месяца 22-го числа пешие богомолки доставили мне ваш листок от 14-го. Благодарю вас, добрейшая Наталья Дмитриевна, что вы побеседовали со мной <...>.

В конце августа или в начале сентября, если все будет благополучно, пускаюсь в ваши страны: к тому времени получится разрешение от князя, к которому я отправил 31 июля мое просительное письмо с лекарским свидетельством. Недели две или три пробуду у вас. Вы примите меня под свою крышу. О многом потолкуем — почти два года, как мы не видались. <...>

Недавно требовали от городничего сведений о нас. Мне любопытно было узнать, как он произвелся. В графе, где спрашивается об образе и прочем, он говорит, что *мы с Оболенским занимаемся домашностию в доме покойного Ивашева и что наш образ мыслей скромен.* Скажите: есть ли возможность из такой аттестации что-нибудь заключить и может ли быть, чтоб те, которые спрашивают Водяникова, желали иметь толковый ответ. Все это преглупо. С собой я вам привезу любопытное донесение о пожаре. Это нечто превосходящее всякое понятие о галиматье. Между тем эти бумаги за № отправляются, читаются и получают дальнейший ход. Но довольно об этом вздоре. <...>

Скоро должно решиться, куда мы перевезем с Оболенским наших пенатов. Зимой непременно переберемся из Туринска. <...>

От Пушкина жду окончательного распоряжения насчет заказов Менделеевой. <...>

На днях сюда приехал акушер Пономарев для прекращения язвы, которая давно кончилась. В этих случаях, как и во многих других, правительство действует по пословице: лучше поздно, чем никогда. <...>

Верный ваш *И. П.*

<...> Померанцева и Черкасова благодарили меня за окончание их просьб, т<о> е<сть> за определение детей их, куда они желали. Я эту благодарность в натуре передаю по принадлежности Михаилу Александровичу. <...>

93. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 21 августа <1842 г.>.

Ивану Дмитриевичу.

«Государь император, во внимание к личной просьбе государственных преступников Оболенского и Пущина, всемилостивейше повелеть соизволил перевести их в г. Ялуторовск».

Вот содержание бумаги, полученной на прошлой почте. Значит, мы будем вас пилить, добрый Иван Дмитриевич, не одними письмами. Тобольские на нас нападают, что мы надвое просились, а не знают того, что тут была сокровенная цель, которую правительство наше всегда постигнет. Конечно, мне и Евгению хотелось бы быть с Фонвизиными и Астральным духом[1], но не в губернском городе. Гораздо лучше заживем в вашем, а теперь и нашем городе. На границе округа будем иметь свидание с избранными соседями. Забыл, что надобно с вами браниться за ваше упорное молчание. Кажется, вы меня принимаете ошибкой за члена Комитета. Точно следовало бы вас наказать, но я от не принадлежащей мне власти присваиваю себе право только прощать. При этой милости не спрашиваю вашего согласия, как иногда бывает в некотором царстве, в некотором государстве. Таким образом, вы подведены под манифест, а ваше молчание с 22-го мая предается забвению.

С тех пор и я не сказал вам ни слова, потому что мой листок с бумагой, вам посланный, остался без ответа. Беда с вами — осторожными людьми — вы поневоле нашего брата заставляете быть неосторожным. В отвращение дальнейших последствий, вероятно, нас поместили вместе с вами. Я очень рад, что правительство приняло мою сторону. В этом я выигрываю; не знаю, будете ли вы довольны такими лихачами, каковые мы двое. Помаленьку третье отделение Петровской тюрьмы собирается в одно место[2].

Евгений, как хозяин, пишет вам деловое письмо, а я шалберю. По этому вы узнаете нас обоих.

30 числа отправлюсь в Тобольск для свидания с братом на его возвратном пути[3]. <...> Из Тобольска отправлюсь вместе с братом. Я думаю лучше заранее побывать у вас, потому что мне хочется Николая дотащить до Туринска, где он слишком мало побыл и где ждет его Евгений,— и отсюда уже пустить через Ирбит домой. Не нужно вам говорить, как усладительно было свидание с этой залетной птичкой из родного гнезда[4]. <...>

94. И. Д. ЯКУШКИНУ

Тобольск. 8 сентября 1842 г.

<...> Поговорю только о Ентальцевых. Она здорова, приняла меня, как родного,— он не узнал. Я нашел его лучше, нежели ожидал. Тихое — как говорил Павел Васильевич[1]. Теперь дело в том, чтоб окончательно узнать от здешнего факультета, есть ли надобность лечить его с надеждою на лучшее. <...> Вообще большой надежды не предвидится. Когда поймаю пьяных здешних медиков для консультации, решится, должно ли Александре Васильевне здесь оставаться или можно ей отправиться к вам.

<...> Губернатора нет — потому надобно насчет Лунина ограничиться тем, что вам писал Мих<аил> Алекс<андрович>[2].

<...> Возвращаю вам письмо Жуковского. Я с вами не согласен. Мне оно показалось вяло и в некоторых местах даже смешно. Старость проглядывает сквозь всего этого. Мы читали вчетвером, по вашему разрешению[3]. <...>

95. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Тобольск>, 22 сентября <1842 г.>.

Ентальцевы помаленьку собираются к вам; не очень понимаю, зачем она сюда приезжала. Пособия мужу не получила от факультета полупьяного. Развлечения также немного. Я иногда доставляю ей утешение моего лицезрения, но это утешение так ничтожно, что не стоит делать шагу. Признаюсь вам, когда мне случается в один вечер увидеть обоих — Н<иколая> С<ергеевича> и Ан<дрея> Вас<ильевича>, то совершенно отуманится голова. Сам

делаешься полоумным. Анд<рей> Вас<ильевич> спокоен, тих, послушен – и не стоит для невозможного, мнимого лечения платить Шенявскому за визиты, особенно когда нет капиталов лишних. <...>

96. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Тобольск>, 3 октября <1842 г.>.

<...> При сем прилагаю справку по делу Жилина. Обещали скорее сделать выписку и кончить некончаемое дело. Я опять обратился с вопросом, чем оно кончено. Если это не канцелярская тайна и если мне ее доставят до отъезда Алекс<андры> Васильевны, то я вам с ней ее доставлю. Хорошо, если бы можно было их и все истребить до основания, а иначе нет никакой возможности действовать.

О Голодникове[1] обещают: надеюсь, что его утвердят, но тогда буду уверен, когда увижу исполнение. Здесь как-то довольно равнодушны ко всем рекомендациям и все не очень хлопочут о честности или не совсем ей верят, потому что сами большею частью не отыскивают в себе этого органа. Опять и в этом отношении тоска. Меня иногда бесит Мих<аил> Алекс<андрович>, уверяя, что можно быть к этому равнодушным. Донельзя буду кричать против и никак не соглашусь. <...>

97. И. Д. ЯКУШКИНУ

3 ноября 1842 г., <Тобольск>.

<...> Вы нам ничего не говорите о ваших школьных делах, между тем М<ихаил> А<лександрович> стороной узнал, что снова было нападение от Лукина и что по этому акту губернатор писал к городничему о запрещении вашей учебной деятельности. Вчера был Фелицын и, между прочим, высказал, что консистория получила какой-то отзыв от Ст<епана> Як<овлевича>. Это можно догадываться из его горько-радостного вида, с каким он произнес: «Ведь Знам<енский> может под суд пойти. Он же человек святой и строгих правил. Никого не слушается». К тому же он прибавил положительно, что конс<история> имеет бума-

гу от губернатора, который просит внушить Знам<енскому> что-то на ваш и на его счет. Слушателями этих речей были Фонвизины. С ним они не пускались в расспросы, думая, что эта хитрая лиса от них выведывает. <...> Сегодня М<ихаил> А<лександрович> был у губернатора и, дознавшись от него, что относится в консисторию, просил, чтоб он позвал к себе Фелицына и убедил его не давать хода этому делу, т. е. не идти далее по духовному начальству. Верить ли этим обещаниям и будет ли от них успех, не очень известно. Странно, что губернатор ничего предварительно об этом не говорил, узнать же было трудно и М<ихаилу> А<лександровичу>, потому что строго запрещено начальнику отделения открывать канцелярскую тайну[1]. Вывод из этого один: признавая в полной мере чистоту ваших намерений, я вместе с тем убежден, что не иначе можно приводить их в действие, в нашем положении, как оставаясь за кулисами или заставляя молчать тем или другим способом тех, которые могут препятствовать. Во всяком случае, легально нельзя доказать своего права быть ланкастером в Сибири, и особенно когда уездные педагоги не задобрены рюмкой настойки. <...>

98. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Тобольск>, 20 ноября <1842 г.>.

<...> На этих днях я получил Тьера. Очень рад, что его держали. <...>

Вы спрашиваете о моем переводе. <...> Ровно ничего не знаю. Нат<алья> Дм<итриевна> только неделю тому назад имела сильное предчувствие, как иногда с ней случается: она видела, что со мной прощается. Этим встретила меня, когда я к ним вошел. Хотела даже за мной посылать, так это видение наяву было для нее живо и ясно. Других сведений ниоткуда не получаю. Надобно довольствоваться таинственными сообщениями и ожидать исполнения. Между тем, если в декабре не получу разрешения, думаю сняться с якоря и опять отправиться в Туринск. В таком случае непременно заеду к вам в Ялуторовск. <...>

В доказательство, что наши письма не без внимания остаются в III отделении, скажу вам, что недавно сестра Ан-

nette получила мой листок с несколькими зачеркнутыми строками. Видно, этим господам нечего там делать. <...>

Время мое проходит довольно скоро — с Пушкиным поправляем старый его перевод Паскаля, с Мих<аилом> Александровичем читаем его исторические очерки[1]. Кое-что читаю, но не слишком успешно. Недавно я здесь казначействовал в виде казначея М<алой> артели. Распорядились деньгами, вырученными за вещи покойного Краснокутского, который предоставил их в пользу нуждающихся товарищей. Разослали 2400 р. Это не лишнее для тех, которые не ожидали такого пособия. В распределении соображались с прежними выдачами из Артели.

Скажите, что делается в Кургане? Неприятные слухи доходят оттуда, будто бы наши там до того перессорились, что не видаются между собой. Признаюсь, это очень неловко, и не понимаю, как до этого дойти. Можно не бросаться на шею, но мудрено не уметь соблюсти приличия. Это должно делать невыгодное впечатление на посторонних. Как бы нам избежать такого нарекания, невыгодного для рассеянной по всей Сибири нашей лавочки <...>[2].

Лорер, как вы должны были заметить в «Инвалиде», произведен в прапорщики; других наших нет и в позднейших приказах. Видно, Николай Раевский смелее других отрядных командиров делает представления — и представления его больше уважаются. <...>

99. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 15 января <1843 г.>.

<...> Радуюсь вашему торжеству над школьным самовластием. Директор мне говорил об вашем училище так, как я всегда желаю слышать. Толстой своей фигурой тут кстати попал — это лучшее дело в его жизни. Не очень понимаю, зачем ему наши рисунки тюремные, но готов их привезти, чтоб Алекс<андр> Львович снял копии, с чего захочет. Переслать папки не с кем. Сегодня же пишу Михаилу Александровичу, чтоб он объявил Толстому, что желание его будет исполнено. Это награда за его действие по ланкастерской школе[1]. <...>

100. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

Туринск, 27 марта <1843 г.>.

Милостивый государь Аким Степанович[1],
виноват, что до сих пор не возвратил Вам Ваших рукописей. Все думал сам явиться с ними в Ваше уединение; но до сих пор еще не имеем позволения перекочевать из Туринска. Мы оба благодарим Вас за удовольствие, которое доставило нам чтение писем Вашего братца. Приятно познакомиться с человеком, ищущим просвещения и так горячо любящим свою родину. Некоторые взгляды его на общественный состав России довольно основательны, и в самых предположениях видна душа, стремящаяся к благу народному: мысли его о внутреннем займе, кажется, вполне справедливы, и жаль, что не приводятся в исполнение. Насчет рассуждений о торговле мы не можем настоящим образом определить своего мнения, потому что эта отрасль для нас мало известна. Одним словом, желательно, чтоб в России было больше таких мыслящих голов, как Ваш братец. По всему заметно, что он понимает вполне звание гражданина, которого первая обязанность почитать себя не чуждым того, что около него происходит. Пора убедиться в этом праве: оно бы побудило вникать подробнее во все части общественного быта и приготовило бы скорее те начала, без которых трудно ожидать прочного развития гражданственности.

Разделяя с автором его поклонение к Петру, исполину всех времен, но также заплатившему в некоторых отношениях дань своему веку, я не могу его сравнить с Николаем — и почитаю это сравнение оскорбительным для Великого преобразователя России. Тот шел гигантскими шагами вперед, истребляя все, останавливающее его бег, пожертвовав даже сыном, которого действия могли уничтожить его начинания. Все распоряжения Петра, самые его жестокости, освящены всеобъемлющею любовью к Отечеству.

С другой стороны, я вижу одно робкое наблюдение за ходом времени; все усилия, истощающие силы государства, обращены на подавление того, что должно бы развивать для настоящего управления в смысле благосостояния наибольшего числа. Самые подозрения власти доказывают ее слабость и несогласие к потребности народа.

Довольно об этом: я забыл, что такие рассуждения не для бумаги. Еще раз благодарю вас за рукописи. Оболенский вместе со мной дружески жмет Вам руку.

Истинно уважающий Вас *И. П.*

101. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Туринск>, 21 мая <1843 г.>.

<...> Вы нас ожидаете, а мы все на месте. Не могу добиться решительного ответа насчет Тобольска <...>, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. <...> Кажется, г<осударственные> п<реступники> для того только рассыпаны по городам Сибири, чтоб кормить мясом в постные дни проезжающих ревизоров и утешать их в свободные часы от пустых и ничего не доказывающих смотров. <...>

Между тем надобно вас спросить, почему вы не любите видеться с сенатором, старым сослуживцем? Он, говорят, закутался в шубу и, не вылазя из повозки, мчал через Ялуторовск. Странное дело. В 827-м году нас останавливали в Томске, чтоб дать свиданье с сенатором, а в 843-м нельзя остановить сенатора, чтоб посмотреть на него. Как тут понять систему: вероятно, никакой нет, а просто все идет, как знает. Судя по этим предосторожностям, надобно полагать, что в Иркутске либералов на время запрут по углам, а Марья Казимировна давно уже мне писала, что собирается к ожидаемому Ивану Николаевичу. Я уже писал туда и изложил свои мысли[1]. <...>

В марте навестил наш город один из свиты сенатора. Мы его не видали, он разными хитрыми путями доставил нам посылки. Оболенский его поймал на дороге и никак не мог зазвать. Это некто Ахте(?), который объявил, что дал честное слово ни с кем из нас не встречаться. Он мне привез образок от Елизаветы Алексеевны Давыдовой и от Вяземского цигары гаванские и роман, переведенный им с французского, «Адольф» Бенжамена Constant[2]. Спасибо за эти дружеские внимания.

<...> 27. Чтоб кончить письмо, начинаю с того, что Муханов пишет мне о смерти нашего Арбузова; подробностей нет[3]. Давыдов Васенька под названием Васильева отправляется в начале мая в Москву; значит, вы его видели или увидите непременно[4].

102. И. Д. ЯКУШКИНУ

28-го числа <май 1843 г., Туринск>.

Вы уже знаете печальную, тяжелую весть из Иркутска. Сию минуту принесли мне письмо Волконского, который описывает кончину Никиты Муравьева и говорит, что с тою же почтою пишет к вам[1]. Тяжело будет вам услышать это горе. Писать не умею теперь. Говорить бы еще мог, а лучше бы всего вместе помолчать и подумать.

Сестра пишет, что в июне обещают перевести нас в Тобольск. Значит, в июле мы увидимся. С горестью пожмите руку доброму Матвею Ивановичу. Письмо Волконского сегодня посылаю в Тобольск. Туда, кажется, никто не писал. Адресую Пушкину. Мне вдруг попалась эта весть, так что почти не верится.

Сообщите Басаргину при случае ваше письмо; он привязан к Никите. Прощайте, добрый друг!

103 И. В. МАЛИНОВСКОМУ

25 сентября 1844 г., Ялуторовск.

К тебе одному пришлось писать, любезный друг Иван! В этих словах выражается общее наше горе, которого тяжесть я разделяю с тобой. Дай бог, чтоб семейное участие взаимно помогало нам перенести скорбную мысль: она преобладает теперь <над> всеми другими. Третьего дня пришли ко мне твои листки с печальным рассказом[1]. Я читал и перечитывал его; в истинной грусти не ищешь развлечения,— напротив, хочется до малейшего впечатления разделить с тобой все, что испытывало твое сердце в тяжелые минуты. Страданья нашей доброй Марьи кончились — страданья были велики. Помощь свыше поддерживала ее и там успокоит душу нам близкую.

С самого начала, говоря откровенно, я не смел надеяться на полное выздоровление, просил бога, чтоб он подкрепил страдалицу в борьбе с тяжкою болезнию. Она приготовилась к переходу, хотя несознательно встретила этот переход: всякая болезнь имеет своего рода конец.

Помоги тебе бог в твоих попечениях о Тони, он еще не может понимать своего сиротства, а тебе трудно будет без помощницы – матери его.

Очень понимаю, как бедная Варя утомилась *душой;* поблагодари ее, если мое письмо застанет вас вместе. Добрые ее строки вполне выражают состояние ее души: она за нас всех отсутствующих сострадала больной. Сходи за меня на родную могилу, поклонись праху. Тут соединяются все наши молитвы.

Что ты думаешь теперь делать? Останешься ли в деревне или переедешь в Петербург? Тебе надобно соединиться где-нибудь с Марьей Васильевной[2] – вместе вам будет легче: одиночество каждому из вас томительно. Бог поможет вам помириться с горем и даст силы исполнить обязанности к детям, оставшимся на вашем попечении.

Поцелуй милого Тони,– меня удивляет, что он в эти лета так много знает на память. Оболенский вместе со мной им восхищается. Он с дружеским участием крепко жмет тебе руку, любезный друг.

Пиши ко мне, когда будешь иметь досуг: общая наша потеря не должна нас разлучить, напротив, еще более сблизить. Эти чувства утешат нас, и если Марья нас видит, то они и ее порадуют. Вместе с твоим письмом я получил письмо от Annette, она горюет и передает мне те известия, что от вас получила в Твери.

Что мне тебе сказать про себя? Черная печать твоего конверта все перед глазами. Конечно, неумолимое время наложит свою печать и на нее, но покамест, как ни приготовлялся к этой вести, все-таки она поразила неожиданно. В другой раз поговорим больше – сегодня прощай. Обнимаю тебя крепко. Да утешит тебя бог!

Верный твой *И. Пущин.*

Из Петербурга с этой почтой не имел писем. На будущей неделе побеседую с Варей – туда к ней пошлю листок.

104. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

Ялуторовск, <ноябрь 1844 г.>.

<...> С особенным удовольствием мы вместе с Евгением читали последнее твое письмо, где ты подробно говоришь о твоих сельских занятиях. Вполне уверен, что ты нахо-

дишь свою пользу в пользе крестьян. Верно, им у тебя хорошо во всех отношениях. Пожалуй, ты заставишь иногда думать, что не нужно и свободы для этого класса. Продолжай действовать для их блага, но все-таки согласись, что такой помещик, как ты, только счастливое исключение. Оно не может подкреплять общего правила, вредного в применении и для управляемых и для управляющих. Ты на опыте должен убедиться лучше, нежели всякой теорией. Вопрос в том, как лучше разрешить эту трудную задачу, а разрешение делается необходимым от времени до времени. Много бы хотелось сказать, но это не для тесной рамки нашей переписки[1]. <...>

Твой верный *И. Пущин.*

105. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

Ялуторовск, <25 ноября 1844 г.>.

С прошедшей почтой я получил, почтенный Яков Дмитриевич, Ваше доброе ворчание. Очень Вам благодарен за этот признак старости. Хорошо, когда она проявляется в таких чувствах, которые и в молодости не всегда встречаются. Одним словом, прошу Вас убедиться, что я Вас хорошо понимаю, и оставим дальнейшие объяснения.

Спасибо Вам, что Вы сказали словечко о наших красноярских стариках. Они, сами не зная почему, не очень балуют нас вестями о себе. <...> Нам сказал приезжавший сюда адъютант Горчакова, что Алекс<андра> Ивановича перевели в Курган. Видно, это известие не совсем верно, потому что Вы об этом не упоминаете. Слава богу, что больные поправились, лишь бы М<ихаил> Ф<отиевич> не стал опять роскошничать в некотором отношении. Может быть, это признак настоящей старости, где иногда усилие принимается за силу, от которой и хорошенькой ключнице нет никакого услаждения. Впрочем, тут всякий имеет свой взгляд.

Я писал Николаю и передал ему ваши слова. Он теперь оберпрокурорствует временно и нянчится с своим сынком[1].

<...> В это время было у меня и горе: мы лишились одной доброй сестры Марьи, которая была замужем за ли-

цейским моим товарищем Малиновским. В августе месяце она скончалась, оставив шестилетнего сына.

Здесь у меня время проходит не останавливаясь. Живем мы ладно и спокойно. Евгений балует меня своей дружбой и заботливостью по хозяйству. Так что я только живу на всем готовом. Частые посещения по золотой дороге доставляют приятные развлечения. Когда-нибудь дождемся и Вас, добрый Яков Дмитриевич! Что-то долго не возвращается Жадовский? Хотел быть в сентябре, а уже декабрь на дворе.

<...> В Иркутске Вы должны были прочесть знаменитую бумагу, которая касается Марьи Казимировны. При прежнем графе, я думаю, не было бы такой литературы. Мне любопытно дождаться, чем кончится эта переписка. Надеюсь, что логика восторжествует[2]. <...>

Всегда Ваш *П.*

106. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

9 декабря 1844 г., Ялуторовск.

Прошлого месяца 28-го числа Жадовский привез мне ваше письмецо и книги. Благодарю вас, почтенный Яков Дмитриевич, и за то и за другое. Книги мы прочтем и прибережем до вашего приезда. Бог даст, доживем и до этого свиданья.

За три дня до появления сюда Жадовского я послал к вам письмо через Мясникова — и мне теперь досадно, что не адресовал к другому лицу. Верно, вы его разумеете, говоря, что, отправляя письмо к Балакшину, ужасно сердились на одного человека. Я по крайней мере так догадываюсь и понимаю, что он испугался этого поручения. Хоть тут ровно для него нет никакой опасности. Без сомнения, Красноярское почтовое управление считает неприкосновенною печать знаменитого золотоискателя[1]. Все-таки теперь я другим путем до вас достигаю. Оставим в покое этих капиталистов; им уже много бессонницы от самого золота, зачем прибавлять еще другую тревогу.

Взял листок, чтоб наскоро вас уведомить о проезде вечно ковыряющего в зубах Жадовского. Спасибо ему, что он

вспомнил деда своего по Лицею. Не всякий тайный советник это сделает. Он пожертвовал нам 12 часов. Толковали обо всем и нагрузили его писульками домой. У нас много общих знакомых, было о чем порасспросить[2].

В нашем крае ничего нет особенно любопытного. Слава богу, старики кой-как держатся. Евгений вместе со мной дружески вам жмет руку. Поклонитесь нашим[3], скажите наш привет вашим домашним.

Желаю вам весело начать новый год — в конце его минет двадцатилетие моих странствований. Благодарю бога за все прошедшее, на него надеюсь и в будущем. Все, что имело начало, будет иметь и конец: в этой истине все примиряется.

Верный ваш *Пущин.*

107. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

<Ялуторовск>, 26 февраля — 12 июля <1>845<г.>

На этих днях, почтенный друг Егор Антонович, получил я ваши листки от 17 января, мне их привез черномазый мой племянник[1], которого я распек за то, что он с вами не повидался в Петербурге. На всякий случай начинаю беседу с вами, когда-нибудь найдется возможность переслать болтовню.

Сбылось, как я ожидал: вперед был уверен, что Жадовский, которому, однако, я очень благодарен за пожертвование нескольких часов на пути, ничего вам не скажет особенного обо мне. Он так был занят своими делами, что все другое ему как будто чуждо. Живя на золотой дороге, мне часто случается видеть стремящихся шурфовать и делать свои наблюдения над этими господами. Признаюсь вам, итог этих ощущений довольно скучный. Вообще они без всякого уважения говорят друг об друге — и нашему лицеисту достается от многих. Не знаю, до какой степени справедливы эти упреки, но тоска слышать, а главное думать, что хотя часть он заслужил. Впрочем, каждый делает как знает; я стараюсь не углубляться, чтобы не сделаться мизантропом.

Вы очень справедливо заключаете, что я доволен моим пребыванием в Ялуторовске. Нас здесь пятеро товарищей[2];

живем мы ладно, толкуем откровенно, когда собираемся, что случается непременно два раза в неделю: в четверг у нас, а в воскресенье у Муравьева. Обедаем без больших прихотей, вместе, потом или отправляемся ходить, или садимся за вист, чтобы доставить некоторое развлечение нашему старому товарищу Тизенгаузену, который и стар, и глух, и к тому же, может быть, по необходимости охотник посидеть за зеленым столом.

Прочие дни проходят в занятиях всякого рода — и умственных и механических. Слава богу, время не останавливается: скоро минет двадцать лет сибирским, разного рода, существованиям. В итоге, может быть, окажется что-нибудь дельное: цель освящает и облегчает заточение и ссылку. Большого сближения с чиновным людом у нас нет; но вообще все они очень хорошо понимают нас и оказывают всевозможное внимание. Беда только в том, что народ все пустой и большею частью с пушком на рыльце; это обстоятельство мешает и им быть с нами, зная, что мы явно против этого общего обычая.

Одна семья, с которою я часто видаюсь, это семья купца Балакшина. Очень человек добрый и смышленый; приятно с ним потолковать и приятно видеть готовность его на всякую услугу: в полном смысле слова верный союзник, исполняет наши поручения, выписывает нам книги, журналы, которые иначе должны бы были с громким нашим прилагательным[3] отправляться в Тобольск, прежде нежели к нам доходить. Все это он делает с каким-то радушием и приязнью.

Горько слышать, что наше 19 октября пустеет: видно, и чугунное кольцо истирается временем. Трудная задача так устроить, чтоб оно не имело влияние на здешнее хорошее. Досадно мне на наших звездоносцев; кажется, можно бы сбросить эти пустые регалии и явиться запросто в свой прежний круг[4].

Обнимите за меня крепко Фрицку[5]; душевно рад, что он переселился к вам. Мысленно я часто в вашем тесном кругу с прежними верными воспоминаниями. У меня как-то они не стареют. Вижу вас, Марию Яковлевну такими, как я вас оставил; забываю, что я сам далеко не тот, что прежде. Отставив в сторону хронологию, можно так живо все это представить, что сердце не верит давности.

Скоро я надеюсь увидеть Вильгельма, он должен проехать через наш город в Курган, я его на несколько дней за-

арестую. Надобно будет послушать и прозы и стихов. Не видал его с тех пор, как на гласисе крепостном нас собирали,— это тоже довольно давно. Получал изредка я от него письма, но это не то, что свидание.

Вольховского биографию мне прислал Малиновский давно. Спасибо ему, что он напечатал, но напрасно тут слишком много казенного формуляра[6]. Я и после смерти доброй моей Марьи не перестаю писать к Малиновскому и к его сыну. Кажется, мальчик умный и способный. Что-то *его ждет впереди?*

Если вам лишний мой список письма Сперанского, то вы при случае мне его возвратите. Странно, что я не догадался заранее, что, верно, вы давно читали. Других замечательных рукописей у Словцова не оказалось. Были еще письма Сперанского о религии; одно из них будет напечатано в «Москвитянине». Словцов — тот самый, которого вы знали во время оно. Прочтите его историю Сибири, недавно изданную. Слог тяжел, изложение странное, но есть любопытные факты и какой-то свой взгляд. Трудолюбия в покойнике было много, но мало даровитости[7].

5 марта.

Вы все хотите иметь подробное сведение об Ялуторовске. Право, ничего нет особенно занимательного ни в политическом, ни в естественном отношении. Управление, то есть *Конституция*, то же самое, что и за Уралом, с одною только существенною, коренною выгодою: нет крепостных. Это благо всей Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние на край и, без сомнения, подвинет ее вперед от России. Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. Она могла бы тотчас отделиться от метрополии и ни в чем не нуждалась бы — богата всеми <дарами> царства природы. Измените несколько постановления, все пойдет улучшаться.

Спасибо Киселеву, что он это понимает, и в доказательство состоялся в 842 году закон, чтобы не иначе отводить в Сибири земли под разные заведения, как с условием обрабатывать их вольными работниками. Эта мера была необходима — многие хотели перевести заразу крепостных на сибирскую почву[8]. В несчастных наших чиновниках и здесь есть страсть, только что дослужатся до кол<лежского>.

асессора, тотчас заводить дворню; но большею частию эта дворня по смерти кол<лежского> асессора получает свободу, потому что дети не имеют права владеть, родившись прежде этого важного чина.

Вообще здесь, можно сказать, почти нет помещиков; есть две-три маленькие деревеньки в Тобольской губернии, но и там невольным образом помещики не могут наслаждаться своими правами, стараются владеть самым скромным образом. Соседство свободных селений им бельмо на глазу.

Народ смышленый, довольно образованный сравнительно с Россией, за малыми исключениями, и вообще состояние уравнено — не встречаете большой нищеты. Живут опрятно, дома очень хороши. Едят как нельзя лучше. Не забудьте, что край наводняется ссыльными: это зло, но оно не так велико при условиях местных Сибири. Хотя все-таки правительству следовало бы обратить на это внимание. Может быть, оно не может потому улучшить положения ссыльных, чтобы не сделать его приманкою для крепостных и солдат.

При сцеплении общем в этой огромной машине надобно начать с уменьшения зла там, тогда и здесь будет поселенец не тяжел для старожилов. Нельзя же, чтоб часть населения того же государства была обречена быть местом извержения тех, которых не терпят в другой его части. По крайней мере следует по справедливости уменьшать вред от них, давая им способы к обзаведению. Этого ничего нет. Мудрено на бумаге обо всем этом толковать. Если бы вы сами сюда приехали, обо многом мы потолковали бы. Жаль, что местное начальство ничего не понимает. Один Сперанский чего-то хотел для Сибири, но и его предначертания требуют изменений и частию развитий; между тем как теперь сибирское учреждение совершенно искажают в лучших его основаниях[9].

Сенатора прислали с целой ордой правоведцев. Они все очищают только бумаги, и никакой решительно пользы не будет от этой дорогой экспедиции. Кончится тем, что сенатору[10], которого я очень хорошо знаю с давних лет, дадут ленту, да и баста. Впрочем, это обыкновенный ход вещей у нас. Пора перестать удивляться и желать только, чтобы наконец начали добрые, терпеливые люди думать: нет ли возможности как-нибудь иначе все устроить? Надобно надеяться, что настанет и эта пора.

Многих правоведцев я видел; но вообще они мне не понравились, не нахожу в них того, что меня щекотало в их годы. Все вообще народ сонный, и ничего нет увлекательного; какое-то равнодушие в начале пути, равнодушие непростительное и уставшему нашему брату. Может быть, при коротком свидании мне не удалось их раскусить, или мы древностию своею историческою их испугали, хотя, мне кажется, с нами-то им удобнее всего было распахнуться в здешней степи, где чиновный люд способен только видеть их неопытность, не подозревая даже образования залетных ревизоров. Увидим, какое они сделают на меня впечатление на возвратном пути: нынешнюю зиму сенатор со всем своим штабом должен вернуться восвояси.

21 марта.

Три дня прогостил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину — он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня стихами донельзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие.

Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, эта новая задача провидению устроить счастие существ, соединившихся без всякой данной на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака, и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервические припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба беснуется на просторе; он же говорит: «Ты видишь, как она раздражительна!» Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем[11].

Между тем он вздумал было мне в будущем генваре месяце прислать своего шестилетнего Мишу на воспитание и чтоб он ходил в здешнюю ланкастерскую школу. Я поблагодарил его за доверие и отказался.

Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Он хотел к вам писать с нового своего места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепости и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане, куда перепросил его родственник, Владимир Глинка, горный начальник в Екатеринбурге.

Напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера в общество без моего ведома, когда я был в Москве. Это было незадолго до 14 декабря. Если б вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря что он тогда был на сцене трагической и довольно важной[12]. Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной.

Я все говорю и не договариваю, как будто нам непременно должно увидаться с вами. Ах! какое было бы наслаждение! Думая об этом, как-то не сидится. Прощайте. Начал болтать; не знаю, когда кончится и когда до вас дойдет эта болтовня, лишь бы не было – после ужина горчица!

29 апреля.

Грустно мне сегодня присесть к вашему листку, почтенный друг. Почта привезла мне известие о новой, горестной вашей потере. Родные пишут, что вы схоронили дочь, мать семейства. Побежал бы к вам вместе погоревать, пожать руку вам и добрейшей Марье Яковлевне. Но между нами обстоятельства и Урал. Остается здесь просить бога, чтоб он дал вам силы перенести горький удар. Я знаю, что вам досталось в удел много бодрости душевной, между тем она сильно испытуется. Помоги вам бог на вашем трудном поприще. Теперь опять прибавилось вам заботы с внучатами. Эти заботы, налагая новую обязанность, облегчают горе и мирят с жизнию, которая вряд ли не тяжелым делается

мила для большей части. Необходимость испытать силы заставляет делать усилия — это закон общий, естественный. Если б мне сказали в 826 году, что я доживу до сегодняшнего дня и пройду через все тревоги этого промежутка времени, то я бы никак не поверил и не думал бы найти в себе возможность все это преодолеть. Между тем и это все прошло, и, кажется, есть еще запас на то, что предстоит впереди. Радостного ожидать трудно, надобно быть на все готовым с помощию божиею.

Вы все спрашиваете о положительных моих занятиях. Положительного одно, что всегда чем-нибудь занят и что даже время скоро идет. Случается кой-кому помочь, написать какую-нибудь деловую страничку, по которой выходит и доброе. Переводами занимался не один раз; между прочим, перевел еще в Читинском остроге «Записки» Франклина[13]. Первая часть моей работы, а вторая — Штейнгейля. Кажется, было порядочно, и предисловие с посвящением труда вам, почтенный друг. Вы еще в Лицее познакомили меня с этой дельной книгой. Послали ее и другие переводы к одному родственнику Муханова, здешнего моего товарища,— все кануло в море: ни слуху ни духу. Сколько ни справлялся, ничего нет. Черновую рукопись я истребил по случаю бывшего тогда тюремного осмотра. Нельзя было сохранить эту контрабанду: чернила были запрещены. История Паскаля вам известна. Я тогда же говорил Пушкину, что вряд ли будет на эту книгу сбыт; но так как у него были при болезненном моем проезде в Тобольск черновые кой-какие тетради, то он и стал переправлять и дополнять недостающее.

Читаю все, что попадается лучшее,— друг другу пересылаем книги замечательные, даже имеем и те, которые запрещены. Находим дорогу: на ловца бежит зверь.

Малютка наша Аннушка мешает иногда нашим занятиям, но приятно и с ней повозиться. Ей скоро 3 года[14]. Понятливая, неглупая девочка. Со временем, если бог даст ей и нам здоровья, возня с нею будет еще разнообразнее и занимательнее.

А почтовый день у меня просто как в каком-нибудь департаменте. Непременно всякую почту пишу и получаю письма. Сношения с родными, друзьями утешительны. Надобно быть в Сибири, чтобы настоящим образом понять эту отраду. В эти годы накопилась целая библиотека добрых листков — погодно переплетены. Считайте сами, сколь-

ко томов составилось. Часто заглядываю на эту полку с усладительным чувством. Судьба меня балует дружбою, мною не заслуженной. Сколько около меня товарищей, которые лишены даже родственных сношений: снятые эполеты все уничтожили, как будто связи родства и дружбы зависят от чинов и прочих пелендрясов. Жаль тех, которые не понимают чувства; но больно за тех, которым пришлось испытать эти разочарования.

С будущим месяцем начнем копаться в огороде. Только вряд ли я буду большой помощник Евгению и Михеевне, нашей доброй dame du palais*. Нога в жары как-то сильно напоминает об себе. Заставляет сидеть, поднявши ее вверх; а в этом положении не годишься в огородники.

Домашняя наша семья состоит из Матрены Михеевны Мешалкиной, туринской мещанки, доброй женщины, которая славно, т. е. опрятно и вкусно, нас кормит, из Варвары Самсоновны Барановой, здешней жительницы, исполняющей добросовестно и усердно должность фрейлины при нашей Аннушке, и из Афанасия, молодого парня, который нам помогает и смотрит за лошадью и двумя коровами. Кроме того, есть прачка, также порядочная особа, по имени Евгения Михайловна. Весь этот народ к нам привязан, и в доме спокойно. Нам в этом завидуют, но я думаю — это следствие хорошего обращения с ними; мы свыклись; в других же местах только и слышишь что беспрестанные перемены министерства — и все с удивлением спрашивают, почему у нас этого не случается.

Дом занимаем порядочный, вдовы Бронниковой, которая позволяет нам на свой счет делать всевозможные поправки и за это позволение берет 250 рублей в год. Наружность нечто вроде станции в России, но расположение удобно. Для нас ничего лучшего не нужно. Каждому можно быть у себя, и есть место, где можно быть вместе. Не перехожу сегодня на другую страницу. Время обедать.

8 мая.

4-го минуло вашему Jeannot 47 лет, а сегодня он справляет свои именины. Гости будут самые близкие люди; но давно ему не удается собрать тех, кого бы хотелось зазвать

---

* домоправительнице *(фр.)*.

и без больших затей угостить в своем углу. Бывало, в Лицее в этот день в столовой вместо казенного чая стоят чашки, наполненные кофеем, со стопкой сухарей, и вся артель пьет с поздравлением приготовление Левонтия Кемерского. С тех пор много воды утекло, пришлось и в Сибири кормить мороженым. Спасибо добрым товарищам, жертвуют для именинника целым днем; а эти дни как-то тяжеле других: сильнее ощущаешь желание быть в прежнем кругу. Но этот круг теперь во многом изменился; может быть, иного из старых знакомых встретишь и во многом не узнаешь. Время кладет неумолимую свою печать. В последний раз, в 1825 году, я в Москве справлял майские свои дни; тут были кой-кто из лицейских и вся magistrature renforcée*, как называл князь Голицын, генерал-губернатор московский. Сегодня просто хотелось напомнить вам вашего молодого питомца, который в Зауральском краю уже двадцатый раз именинник. Следовало бы за это долготерпение дать пряжку[15], хоть с правом носить ее в кармане.

Вместо этого объявлено нам на днях постановление комитета г.г. министров, высочайше утвержденное в феврале, которым разрешено нам отлучаться с билетами из мест водворения по уважительным причинам: живущим в городах на 30 верст, а живущим в деревнях на 50 верст, и то на три дня. Совершенно неожиданная милость, поражающая своею оригинальностью. Любопытно бы было знать, кому эта мысль пришла? Я понимаю, что можно сказать: поезжайте по уезду, или по губернии, или, наконец, по всей Сибири; а эти расстояния совершенно в духе гомеопатов. Гораздо простее ничего не делать, тем более что никто из нас не вправе этого требовать, состоя на особенном положении, как гвардия между ссыльными, которые между тем могут свободно переезжать по краю после известного числа лет пребывания здесь и даже с самого привода получают билет на проживание там, где могут найти себе источник пропитания, с некоторым только ограничением, пока не убедится общество в их поведении. Все эти постановления напечатаны; повторять их нечего. Любопытно только то, что с нами возятся, как курица с яйцом. Давно бы мы здесь построили город и вспахали землю, если б с самого начала нас поселили в одном месте и дали возможность обзаводиться. И то женатые и в Чите и в Петровском заводе

* крепнущее судейство *(фр.)*.

настроили дома, которые пришлось бросить за бесценок, да и по городам многие покупали и строили и потом бросали. Все это вместе в продолжение стольких лет было бы полезно краю и на будущее время. Кажется, нечего опасаться, чтоб мы здесь делали пропаганду. Все, что остается,— это какая-то монументальная жизнь: приходят, спрашивают и рассматривают, как предание еще живое чего-то понятного для немногих. Видят, что люди не злые, ни в каких качествах не замечены и в полиции не бывают.

Любопытны аттестации, которые дают об нас ежемесячно городничий и волостные головы. Тут вы видите невежество аттестующих и, смею сказать, глупость требующих от этих людей их мнения о том, чего они не понимают и не могут понять. Пишут обыкновенно: «Занимается книгами или домашностию, поведение скромное, образ мыслей кроткий». Скажите, есть ли какая-нибудь возможность положиться на наблюдателей, которые ничего не могут наблюсти? Масса принимает за лекарей всех нас и скорее к нам прибегает, нежели к штатному доктору, который всегда или большею частию пьян и даром не хочет пошевелиться. Иногда одной магнезией вылечишь, и репутация сделана, так что потом насилу можешь отговориться, когда является что-нибудь серьезное, где надобно действовать с знанием дела или по крайней мере *ученым* образом портить и морить.

Заболтался. Оболенский напоминает, что имениннику пора похлопотать о предстоящих посетителях. В эти торжественные дни у нас обыкновенно отворяется одна дверь, которая заставлена ширмой, и романтический наш распорядок в доме принимает вид классический. Пора совершить это превращение. Прощайте.

25 мая.

Прошли еще две недели, а листки все в моем *бюваре*. Не знаю, когда они до вас доберутся. Сегодня получил письма, посланные с Бибиковым. Его самого не удалось увидеть; он проехал из Тюмени на Тобольск. Видно, он с вами не видался — от вас нет ни строчки. А я все надеялся, что этот молодой союзник вас отыщет и поговорит с вами о здешнем нашем быте. Муравьев, мой товарищ, его дядя, и он уже несколько раз навещал наш Ялуторовск[16].

Начались сибирские наши жары, которые вроде тропических. Моя нога их не любит; я принужден был бросить кровь и несколько дней прикладывать лед. Это замедляет деятельность; надобно, впрочем, платить дань своему возрасту и благодарить бога, что свежа голова. Беда, как она начнет прихрамывать; а с ногой еще можно поправиться.

Бедный Михайло тоже несколько разбит, только разница в том, что он был под пулями, а я в крепости начал чувствовать боль, от которой сделалось растяжение жилы, и хроническая эта болезнь идет своим ходом. Вылечиваться я и не думаю, а только разными охлаждающими средствами чиню ее, как говаривал некогда наш знаменитый Пешель.

Брат Петр прислал мне «Тарантас». Верно, вы читали его и согласитесь, что это приятное явление на русском словесном поле. Надобно только бросить конец. *Сон*, по-моему, очень глуп. Мы просто проглотили эту новинку; теперь я ее посылаю в Курган: пусть Кюхельбекер посмотрит, как пишут добрые люди легко и просто[17]. У него же, напротив, все пахнет каким-то неестественным, расстроенным воображением; все неловко, как он сам, а охота пуще неволи, и говорит, что наше общество должно гордиться таким поэтом, как он. Извольте тут вразумлять! Сравнивает даже себя с Байроном и Гете. Ездит верхом на своем «Ижорском», который от начала до конца нестерпимая глупость. Первая часть была напечатана покойным Пушкиным. Вам, может быть, случалось видеть бук и кикимор, которые действуют в этом так называемом шекспировском произведении[18]. Довольно.

9 июня.

Сегодня проснулся в лицейском зале. Поистерся немного чугун на моем кольце, но воспоминание свежо. Мысленно мы, верно, с вами встретились,— верно, вы взглянули на ваш первокурсный список и помянули живых, мертвых и полуживых и полумертвых. Нелегко мыслию пройти расстояние от 817 по 845. Я знаю только, что из всех этих годов 8 для меня прошли в свете, остальные имеют свои эпохи и впечатления. Много бы надобно говорить, чтоб все это передать в порядке. Недостанет у вас терпения читать; слушать, может быть, согласились бы, потому что можете, ко-

гда захотите, велеть замолчать. Как нарочно, случился сегодня почтовый день; надобно присесть к маленьким листикам — будет всего три: один на запад, другие два на восток — в Иркутск; около него также рассеяна большая колония наших.

21 июня.

Не судьба моей болтовне к вам отправиться. Сегодня в ночь заезжал Казадаев; я, пока он здесь был, успел сказать несколько слов братьям Михайле и Николаю, а ваше письмо до другого разу осталось. Михайло прислал мне фасад нового дворца в Конюшенной улице — архитектура оригинальна и хороша; как-то они кончили отделку этого огромного здания? Потом, каково пойдет наем и уплата процентов? Я хотел нынешнее лето перестроить баню, но отложил это предприятие, потому что польская лотерея мне ничего не вывезла; на нее была маленькая надежда, и она в числе многих других покамест осталась без исполнения. Все наши билеты, пишет сестра, остались пустыми. Может быть, Казадаев с вами повидается; он человек очень добрый, инспекторствовал здесь два года по почтовой части, объехал всю Сибирь и познакомился со всеми нашими, рассыпанными по огромному пространству. Не знаю, чем наполнена путевая его книга, — чуть ли не то же, что в «Тарантасе», — белая бумага!

Весна обещала много хорошего у нас, перепадали теплые дожди, а потом опять обыкновенная засуха. Нельзя еще ничего положительного сказать об урожае: местами, говорят, хорош, но вообще лучше последних годов. Овощи огородные у нас все вообще хорошо родятся; капуста лучшая продается по 5 и по 4 сотня, а картофель по 30 коп. пудовка. Одна репа здешняя не вкусна. Может быть, это от грунта земли или от дурных семян. Ягоды: земляника, лесная клубника, немного малины и мильон брусники. Я вам их назвал по порядку их появления на сцену. Теперь мы едим землянику à discrétion*. Здешний округ ягодами беднее других. В Тобольском и Туринском, кроме того, есть княженика и морошка. Плоды здесь не существуют, разве только на Исете вишни — и то небольшие и довольно кислые: хороши только в варенье и в уксусе. В огородах произ-

* вволю *(фр.)*.

водят дыни и арбузы, как я уже вам говорил. Устроивши оранжерею, можно бы все иметь; но это слишком сложно и не стоит хлопотать. Можно обойтись без дальнейших хлопот.

Флора здешняя, т. е. Западной Сибири, несравненно беднее Восточной: там и местность, и растительность, и воды совсем другие. От самого Томска на запад томительная плоскость; между тем как на востоке горы, живописные места и самое небо темно-голубое, а не сероватое, как часто здесь бывает.

Климат вообще здоровый, сухой; больших болезней не бывает, только в сильные жары хворают дети, и то не всегда. Ничего особенного нет по сельскому хозяйству — новых систем здесь не существует; мужички действуют по-старому, как отцы и деды действовали: все родится без удобрения. Ваша газета получается только в духовном правлении; нужно, чтоб кто-нибудь из крестьян в нее заглядывал; они еще не считают нужным читать, но очень заботятся, чтоб новое поколение было грамотное, и это распространяется повсеместно в Сибири.

Жаль только, что наше премудрое министерство просвещения не тем занимает этих парней, чем бы следовало: им преподают курс уездного училища, который долбится и потом без всякой пользы забывается, между тем как редкий мальчик умеет хорошо читать и писать при выходе из училища. Та же история и у вас — многое и тут требует изменения, но, видно, еще не пришла пора.

Пришла пора идти купаться в Тобол. Это одно из самых приятных развлечений. У нас есть ванна, но как-то плохо устроена. Пришлите мне рисунок и разрез чего-нибудь порядочного в этом роде, чтоб она была разделена на две половины и была устроена на барке, а не на плоту, где с ящиком как-то неудобно. Может быть, мы весной справим новую купальню. Это для всего города приятно. Одна половина будет мужская, а другая — женская. Плавать я не умею, хоть в Лицее нас учили, и потому я барахтаюсь в ванне. Прощайте.

12 июля.

Надоело мне ожидать случая; а вы, я думаю, давно вините меня в неисправности. Пусть эти листки идут прямо в редакцию «Земледельческой газеты». Это гораздо простее.

Пора вам читать мою болтовню — мало толку в ней найдете, но и по этому узнаете вашего неизменного, старого друга, который дружески, крепко вас обнимает и просит приветствовать всех ваших домашних и добрых посетителей, верных нашей старине. В главе их вижу Фрицку. Пожмите ему за меня руку и вспомните иногда в ваших беседах. Верно, вместе будете разбирать мою грамотку, которая отправляется под фирмою материалов для газеты, а *оных*-то в ней и не обретет почтенный редактор.

Для успокоения вашей совести надобно вам сказать, что всходы были хороши, но бездождие, почти повсеместное в Тобольской губернии, не обещает обильной жатвы. Страдовать еще не начали, но уже в некоторых местах косят хлеб как никуда не годный. Это неутешительное известие. Травы также довольно тощи. Евгений не очень доволен нашим покосом; в награду вчера его так смочило, когда он оттуда возвращался, что нитки не осталось сухой. Гораздо бы лучше было, если б этот дождь пал раньше, и не на него, а на траву, которую мы нанимаем на городских лугах. Впрочем, сена будет довольно для наших двух коров и для рыжки. Надобно благодарить бога, что нынешний год не было падежа на скот: лонись* (сибирское выражение) пало в городе из 800 штук рогатого скота с лишком пятьсот. Это бедствие часто в Сибири бывает. Есть селения, где почти ни одной коровы не осталось. Почти никаких мер не принимают к прекращению этого зла, да и трудно что-нибудь сделать. Заботливый только хозяин находит возможность уберечь свой скот, отделивши его совершенно от других. Мы своих сохранили в прошлом году: пускали кровь, обливали холодной водой и поили разными снадобьями освежающими, для отвращения воспаления в кишках. По наблюдениям, это — причина упадка. Не знаю, дойдут ли нынешний год наши дыни и арбузы. Рано начались холодные росы — сегодня утром просто пахло осенью. Если это продолжится, то вряд ли дозреют на известных вам лунках.

Однако прощайте, почтенный друг. Вы, я думаю, и не рады, что заставили меня от времени до времени на бумаге беседовать с вами, как это часто мне случается делать мысленно. Не умею отвыкнуть от вас и доброго вашего семей-

---

* в прошлом году.

ного круга, с которым я сроднился с первых моих лет. Желаю вам всех возможных утешений. Если когда-нибудь вздумаете ко мне написать, то посылайте письмо Матрене Михеевне Мешалкиной в дом Бронникова. Это скорее доходит. Крепко жму вашу руку.

От Вильгельма сегодня получил письмо: он, бедный, хворает, жалуется на боль в груди и на хандру, которая обыкновенно сопровождает эту болезнь. Дайте весть, что благополучно дошли материалы нематериальные.

Ваш *Jeannot.*

108. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ[1]

8 марта 1845 г., Ялуторовск.

Почтенный Петр Андреевич. По принятому мною правилу, я бы не решился к вам первый писать, если бы не племянник мой Эпаминонд Гаюс требовал от меня походатайствовать за него. Он зависит от вашего департамента, в надежде на штатное место поехал в Семипалатинск, оставив жену и детей в Казани. Прошу вас, если это можно, употребить ваше влияние к решению его участи. Он нетерпеливо ждет определения. Я его уверил, что вы не откажете сделать все, что от вас зависит[2].

Давно должна была дойти до вас моя искренняя признательность за ваше дружеское воспоминание. Будьте вполне убеждены, что я умею чувствовать вашу дружбу. Пожмите руку доброй княгине. Распространяться нет времени — Ермаков, который везет эти строки к Михайле, спешит.

От души спасибо вам за память — в Сибири способны ее оценить лучше, нежели в ваших краях. Разлука не мешает любить, помнить и уважать людей благомыслящих.

С должным уважением верный ваш *И. Пущ.*

Розанов, верно, вам сказал мою благодарность за сигары и «Адольфа». Вспоминайте иногда душою вам преданного сибиряка. Двадцать лет дают мне здесь право гражданства. Недавно я видел Швецова из Тагиля, который был за границей и привез мне привет от Н. Тургенева[3].

109. Е. Ф. МАЛИНОВСКОЙ

19 октября 1845 г., Ялуторовск.

Душевно благодарен вам, добрая Катерина Федосеевна, что вы вспомнили меня, вступая в союз с другом моим Иваном.

Вы должны быть уверены, что я искренно желаю вам полного счастья,— вы остаетесь в семье, где все вас знают и любят; переход к новому быту для вас будет гораздо легче. С божиею помощью все устроится к лучшему — Тони в нескольких словах хорошо познакомил меня с вами; надеюсь, что и меня вы сколько-нибудь знаете, следовательно, вы позволите мне без обыкновенных рекомендаций просить вас не считать меня чужим. Именно в тот день, когда воспоминание соединяет меня с покойным вашим дядей и с будущим вашим мужем, пришлось мне отвечать на добрые ваши строки; 19 октября, без сомнения, и вам известно, хотя, по преданию, оно давно меня связало с близкими вам людьми, и эта связь не страдает ни от каких разлук[1].

Передайте мой дружеский привет доброму моему Ивану. Тони поцелуйте за меня и скажите, что я жду обещанного им письма, где он хотел меня познакомить с распределением его дня. Всегда с удовольствием читаю его письма, они имеют свой особенный характер.

Позвольте надеяться, что вы иногда будете приписывать в письмах вашего мужа. С сердечною признательностью за вашу доброту ко мне остаюсь преданный вам

И. Пущин.

110. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 6 генваря <1>846 г.

<...> Ехать лечиться я не намерен. Хандры 840-го года нет, следовательно, можно мириться без факультета с инвалидной ногой. Это маленькое неудобство в жизни, но за многими другими, гораздо важнейшими, оно не так заметно. Может быть, даже и к лучшему; не вздумаешь подчас стать на очередь запоздалых женихов. Беда соседа всегда научает и заставляет делать философические выводы — го-

рестная польза при невозможности отклонить самой беды, как ясно ни видишь ее. Впрочем, эта статья давно между мной и Евгением кончена, но она невольным образом проявляется молча во всех отношениях даже теперь, а после еще больше проявляться будет. Мне самому за него как-то неловко; хорошо, если эта, может быть, мнимая неловкость его не коснется,— иначе будет ему плохо[1]. <...>

Без всякого лечения я бы очень и давно хотел бы побывать у вас, но, кажется, и самое двадцатилетнее гражданство всех возможных тюрем и изгнаний не доставит возможности повидаться с соседями. Проситься не хочу: не из гордости, а по какому-то нежеланию заставить склонять свое имя во всех инстанциях. Лучше всего бы вам собраться в Ялуторовск. <...>

Хотелось бы мне знать, что думает Михаил Александрович о новом уложении; я просто уничтожен этим подарком для России. Совестно видеть, что государственные люди, рассуждая в нынешнее время о клеймах, ставят их опять на лицо с корректурною поправкою; уничтожая кнут, с неимоверной щедростию награждают плетьми, которые гораздо хуже прежнего кнута, и, наконец, раздробляя или, так сказать, по словам высочайшего указа, определяя с большею точностью и род преступлений, и степень наказаний, не подумали, что дело не в издании законов, а в отыскании средств, чтобы настоящим образом исполнялись законы. Словом сказать, об этом надобно говорить, а не писать,— не будет конца. Прибавления к постановлениям о каторжных ужасны. Во всем этом я виню не Николая Павловича, а его советников и, точно, не понимаю цели этих людей. Гораздо лучше не касаться этого отдела, нежели останавливаться и почти пятиться назад[2].

Совершенно неожиданно пришлось мне, добрая Наталья Дмитриевна, распространиться на вашем листке о таких вещах, которые только неприятным образом шевелят сердце. Извините — я это время, сидя больше дома, разбирал новое Уложение, и потому оно все вертится на уме. <...>

Мы покамест живем по-прежнему, не знаю, как будет после разделения Римской империи на Восточную и Западную. Моя артель с Оболенским упраздняется. <...>

Я здесь на перепутье часто ловлю оттуда весточку и сам их наделяю листками. Это существенная выгода Ялуторовска, кроме других его удовольствий.

Все наши вас приветствуют. Александра Васильевна благодарит за бумагу, хотя я не знаю, какая была в ней надобность. Это все Марья Казимировна, заставляла ее достать, как будто это ковер-самолет, на котором улетишь. Да и куда ей лететь?

Крепко жму вам и Михаилу Александровичу руку.

Верный ваш *И. П.*

111. М. А. ФОНВИЗИНУ

<Ялуторовск>, 2 февраля <1846 г.>, суббота.

Почтенный Михаил Александрович — вчера приехал к нам Вильгельм со всей семьей. Он пробудет у нас до вторника — хочет отдохнуть от дороги. Во вторник вечером хочет пуститься в дальнейший путь и просит вас приискать ему квартиру. Значит, он к вам явится в четверг и от вас переедет туда, где будет найдено ему пристанище. Он говорит, что предварительно к вам об этом писал — хотел уведомить вас из Кургана о времени выезда, не успел оттуда этого сделать и поручил мне исправить эту неисполнительность. Пушкин вам поможет его приютить — он хорошо знает статистику Тобольска.

Бедный Вильгельм очень слаб, к тому же и мнителен, но я надеюсь, что в Тобольске его восстановят и даже возвратят зрение, которого в одном глазу уже нет. Недавнее бельмо, вероятно, можно будет истребить. Между тем уже я прослушал несколько стихов с обещанием слушать все, что ему заблагорассудится мне декламировать. Подымаю инвалидную свою ногу и с стоическим терпением выдерживаю нападения метромании, которая теперь не без пользы, потому что она утешает больного. Пожалуйста, сообщите мне, что скажут медики об его состоянии, — я как-то думаю, что все будет хорошо[1].

От Ивана Дмитриевича я узнал, что я мудрец. Такое известие меня несколько удивило, но, впрочем, оно ни к чему не обязывает.

Здоровье мое несколько лучше, хотя все еще я сижу дома. Это продолжительное домовничество, кажется, больше волнует других, нежели меня самого. Я не скучаю, и время

незаметно проходит среди занятий и добрых друзей, которые меня навещают с уверенностию всегда застать хозяина.

Получила ли Наталья Дмитриевна облатки? Я их послал с Васильем Ивановичем. Я его благодарю за хлопоты обо мне, но только жаль, что он, вероятно, напугал моих родных, которым я никогда не пишу о моих болезнях, когда тут не замешивается хандра 840-го года. Она от них не может укрыться, потому что является в каждом моем слове.

Прощайте, дружески жму вашу руку и приветствую всех тобольских товарищей.

Верный ваш *И. П.*

112. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

15 июня <1> 846 г., Ялуторовск.

Не знаю, найдет ли вас, почтенный Яков Дмитриевич, мой листок в Красноярске, но, во всяком случае, где бы вы ни были, найдет вас моя признательность за ваше письмо и за книгу. Вы просто балуете старика, хотя никак вы не хотите признать моей старости. На досугах читаю «La Chine ouverte»*, с удовольствием знакомлюсь ближе с чудаками соседями. Как собственность, которою вам обязан, не спешу кончить и потому не могу вам сказать положительного мнения об этом сочинении[1]. До сих пор оно для меня любопытно, но, кажется, изложение могло быть поживее и позаманчивее. Буду хранить эту книгу как новое доказательство доброй вашей памяти обо мне. Я всегда дорожу воспоминанием таких людей, как вы. Но об этом довольно. Пожалуй, станешь распространяться о том, что должно быть не на бумаге, а где-нибудь в другом месте.

Философов с Львовым подарили нас сутками — спасибо им. Приятно было потолковать с новым поколением, довольно образованным, но (между нами) несколько старым для своего времени. Заметен какой-то застой, практическое применение уваровских начал[2], и вообще нет той веры в светлую для страны будущность, которая живила нас, когда мы пивали за тайное души желание. Они пьют, но без распашки и без мысли. Всего я видел семерых правоведов, и как ни приятна была эта встреча в степи, но осталось ка-

* «Открытый Китай» *(фр.)*.

кое-то темное, мрачное впечатление: они только что вступают в жизнь и кажется, будто бы больше нашего брата устали. Служат как будто поневоле, возмущаются злом довольно хладнокровно. То, что разливало в нас желчь, находит у них какое-то извинительное объяснение. Вообще, кажется, каким-то сном, какою-то апатиею объято юношество. Может быть, это и нужно, а может быть, они и от дороги и от ревизии устали. Между тем я им советовал не дремать и быть настороже: время не спрашивает, все идет вперед, хоть иногда это и не заметно по рассеянному взгляду на вещи.

По всему этому вы можете убедиться, любезный Яков Дмитриевич, что мне точно 4 мая стукнуло 48. Старик все одно и то же бредит. Вы спрашиваете, постарел ли я наконец? Правоведы оценили в 40 лет, но это из светской вежливости, которой они напрактиковались в Иркутске. Я лучше их знаю, как кое-где покалывает, кое-где проглядывает неумолимая седина. Лучше всего для решения этого вопроса приезжайте сами в Ялуторовск, где давно хотелось бы вас обнять, где ожидает вас часть вашей библиотеки и радушный прием добрых ваших знакомых. Два года давно минули после Великого четверга, в который мы виделись в последний раз.

Евгений нашел способ помолодеть, по крайней мере так его называли некоторое время. Мы живем розно. Я остался на старой известной вам квартире. Теперь у меня такой простор, что в городе поговаривают уже о новой женитьбе, но вы этому не верьте. Аннушке есть где разбегаться, она растет и теперь в полном смысле мой комендант. Лаской снискала полное мое повиновение. Мы живем с нею ладно, скоро надобно будет приняться полегоньку за учение: способности и память есть. Пусть еще побегает, в сентябре ей минет четыре года, тогда можно будет коротать зимние вечера.

Все наши вас приветствуют и благодарят за воспоминание. Все старики здоровы, один я по временам вожусь с лихорадкой.

Зачем вы хвораете? Вам следует быть в полном смысле слова здоровым: живя на деятельном поприще, нужны все силы. Я думаю, тайга должна прибавить здоровья; не худо летом быть на воздухе и поездить верхом. Пейте холодную воду, и все будет хорошо.

Братья мои теперь все врозь — Михайло, наш опекун, все строится. Большой дом в Конюшенной готов, с нынешней весны начинает поправку старого жилья на Мойке и на дворах. Все делается займом. Одного казенного долгу с лишком 600 тыс. ассигнациями. Надеется выручать и следующие ежегодно проценты и кое-что на прожиток нам всем. Мне посылает деньги аккуратно, только я ими распоряжаюсь вроде Монте-Кристо, хоть не для истребления нескольких ненавистных ему семей. Как ни глупы все эти вымыслы новой литературной школы, но невольным образом читаешь до конца. Есть подробности и сцены удачные.

Николай поехал ревизовать суды второй степени в Херсонской и Таврической губерниях. Пробудет на юге год, он искал этого поручения, чтоб жена могла поправиться здоровьем в Крыму. У нее бросилась золотуха в голову, была крепко больна. Надобно было ехать или в Палерму, или в Крым. Второе они нашли удобнейшим.

Петр поехал в Минскую губернию от почтового департамента осматривать тамошний порядок вещей. Он служит все из чести, без жалованья, и все надеется, что пошлют в Тобольскую губернию. Ему, бедному, все обещают эту поездку, а между тем посылали в Костромскую, Вологодскую и теперь в третью, и все не туда, куда он стремится. Я ему без конца пишу, чтоб не думал обо мне, искал службу подельнее и позанимательнее. До сих пор мои убеждения остаются тщетными. Рад, что по крайней мере остановил его от поездки в Красноярск, куда его приглашал очень пристально Жадовской. Тут я просто взбунтовался и доказал, что никогда не приму такой жертвы за минутное свидание. Оригинал мой согласился и благодарил за добрый совет.

Сестры с тою же неисчерпаемой любовью пишут ко мне... <...> Бароцци с женой Михайлы отправились купаться в Гельсингфорс. Михайло с одной сестрой Варей остался на бесконечных постройках своих.

Скоро оттуда приедет Н. Я. Балакшин, он мне подробно все расскажет, часто видается с моими домашними. Попеняйте Ротчеву, что он сюда не заехал. Со мной считаться визитами нельзя — я бы давно посетил всех в Восточной Сибири, но, к сожалению, она вне окружности круга, описанного комитетом г.г. министров, который, верно по ошибке, взял радиус 30-ть верст. Уж лучше бы в 20-ти, тогда было бы по версте на каждый год и было бы понятно.

Недавно Батенкова привезли из Петропавловской крепости в Томск и дали 500 руб. сер. на обзаведение. Он ко мне писал с Шаховским несколько слов, я ему тотчас ответил длинной грамоткой. По словам очевидцев, заметны следы долговременного заключения, а пишет здраво и хорошо, авось свободный воздух освежит его. В Тобольске нашел многих старых знакомых, которые все хорошо принимают его. Все-таки жаль, что он удален от всех, если будете ехать через Томск, непременно отыщите его. Я все надеюсь, что зимой вы съездите в Европу, тут есть своекорыстное желание потолковать с вами. Между тем заканчиваю эту бесконечную болтовню. Приветствуйте ваших домашних. Пожмите руку всем нашим в Красноярске.

Верный ваш *Пущин.*

113. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

<Ялуторовск>, 13 июля 1846 г.

Очень жаль, любезный друг Кюхельбекер, что мое письмо[1] тебя рассердило: я писал к тебе с другою целью; но видно, что тут, как и во многих других обстоятельствах бывает, приходится каждому остаться при своем мнении. Писать больше об этом тебе не буду, потому что отнюдь не намерен волновать тебя, к тому же ты видишь какие-то оттенки богатства, о которых я никогда не помышлял. Во всех положениях есть разница состояний, во всех положениях оно, может быть, имеет некоторые влияния на отношения, но в нашем исключительном положении это совсем не то. Богат тот, который сам может или умеет что-нибудь произвести,— потому ты богаче меня и всех тех, кому родные присылают больше, нежели тебе; богат между нами еще тот, кто имеет способность распорядиться полученным без долгу; следовательно, и в этом отношении ты выше нас. Одним словом, письмо твое пахнет хандрой. Пожалуйста, извини, что я навел тебя невольным образом на такие размышления, которые слишком отзываются прозой. Мне это тем неприятнее, что я привык тебя видеть поэтом не на бумаге, но и в делах твоих, в воззрениях на людей, где никогда не слышен был звук металла. Что с тобой сделалось? Верно, это была минута, где мой Вильгельм был не

в своей тарелке. Эта минута, без сомнения, давно прошла: я в этом твердо уверен.

Ты мне ничего не говоришь о своем здоровье. Поправляется ли оно настоящим образом? Бога ради, не бросай оружия, пока не изгонишь совершенно болезни.

У нас все в известном тебе порядке. В жары я большею частью сижу дома, вечером только пускаюсь в поход. Аннушка пользуется летом сколько возможно, у нее наверху прохладно и мух нет. Видаемся мы между собой по-прежнему, у каждого свои занятия — коротаем время, как кто умеет. Слава богу, оно не останавливается.

Приветствуй за меня Дросиду Ивановну и поцелуй детей. Все наши мужеского и женского пола желают вам, вместе со мной, всего лучшего.

Верный твой *И. Пущин.*

Прошу покорно почтенного Александра Ивановича доставить это письмо Вильгельму Карловичу.

114. А. Ф. БРИГГЕНУ

<Ялуторовск>, 13 сентября <1846 г.>.

Удивил ты меня твоей запиской с чревовещателем. *Принять и приласкать* человека, которого ни ты, ни я не знаем. Разумеется, я принял эту прозу за поэзию и отправил тирольца на квартиру, где обыкновенно останавливаются комедианты, посещающие Ялуторовск. Пригласил приезжего прийти чай пить и старался доказать ему, что он своим чревом нисколько не расшевелит нашей почтенной публики. Советовал ему скорей ехать в Тюмень и пробираться до грязи в Казань. Цинцильман, кажется, со мной согласен. Наконец, если будет действовать, то я, в уважение твоей рекомендации, только могу заплатить ему оброк, но все-таки позволь избавиться от посещения его театра. Видал я довольно этих штукарей.

Басаргин порадовал меня известием о «Кесаре». По-моему, тут Жуковский действует лучше самого героя. Спасибо, что он так мило берется быть повивальной бабушкой. Вам остается представить младенца в приличном виде. Чем больше положите ему на зубок, тем лучше[1].

Перекрест получил здесь у откупщика кабак, без всякого залога. Следовательно, ты не хлопочи больше об нем.

Дружески обнимаю тебя, любезный друг. Благодарю, что сказал несколько слов с чревовещателем, но все-таки лучше, если вперед ограничишься голосовещателями,— довольно и с ними возиться, помимо этих феноменов.

Все наши тебя приветствуют, а ты за нас поклонись Дросиде Ивановне.

Если хочешь знать, справедлива ли весть, дошедшая до твоей Александры, то обратись к самому Евгению: я не умею быть историографом пятидесятилетних женихов, особенно так близких мне, как он. Трунить нет духу, а рассказывать прискорбно такие события, которых не понимаешь. Вообще все это тоска. Может быть, впрочем, я не ясно вижу вещи, но трудно переменить образ мыслей после многих убедительных опытов.

Прощай, друг. Не прими моих строк за чревовещание,— я, право, с некоторого времени не раз поверяю сам себя и испытываю, нет ли во мне задвижки.

Верный твой *И. П.*

115. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 6 генваря <1>847 <г.>.

Миша привез мне ваш листок, добрая Наталья Дмитриевна. Миша и ответ мой везет вам с искренним моим желанием всего вам лучшего в наступающем году. <...>

Мы здесь провели праздники в своем кругу — чаще обыкновенного собирались. Завтра будет финал этим собраниям по случаю именин Ивана Дмитриевича, которые мы, вероятно, отпразднуем у Матвея Ивановича. Сходки наши довольно однообразны, иначе и не может быть, когда не только в действующих лицах, но и в самых декорациях не много перемен. Впрочем, хорошо и то, что вся труппа действует на одной сцене: монологи довольно редки, большею частию действие совершается рецитативою. По вдовьему департаменту[1] все обстоит благополучно.

С этой почтой было письмо от родных покойного Вильгельма, по которому можно надеяться, что они будут просить о детях. Я уверен, что им не откажут взять к себе сирот, а может быть, и мать пустят в Россию. Покамест Миша

учится в приходском училище. Тиночка милая и забавная девочка. Я их навещаю часто и к себе иногда зазываю, когда чувствую себя способным слушать шум и с ними возиться. <...>

Николай часто ко мне пишет из Крыма. <...>

Нарышкин с женой гостил у нас на даче трое суток, был у сестры в Новгороде и оттуда ко мне написал. <...>

Из Иркутска я получил подробности о смерти доброго нашего Артамона — он умер сознательно, с необыкновенным спокойствием. Сам потребовал священника и распорядился всеми своими делами. Что год, то новые могилы! <...>

Верный ваш *И. П.*

116. М. Н. и Н. И. ПУЩИНЫМ

<Ялуторовск>, 7 июня 1847 г., суббота.

<...> Очень желаю, чтобы <...> тебе удалось выиграть твою поземельную тяжбу и распространить твои владения на берегах Финского залива.

Я, в полном смысле слова Иоанн безземельный, порадуюсь, что тебя занимает собственность. Мы совершенно в разных обстоятельствах, и потому вкусы наши различны. Буду ждать известий о твоем деле, лишь бы тебе удалось доказать свое право вопреки всем министрам. <...>

Нам объявлено по приказанию шефа жандармов, чтобы мы писали разборчиво и лучшими чернилами и что в противном случае наши письма не будут доставлены. Это тоже замечание довольно позднее, но тем не менее оригинально. Вследствие этого я хотел было написать письмо между двух линеек, как, бывало, мы писали дедушке поздравительные письма, но совестно стало: слишком ребяческая шутка и так же несвойственна моим летам, как и замечание о почерке, который, впрочем, довольно долгое время находят возможность разбирать. Вот все наши новости за эти три недели.

Лазарет мой поправляется. Аннушка, кажется, совсем отделалась от лихорадки.

Крепко жму вам обоим руку. Аннушка вас целует. Еще раз буду писать в Херсон, а потом в наш дом казенным пакетом.

117. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

<Ялуторовск>, 11 октября 1847 г.

С прошедшей почтой я получил, любезный Дмитрий Иринархович, твое письмо. Почта опаздывает и пришла после здешней, так что я не мог отвечать тебе прежде нынешней субботы.

Спешу сообщить тебе сведения, которые ты желаешь иметь насчет здешнего края, хотя, по-моему, в Тобольской губернии одна существенная выгода для жизни нашей — это дешевизна. Промышленность же для нас, к нашему положению, не существует. Чтобы заняться чем-нибудь по этой части, нужно двигаться, а двигаться мы можем только на тридцати верстах. Следовательно, желающему чем-нибудь промышлять остается только современный закуп хлеба и чего-нибудь подобного. Для такого занятия самое удобное место Курган и Ишим. В этих двух городах самые богатые рынки. Я не говорю о Тюмени, потому что в этом городе до сих пор никто из наших не был помещаем, хотя в нем промышленность всякого рода в самом сильном развитии. Жизненные припасы дешевле в Кургане, даже против Ялуторовска цены значительно ниже. Мясо там было на последней ярмарке рубль пуд, а у нас не упадало ниже двух рублей, и то самое посредственное. Впрочем, в отношении содержания вся губерния дешева. Все это тебе должно быть известно по прежним письмам Розена, который был статистик лучше, нежели я. По-моему, везде так дешево, что и говорить нечего. Остается теперь описать тебе дислокацию наших заселений по губернии — и тут, вероятно, все почти тебе известно.

В Тобольске живут Фонвизины и братья Пушкины. Служат: Анненков, Свистунов и Александр Муравьев. С последним из них переехал и Вольф, с правом заниматься медицинской практикой. В Таре — Штейнгейль. В Кургане — Щепин-Ростовский и Башмаков. На службе Фон-дер-Бригген. В Омске на службе Басаргин. Наконец, в Ялуторовске — Матвей Муравьев, Тизенгаузен, Якушкин, Оболенский и я. Сверх того две вдовы: А. В. Ентальцева и Д. И. Кюхельбекер.

Детей Дросиды Ивановны недавно разрешено родным покойного Вильгельма взять к себе на воспитание с тем, чтоб они назывались Васильевыми. В августе приезжала сестра его Устинья Карловна Глинка и повезла их в Екатерин-

бург, где она гостит у Владимира Андреевича. Она теперь хлопочет, чтоб сюда перевели М. Кюхельбекера из Баргузина. Это будет большое утешение для Дросиды Ивановны, которая поручает тебе очень кланяться.

Вот тебе сведения, не знаю, найдешь ли в них что-нибудь новое. Я думаю, тебе лучше бы всего через родных проситься на службу, как это сделал Александр Муравьев. Ты еще молод и можешь найти полезную деятельность. Анненкова произвели в 14-й класс. Ты знаешь сам, как лучше устроить. Во всяком случае, желаю тебе успокоиться после тяжелых испытаний, которые ты имел в продолжение последних восьми лет. Я не смею касаться этих ран, чтобы не возобновить твоих болей[1].

Про себя скажу тебе, что я, благодаря бога, живу здорово и спокойно. Добрые мои родные постоянно пекутся обо мне и любят по-прежнему. В 1842 году лишился я отца — известие об его кончине пришло, когда я был в Тобольске с братом Николаем. Нам была отрада по крайней мере вместе его оплакивать. Я тут получил от Николая образок, которым батюшка благословил его с тем, чтобы он по совершении дальнего путешествия надел мне его на шею.

Об тебе я слышал от брата Николая, потом от Вильгельма, когда он приезжал в Курган. О смерти твоей жены писала мне Марья Казимировна[2].

Пожалуйста, когда будешь писать Горбачевскому, спроси его, за что он перестал ко мне писать. Во всех письмах он неимоверно хандрил — наконец вовсе замолчал. Не понимаю, что ему за неволя оставаться сторожем нашей тюрьмы. Зачем не перепросился в окрестности Иркутска, где товарищи его Борисовы.

В продолжение нашей разлуки были и со мною разные тревоги. Два раза сильно хворал. Ездил лечиться в Тобольск в 1840 году. Слава богу, все это поправилось: дерево скрипит да дрожит.

Смерть Ивашевых сильно меня огорчила. Дети потом оставались с бабушкой Марьей Петровной Ледантю. Я жил вместе с ними, пока они не уехали в Симбирск. Теперь они живут у тетки княгини Хованской. Машенька мне пишет очень мило. Опекун их Андрей Егорович Головинский. Дела финансовые и образование детей идут очень хорошо. Скоро соберется с именья капитал, назначенный тетками в пользу детей Ивашева. Они трое будут иметь 450 т. асс. И этот капитал до возраста будет нарастать процентами. Тебе приятно будет знать эти подробности.

Наболтался тебе много, а сказал, кажется, мало. Извини. Каково есть письмо отправляется. Кстати, сейчас Евгений прислал свой листок. Пусть его беседа подкрасит мою болтовню. Приветствуй всех помнящих меня на первом нашем сибирском пепелище. Часто в разговорах мы заглядываем в Читу. Это было поэтическое время нашей драмы, которая теперь сделалась слишком прозаическою. И распорядитель, кажется, затрудняется развязкой. Она невольным образом делается неестественною с потерею единства времени. Вышел роман: «Вечный жид»[3].

Прощай, преданный тебе *И. Пущин.*

118. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 7 февраля <1>848 г. Суббота.

<...> Мы все порадовались вашему благополучному приезду в Казань. <...> Разумеется, не зову вас в Сибирь иначе, как генерал-губернатором, но не теряю надежды где-нибудь и когда-нибудь вас обнять, а пока это случится, надеюсь, что вы не оставите меня без известия о себе. За ответом дело не станет. Как ни бедны мы здесь материалами для переписки, но все-таки я всегда найду, чем вам наскучить, а подчас, может быть, и развлечь.

<...> Вид Петровского завода отправлен в Тобольск. Вы будете представлены идущим с Александрой Семеновной на гору, где сидит Николай Александрович и рисует. Надеюсь, что по крайней мере ваше желание иметь этот рисунок будет скоро исполнено. Случайно был здесь молодой человек из Тобольска, который взялся осуществить наши разговоры, когда мы вместе глядели на картину. Только что получу ваш рисунок, немедленно вам его доставлю[1]. <...>

119. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

<Ялуторовск>, апреля 24, 1848 г.

Долго шло письмо твое от 2 генваря — я его получил, любезный Завалишин, в начале прошлого месяца. <...>

Меня удивил твой вопрос о Барятинском и Швейковском. И тот и другой давно не существуют. Один кончил

жизнь свою в Тобольске, а другой — в Кургане. Вообще мы не на шутку заселяем сибирские кладбища. Редкий год, чтоб не было свежих могил. Странно, что ты не знал об их смерти. Когда я писал к тебе, мне и не пришло в мысль обратиться к некрологии, которая, впрочем, в нашем кругу начинает заменять историю...

Батенков привезен в 846-м году в Томск, после 20-летнего заключения в Алексеевском равелине. Одиночество сильно на него подействовало, но здоровье выдержало это тяжелое испытание — он и мыслью теперь начинает освежаться. От времени до времени я имею от него известия[1].

Очень жалею, что не могу ничем участвовать в постройке читинской церкви. Тут нужно что-нибудь значительнее наших средств. К тому же я всегда по возможности лучше желаю помочь бедняку какому-нибудь, нежели содействовать в украшениях для строящихся церквей. По-моему, тут моя лепта ближе к цели. Впрочем, и эти убеждения не спасают от частых налогов по этой части. Необыкновенно часто приходят с кружками из разных мест, и не всегда умеешь отказать...

Прощай.

В Европе необыкновенные события. Они повременно доходят и до тебя. Ты можешь себе представить, с какою жадностью мы следим за их ходом, опережающим все соображения. Необыкновенно любопытное настает время[2].

И. Пущин.

120. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 1 мая 1848 г. Суббота.

У Евгения родилась дочь, сегодня мы будем крестить ее. Отец назвал дочь свою Аннушкой. Кажется, только одно и найдется событие в нашем кругу. Все прочее старое по-старому. В доказательство этой истины мне 4-го числа минет пятьдесят лет. Прошу не шутить, это дело не шуточное. Доживаю, однако, до замечательного времени. Правда, никакой политик не предугадает, что из всего этого будет.

Но нельзя не сознаться, что быстрота событий изумительная. Я как будто предчувствовал, выписал «Journal des Débats» вместо всех русских литературных изданий.

<...> Читаем, толкуем, размышляем, спорим, мечтаем — вот единственное участие, которое мы можем принять в общем движении. Много хотелось бы с вами поговорить, но это трудно на этом листке уладить. <...>

121. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 10-го июля <18>48 г.

<...> Мне не следует жалеть, что вас не увижу, хотя уже с лишком две недели здесь часто встречаются старики с вопросами: что ж не едет Яков Дмитриевич? Это неудобство мы поправим, я сама нагряну к вам в Москву. Довольно жить в Сибири, сегодня ровно двадцать два года, что подписан контракт, по которому я согласилась шурфовать доставшийся мне на часть золотой прииск терпения[1]. Благодаря бога, работа идет успешно, хотя больших прибылей нет, но покамест капитал еще не истощается. <...> Благодарю вас за желание иметь мой портрет. Теперь ровно некому его сделать, а может быть, подвернется какой-нибудь искусник, я его не пропущу, и неожиданно к вам явится старая знакомая фигура. Теперь она украшается иногда очками — что придает некоторую важность, когда читаю мелкую печать «Débats». Вы, может быть, сделаете мне такой же визит сюрпризом. В Москве можно присесть к дагерротипу и тотчас ехать куда угодно.

Прощайте, добрый человек. Душевно вам преданная

М. Мешалкина[2].

122. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 30 октября <1848 г.>. Суббота.

<...> В Петербург еще не писал насчет моего предполагаемого путешествия. Жду вдохновения, и признаюсь, при всем желании ехать, как-то тоскливо просить. Время еще

не ушло. Надобно соблюсти все формальности, взять свидетельство лекаря и по всем инстанциям его посылать. Все это преглупо. Может быть, прямо пошлю в III отделение. Главное, надобно найти случай предварить родных, чтобы они не испугались мнимоболезненным моим положением[1]. <...>

123. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 20 ноября 1848 г.

<...> Благодарю вас за весточку о красноярских стариках. Видно, не в одном Ялуторовске люди стареют. Это поветрие везде распространилось. Факультет еще не придумал ничего против этой болезни рода человеческого.

<...> Сегодня к обеду соберется наша артель, и я прочту ваше письмо. Продолжайте навещать нас вашими добрыми листками. Вы мне пишете, что передали Кюстина Василию Львовичу, а не упоминаете о маленькой брошюрке «La Russie, envahie par les Allemands»*. Если забыли ее отдать, то, пожалуйста, перешлите. Я все надеюсь, что Арсеньев когда-нибудь явится, и тогда я ему скажу, что он найдет свои книги у Д<авыдова>. Насчет моего путешествия, о котором прошу до времени не говорить, я пустил брандера. Писал в Петербург к своим, чтобы они устроили это дело без моей просьбы. Если же нельзя обойтись без челобитной, то чтоб вперед меня заверили в успехе. Не знаю, что скажут. <...>

124. А. И., Е. Ф. и И. В. МАЛИНОВСКИМ

<Ялуторовск>, 18 декабря 1848 г.

Нынешняя почта привезла мне, любезный друг Малиновский, твое письмо от 8 ноября. Давно я поджидал весточки от вас и рад был узнать, что вы все здоровы.

---

* «Россия, захваченная немцами» *(фр.)*.

Спасибо тебе, милый друг Тони, за твои строки: с удовольствием прочел твой рассказ, из которого вижу, что ты проводишь время с пользою и приятностию. Познакомь меня с новым твоим наставником и уверь его, что я сердечно благодарен ему за все попечения об тебе. Ты должен стараться в этот последний год хорошенько приготовиться к экзамену, чтобы при поступлении в училище получить полные баллы.

То, что ты здоровьем поправился и можешь трудиться, это тебе облегчит работу в будущем времени. Мысленно обнимаю тебя, милый Тони, и желаю тебе полного успеха в твоих занятиях. На досуге иногда говори со мной — я всегда рад видеть твой почерк на папином листке. Скажи: можешь ли ты сам разбирать мое письмо? Иначе я буду тебе отвечать покрупнее. Твоя рука становится тверже — со временем почерк будет хорош. Пожалуйста, в одном не подражай отцу: не пиши так, как он пишет. Я редко настоящим образом понимаю его послания. Хотя такого рода почерк есть принадлежность великих людей, все-таки лучше не иметь этой принадлежности, хоть и приходится быть великим человеком.

Я надеюсь, что ты не сердишься, любезный друг Иван, что на твой счет пишу сыну колкости. Так пришлось. Право, иногда досадно, что никак не могу разобрать иного слова: бьешься, бьешься, так и бросишь. Я начинаю убеждаться, что почерк, как и походка, врожденный; Калинич трудился над тобой, но никак не мог произвести тебя в каллиграфы[1]. Я уверен, что ты сам не разбираешь своего письма. Если ты не имеешь терпения перечитывать написанного, то попроси Катерину Федосеевну и поправь то, что ей покажется неясным. Тогда мне удобнее будет понимать тебя. Если бог приведет свидеться, я тебя заставлю непременно объяснить темные места твоих посланий. Очень рад, что тебе случилось познакомиться с почтенным Турчаниновым. Он меня восхищал своим незлобием и ненарушимым спокойствием. Несмотря на свою необыкновенную толщину, необыкновенно деятелен для пользы науки, которой он оказал большие услуги. Скажи мне, как теперь его здоровье? Что его нога? Последние известия об нем были из Таганрога. Добрый и уважительный человек в полном смысле слова. Если ты его увидишь или будешь к нему писать, пожалуйста, пожми ему руку крепко за меня и за всех моих

ялуторовских товарищей. Мы благодарны тебе, что ты нам об нем поговорил.

В поздравлениях твоих исправь хронологическую ошибку: Михаил наш именинник не 8, а 22 ноября. Родился он 13-го в 1800 году. У меня все наши семейные дни написаны батюшкиной рукой. Когда приближалось мое сорокалетие, я просил его прислать мне календарь с отметками и тут только узнал, что незаметным образом прожил год, который в официальных моих актах был скрыт при моем поступлении в Лицей. Таким образом, 4 мая будущего года мне будет 51 год. Много уж лет мы с тобой близки, но довольно уже лет, что и не видались. Слава богу, что в этом тумане узнаем и понимаем друг друга.

Очень вас благодарю, добрая Катерина Федосеевна, за вашу приписку — поцелуйте вашу Машеньку за ее строчку. Приласкайте за меня и Павлушу. Душевно вам желаю всего отрадного в семейном вашем кругу. Часто ли вы получаете письма из Солдиной?

Я на днях буду писать к Розену. Он нас недавно уведомил, что третьего своего сибирского сына отправил в корпус.

Что Марья Васильевна, думает скоро ехать в Петербург?

У нас, слава богу, все идет хорошо. В товарищеском кругу проводим досуги от кой-каких занятий, которыми сокращается время.

Вот и Новый год, как говорится, на дворе. Приветствую всех вас с обычными желаниями. Исполнение этих желаний возложим на бога. Он знает, когда нас посетить горем, когда посетить и радостию. То и другое примем с сердечною благодарностию.

Пора кончать. До другого раза, прощайте — обоим вам жму руку.

Оболенский благодарит тебя, любезный друг Иван, за воспоминание и желает тебе всего хорошего.

Зима у нас с Варварина дня настоящая сибирская: все около 30° ртуть шевелится; были дни, что и не шевелилась. Вам, южным и западным жителям, это непонятно, а мы уже к этому привыкли, лишь бы при таком морозе не было ветру, а то бывает неловко.

Верный ваш *И. Пущин.*

Давно что-то не имею весточки от почтенного Егора Антоновича — поэтому и сам давно ему не откликался. Где-то справлялось 19 октября?

125. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 15 января <1849 г.>.

<...> Если Шеф не пустит на воды по просьбе родных, то пущу формальную просьбу с лекарскими свидетельствами. Пусть официально откажет. Одним словом, не положу оружия, пока не разобьют меня в прах. Я счел лучшим действовать предварительными дипломатическими нотами, интервенциями, потому что не хотел, чтоб мои родные вообразили себе, что я в самом деле нуждаюсь в серном купанье <...>.

Бригген допущен к исправлению должности заседателя окружного суда — это по его просьбе. Получивши 14-й класс, он ездил в Омск и просил у князя места. Просто чудеса![1] <...>

126. КНЯЗЮ П. Д. ГОРЧАКОВУ

<Ялуторовск, февраль 1849 г.[1]>

Милостивый государь

Петр Дмитриевич!

В надежде на снисхождение вашего сиятельства, прямо к вам обращаюсь с покорнейшею просьбою; знаю, что следовало бы просить по начальству; но как дело идет о здоровье, которое не терпит промедления, то уверен, что вы простите больному человеку это невольное отклонение от формы и благосклонно взглянете на его просьбу. Вашему сиятельству известно, что с 1840 года я подвержен сильным хроническим припадкам, от которых с вашего разрешения ездил лечиться в Тобольск; тогда я получил облегчение, но болезнь не прошла. С прошлого года она снова развилась, а прежние средства уже не помогают. По мнению медиков, одна надежда — на Туркинские воды за Байкалом. В проезд вашего сиятельства через Ялуторовск я не мог лично просить вас об этом — болезнь не позволила мне представиться. <...>

127. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 12 февраля <1849 г.>

<...> С прошедшей почтой получил от сестры ответ на мое письмо об известной вам поездке. Иван Александрович говорил Шефу, и тот сказал, что не иначе может пустить, как если будет отсюда формальное прошение. Значит, можно надеяться, что не скажут: «Пошел вон!» Мне в этом только хотелось увериться[1]. И вследствие извещения сестры, которая очень желает, чтоб удалось мне покататься, я 5-го числа отправил к князю в Петербург письмо с лекарским свидетельством и прошу его исходатайствовать мне разрешение. Если это разрешение придет в конце марта, я еду на санях. Если же запоздает, то в мае – на колесах. <...> Все это еще буки, но, кажется, должно исполниться давнишнее мое желание и отрадное свидание с иркутянами! Маршрут мой на Тобольск, Тару, Тюмень и Красноярск. В каждом городе надобно будет побыть, разумеется, не долго. В трудный путь, чтоб скорей добраться до Ангары. <...>

128. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 5 марта <1849 г.>.

<...> Познакомьтесь с Корсаковым, который был у нас на прошлой неделе. Мне понравился этот юноша. Он родился в том году, в котором мы были в Петербургской крепости. Для него мы – предание, но он как-то нас понимает. Мне приятно было ощущать в нем теплое сердце и какую-то готовность на деятельную жизнь – ее не всегда встречаю в представителях нового поколения, которые мне попадают под руку. Впрочем, мудрено настоящим образом судить по нескольким часам свидания, но все-таки приятно видеть что-то живое, мыслящее и надеющееся. Я замечтался, извините – такова моя привычка – молодость меня молодит[1]. <...>

129. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Тобольск, 20 мая 1849 г., пятница.

Ко всем вам нераздельно пишу эти строчки, добрые друзья мои. Прочтите их, когда будете вместе, и передайте в К<урган> Николаю Васильевичу. Приехал я в Тобольск в 8 часов утра в четверг. За две станции должен был остановиться, сделалась лихорадка, которая очень некстати пришла, сам не знаю отчего. Утром пустился в дорогу и приехал с маленькой рожею на ноге. Два дни сижу дома — теперь лучше. Диета и мел с крупинками поправили меня. Все это время окружен добрыми хозяева<ми> и Пушкиным, которого застал у Фонвизиных. Приезжали Свистуновы, Анненковы, Муравьев с Вольфом. Степан Михайлович беспрестанно заходит <...>. Жозефины Адамовны еще не видал — Александр поразил меня своим видом и усиленным столбняком — он два раза приезжал, вместе с Вольфом, который любезен со мной по-прежнему, но заметна некоторая неловкость. Анненков очень, на мои глаза, болен. При прежней его апатии видна какая-то тревожность. Пушкин лучше, но все берет неимоверные предосторожности. Тот же неизменно добрый человек, ночевал со мною первую ночь и ухаживал за мной, как вы, Матвей Иванович <...>. Пишу ночью, не знаю, разберете ли вы меня и есть ли смысл в моем письме,— я знаю только, что во мне есть отрадное чувство к вам: оно вполне взаимно и потому не требует лишних объяснений. Как мне жаль, что я не с кем-нибудь из вас еду. <...>

130. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ И ДОЧЕРИ

24 мая 1849 г., вторник, Тобольск.

Сегодня вечером будет неделя, что я расстался с тобой, милая Аннушка, а все еще в двухстах пятидесяти верстах от тебя, друг мой! Как-то ты поживаешь? Будет ли сегодня с почтой от тебя весточка? Нетерпеливо жду твоего письма. Хочется скорей узнать, что ты здорова и весела. <...>

Итак, добрейший Матвей Иванович, пришлось вам опять читать меня все еще из Тобольска. <...>

Со вчерашнего дня начались, в первый раз *по возобновлении,* обеды в полном составе. Петр Николаевич нас угостил на славу — он здоров. <...> Жозефина Адамовна, несмотря на свое болезненное состояние, приехала обедать с нами и объявила мне, что делает этот подвиг для меня. Можете себе представить, как я должен был любезничать за это внимание и как любезность моя была ничтожна. Она, т. е. Ж<озефина> А<дамовна>, страшно бледна. Кажется, не совсем еще поправилась. Сама говорит, что по ночам ужасный кашель. Александр толст, молчалив и задумчив. Я еще не разыграл роль Барбеса, но непременно буду действовать. Помаленьку запускаю брандеры. Надеюсь на успех[1]. <...>

Михаил Александрович непременно хочет вас добыть в Тобольск. Вольф томим желанием вас увидеть, а вы бы тогда увидели его очарованный замок, где перед окном, задом к стеклу, стоит Аполлон. Я советовал его поставить в уголок, в избежание этого странного зрелища для проходящих, но Вольф находит, что так лучше. Роскошь замка убивает совершенно самого барона, — впрочем, оставим всякому барону свою фантазию — лишь бы она его утешала. Мы с Вольфом толкуем, не входя в подробности, которые могли бы несколько затруднить, и таким образом все идет хорошо[2]. <...>

Меня вообще чествуют больше, нежели я заслуживаю. <...>

Поджидал все почту, но нет возможности с хозяином-хлопотуном — он говорит, пора отправлять письмо. Да будет так! Salut! Еще из Тобольска поболтаю, хоть надеюсь до почты выехать. Долго зажился на первом привале, лишь бы вперед все пошло по маслу[3]. <...>

Верный *И. Пущин.*

131. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и И. Д. ЯКУШКИНУ

<Тобольск>, 14 июня 1849 г.

<...> Сегодня ужасно устал, и почта повезла три листка мелких домой и в Ялуторовск. <...>

Об политике будем говорить, писать не в состоянии. Приходите ко мне толковать.

М<ихаил> А<лександрович> меня часто практикует. Он так добр, что уверяет, будто бы я, каков ни есть, оживляю несколько однообразие его жизни. <...>

На днях мы узнали о смерти Каролины Карловны — она в двадцать четыре часа кончила жизнь. Пишет об этом купец Белоголовый. Причины неизвестны, вероятно аневризм. Вольф очень был смущен этим известием. Говорил мне, что расстался с ней дурно, все надеялся с ней еще увидеться, но судьбе угодно было иначе устроить. Мне жаль эту женщину. <...>

Не знаю, верить ли слухам об тайных обществах[1] в России. Кажется, только новые жертвы, если и справедливы слухи. Оболенской тоже пишет как слышанное от других проезжих. Здесь ничего подобного не слыхать. <...>

Пожалуйста, один раз навсегда возьмите за правило упоминать, от которого числа получаете мое письмо,— это для верности необходимо в наших контрабандных сообщениях. <...> Вы напрасно думаете, что здесь роскошь на газеты,— тот же «Инвалид» и «Мос<ковские> ведомости». <...>

132. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и ДОЧЕРИ

Вторник, 21 июня 1849 г., Тобольск.

<...> Странно, что ни Трубецкие и никто другой не пишут о смерти Каролины Карловны. После известия от Белоголового было письмо от знакомого нам Неелова к Груму. Он рассказывает, что К<аролина> К<арловна> за три дни до смерти все говорила, что должна умереть, сделала завещание, присоединилась к русской церкви, потому что не было пастора. В самый день смерти была в институте утром, со всеми почти прощалась, и после обеда, около вечернего чаю, ее нашли на диване мертвую. Все это не совсем обыкновенно. Хоронил ее Нил — архиерей, с большою почестию. Скажите, писали ли вы Трубецкому, что я выехал? <...>

Сообщите, не узнали ли чего-нибудь о петербургских новостях при проезде князя. Здесь совершенная глушь. Между тем, кажется, должно что-нибудь быть, все одно

и то же говорят. О политических новостях писать нечего. Вы столько же знаете, сколько и мы. <...>

Что скажет Иван Дмитриевич о кончине Каролины Карловны. <...>

133. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Тобольск, 21 июня 1849 г.>

Не пугайтесь, что в дополнение к моим письмам пишу не сам я. Сегодня я ставил пиявки и не хочу трудить ногу у стола[1]. <...>

Целую Аннушку, всех вас обнимаю без различия пола и возраста. Хандры у меня нет. <...> О постройке комнаты не бросайте мысли, ибо я все-таки надеюсь до отъезда что-нибудь устроить по этой части вроде Барбеса[2]. <...>

134. Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ

Тобольск, 24 июня <1849 г.>.

Почтенная и добрая Надежда Николаевна, я к вам писал из Ялуторовска за несколько дней до моего выезда, и вы воображаете, что я уже на водах Туркинских. Между тем я еще до сих пор в Тобольске у добрых друзей — Михаила Александровича и Натальи Дмитриевны. Здесь задержала меня больная моя нога; теперь, благодаря бога, лучше; с лишком месяц продолжающееся лечение Вольфа дает надежду безопасно продолжать путешествие. Слава богу, что эти новые припадки в инвалидной моей ноге случились перед тем городом, где я нашел попечение дружбы и товарища-лекаря, иначе это могло бы дать развернуться болезни, если бы пришлось тащиться без помощи все вперед. Это видимое покровительство божье мирит меня с остановкой, которая естественным образом иногда приводит в нетерпение. Вы мне простите это сознание и поймете, как трудно лежать человеку, который в кои веки вздумал пуститься путешествовать. Если все будет благополучно, думаю около 1 июля продолжать начатый путь. К водам поспею и надеюсь, что они принесут мне пользу.

На этих днях я получил листок от Ивана Дмитриевича (с ялуторовскими друзьями я в еженедельной переписке). Он меня порадовал вашим верным воспоминанием, добрая Надежда Николаевна. Вы от него будете знать об дальнейших моих похождениях. Надобно только благодарить вас за ваше участие: будем надеяться, что вперед все пойдет хорошо; здесь я починил инвалидную мою ногу и дорогой буду брать все предосторожности.

Хозяева мои вас сердечно приветствуют. Здоровье Михаила Александровича так хорошо, что я нашел его теперь гораздо свежее, нежели при последнем свидании семь лет тому назад. Заочное лечение Иноземцева избавило его совершенно от прежней болезни[1].

Наталья Дмитриевна иногда похварывает, но в сложности лучше, чем прежде.

Меня они родственно балуют — я здесь как дома и не боюсь им наскучить моею хворостию. Это убеждение вам доказывает, до какой степени они умеют облегчить мое положение. Другие здешние товарищи помогают им в этом деле.

Погрустил я с вами, добрая Надежда Николаевна: известие о смерти вашего внука Васи сильно нас поразило. Тут невольно мысль и молитва о близких покойного. Да успокоит вас милосердый бог в этом новом горе. В сердечном моем сочувствии вы не сомневаетесь — боюсь распространяться, чтоб не заставить вас снова задуматься, хотя вполне уверен в вашей полной покорности воле божьей.

Опять к вам просьба: из прилагаемой записки вы увидите, в чем дело. Верно, у вас есть добрые знакомые в Орловской губернии, которые не откажутся доставить вам нужные сведения, а вы их перешлете Наталье Дмитриевне. Она все это сообщит Степану Михайловичу, который, по дружбе к покойному Мефодию, хочет помочь его родным. Надобно удивляться Степану Михайловичу; он при одном жалованье находит возможность быть полезным другим, — это необыкновенный человек во многих отношениях. Несколько раз пытался отыскать это семейство, но все попытки были тщетны. Я взялся все устроить через вас в уверенности, что вы лучше, нежели кто-нибудь, укажете дорогу к добру.

Прощайте, добрая Надежда Николаевна. Обнимите за меня Алексея и позвольте мне вас самих крепко обнять с искреннею признательностию за неизменную вашу дружбу. <...>

135. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Вторник, 28 июня 1849 г., Тобольск.

<...> Очень бы хотелось получить письма, которые Шаховской обещал мне из России,— может, там что-нибудь мы бы нашли нового. В официальных мне ровно ничего не говорят — даже по тону не замечаю, чтобы у Ивана Александровича была тревога, которая должна всех волновать, если теперь совершается повторение того, что было с нами[1]. Мы здесь ничего особенного не знаем, как ни хлопочем с Михаилом Александровичем поймать что-нибудь новое: я хлопочу лежа, а он кой-куда ходит и все возвращается ни с чем. С<тепан> М<ихайлович> советует быть мне осторожнее. Я при этом новом его замечании показываю ему ногу, и он убеждается, что она поневоле меня включила в число осторожных. Никогда не было так затруднено самое малое движение. Вольф уверяет, что это все должно очень скоро пройти. Желаю ему верить, но как-то покамест не сбываются его слова. Он читал письмо Ивана Дмитриевича — я именно дал ему прочесть, чтоб отзыв об нем служил благодарственным адресом,— и Вольф очень доволен. И я доволен, но, признаюсь, хотел бы видеть развязку этого лечения, которое и медику должно наскучить. <...> С прошедшей почтой я писал к Надежде Николаевне. <...> Много говорил Вольфу об училищах и особенно о женском, которое представляла ему Гутинька. Я вижу Гутиньку в полном блеске педагогии и восхищаюсь. <...> К Евгению я пишу несколько слов сегодня официально — поэтому ему не помешает прочесть и эти листки.

<...> Опять присел к вашему листку, давши отдых ноге,— она сильно меня беспокоит, но об этом тоска говорить. Лучше скажу, когда совсем все пройдет. <...> Может быть, к тому времени несколько прояснится мой выезд. Вы удивляетесь, что Ивану Александровичу отказали приехать в Тобольск, а я дивлюсь, что он просился. Надобно было просто ехать в виде золотоискателя. Я читал его письмо к Орлову и ответ Орлова. Странно только то, что Орлов при свидании в Москве с Ив<аном> Ал<ександровичем> сказал, чтоб он написал к нему, и потом ничего не сделал. Впрочем, все это в порядке вещей[2]. <...>

Что-то будет с нашими в Венгрии? Я ожидаю важных событий. Император наш, говорят, поехал в Вену. Мы с Миха-

илом Александровичем без конца политикуем. Странная вышла экспедиция французов в Италию. Вообще все довольно сложно делается[3].

Граббе послан в Константинополь для заключения наступательного и оборонительного союза с Портою. Результат переговоров еще неизвестен. <...>

С Вольфом я составил план моего лечения в Иркутске. Поеду на Туркинские воды. Буду пить и купаться, только не в горячей, а в простуженной серной воде, потом ноги купать в железной ванне. План составлен, остается привести в исполнение. <...> К Басаргину напишу, когда соберу деньги Щепину. <...>

136. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Тобольск>, 5 июля 1849 г., вторник.

Убежденный в справедливости вашего замечания, я начинаю наблюдать за моим почерком, который точно с некоторого времени делается совсем неразборчивым. Я все как-то тороплюсь, и оттого моя каллиграфия обращается в нечто непривлекательное. Спасибо, добрый Матвей Иванович, что вы мне это напомнили,— я бы желал, чтобы и в других случаях моей жизни нашелся добрый человек, который бы остановил вовремя от глупости, которую часто не так легко исправить, как поразборчивее написать письмо. <...>

В самый тот день, когда я вечером читал ваши листки, где вы между прочим упоминаете о Барбесе,— я утром имел отрадные, совершенно неожиданные минуты в беседе с Александром. Нам случилось в этот день, в первый раз с самого моего приезда, быть наедине. Я только что заикнулся об вас, как он сам с необыкновенною любовью сказал, что непременно теперь исполнит давнишнее свое желание вам послать денег. Тут я узнал прежнего Александра и прошу вас увериться, что никакого Барбеса не было на сцене. Вы не должны затрудняться теперешними вашими обстоятельствами домашними, как они ни мрачны, чтоб позволить Александру поделиться с вами. Он делает это с таким чувством, что, право, грешно оскорбить это чувство. Я счастлив, что нашел его в нем; признаюсь, мне больно было думать, что оно в нем заглохло. Долго мы толко-

вали о разных разностях, и кончилось тем, что я его расцеловал, как, бывало, случалось в Петровском. Вероятно, с нынешней же почтой вы получите от него письмо; немедля начнете перестройку <...>[1].

Музыки «Marseillaise»* здесь ни у кого нет; Bérenger** есть у Александра, но теперь нельзя достать — все книги уложены по случаю переделки в доме. Когда можно будет, он вам его пришлет[2]. <...>

Не знаю, что сказать вам насчет петербургских новостей, — кажется, много есть преувеличенного. Никак не понимаю, каким образом комюнизм может у нас привиться[3]. Об Кургане просто тоска — вы хорошо сделали, что предварили старика насчет тамошнего забияки. Да и вообще весь состав как-то не мил. Вероятно, кончится тем, что переводчика Кесаря самого прогонят, если он слишком будет надоедать своею перебранкой с уездной аристократией[4]. <...> Скоро надеюсь двигаться по Тобольску, а потом и дальше. <...> Вообще все к лучшему, как оно ни кажется противоречащим нашему желанию.

Вам напрасно сказали, что здесь провезли двух из петербургских комюнистов. Губернатор мог получить у вас донесение, что привезены в Тобольск два поляка — один 71 года, а другой 55 лет, — оба в Варшаве судились пять лет еще по прежнему, краковскому, делу. Отсюда эти бедные люди должны пешешествовать в партии по назначению приказа здешнего в Енисейск. Дмитрий Иванович хлопочет, чтобы их оставили где-нибудь поближе. <...>

137. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Тобольск>, 8 июля 1849 г., пятница.

Михаил Александрович сейчас возвратился от процессии с иконой и видел приезжего из Петербурга, который отправляется служить в Главное управление. Это некто Циплинг. Он говорит, что арестовано только 10-ть человек, что взят какой-то старик, довольно важное лицо, что фельдъегерь поскакал за каким-то золотоискателем в Красноярск и, наконец, что некоторых чиновников министерст-

---

* «Марсельезы» *(фр.).*
** Беранже *(фр.).*

ва финансов, его знакомых, просто *посекли* с родительской нежностию и отпустили. Кажется, что вздор говорит г-н Циплинг. Я вам передаю, что слышал. Степан Михайлович его допрашивает — к вечеру что-нибудь и мне передаст, а я вам сообщу во вторник, если будет того стоить[1].

Поздравьте Бибиковых с сыном — я все удивляюсь, что они не назвали его Никитой,— это был бы Никита Михайлович.

Поцелуйте Аннушку мою. Скажите ей, что мне теперь гораздо лучше. Ей буду писать во вторник по заведенному порядку. <...>

138. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Тобольск>, 12 июля <1849 г.>, вторник.

<...> Я ничего не пью, кроме квасу,— этой реформе порадуется Иван Дмитриевич. Вы, добрый Матвей Иванович, должны пить за меня и за себя, пока я не возвращусь возобновленным к вам на помощь. Скажите Ивану Дмитриевичу, что я напрасно ему в последнем моем письме писал запрос о детях Михаила Александровича,— на другой день почта привезла от них письма — они оба поехали на Кавказ, один лечиться, другой гулять,— следовательно, нечего заботиться об их участии в тайном обществе. Отец и мать, слава богу, успокоились[1]. <...>

Мих<аил> Алекс<андрович> пришел, поджидает газеты — и письма от вас. Газеты мы читаем с картой, на которую наводим и очки, и зажигательное стекло. До сих пор очень странная война. По-моему, венгры должны устоять, как ни огромны силы против них. <...>

139. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ И ДОЧЕРИ

<Тобольск>, 19 июля <1849 г.>, вторник.

<...> При первом случае отсюда вы получите первый том огромный Капефига «L'Europe depuis l'avénement de L<ouis> Philippe»[1]. Второй дочитывает С<тепан> М<ихайлович>. Это книга Петрашкевича. Вы прочтете ее с удовольствием. Эпоха Louis Blanc, с другим взглядом

и со многими подробностями любопытными. Свистунов достанет для вас у Токарева на время Bérenger. Александра я просил по временам вас снабжать книжонками. <...>

Милый друг Аннушка, накануне отъезда из Тобольска Николенька привез мне твое письмецо и порадовал меня рассказом о тебе. Он говорит, что ты чудесно читаешь, даже ты удивила его своими успехами. Благодарю тебя за эту добрую весть — продолжай, друг мой.

Твой дядя заранее радуется, когда опять тебя увидит. К тому времени ты все так будешь хорошо знать, что я, старик, буду у тебя снова учиться.

Скажи мамаше большой поклон, поцелуй ручку за меня, а папаше[2] скажи, что я сейчас узнал, что Черносвитова поймали в Тюкале и повезли в Петербург. Я думал про него, когда узнал, что послали кого-то искать в Красноярске по петербургскому обществу, но, признаюсь, не полагал, чтобы он принадлежал к комюнизму, зная, как он делил собственность, когда был исправником[3]. Как ты все это расскажешь, маленькая моя дырдашка?

Сейчас В<ладимир> И<ванович> возвратился от всенощной и передал эту новость, сообщаю ее вам, сам не знаю зачем. Поклонись Михеевне. Благодарю, что она заботится о запасах на зиму. Ты тогда будешь хозяйничать.

Твой *И. П.*

Крепко тебя целую.

140. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

9 часов утра. 26 июля 1849 г., вторник, Каинск.

<...> Вы, верно, часто хотите знать, как совершается мое путешествие. Из Тары я уже вам писал, теперь что скажу — что все хорошо — и погода, и дорога, и тарантас, и казак, и моя нога. Одним словом, все ладно. Даст бог, и вперед так будет. Развлечение мое — беседа с бабами и станционными смотрителями; с бабами забавнее. Кой-кого лечу дорогой, выздоравливать уже будут без меня, это иногда для медика не худо. Как ты думаешь, добрый гомеопат? В Тарском округе просто бедствие: падеж на лошадей, в иных деревнях сибирская язва губит и свиней и овец. Много и людей хворают, слава богу, немного из них умирает. Помогает лекарка, а присланный лекарь в это бедственное

время берет взятки — подробно это мудрено написать, но просто ужас. Заставщик ему помогает. Когда это все кончится? <...>

141. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ И Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

18 августа 1849 г., Иркутск.

Вот уже четыре дня, что я здесь. <...> Просто целый день проходит в болтовне — то у моих хозяев Волконских, то у Трубецких. Бесконечные расспросы. <...>

Живу у Волконских — не замечая, что я гость. Балуют меня на всем протяжении сибирском. <...>

Марья Николаевна почти выздоровела, когда мы свиделись, но это оживление к вечеру исчезло — она, бедная, все хворает: физические боли действуют на душевное расположение, а душевные тревоги усиливают болезнь, в свою очередь. Изменилась она мало, но гораздо слабее прежнего. Сергей Григорьевич пополнел и совершенно здоров, но тот же оригинал, что и прежде. Катерина Ивановна как-то узнала, что я приехал, прежде нежели я успел к ним поехать. Выбежала à la lettre* с Сашенькой и Лизой. Сергей Петрович с ними. Та же дружба, та же доброта. Лиза красавица, Сашенька необыкновенно приветлива, обе очень просты в обращении.

Нелинька имеет свой особенный характер. Вообще, если б был я помоложе, я бы непременно влюбился. <...>

Поджио поехал в другую сторону для рассеяния путешествовать. Я видел Муханова, Бечаснова — завтра отправляюсь к Борисову и Панову — посещу могилы друзей. <...>

Скоро поеду на воды и надеюсь обозреть всех за Байкалом, кроме Завалишина[1]. <...>

Я всех удивляю моей воздержностию — пьян от стакана квасу, спасибо перестали потчевать. К Кучевскому поеду после возвращения с вод. <...> Дом Марьи Николаевны — прелесть, только нет саду. <...>

* буквально *(фр.)*.

142. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

31 августа 1849 г., Селенгинск.

Виноват я пред вами, добрые друзья мои,— пропустил недельный мой срок. Старик захлопотался, вы простите, я уверен. <...> Впрочем, все это лишнее, мы друг друга знаем, и не нужно пустых объяснений,— лучше я соберу вас в кружок, милые мои ялуторовские друзья, и расскажу, как я провел время после письма от 18-го. 22-го августа я выехал из Иркутска в тот самый час, как городские жители ехали на бал в собрание, контрабандой в виде будущего я отправился с Разгильдеевым в Кяхту. Эти тайны я вам объясню лично. К Байкалу мы приехали в три часа утра. Я спал в тарантасе до шести. Пошел к Снегиреву. Скажите доброму Николаю Яковлевичу, что с вод напишу ему подробно о плавании и об устройстве пароходства. У Снегирева пил чай, между тем тарантас поставили на машину. В семь часов мы сами, то есть все пассажиры, собрались на пароходе. Колеса завертелись. С удовольствием я плыл на чудесном пароходе — это роскошь отрадная на Байкале — хвала Лесникову. Досадно, что между пассажирами я никого из вас не встретил, добрые друзья. Как бы мое наслаждение было полнее. Буслатов, почтмейстер нижнеудинский. Шкипер. Качка. Обеды. Горный перешеек. Ни одной женщины — это тоска. Чай. В виду Посольский монастырь. Валы белеют. Пароход остановился в пять часов пополудни на глубине двух сажен. Нельзя было ближе подойти. Нет с этой стороны гавани. Это большой недостаток, нужен капитал на устройство — я обещал шкиперу мои богатства, которые вам известны. Садимся на две лодки и едем к берегу. Белые валы как горбы — я вижу на берегу Поджио — через воду бросаюсь на него — приходим в дом, он поит нас чаем, шоколадом, толкует о тунгусах и о Баргузине, где он странствовал для рассеяния два месяца. Шкипер присылает сказать, что погода мешает спустить тарантас. Ночь, буря — болтовня с Поджио. На другой день тот же ветер. Монастырь. Пьяные монахи, вероятно по случаю бури. Осетрина. После чаю утихает погода. При лунном свете расстаюсь с Поджио. Он в Иркутск плывет на пароходе — я в тарантасе скачу в Кяхту. На другой день вечером там. Марья Казимировна в восторге — семья Рейхель. Добрейшие люди Разгильдеевы. <...> Вечером на другой день

в Селенгинске. Николая Бестужева не застал. Михайло и сестры его необыкновенно любезны. Спутниц привез в Селенгинск. Дружелюбие с Торсоном. <...>

Николая Бестужева найду в Петровском заводе — он поехал туда на несколько дней.

143. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Понедельник, 26 сентября 1849 г., Иркутск.

<...> Надобно вам объяснить, почему на каинском письме была надпись: я имел неосторожность с колокольцами подъехать к почтовой конторе и послал урядника бросить письма в ящик, прибитый у ворот. Забыл, что почтмейстер только что прописывал подорожнюю. Это точно неосторожно. <...>

Тэра Ивану Дмитриевичу я отыскал[1]. Привезу. О Баргузине и Михаиле Карловиче буду лично рассказывать. Об нем пишу Устинье Карловне — подробный отчет. Н. Бестужева не видал, и очень жаль. С ним разъехались между Селенгинском и Петровским. Не мог, оригинал, посидеть дома, зная, что я должен быть. Видно, так судьбе угодно. <...>

Прошу всегда меня включать в вашу складчину для старухи Л<укерьи> Ивановны. Перестройте непременно погребы, возьмите денег у Александра — у него их много — ему только лень посылать вам, а желание и готовность есть. Надобно слабым натурам помогать. <...> Евгений вам покажет мой рассказ об Етанце, где его имя живо. <...>

Не понимаю венгерских дел. Вроде австрийцев кладут оружие[2]. <...>

144. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

3 октября 1849 г., Иркутск.

Как мне благодарить вас, добрый друг Матвей Иванович, за все, что вы для меня делаете. Письмо ваше от 10 сентября вместе с листком от Аннушки глубоко тронуло меня. День ее рождения мысленно я был в вашем кругу и видел

мою малютку в восхищении от всех ваших добрых к ней вниманий. Спасибо, от души спасибо! <...>

Таким образом делится мое время, из которого как можно более стараюсь уделить Марье Николаевне. Она постоянно дома и кой-когда на минуту выедет. <...> Будьте спокойны на мой счет — я строго наблюдаю диету и совершенно здоров теперь. Трудно отделываться от приглашений, но я держусь. Не знаю, как будет, когда сойдусь с вами. Вероятно, погуляем, если Иван Дмитриевич позволит. <...>

За Байкалом больше вышло из кармана, нежели я ожидал. <...> Оболенский воображал, что поездка должна поправить мои финансы, но выходит совсем иначе. Впрочем, что об этом толковать; я так доволен своим путешествием, так высоко ценю это отрадное разрешение, что и не думаю о несносных деньгах. <...>

Просите Николая Васильевича, чтоб он распорядился чрез Николая Яковлевича выпиской «Débats». Деньги потом внесем. Я не люблю «La Presse...». О политике ничего вам не говорю — это останется до свидания. <...>

Из обозрения моего всех наших вывод довольно хороший, только кой-кому бы надобно помочь. Где взять и как это дело уладить? Ах! Беда, беда! <...>

145. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

10 октября, понедельник, 1849 г., <Иркутск>.

<...> В продолжение этой недели я имел случай не раз жалеть, что мы не вместе,— слышал музыку m-me Ришье, и точно совестно было, что один наслаждался ее игрой. Будем об этом совершенстве толковать. Я могу только передать вам мои ощущения несознательные — ученым образом я не умею оценить этого таланта. У Марьи Николаевны она почти целый вечер играла en petit comité*, что гораздо приятнее: больше простоты и приятности. Я ей сказал все, что умел, чтоб выразить мою благодарность, и прибавил, что недостает вас и Якушкина из Ялуторовска и Свистунова из Тобольска, что вы лучше меня мильон раз оценили бы смелые и полные ее аккорды. Она играла из «Гугенотов» неко-

---

* в интимном кругу *(фр.)*.

торые места — это такая прелесть, что все забывается. До сих пор слышу молитву! <...>

На этих днях я посещу некоторые окрестности — крайний пункт с одной стороны будет Олонки, а с другой — Тугутуй. Евгений вам объяснит местность. Поеду, вероятно, с Сергеем Григорьевичем — он непременно хочет как можно больше насладиться моим пребыванием здесь. <...>

146. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

17 октября <1> 849 г., Иркутск.

<...> Придет время, что я буду наслаждаться вашими трудами по устройству дома, — я на всем пространстве Сибири прославлял ваше хозяйство и умение жить. Не худо бы вам поделиться этим искусством с нашими иркутянами. Они до такой степени мало им обладают, что даже я замечаю этот недостаток. Подробные объяснения при свидании.

На этой неделе был у Бечаснова — он, труженик, существующий своими трудами в деревне Смоленщине, кажется, один может служить исключением общему выводу моему. Иван Дмитриевич может вас уверить, что я не по какому-нибудь пристрастию к Бечаснову говорю это, — он знает, что я не имел к нему особого вожделения. Должен сознаться, что он заставил меня переменить мое прежнее мнение об нем.

Кончивши письмо к вам, отправлюсь в окончательную мою поездку, — я не успел ее сделать, как предполагал в последнем моем к вам письме. Еду с Сергеем Григорьевичем в Олонки, а потом один до Тугута именно для того, чтоб Павлу Сергеевичу и Евгению рассказать собственные свои ощущения.

Портрет Михаила Сергеевича надеюсь вам привезти. Попрошу сделать копию с того, который он сам рисовал с себя[1]. <...>

<...> Я не успеваю во все города писать и получил с этой почтой выговор от С<тепана> М<ихайловича> в письме Андронниковой. Они все воображают, что я болен, если не болтаю с ними всякую неделю. <...>

Благодарность мою скажите Ив<ану> Дм<итриевичу> за его хлопоты с Аннушкой в училище. Без объяснений глубоко ее чувствую. <...>

Должна быть в сентябре присылка денег от брата. Эта статья как-то плохо идет. <...>

Сашенька для большего усовершенствования в живописи возымела смелую мысль изобразить на холсте мою фигуру. <...>

Миша получил разрешение вступить на службу при г<енерал->губернаторе. <...>

Около 20 ноября надобно пуститься домой — к тому времени должна быть дорога.

Ваш *И. П.*

147. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

24 октября 1849 г., Иркутск.

Вероятно, Корсаков, поехавший курьером в Петербург, вам все это передал подробно. Без всякого сомнения, этот юноша к вам заехал. Я был в Олонках, в Хомутовой, в Оёке и в Тугуте[1], когда он мелькнул в Иркутске. Очень жалко, что это так случилось, тем более что Муханов, проводивший меня, еще был у ворот, когда явился от него посланный с известием, что он здесь. Я бы с ним написал домой. <...>

Третьего дня только возвратился из окончательной моей отлучки из Иркутска.

Разберете ли вы мое письмо — это седьмое. Если затруднитесь, призовите Ивана Дмитриевича. Наш Ланкастер охотник и мастер разбирать рукописи. <...> Сюда приехала m-lle Otava с скрипкой. Поджио уже слышал ее игру и m-lle Ришье. Говорит, будет концерт, но я вряд ли пойду. Я люблю музыку, когда не надобно платить денег. Видите, как я сделался расчетлив. <...>

148. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Иркутск, 31 октября 1849 г.

<...> На этой неделе я восхищался игрой на скрипке m-lle Otava. Опять жалел, что вы со мной не слушали ее. Вы бы лучше меня оценили ее смычок. Он точно чудесный. Может быть, до вас дошли слухи об ней из Омска. Она там

играла. В Тобольске будет на возвратном пути. Здесь дождется Ник<олая> Ник<олаевича>, который, вероятно, возвратится не прежде 15-го ноября. Мне бы хотелось с ним повидаться, но ждать не буду, если он запоздает. Оставлю докладную записку обо всем, что хотел ему сказать, и при свидании летом в Ялуторовске повторю все на словах. До сих пор нет ничего верного насчет его возвращения[1]. <...>

Сашенька нашла нужным делать масляными красками мой портрет. Я сижу усердно, хоть не очень терпеливо по моей подвижной природе...

Заранее вас приглашаю к Аннушке встречать Новый год. Я буду угощать вас рассказами за неимением других угощений. Так обыкновенно бывает с разорившимися туристами.

Верный ваш *И. П.*

149. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

7 ноября <1>849 г., Иркутск.

<...> Вы меня спрашиваете о действии вод. Оставим этот вопрос до свидания. Довольно, что мое здоровье теперь очень хорошо: воды ли или путешествие это сделали — все равно. Главное дело в том, что результат удовлетворительный. <...> Если бы я к вам писал официально, я бы только и говорил о водах, как это делаю в письмах к сестре, но тут эта статья лишняя.

<...> Удивила меня забота обо мне курганского соседа[1] — хотя его замечание жандарму отчасти справедливо, но совершенно неуместно. Бог ему судья. И он его простит — в этом создании есть какая-то непостижимая загадка.

Жаль мне бедного Михаила Федоровича, тут не избежать человеческого суда, он неумолим в своих приговорах.

Отсюда мне нечего сообщить вам нового — одна только печальная новость — это смерть М. Ф. Митькова. Страдания его окончились 23 октября. <...> Буду в Красноярске и привезу вам оттуда все подробности. Его земные счеты хорошо кончены. Вероятно, будет и загробная помощь для товарищей[2]. <...>

Завтра будем справлять, но самым тихим образом, именины Миши. Марья Николаевна не совсем здорова, что с

нею часто случается, особенно при наступлении зимы, которая уже в полном здесь развитии с паром от Ангары.

Пришлось довольно писать. <...> Надобно еще сказать словечко Фонвизину. <...> Авось Михайло, по приезде в Петербург, найдет средство прислать мне маленький мильон. Пора расплатиться и жить аккуратно, как Евгений. <...>

150. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Четверг, 10 ноября 1849 г., Иркутск.

<...> Романсы Плещеева у меня, я вам их привезу – буду слушать вашу отрадную музыку. <...>

<...> Г<енерал->губернатора еще нет – все ждут и не дождутся его. Надеюсь, что до моего срока он здесь будет. <...> Завтра еду обедать в Урик к Панову. Опять буду на могиле Никиты – за вас поклонюсь его праху. <...>

151. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Иркутск>, 14 ноября <1849 г.>, понедельник.

<...> Сегодня портретный день. Отправляюсь к Сашеньке. Не могу сказать, чтоб портрет был на меня похож. Разве еще что-нибудь изменится, а до сих пор более напоминает Луку Шишкина, которого Евгений и Иван Дмитриевич знали в Петровском. Сашенька трудится, я сижу очень смирно, но пользы мало. Мне даже совестно, что она начала эту работу масляными красками[1].

Приезд генерал-губернатора всех занимает, разумеется в совершенно другом отношении, нежели меня, – я хочу только повидаться с ним и переговорить насчет некоторых из наших. Может быть, из этого что-нибудь и выйдет. С такою целью я по крайней мере хочу его видеть.

К 20-му числу из Якутска назначается концерт Christiani – не знаю, буду ли его слушать, но немного удивляюсь этой поспешности – она возвращается в свите г<енерал->губернатора. <...>

152. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

21 ноября 1849 г., понедельник, Иркутск.

<...> Евгений мне также говорит, что у нас не выписывается никакого журнала. «Débats» вы и Николай Васильевич не хотите. По крайней мере выпишем «Le Siècle». Попросите Николая Яковлевича, чтоб он тотчас распорядился этим делом. Когда я приеду, сочтемся. Без иностранного журнала плохо теперь жить. Мне странно, что вы все так ожесточились на «Débats». Что мне за дело до его цензу, я люблю, что он дельно издается и что в нем больше полноты, нежели в других журналах. Одним словом, скажите доброму Николаю Яковлевичу, что я его прошу, во внимание к общей антипатии против «Débats», выписать «Le Siècle». <...>

Вчера вечером возвратился Николай Николаевич, на днях я его увижу, исполню все поручения к нему и 28-го думаю пуститься к вам. <...> Мильон раз целую тебя, милая Аннушка, пока нельзя этого сделать на самом деле. Обними за меня добрейшую мамашу, Гутиньку, Тетку и няню. Сегодня запоздал с письмами: рано утром думал писать, но прислала за мной Марья Николаевна — она как-то ночью занемогла своим припадком в сердечной полости,— я у нее пробыл долго и тогда только ушел, когда она совершенно успокоилась, и сел писать. В час иду к Сашеньке, кончать портрет. Вы все это увидите.

С<ергею> П<етровичу> распеленали руку[1]. <...> Сашенька никак не хочет пускать его гарцевать на старости лет.

Зимние сборы мои самые демократические: надобно беречь деньги, которых мало, и в этом деле я не мастер, как вам известно. <...> Всем говорю: *до свидания!* Где и как, не знаю. Это слово легче выговорить, нежели тяжелое: прощай. <...>

153. В. Л. ДАВЫДОВУ

28 ноября 1849 г., Иркутск.

На днях выезжаю, добрый Василий Львович, и явлюсь к вам со всеми рассказами о моих похождениях. Видя эту деятельность, вы простите мою неисправность в переписке.

Теперь я только хочу сказать вам несколько слов о деле. Вчера я говорил с генералом о смерти нашего почтенного Михаила Фотьевича. Мы с ним искали возможность как-нибудь выручить оставшееся после него имущество, чтоб обратить его в помощь нашим. Теперь нельзя ли вам только уладить, чтоб не спешили продажей имения или по крайней мере чтоб его продали как можно выгоднее. Когда я буду у вас, вы напишете письмо к генералу, которое он представит Орлову. Может быть, дело уладится. Об содержании этого письма я вам скажу согласно с тем, как мы условились с генералом. Вы можете поговорить с губернатором; узнавши, что генерал хочет дать такой оборот этому делу, он, верно, найдет возможность выгородить имение покойного из тяжелых рук полиции[1].

Все наши здешние обоего пола и разных поколений здравствуют. Трубецкому, после его падения спеленанному, наконец развязали руку, но еще он не действует ею. Все вас приветствуют. Завтра отправляется к вам Христиани, которую я с удовольствием слушал вчера.

В четверг, то есть 1 декабря, и я пускаюсь. Она вам, верно, <о> нас всех расскажет.

До свидания, добрый Василий Львович,— как бы я был счастлив, если б нашел у вас вашего дорогого гостя. Воображаю ваше нетерпение в этом ожидании[2]. Приветствуйте искренно за меня Александру Ивановну, Александру Васильевну и всю милую вашу семью.

Сегодня обедаю у Якова Дмитриевича,— он плохо все слышит, а она все не в нормальном состоянии. Кажется, чахотка.

Скажите Спиридову, что я не исполнил его поручения,— везу ему вместо белок рассуждение купца, на которое он, верно, согласится, и потом я же из Красноярска, с его согласия, сюда напишу. Таким образом будет выгоднее и лучше. Какими-нибудь только тремя неделями позже дело уладится.

Прощайте. Отправляюсь по этому холоду (у нас всю неделю за 30° морозу) с прощальными визитами, которых набралось довольно много.

С<ергей> Г<ригорьевич> застал меня за вашим листком — обнимает вас душевно и желает вам всего отрадного.

Верный ваш *И. П.*

154. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

Красноярск, пятница, 9 декабря 1849 г.

Вчера утром явился я на здешнем горизонте, добрый друг Яков Дмитриевич, ехал хорошо, тепло и скоро. Спутниками моими были Остены, с которыми съехался в Черемховой. Там я погостил у Громницкого несколько часов. Впечатление этого свидания было гораздо отраднее того, которое было при вас. Он просил благодарить вас за то, что вы отыскивали старого однокашника[1]. <...> Остановился я у Ледантю, нашел тут Спиридова, тотчас явился и Василий Львович с одышкой. Отдохнул, и пошла болтовня. Обедали гастрономически. Я был любезен, по обыкновению. Потом должен был отправиться к Оттаве, с ней пробыл до ее отъезда к вам. Вечером Александра Ивановна отправилась в концерт Кристиани, а я составил с Васильем Львовичем и Михаилом Матвеевичем комитет насчет дел Митькова. Сделали расписание насчет раздачи денег, которые получались за дом покойного Митькова. <...>

155. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Тобольск>, 28 декабря 1849 г.

В Тобольск явился я в самую заутреню Рождественскую. Все эти дни продолжают общие обеды. Завтра окончательный пир у хозяйки моей Фонвизиной, и в ночь вам знакомый хорошо путешественник отправляется через Тюмень к Аннушке на отдых после отрадных странствий. Вся наша ялуторовская артель нетерпеливо меня ждет. Здесь нашел письма. Аннушка всех созвала на Новый год. Я начну дома это торжество благодарением богу за награду после десяти лет[1], за возобновление завета с друзьями — товарищами изгнания. <...> Желаю вам, добрый друг, всего отрадного в 850 году. Всем нашим скажите верный мой дружеский оклик: до свиданья! Где и как, не знаю, но должен еще увидаться. <...>

156. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 2 генваря 1850 г.

На Новый год обнимаю вас, добрый друг; я здесь, благодарный богу и людям за отрадную поездку. Пожмите руку Александре Семеновне, приласкайте Сашеньку. Аннушка моя благодарит ее за милый платочек. Сама скоро к ней напишет. Она меня обрадовала своею радостью при свидании. Добрые старики все приготовили к моему приезду. За что меня так балуют, скажите, пожалуйста. Спешу. Обнимите наших. Скоро буду с вами беседовать. Не могу еще опомниться.

157. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

<Ялуторовск>, 18 генваря 1850 г. Середа.

Четверть часа осталось до отхода почты. Беру перо, чтоб обнять вас, добрый друг Яков Дмитриевич. Все поджидал от вас весточки, но ожидание до сих пор напрасное. Что с вами делается? Ужели пятидесятый год столетия имеет на это влияние? Мне кажется, между нами хронология не существует в губительном влиянии на земные дела. <...> Вчера проводил Дросиду Ивановну, она отправилась с Пежемским и повезла детей Знаменского в Томск. Повозка так нагружена разным вздором хозяйственным, что я мои два ящика взял назад и перешлю после. Д<росида> И<вановна> остановится в Иркутске у Марии Николаевны. Прошу принять со свойственной добротою этот обломок Кюхельбекерова корабля[1]. <...>

158. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 23 марта <1850 г.>.

<...> Посылаю вам «Le Siècle». Поздно было объявление о газетах иностранных, и потому поздно выписали. Не знаю, почему генварь не прислали. Теперь к вам отправляют номера с 1-го по 27 февраля. Следующие своим порядком будут к вам высылаться. <...>

Если вы с Александром Ивановичем не прислали вашего пая за Дмитрия Александровича, то пришлите и скажите о том же Михаилу Александровичу. Благодарите Александра за присланные им деньги. Надобно бедного Щепина нынешний год побольше поддержать — ему было много хлопот со следствиями[1]. <...>

159. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

<Ялуторовск>, 14—18 сентября 1850 г.

<...> Не нужно вам говорить, с каким радушием был везде встречен: дружба в изгнании — родство! Кроме утешения была и некоторая польза. Главное, в нашем быту надобно стараться по возможности уравнять способы существования каждого. Этот вопрос кой-как разрешается между нами, хотя и тут далек от нормальной точки[1]. <...>

По вечерам собираемся в своем кругу: нас здесь шестеро. Обыкновенно к нам прикомандировывается семья Балакшина, знакомого вам человека, верного нашего союзника. Толкуем без конца. Мы здесь как жиды[2]. Как-то не можем соединиться с чиновным миром. Это не по гордости, а по понятиям и взгляду на вещи. Скорей понимаю сближение с купечеством — чиновников просто не люблю. На всех, с малыми исключениями, свой отпечаток, приводящий в отчаяние. Ужели нет надежды, что перестанут брать взятки. Мне кажется, что эта система больше прежнего укоренилась,— не так стыдятся, как бывало при нас. Бедный народ так привык к этой язве, что не верит возможности другого порядка вещей. Это точно тоскливо — и чем же кончится все это? Сколько я вижу, правительство и не хлопочет о честности своих сподвижников. Здесь по крайней мере тот прав, кто лучше стрижет своих овец. Не знаю, как у вас за Уралом нынче. Здесь и мнение не преследует взятки, а по-моему, это коренное гибельное разрушение нравов. Странно, что пришлось вам слышать, не знаю сам к чему, этот стон души моей,— я все надеялся на новое поколение; в эти двадцать с лишним лет много вышло в гражданскую службу. Ужели и тут обманутая надежда на практике? Ревизия сенатора Толстого, который был окружен воспитанниками новой школы с огромными окладами, произвела в Сибири мрачное впечатление. С лишком миль-

он стоила, а пользы ни на грош, и даже повредила, потому что наехавшая чиновная молодежь ничего назидательного не представила туземцам. Не знаю, до какой степени были злоупотребления,— это всегда тайна, а знаю, что везде гул о пустоте и суетности этих господ[3]. Я сам был в Иркутске, разузнавал и, признаюсь, остался в дураках с моим восторженным желанием услышать что-нибудь отрадное. Многие из них у меня были проездом. В них я замечал какое-то апатичное равнодушие ко всему. Мы, старики, старались их расшевелить, но все кончилось тем, что надобно служить, чтоб себя обеспечить. Эта мысль больше или меньше проглядывала во всех доводах. Я старался им доказать, что никогда не думал об этом в их годы, когда приносил свою лепту в общее дело. Кажется, им все это казалось басней. За стеною можно бы подумать, что они старики, а мы юноши, так взгляды их были несогласны с юною душой. Хотелось бы мне ошибаться, хотелось бы считать мою мысль ворчанием отжившего человека, но увы! не могу в этом убедиться. Остается радоваться малыми редкими исключениями — и поневоле задумываешься над этой общественной бедой. С умножением роскоши, которая всюду проникает, язва сильнее. На нас здесь смотрят как на живые улики — мы проповедуем — но голос теряется в пустыне — иные даже почитают нас сумасшедшими, которых правительство за честные правила выбросило из утробы общества. Вот до какой степени омрачена общественная нравственность. Что-то похожее на Китай.

18-го сентября.

Не знаю, за что вам случилось читать все эти рассуждения. Впрочем, вы, добрый друг, увидите в них мою мысль, давно вам известную. Надобно бы только придумать лекарство: я думаю, другого нет, кроме мнения и гласности, которые, к сожалению, до сих пор в русском царстве считаются преступными, как будто дело общее (res publica) не есть дело каждого. Об этом довольно: тут надобно говорить, а не писать. Вряд ли мы с вами увидимся, но я благодарю бога, что разлука нас не разлучила. Итог XXV-летия, которое приближается, постоянное благодарение богу за все и тяжелое и отрадное[4]. В это время я испытал незаслуженные утешения. Не себе приписываю, а особенному благоволению свыше все, что помогало и помогает мне в моем исключительном положении. <...>

Как-то поговаривают, что будет что-нибудь для нас, но я отвык думать об этом. Столько времени прошло, что мы получили *в существе* право гражданства в Сибири. Кажется, и мудрено сдвинуться с этой позиции. Будет, что судьбе угодно. Я бы хотел быть в русских губерниях, чтоб увидеться с родными, обнять их за постоянные попечения. Не знаю, даст ли бог исполнить это желание. Готов на все, никогда не предавался надеждам, чтоб не быть обманутым. Лучше пусть будет неожиданное. Больше половины из нас уже нет в живых. Я посещал и могилы друзей—товарищей, которые постоянно наделяли меня дружбой. Пора, однако, кончать болтовню. Вам наскучило разбирать листки, в которых мало толку, но я знаю, что вы в них найдете меня постоянно того же к вам, верного былому, соединившему нас навсегда. Крепко вас обнимаю, почтенный друг. Всех наших баснословного Лицея расцелуйте вдребезги. Около вас уже немного их. Давно уже ничего не слышу о Фрице. В газетах недавно читал, что Ломоносов попал в тайные советники. Не в том дело, а доволен ли он своим местом в Лиссабоне. Кажется, он, как и я, остался холостяком. Когда-нибудь на досуге скажите мне словечко о всех первокурсных, коснитесь не газетных об них известий. Федернелке вряд ли доволен полуфрунтовой службой в Балтийском море. Что Модест? Кажется, на покое в Государс<твенном> совете[5]. Словечко о детях Пушкина. Она, говорят, вышла замуж. Одним словом, взгляните на вашу стенку, где старый Лицей, и передайте мне, что знаете о тех, над которыми нет +. Куда девался гр. Броглио? Когда увидите Антония Малиновского, обнимите его за сибирского деда. Иван ко мне писал коротко, обещал продолжение не всегда понятной рукописи из Каменки.

Неизменный ваш

Jeannot P.

160. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Ялуторовск, 5 марта 1851 г.

Только что собирался по отъезде молодых новобрачных (я говорю молодых, потому что бывают у нас подчас и старые новобрачные) отвечать вам, добрый мой Гаврило Сте-

панович, на письмо ваше с Лизой, как 1-го числа получил другое ваше письмо, писанное благодетельной рукой Лучшего Секретаря[1].

Просто чудеса делаются с нашими питомцами. Безвыходное дело нам, а особенно вам с ними. Мне только беда в том, что я должен разрешить, как иногда и большею частью случается с генерал-губернаторами, не понимая ничего или очень мало.

Давно уже вам сказал, что мы все предоставляем вам право делать все, что вы почтете нужным. Хоть сейчас отправьте юношей обоих или одного в Иркутск к Трубецкому. Теперь есть виды. Только я не понимаю, почему такие взыскания за пачпорт? Я не слыхивал ничего подобного. И подати даже не предполагал какой-нибудь особенной. Вам скучно слушать мои вопросы — но что же делать? Человеку непонимающему простительно спрашивать. Нет ли тут какого-нибудь приказного недоразумения — молодые наши питомцы, кажется, не состоят в гильдии и не занимаются торговлей, и там даже нет таких взысканий. Впрочем, от наших рассуждений на этом листке дела не подвинутся, надобно действовать. Вы все это приведете в ясность, и тогда будем сообща творить. Между тем вы примете меры, если признаете нужным, к отправлению Павла в Иркутск. В случае, что Евгений может остаться с надеждой на успех до окончания курса в гимназии, я берусь вам достать для него увольнительный приговор из Тюменской их волости.

Я давно об этом писал к Василью Михайловичу, но он молчит упорно. На днях был у меня наш общий знакомый Тулинов — я просил его распечь г-на полицмейстера: не знаю, будет ли после этого лучше. Одним словом, как думаете, так и распоряжайтесь, лишь бы снять с вас эту тяжелую обузу. Разумеется, прислать его или их сюда — это самое уже крайнее дело, ибо здесь ровно ничего нет в виду для пристроения этих бедных людей. Между тем точно плохо удался нам Павел, потому что юноши его лет, едва знающие грамоту, отсюда уезжают на прииски и имеют место, жалованье и помогают матерям и отцам. Как бы кажется ему — на дороге всего этого, не может никуда поступить*. Благодарите доброго Михаила Ивановича за желание поместить Павла помощником. Напрасно он думает,

* Так в оригинале.

что мы этим не будем довольны. Если писарь порядочный человек и из Павла может сделать хорошего писаря, то и желать бы больше нечего. Довольно, однако, об этой истории <...> вроде трагедии: потоп[2].

Три дня погостили у нас Давыдовы — можете себе представить, как я рад был увидеть милую мою Лизу. Давыдов тоже нам полюбился. Я писал его отцу, что до свидания с сыном его Петром я только знал, что он нежный супруг и добрый отец, а теперь убедился, что он и художник-портретист. Необыкновенно похоже нарисовал его; Николай-дагерротипщик[3] такого сходства не сделает. Приезд Давыдовых совпал у нас с проводами сыновей старика нашего Тизенгаузена: они три дня после их отправились домой, проживши здесь шесть недель.

После Пасхи ожидаю опять новобрачных: Оленька Анненкова выходит замуж за омского инженерного офицера Иванова, после свадьбы обещают заехать в дом Бронникова — а хозяину дома это и любо.

Обнимаю вас, добрый друг. Передайте прилагаемое письмо Созоновичам. Барон уже в Тобольске — писал в день выезда из Тары. Спасибо племяннику-ревизору[4], что он устроил это дело. — Приветствуйте ваших хозяев — лучших людей. Вся наша артель вас обнимает.

Верный ваш *И. П.*

Силин — приезжий купец, родственник Михаила Ивановича, поутру отвлек меня. Спешу на почту.

Опять прошу сказать словечко о Горожанском.

161. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 6 сентября 1851 г.

<...> Отправляется Терпугов в Тобольск по случаю командировки для сдачи рекрута от общества. Нечего сказать — нашли время для этой операции: самая рабочая пора, расходы по ревизии и преждевременное рекрутство. Все это вместе тяготит над народом, тогда как цари в Москве пируют и празднуют счастливое двадцатипятилетие[1]. Странная, непонятная аномалия! Еще удивительнее то, что мало кого она поражает, и после этого удивляются, пожимают плечами, если из-под гнета явится горсточка людей,

которых для развлечения надобно осудить и сослать, а подчас и казнить.— Все с благою целью назидательного примера для других[2].

Впрочем, оставим эти толки — им не будет конца. <...>

<...> Послезавтра Аннушка празднует свое девятилетие. Михеевна хлопочет, а я подчас ворчу.

Скажите, что у вас делается хорошего. Нет ли чего-нибудь почитать. Я совершенно отстал от всего, по заглавиям только знаю кой-какие книги. Надобно бы найти средство что-нибудь выписывать. Думал к этому приступить, но министерство финансов отказывается. В вашем околотке не в большем ли оно порядке?

Недавно получили от Щепина благодарственный адрес за помощь в продолжение четырех лет. Он теперь от нее отказывается, получая деньги от племянника. Просит всем товарищам, помогавшим ему, передать его искреннюю признательность. Сбор, который мы для него делали, я думаю с будущей Пасхи обращать на тарского барона. Он кряхтит после отъезда Филатова, который, как сын, ему помогал в жизни. Пока губер<натор> выдаст казенную крупинку, я нашел возможность его поддержать[3]. Если вы согласитесь на это предложение, прошу узнать согласие и Александра и Михаила Александровича, а к Пасхе действовать на прежнем основании. <...>

Довольно вам разбирать мою рукопись. Еще раз вас обнимаю.

Верный ваш *И. П.*

Фонвизиным крепко пожмите руку.

162. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 25 генваря <1>852 г.

Давно я прочел твой листок, добрый друг Матюшкин, давно поблагодарил тебя за него, но еще не откликнулся тебе,— тебе, впрочем, давно сказали добрые мои сестры, что я в марте месяце порадован был твоим письменным воспоминанием. С тех пор много времени прошло, но мы такими сроками отсчитываем время, что эта отсрочка нипочем, особенно когда независимо от годов верна лицей-

ская дружба. С этой уверенностию можно иногда и молча понимать друг друга.

Между тем позволь тебе заметить, хотя и немного поздно, что в твоем письме проглядывает что-то похожее на хандру: а я воображаю тебя тем же веселым Федернелке, каким оставил тебя в Москве,— помнишь, как тогда Кюхельбекер Вильгельм танцевал мазурку и как мы любовались его восторженными движениями. Вот куда меня бросило воспоминание[1].

Веришь ли, что, бывало, в Алексеевском равелине, несмотря на допросы, очные ставки и все прибаутки не совсем забавного положения, я до того забывался, что, ходя диагонально по своему пятому номеру, несознательно подходил к двери и хотел идти за мыслию, которая забывала о замке и страже. Странно тебе покажется, что потом в Шлиссельбурге (самой ужасной тюрьме) я имел счастливейшие минуты. Как это делается, не знаю. Знаю только, что эта сила и поддерживала меня, и теперь поддерживает. Часто говорю себе: «чем хуже — тем лучше». Не всеми эта философия признается удобною, но, видно, она мне посылается свыше. Хвала богу!

Если это начало так было мне облегчено, если два года одиночного заключения так благоразумно были мною приняты, то ты можешь себе представить, как я был счастлив, когда в одно прекрасное утро в Шлиссельбурге раньше обыкновенного приносят мне умывальник и вслед за тем чемодан. Вывели на гауптвахту, где я увидел двух товарищей[2]. Мы до того обрадовались друг другу, что, когда надевали нам цепи, мне казалось, что это самый удобный наряд, хоть они были 10 ф. весу и длиною только в пол-аршина. Трудно было попасть в телегу, которая ожидала на берегу Невы. Помчались по замерзлой осенней дороге — тряско, но приятно было дышать свежим воздухом и двигаться после долгой тюрьмы. Где же тебе рассказать все мелочи путешествия? Это было бы похоже на рассказ Шехеразады.

Примчались мы трое в Тобольск с фельдъегерем — именно примчались; я не раз говорил ему, что, ехавши в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться, но он по своим расчетам бил ямщиков и доказывал свое усердие к службе[3].

Из Тобольска потише поехали до Читы. Там нашли всех в сборе. Погостили в Чите до августа 830 года. В августе от-

правились двумя колоннами Братской степью, где выставились нам юрты, в Петровский завод.

В Петровском заводе уже обзавели нас каждого своей комнатой, и потому мы там подольше зажились: наша последняя категория в 839 году оставила это спокойное помещение, где для развлечения мы мололи муку.

Потом я перебрался в Туринск, там четыре года свободной сибирской жизни с правом никуда не выезжать.

Из Туринска я переехал с Оболенским сюда, и здесь вот уже скоро 10 лет продолжается моя резиденция.

Пора бы за долговременное терпение дать право гражданства в Сибири, но, видно, еще не пришел назначенный срок. Между тем уже с лишком половины наших нет на этом свете. Очень немногие в России — наша категория еще не тронута[4]. Кто больше поживет, тот, может быть, еще обнимет родных и друзей зауральских. Это одно мое желание, но я это с покорностию предаю на волю божию.

Судьба меня баловала и балует. Родные, которых ты теперь за меня оберегаешь, в продолжение $^1/_4$ века заставляют меня забывать, что я не с ними: постоянные попечения. Я иногда просто таю в признательном чувстве. Вы, добрые люди, тоже в нем не забыты — Борис уже не раз слышал, сколько я ему благодарен.

Здесь, кажется, любят меня больше, нежели я их люблю. Не забудь, что мы тринадцать лет были на корабле, где от столкновения и у вас бывают нелады. Следовательно, и немудрено, что иногда были между нами недоразумения, особенно вначале, при бездействии, с полной силой. Благодаря богу, я вышел не разочарованный из этого испытания. Не знаю, поймешь ли ты меня настоящим образом. Пишу, что на ум взбредет. И где написать все, что хотелось бы сказать, если бы пришлось быть вместе. До сих пор одного брата Николая видел — эта минута оживила на многие годы. Свидание было совершенно неожиданное — и этой минуте скоро десять лет.

К тебе я года два тому назад посылал вашего охотского моряка Поплонского — не знаю, не испугался ли он твоего контр-адмиральства.

Ты напрасно говоришь, что я 25 лет ничего об тебе не слыхал. Наш директор писал мне о всех лицейских. Он постоянно говорил, что особенного происходило в нашем первом выпуске, — об иных я и в газетах читал. Не знаю, лучше ли тебе в Балтийском море, но очень рад, что ты

с моими. Вообще не очень хорошо понимаю, что у вас там делается, и это естественно. В России меньше всего знают, что в ней происходит. До сих пор еще не убеждаются, что гласность есть ручательство для общества, в каком бы составе оно ни было.

Кстати, надобно сказать тебе, что на днях я об тебе говорил с Шамардиным, который с тобой был у Малиновского в Каменке; он теперь служит в Омске и был в Ялуторовске по делам службы. От него я почерпаю сведения о флоте, хотя этот источник не совсем удовлетворителен. Он человек честный, но довольно пустой.

Любимый мой моряк Невельский, который теперь на устье Амура. Он всякий раз бывает у меня, когда едет в Россию.

Какой же итог всего этого болтания? Я думаю одно, что я очень рад перебросить тебе словечко — а твое дело отыскивать меня в этой галиматье. Я совершенно тот же бестолковый, неисправимый человек, с тою только разницею, что на плечах десятка два с лишком лет больше. Может быть, у наших увидишь отъезжающих, которые везут мою рукопись, ты можешь их допросить обо мне, а уж я, кажется, довольно тебе о себе же наговорил.

Обними всех наших сенаторов и других чинов людей. Сожителя твоего как теперь вижу,— мне Annette писала, что ты живешь с Яковлевым. Когда будет возможность (а возможность эта бывает), скажи мне о всех наших несколько слов.

Еще прошу тебя отыскать в Ларинской гимназии сына нашего Вильгельма-покойника. Спроси там Мишу Васильева (он под этим псевдонимом после смерти отца отдан сестре его Устинье Карловне Глинке). Мальчик с дарованиями, только здесь был большой *шалун,* — теперь, говорят, исправился. Скажи ему, что я тебя просил на него взглянуть.

Бедный Вильгельм написал целый ящик стихов, который я отправил в Екатеринбург к его сестре. Он говорил всегда своей жене, что в этом ящике 50 т. рублей, но, кажется, этот обет не сбывается[5]. Мне кажется, одно наказание ожидало его на том свете — освобождение от демона метромании и убеждение в ничтожности его произведений. Других грехов за этим странным существом не было. Без конца бы мог тебе рассказывать мильон сибирских анекдотов об нем, но это слишком далеко бы повело. И то пора честь знать.

На первый раз дать тебе отдохнуть от этой нити моего лабиринта безвыходного. Мифология тут не помогает.

Как бы тебе опять отправиться описывать какой-нибудь другой мыс Матюшкин[6],— тогда бы и меня нашел — иначе вряд ли нам встретиться. Со мной здесь один твой знакомец, Муравьев-Апостол, брат Сергея — нашего мученика; он тебя видел у Корниловича, когда ты возвратился из полярных стран, шлет тебе поклон — а я в Энгельгардтовой книге имею твое описание ярмарки в Островне[7].

Крепко тебя обнимаю. Ты еще и о других моих листках будешь слышать — везде один и тот же вздор. По этому ты меня узнаешь — больше мне ничего не нужно.

Верный твой *И. П.*

Скажи Борису, что с этой почтой порадовала меня жена Николая доброю вестию о выздоровлении Катерины Павловны. Обними его крепко и Константина; что он поделывает?

Пожалуйста, будьте все здоровы, добрый друг. Мне был тяжел 40-й год; я тогда не на шутку страдал — почти с ума сходил — от сильного биения сердца. Думали даже, что аневризм, но с помощию божиею Дьяков-лекарь помог в Тобольске. Я выдержал такое лечение, что не всякий и поверит. Избавляю тебя от этих подробностей. Теперь и помину нет об этой болезни. Нога только не в нормальном положении — на службу не гожусь. Не выходит что-то мне пряжка за 25-летнюю сибирскую жизнь[8]. Видно, еще не все справки наведены (продолжение впредь).

163. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 23 июня 1852 г.

Этот раз несколько проштрафился; сегодня только благодарю вас, почтенный Гаврила Степанович, за два ваши привета, всегда отрадные. 15-го июня привезла мне Нелинька ваш первый листок от 9-го; а 18-го почта привезла Михеевне другой — от 3-го. Значит, почта не очень спешит или вы хронологическую сделали ошибку. Но дело не в том: мы не будем доискиваться до математической точности, как теперь хлопочут добрые люди о возрасте нашей ма-

тушки России[1], будем довольны, что листки долетают,— днем раньше, днем позже — это еще не беда. <...>

Нелинька в восхищении от вас — много с ней говорил об юной вашей старости (не всякому дано это благо). Она провела у меня часов около двадцати. Спасибо и за это, я ее с рожденья люблю,— точно, премилая бабенка вышла, но, признаюсь вам (это между нами), не большой поклонник ее супруга. В нем есть что-то натянутое, неясное. Вообще не возбуждает доверия. С трудом преодолеваю эти предубеждения — иногда желалось бы, что<бы> она имела мужем не его. Впрочем, что теперь об этом толковать,— факт, уничтожающий все рассуждения. Лишь бы она была счастлива — или думала, что счастлива, больше ничего не нужно. В сентябре опять ее увидим[2]. <...>

Прекрасно сделали, что приютили Толя. По правде, это наше дело — мы, старожилы сибирские, должны новых конскриптов* сколько-нибудь опекать, беда только в том, что не всех выдают. В Омске продолжается то же для них житье, хоть несколько помягче, после смены плац-майора Кривцова[3].

Все наши вас обнимают. Мы совершенно залиты дождями. Если та же история у вас, то вам, добрый друг, плохо цинциннатствовать в Соломенном. Да — если б нам дали право двигаться по Сибири, я бы иногда нечаянно являлся к вам, да и вас бы поджидал. Пора бы наконец убедиться, что нет никакой опасности от нашего движения,— между тем существование было бы несколько похоже на дело. Боюсь опять выговора — пишу скоро. Пожалуй, не доберетесь толку в этом болтании. Впрочем, пусть лучше как будто от неразборчивости почерка, нежели от настоящей бессмыслицы. Все наши здравствуют. Потомок Рюрика неравнодушен к изысканию о его предке[4].

Прощайте покамест. Чего не договариваю, вы догадаетесь сами.

Верный вам *И. П.*

Лучшим людям мой усердный поклон.

---

* внесенных в списки «государственных преступников».

164. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 9 сентября <1>852 г.

Как-нибудь да ты уже знаешь, любезный друг Матюшкин, что у меня на стене твой портрет и в портфеле теребеневский лицейский Jeannot[1].

С июля месяца зрительная твоя трубка помогает мне тебя отыскивать, навожу ее на ваш департамент — и вижу вице-директора в полной деятельности[2]. Помогай тебе бог в этом новом деле, а от меня прими, добрый друг, сердечное спасибо за твое дружеское воспоминание. Разумеется, я бы тебя не узнал, но узнаю твое прежнее сердце. Не помню даже, каким образом мой портрет к тебе попал. Знаю, что такой же есть у Егора Антоновича, а твой явился как во сне; наши старики меня в нем не узнают, а я в этом деле сам не судья. Скажи, оставить ли мне этого лицеиста у себя или вернуть тебе?

Ты мне не говоришь, но, верно, получил мое письмо февральское. Отправлено было в ящике к Catherine.

Нового мне тебе нечего сообщить — уверять в дружбе не нужно. Ты должен быть убежден, что я, несмотря на все треволнения моего не совсем обыкновенного существования, с помощию божиею сохранился в чувствах и привязанностях.

Обними всех наших ветеранов старого Лицея. Константину Данзасу должен был дать весточку обо мне некто Кроль, молодой человек, очень милый, ему знакомый, который недавно здесь проезжал из Иркутска. Бориса расцелуй за меня и когда-нибудь, в свободную минуту от дел казенных, порадуй меня словечком. Случаи писать бывают.

Теперь хочу тебя попросить об одном деле. Ты поступи со мной откровенно. Если можно, сделай, а не то откажи прямо. Я не хочу об этом теперь писать к своим, потому что поручение мое может их затруднить, а хлопотать они станут.

Моя Аннушка большие делает успехи на фортепиано — теперь учится, ходит к учителю, своего фортепиано нет. Хочется мне ей подарить хороший инструмент, а денег Михайло обещал в будущем году прибавить. Следовательно, если ты можешь купить фортепиано и послать с зимними обозами в Тюмень к Зырянову для доставления оттуда Николаю Яковлевичу Балакшину, то мне сделаешь великое

одолжение. Я думаю, все это обойдется не более 300 целковых. Фортепиано надобно выбрать, как следует велеть уложить и пр. и пр. К Ирбитской ярмарке, в таком случае, я могу его получить. Не взыщи, что я с тобой говорю без оглядки. Прошу только об одном: если нельзя, то сделай, как будто я и не говорил тебе о теперешнем моем желании. Чтоб моя просьба ни на волос тебя не затрудняла. При всем моем желании добыть фортепиано можно и повременить. Я пишу, как будто говорю с тобой. Нужна большая доверенность, чтоб заочно так говорить. В будущем году этот долг уплотится. Вот вся история.

Не знаю, как тебе высказать всю мою признательность за твою дружбу к моим сестрам. Я бы желал, чтоб ты, как Борис, поселился в нашем доме. Впрочем, вероятно, у тебя казенная теперь квартира. Я спокойнее здесь, когда знаю, что они окружены лицейскими старого чекана. Обними нашего директора почтенного. Скоро буду к нему писать. Теперь не удастся. Фонвизины у меня — заранее не поболтал на бумаге, а при них болтовня и хлопоты хозяина, радующегося добрым гостям[3]. Об них поговорю с Николаем.

Тебя крепко обниму, добрый мой Матюшкин. Мильон лет мы не видались. Вряд ли и увидимся. Будем хоть изредка пересылаться весточкой. Отрадно обмануть расстояние — отрадно быть близко и вдалеке. Часто гляжу на твой портрет — тут мысли перебегают все десятки лет нашей разлуки. Annette мне недавно писала, как ты с ней ходил по царскому саду; читая, мне казалось, что ты ей рассказывал вчерашние события, а это рассказы лицейской нашей жизни, которая довольно давно уже прошла.

На днях у меня был Оболенский, он сын того, что был в Лицее инспектором. Вышел в 841-м году. Служит при Гасфорте, приезжал в Ялуторовск по какому-то поручению и, услышав мою фамилию, зашел навестить меня. С ним я потолковал о старине. Он нашел, что я еще мало стар; забросал я его вопросами местными, напомнил ему, что он жил с отцом во флигеле в соседстве с Ротастом. Тогда этот Оболенский несознательно бегал — ему теперь только 32 года. Только странный какой-то человек, должно быть, вроде своего отца.

Приветствует тебя Матвей Муравьев, он помнит твои рассказы по возвращении из сибирской экспедиции. Один

он только тебя знает из здешних моих товарищей ялуторовских.

Прощай.

Он же таковой же — помнишь отметки Мейера?[4]

165. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 27 сентября 1852 г.

Милостивый государь Николай Иванович!

На этих днях получил ваши добрые листки, которые привезла мне Нелинька. Она была здесь ночью на минутку, выпила чай — и опять вперед. Очень вам и Марье Николаевне благодарна за дружбу.

Вы меня спрашиваете о кончине нашего бессребреника Степана Михайловича. Кончина святая! Несколько времени до того он жаловался, что чувствует какую-то слабость и не может по-прежнему пешешествовать. Однако 9 июля, по обыкновению, отобедал у Анненкова и ел землянику со сливками. После обеда пошел пешком кой к кому и возвратился на гору домой в 10 часов. Лег спать. Ночью почувствовал сильные боли в животе — часу в 1-м послал за Мейером (Вольф был в Ивановском). Мейер нашел его чрезвычайно страждущим и потерялся. Думал помочь больному одними промывательными и не употребил ни кровопускания, ни пиявок. Боли несколько стихли, но слабость усиливалась. В четверг, т. е. на другой день утром в 10 часов, Михаил Александрович, как ближайший его сосед, узнал, что С<тепан> М<ихайлович> тяжко болен. Побежал к нему и нашел у него Вольфа, который сказал, что больной почти безнадежен, — посадил в ванну и к животу поставил 12 пиявок. Больной был в памяти и говорил со всеми. В 11 часов приехала Наталья Дмитриевна. Он с нежностию поцеловал ее руку и охотно принял ее предложение приобщиться св. тайн — послал за своим духовником и нетерпеливо его ждал. Между тем говорит, что не может встать и принять его в другой комнате. Тут все было в беспорядке. Когда вошел священник, он крепко его обнял и приобщился с полным сознанием. Все его обняли, поздравили — он крепко пожал руку священнику. Тут был Петр Николаевич, Михаил Алекс<андрович> и Наталья Дмитриевна.

После приобщения он поручил Михаилу Александровичу съездить к Виноградскому (который тогда правил дол-

жность губернатора) и сказать ему пожелание, чтобы в случае его кончины Анненков, Свистунов и Муравьев были его душеприказчиками и чтобы полиция ни во что не вмешивалась. Пока Михаил Александрович ездил, Н<аталья> Д<митриевна> просила его успокоиться и говорит, что это нужно для его выздоровления. Он отвечает: нет, кажется, мне не выздоравливать — лишь бы скорей кончилось — я давно уже приготовляюсь к переходу и нимало не страшусь его! — Виноградский согласился. Михаил Александрович, возвратившись, нашел С<тепана> М<ихайловича> уже умирающим. Смерть его была тиха и не сопровождалась страданиями. При последних его минутах, кроме тех, кого я назвал, были еще Анненков и Жилины, муж и жена. Завещания он не оставил, велел на словах все отдать племянницам.

Счеты с светом его коротки. Он жил не для себя. 12 числа были похороны — это было живое изъявление уважения и благодарности к покойному, честному и доброму человеку. Отпевали в Ильинской церкви — и все провожали до кладбища. Он положен возле Лидиньки Муравьевой — против Краснокутского, Барятинского и Кюхельбекера. Подчиненные его искренно его оплакивали — он был им отец в полном смысле слова, входил во все их обстоятельства, помогал, наставлял. Это было не то что долговязый. Впрочем, вы его не знаете, знаете нашу дружбу к нему и не потребуете лишних слов, тут неуместных. <...>

Мы все здоровы. Желаем вам всего лучшего. С полным уважением имею честь быть вашим покорнейшим слугою.

Н. Балин[1].

166. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 11 февраля <1853 г.>

Пять дней тому назад я секретарствовал к вашему превосходительству, как вы могли заметить, за Николая Яковлевича, — сегодня представился случай обнять тебя, добрый друг, крепко, крепко, очень крепко. Что я могу больше сделать, читая твое письмо с Бачмановым? Сделай то же за меня со всеми нашими, участвовавшими с тобой в дружелюбной экспедиции. Вы так меня балуете, добрые друзья, что я, право, не знаю, как вам высказать мою сердечную, глубокую признательность. Заставь Модеста без очков

и этот листок прочесть. Отрадное чувство мое вам понятно без лишних возгласов, потому что вы, действуя так любезно, заставляете меня забывать скучные расчеты в деле дружбы. Принимаю ваш подарок с тем же чувством, с которым вы его послали мне, далекому. Спасибо вам, от души спасибо! Разделите между собой мой признательный крик, как я нераздельно принимаю ваше старое лицейское воспоминание. Фортепиано в Сибири будет известно под именем лицейского; и теперь всем слушающим и понимающим высказываю то, что отрадно срывается с языка.— Аннушка вместе с музыкой будет на нем учиться знать и любить старый Лицей! Теперь она лучше прочтет нашу лицейскую песнь, которую знает наизусть!

До приезда Бачманова с твоим письмом, любезный друг Матюшкин, то есть до 30 генваря, я знал только, что инструмент будет, но ровно ничего не понимал, почему ты не говоришь о всей прозе такого дела,— теперь я и не смею об ней думать. Вы умели поэтизировать, и опять вам спасибо — но довольно, иначе не будет конца.

Вчера, по инструкции, я вынул фортепиано из ящика — в субботу оно будет поставлено на место, а в среду будет открытие — знай, что 18 февраля Аннушка на нем играет.

Все сохранно дошло — очень нарядный инструмент, о звуке будет речь после. Не может быть, чтобы не было отличное фортепиано, когда выбирал его Яковлев, наш давнишний певец. Если б вы знали, как все это живо перенесло меня в ваш круг. Забываю, что мильон лет мы расстались. Кажется, как будто вчера отправился в Сибирь отыскивать *что-то такое.* Ты прежде меня здесь был, но, видно, скорей можно возвратиться из экспедиции для описания полярных стран, нежели из той, которой до сих пор нельзя описать. Я всем говорю, что я сослан при Петре, и все удивляются, что я так молод.

После открытия фортепиано я опять к тебе напишу,— вероятно, с Н. Н. Муравьевым, который скоро должен приехать. Ты, пожалуйста, с ним познакомься — он один из живых лиц нашей администрации.

С последней почтой читал приказ об увольнении Егора Антоновича от редакции «Земледельческой газеты». Меня это огорчило, и я жду известия, с какой целью наш старый директор прикомандирован к министерству имуществ.

К нему будет от меня грамотка — сегодня не успею на лету, пользуюсь этим случаем.

Большой Jeannot
Мильон bons mots*
Без умыслу проворит[1].

Эти стихи из нашей песни пришли мне на мысль, отправляя к тебе обратно мой портрет с надписью. Отпустить шутку случается и теперь — слава богу, иначе нельзя бы так долго прожить на горизонте не совсем светлом. Не помнишь ли ты всей песни этой? Я бы желал ее иметь.

Обними твоего сожителя, обними сенаторов-соседей, обними всех.

В последнем письме Лиза мне посылает поклон от Катерины Павловны Полторацкой, в наше время Бакуниной. Ты, верно, ее видаешь. Скажи ей слово дружбы от меня.

Обнимите от меня директора и директоршу — почтенных людей!

Радуй меня иногда твоим письмом. Не все же писать бумаги за номерами. Доволен ли ты вице-директорством? Много говорил о тебе с Бачмановым, он очень мне понравился.

№ 13 в Лицее.
№ 14 в Петровском*.

(Продолжение впредь.)

Верный твой *И. П.*

Аннушка тебя с благодарностью целует. Твой портрет висеть будет над фортепиано. Приезжай послушать мою музыкантшу.

167. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 24 февраля <1>853 г.

Ты поневоле, любезный друг Матюшкин, должен слушать мои рассказы о ваших фортепиано.

С удовольствием сердечным описываю тебе 18 февраля в доме Бронникова. Ты помнишь, что 4-го инструмент был привезен — об этом писал тебе союзник Балакшин. Следовательно, ты знаешь, что 18-го минул срок карантинных мер, по инструкции Яковлева.

---

* острот *(фр.)*.

В 12 часов, когда Аннушка возвратилась из училища, приглашен был Берх. Я взял ключ и отворил замок. Подняли крышку, и все ахнули от восхищения при виде работы отчетливой и новой для нас — сибиряков,— работы г-на Зике. Тронула Аннушка первая клавиши, и представь себе, что все звуки верны (только две струны Берх немного подстроил). Пошли аккорды — я сел, задумался в самых отрадных думах. Все вы явились около меня, всех вас я целовал, обнимал. Без сомнения, вы должны были и там ощутить эту торжественную минуту, глубоко чувствуемую без оханий и аханий! Аннушка пошла собирать всех — явились Муравьевы. Тот же восторг и речи о вас!

Сели обедать, а вечером к чаю собралась вся ялуторовская артель с семьей Балакшина. Устроился музыкальный вечер. Молодежь даже повертелась под звуки отличного, громкого и чрезвычайно нарядного простотой своей фортепиано.

Вот как вы меня балуете, добрые мои друзья! За что все это делается? Вы, верно, лучше меня это знаете, потому что так делаете.

Я сел сегодня за твой листок в ожидании Николая Николаевича Муравьева — его ждут сегодня или завтра. Опять повторяю тебе моё желание, чтоб ты с ним познакомился. Он, без сомнения, сам сделает первый шаг, но я бы хотел, чтоб ваша встреча не кончилась одним разменом китайских визитов. Ты с удовольствием сблизишься с этим живым существом.

Ваше фортепиано — первое в нашем городке,— это не много еще значит, хотя, впрочем, здесь до него было уже пять инструментов; не во всяком уездном городе, особенно сибирском, встречается такое богатство музыкальное. Г-ну Зике, о котором я до сего и понятия не имел, следовало бы объявить в газетах признательность за его произведение художественное, но я не печатаюсь, и газет у нас не издают. Следовательно, надобно ограничиться тем, чтоб ты за меня сходил к нему вместе с Яковлевым и сказал ему, что инструмент превосходный, дошел до меня в совершенной исправности и всех восхищает. Ничего нет мудреного, что к нему будут отсюда заказы.

Одним словом, ура Лицею старого чекана! Это был вечером тост при громком туше. Вся древность наша искренно разделила со мной благодарное чувство мое; оно сливалось необыкновенно приятно со звуками вашего фортепи-

ано. Осушили бокалы за вас, добрые друзья, и за нашего старого директора. Желали вам всего отрадного; эти желания были так задушевны, что они должны непременно совершиться.

Теперь Аннушка уроки берет дома — и субботы мои оживились для молодежи, которая с нами.

Портрет твой над фортепиано.

Не знаю, сказал ли я все, что хотелось бы сказать, но, кажется, довольно уже заставлять тебя разбирать мою всегда спешную рукопись и уверять в том, что ты и все вы знаете. На этот раз я как-то изменил своему обычаю: меньше слов! — Они недостаточны для полных чувств между теми, которые хорошо друг друга понимают и умеют обмануть с лишком четвертьвековую разлуку.— Вот истинная поэзия жизни!

Обнимаю тебя, добрый друг, а ты обними за меня всех наших ветеранов. Надеюсь, что когда-нибудь мне откликнешься.— Весточка от вас — истинная для меня отрада. Возьмите когда-нибудь листок и каждый скажите мне на нем словечко. Таким образом, я как будто всех вас увижу.

Когда будешь ко мне писать, переբери весь наш выпуск по алфавитному списку. Я о некоторых ничего не знаю.

Где Броглио, где Тырков?

Помогли Тыркову чёрты:
Он везде нуль и четвертый![1]

Мне бы хотелось иметь в резких чертах полные сведения о всех. Многих уже недосчитываемся.

Пушкина последнее воспоминание ко мне 13 декабря 826 года: «Мой первый друг» и пр.— я получил от брата Михайлы в 843-м году собственной руки Пушкина. Эта ветхая рукопись хранится у меня как святыня. Покойница А. Г. Муравьева привезла мне в том же году список с этих стихов, но мне хотелось иметь подлинник, и очень рад, что отыскал его[2].

Когда-нибудь надобно тебе прислать послание к нам всем:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье — и пр.

На это послание есть ответ Одоевского нашего, который тоже давно не существует — умер на Кавказе. Может быть, все это тебе известно.

Обними крепко Бориса, пожми руку Катерине Павловне.

Прощай покамест, надобно еще несколько листков исписать.

Директору посылается целая тетрадь, лишь бы имел терпение читать.

Матвей Муравьев именно видался с тобой у Корнилова в доме армянской церкви. Опять просит пожать тебе руку и благодарит, что ты его не забыл.

Верный твой *Jeannot.*

168. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 2 июля 1853 г.

Любезный друг Матюшкин, ты уже должен знать из письма моего к Николаю от 12 июня, что с признательностью сердечною прочтен твой листок от 8 мая. Посылка получена в совершенной исправности. Старый Лицей над фортепианами красуется, а твой портрет с Энгельгардтом и Вольховским на другой стенке, близ письменного моего стола. Ноты твои Аннушка скоро будет разыгрывать, а тетрадка из лицейского архива переписана. Подлинник нашей древности возвращаю[1]. От души тебе спасибо за все, добрый друг!

Обними всех наших, карауляющих Петербург, как я тебя обнимаю,— мильон раз. Желаю тебе всего хорошего и отрадного!

Странно, что наш сибирский Н<иколай> Н<иколаевич> тебя не видал. Он сам мне сказал, что непременно будет у вице-директора. При этом случае я пустил такую дробь, что он еще больше пожелал с тобой познакомиться. Видно, путевые впечатления не всегда доживают до приезда в столицу — или он намерен прежде выкупаться за границей, а потом уже показать себя тебе. В этом человеке много хорошего, но есть и свои слабости: одна из них, по-моему, какая-то безотчетная доверенность к *Мандарину.* Ты, верно, угадаешь, кого я так назвал, когда он еще был не женат. Я никак не думал, чтоб этот гусь вступил в нашу семью сибирскую[2]. Я в бытность мою в 849-м году в Иркутске говорил Нелинькиной маменьке все, что мог, но, видно, проповедовал пустыне. Теперь остается только желать,

чтоб не сбылось для этой бедной, милой женщины все, что я предсказывал от этого союза, хотя уже и теперь ее существование не совсем отрадно.

Вероятно, не удивило тебя письмо Балакшина от 26 июня. Ты все это передал Николаю, который привык к проявлениям Маремьяны-старицы. Записку о Тизенгаузене можешь бросить, не делая никаких справок. Это тогдашние бредни нашего doyen d'âge*, от которых я не мог отделаться. Сын его сказал мне теперь, что означенный Тизенгаузен давно имеет другое место. Это дело можно почислить *решенным*[3].

Не знаю, так ли будет с манифестом о вступлении наших войск в Молдавию и Валахию. Вчера прочел его в газетах — и ровно тут ничего не понимаю. Громкое посольство Меншикова кончилось *шуткой,* которую ты, верно, слышал: она и до меня дошла. Я посмеялся, но смеха с делом не надобно смешивать в иных случаях. Тебе, верно, теперь больше хлопот. Иностранные флоты что-то копошатся близ Дарданелл. Объясни мне все это. Кажется, не нужно бы драться. Если хотят разделить Турцию, то это можно дипломатически сделать без всякой церемонии; если же в самом деле хлопоты о ключике, то не стоит так далеко из православия заходить и брать на плечи европейскую войну[4].

Вы у источника живете, а мы здесь бродим в совершенной темноте. Знаем только, что вся Европа в натянутом положении, которое должно чем-нибудь разразиться. Рано или поздно должны столкнуться два начала.

Я все надеюсь, что не с гнилого Запада явится заря, а с Востока, то есть от соединения славянских племен. Это будет прочнее всех вспышек и потом реакций, отдаляющих жестоко самое дело. У меня это idée fixe**, и я все подвожу к этому подготовлению: много тут основных начал, несознательно ведущих к желаемым изменениям, без которых нет блага под луной. Вот куда меня забросила мечта, будто бы я с тобой говорю, — ты, может быть, примешь меня за сумасшедшего. Пусть так; только это состояние отрадное — вера в человечество, стремящееся, несмотря на все закоулки, к чему-нибудь высокому, хорошему, благому. Без этой веры темно жить.

---

* старейшины *(фр.).*
** навязчивая идея *(фр.).*

Перейдем к старому Лицею. Нельзя ли тебе у Есакова вдовы отыскать *Лицейского* моего «Трубадура»[5]. Я ему отдал при расставании книжонку, исписанную тогда моей рукой. Там должны быть некоторые мелочи, может быть не сохранившиеся в других рукописях. Присланная тобою тетрадка меня навела на эту мысль. Я читал недавно Гаевского статью о Дельвиге — и тут много теплого воспоминания нашей старины. Ты, может быть, не имеешь времени читать русские журналы, большею частию пустые, но «Современник» иногда пробегай. Этот Гаевский должен быть из наших потомков. Тоже рылся в наших архивах. Спасибо ему!

Прочти Григоровича «Рыбаки». Новая школа русского быта. Очень удачно! — Нередко мороз по коже, как при хорошей музыке[6].

Спасибо тебе, что иногда забегаешь к моим добрым сестрам в Царском Селе. Мне недавно писала Annette, что ты был у них, порадовал своим появлением Модест, их сосед; может быть, с ним сблизятся семейным образом. Catherine моя — большая нелюдимка, и потеря доброго мужа еще более ее отуманила. Ты, верно, вблизи это видишь лучше, нежели я отсюда. Хочу только, чтоб ты знал, что все они добры, и чересчур добры ко мне, далекому. Во всяком случае, им отрада видеть тебя — в этом ты не должен сомневаться; но я также уверен, что тебе нельзя располагать всегда своим временем, — оно принадлежит службе и занятиям сложным.

Вероятно, тебя видел Иван Федорович Иваницкий, медик, путешествовавший на судах Американской компании. Он тебя знает и обещал мне, при недавнем свидании здесь, передать тебе мой привет. Всеми способами стараюсь тебя отыскивать, только извини, что сам не являюсь. Нет прогонов. Подождем железную дорогу. Когда она дойдет <до> Ялуторовска, то, вероятно, я по ней поеду. Аннушка тебя целует.

Не знаю, успею ли с этим случаем написать и Егору Антоновичу и благодарить его за in folio*, адресованное его благородию Ив. Ив. Пущину. Он не признает приговора Верховного уголовного суда[7]. На всякий случай обними дирек-

---

* форматом в лист *(лат.)*; здесь: письмо, написанное на больших листах.

тора и директоршу, пока я сам ему не откликнусь. У нас депеши не дипломатические — можно иногда и помедлить.

Жар тропический. Я с ним плохо лажу, оттого, может быть, и не успею исписать столько листков, сколько хотелось бы.

Верный твой *И. П.*

Многое мне напомнила допотопная тетрадка. Как живо я перенесся в былое — как будто и не прошло стольких лет. Проси Бориса, чтоб он не хворал. А что поделывает Константин? Не тот, который управляет министерством вашим, а который с гордым пламенем во взоре[8]. Читая твою тетрадь, я вперед говорил на память во многих местах. Жив Чурилка! За все благодарение богу!

P. S. С лишком год выписываю от Annette «Памятную книжку Лицея» (1852—1853); верно, там есть выходки на мой и Вильгельма счет, и она церемонится прислать. Пожалуйста, если она не решается прислать ее, пришли ты на имя Балакшина. Мне непременно хочется иметь этот документ[9].

169. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

<Ялуторовск>, 12 августа 1853—26 марта 1854 г.

12 августа <1>853.

Довольно читать и перечитывать ваше in folio, начатое 10-го апреля и конченное 5-го мая. Пора наконец откликнуться вам, почтенный мой друг и директор. Как раз случилось сегодня явиться к вам невидимкой в числе посетителей разного рода, которые, верно, беспрестанно заставляют вас благодарить за поздравления новорожденному. Я от души вас обнимаю и поздравляю, что вы успели разрешить самую трудную задачу, сохранили свежесть ума и сердца. Передо мной ваша рукопись — я с трудом верю, что моему доброму другу Егору Антоновичу 78-мь лет. Поцеловал ваш дагерротип, самого вас достать не могу! Итак, знайте, что и я по-своему отпраздновал вашу годовщину. Директор, пожмите крепко руку, обнимите все ваше новое поколение и зрелое, и юное. Все эти добрые существа сегодня с вами. Тут же, без сомнения, кой-кто и из нашей лицейской

древности. Вас вижу веселым и бодрым виновником торжества. Когда-нибудь вы мне скажете, как у вас прошел этот день. Положим, что все дни равны, но если бы не было 12 августа 1775-го года, то не начался бы подвиг, который вы так сильно совершаете, несмотря на разные толчки в продолжение этой хронологии[1]. Примите мои искренние желания не на один этот день, а на все будущее — считать их не наше дело, лишь бы они наполнялись, как у вас, всегда чем-нибудь дельным. Помогай вам бог!

Последняя ваша грамотка у меня два месяца уже гостит. Она пришла 7-го июня, а 9-го мы надели ваше чугунное кольцо, которое у меня на руке уже 36-ть лет. В этот памятный всем нам день передо мной стояла «Лицейская заря» с вашим портретом[2]. Старый Jeannot рассказывал про старину тем, кто не скучал слушать эти часто повторяемые рассказы. Одним словом, летопись былого свежа в памяти; там у вас за разными посторонними впечатлениями она скорей изглаживается, нежели здесь. Мне грустно было читать, что не многие поспевают к вам. Тут одно утешение, что те, которые находят возможность уделить вам минуту, делают это с тем чувством, которое одно вам нужно. <...>

Сегодня надобно перестать болтать: приехали Муравьев и Вольф, мои товарищи тобольские. Прощайте покамест, добрый друг. Опять присяду к этому листу. Аннушка знает, что к вам пишу,— по формату бумаги и по необыкновенному почерку. Не знаю даже, разберете ли вы меня. Как-то этот раз много крючков выходит...

Пробел с лишком шестимесячный, как вы видите, добрый друг. Как это понять? Сегодня 26-ое марта 1854 г., и из архива вынимается эта древняя история. Впрочем, мы тоже древность, и чувства наши не на листах современных основаны. Следователь<но>, без объяснений продолжаю по случаю представившейся возможности перебросить вам грамоту. Возвращается в ваши края сын нашего товарища Якушкина. Вы, может быть, его увидите, если ему служебные обстоятельства позволят вас найти. Он был в Лицее в одно время с моими племянниками Набоковыми, но прежде окончания курса перешел в университет. Малый славный! <...>

Между тем, пока я так упорно молчал с вами, дошло до меня ваше письмо, начатое 19-го октября и конченное 10-го

ноября. От души вам спасибо за воспоминание годовщины старых чугунников. Теперь не то там, как слышно,— и это я повторяю не по привычке старости. Вашему Jeannot

Большой Jeannot
Мильон bons mots
Без умыслу проворит
(Из лицейской песни),

которому и теперь случается сострить и моргнуть, доживается до 56-ти лет. Это не шутка! Спросите сестру Вариньку об ялуторовском допотопном старике, хотя она его застала не совсем в нормальном положении. Это время как-то нездоровилось, хотя и не рапортовался больным. К тому же наш Якушкин был опасно тогда болен, и это сильно отразилось на всех нас. <...>

Мне бы хотелось, чтоб вы прислали ваш адрес. Тогда независимо от проезжих я мог бы с вами разменяться письмом. Штемпелевые для нас устроены[3]. Из других городов имею возможность к вам их направлять. Не люблю, чтоб мои пиесы ходили в III отделение, хотя в них нет ничего преступного. Просто меня оскорбляет наблюдение за перепиской, которая между близкими требует неприкосновенности.

Все ваше общество домашнее с немногими однокашниками дружески приветствую. Сейчас ко мне будет отъезжающий Евгений Якушкин со всеми нашими. Хозяину надобно похлопотать. <...> Прощайте, добрый и почтенный друг. Узнавайте меня при всей моей бестолковости. Бывало, вы говорили про меня: пожалуйста, не думай, а то, верно, скажешь вздор! Так и до сих пор бывает. Горбатого могила исправит. Во мне первое впечатление всегда лучшее, вы разгадали меня заранее.

Аннушка моя вас целует. Я пишу под звуками лицейского фортепиано. Она с Берхом, ее учителем, разучивает новые гаммы.

Продолжение впредь. Не взыщите. Стараюсь ставить большие буквы, а все как-то выходит ни то ни се. Почерк как походка, трудно его изменить. Так неизменны и чувства, с которыми я всегда ваш

Старый *Jeannot.*
7-мь часов вечера.

Всем нашим ветеранам мой зауральский, верный, искренний привет. Он же — таковой же. Вспомните гувернера Мейера.

170. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Ялуторовск, 10 декабря 1853 г.

Вчерашняя почта никому нам не привезла писем из Тобольска, но в городе Барщевская получила от своих родных известие, будто бы Жозефина Адамовна очень нездорова. Успокойте нас скорее на ее счет.

Я получил письмо от Мих<аила> Александровича, он мне пишет, что неожиданно их посетил брат Николай с М. Бибиковым. Пробыли два дня. Посылаю вам его письмо. Прочтите нашим и возвратите с Сесениным[1]. Тут любопытная статья о столиках[2]. Вероятно, мы с вами не будем задавать вопросов черту, хоть он и четко пишет на всех языках. <...>

171. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Ялуторовск>, 18 декабря 1853 г.

<...> Победы наши, кажется, не так славны, как об этом пишут[1]. Об этом будем говорить при свидании.

Пишущие столы меня нисколько не интересуют, потому что с чертом никогда не был в переписке, да и не намерен ее начинать. Признаюсь, ровно тут ничего не понимаю. Пусть забавляются этим те, которых занимает такая забава. Не знаю, что бы сказал, если б увидел это на самом деле,— а покамест и не думаю о столе с карандашом. Как угадать все модные прихоти человечества? <...>

172. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Ялуторовск>, 24—26 декабря <1853 г.>.

<...> Разумеется, вздор, что черт говорит в столе, но зачем же это пускать в ход на слабые умы, которые с столами сами заговорят вздор. <...>

173. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Ялуторовск, 5 генваря 1854 г.

<...> Сию минуту получил письмо Давыдова от 20-го декабря. Грустно мне было читать в этом письме, что он меня извещает о возвращении Александра[1] и желает, чтоб это известие застало его выздоровевшим. К ним пишет Нонушка. <...> С первой почтой буду отвечать в Красноярск — надобно будет некрологствовать[2], я никогда не спешу с такими ответами. Чем позже они приходят, тем лучше. Тут нечего спешить. <...>

174. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Ялуторовск, 14 генваря 1854 г.

Пора обнять вас, почтенный Гаврило Степанович, в первый раз в нынешнем году и пожелать вместо всех обыкновенных при этом случае желаний продолжения старого терпения и бодрости: этот запас не лишний для нас, зауральских обитателей без права гражданства в Сибири. Пишу к вам с малолетним Колошиным, сыном моего доброго товарища в Москве. Сережа, который теперь полный Сергей Павлович, как вы видите, при мне был на руках у кормилицы. <...>

Скоро опять к вам будет другой малолетний, Евгений Якушкин,— он тоже привезет грамотку, которую на днях пошлю ему в Тобольск, где он теперь ревизует межевую часть. Может быть, по времени и отца его увидите.

Нелинька благополучно родила сына Сергея. Душевно рад, что эта тяжесть с нее спала.

Омское дело[1] все в застое. По крайней мере ничего не знаю. <...>

175. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

<Ялуторовск>, 26 марта 1854 г.

Ты имеешь право думать, любезный друг Матюшкин, что я командирован куда-нибудь по восточному вопросу, откуда нет возможности подать голоса. 20 сентября Таскин

привез мне добрые твои листки от 1 и 26 августа, и я до сих пор не откликнулся тебе, между <тем> как очень часто в продолжение этих месяцев мысленно был с тобой и с добрыми нашими друзьями. Как это делается, право, не знаю. Нельзя сказать, чтоб я был ленив, нельзя сказать, чтоб я был обременен делами, а результат обличает и в том и другом. Прости меня — это время как-то было мне неловко; ты, впрочем, слышал обо мне — я постоянно отправляю домой очередные казенные письма, которые доказывают, что жив Чурилка.

На днях был у меня моряк Каралов с твоим листком от 5 марта. Читал его с признательностию, мне стало так совестно, что я очень бранил себя и пишу тебе мою повинную с сыном нашего Якушкина, который был здесь ревизором в Тобольской губернии по межевой части. Он надеется тебя лично увидеть и дать изустную весть обо мне.

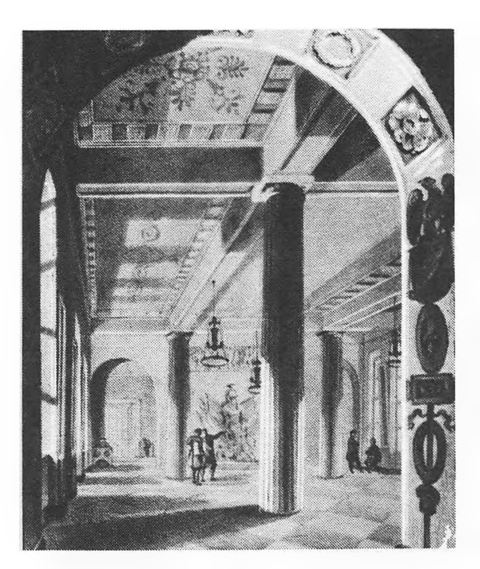
До него должен быть у тебя Фрейганг, бывший моим гостем по возвращении из Камчатки. Он же встретился дорогой с Арбузовым и передал посланный тобою привет. Арбузова провезли мимо Ялуторовска[1]. До того в феврале я виделся с Н. Н. Муравьевым, и он обнял меня за тебя. Спасибо тебе! Отныне впредь не будет таких промежутков в наших сношениях. Буду к тебе писать просто с почтой, хотя это и запрещено мне, не знаю почему.

Все, что ты мне говорил в августе и теперь говоришь об современном деле, совершенно справедливо. Не знаю только, что выйдет из всего хаоса, где перепуталось все. Вероятно, никто из самых закоренелых дипломатов не объяснит заданной обстоятельствами задачи. Ясно только, что Россия упала и подверглась такому контролю, которого прежде не смели выказывать. Повторяю с тобой, что она выйдет из этого затруднительного положения, но только усилий больших будет стоить. К тому же мне кажется, что тут явятся многие вопросы неожиданные. Восстание славянских племен — новое событие, оно вряд ли входило в расчеты Запада. Можно думать, что этот поток и далее распространится. Одним словом, поживем, так многое увидим.

Морякам нашим трудно теперь. Синопское дело чуть ли не последнее было столкновение. Нахимов, без сомнения, славно действовал, но калибр был на его стороне: ему нетрудно было громить фрегаты, да еще турецкие. Не сожалеешь ли ты теперь, что вне ратного поля?



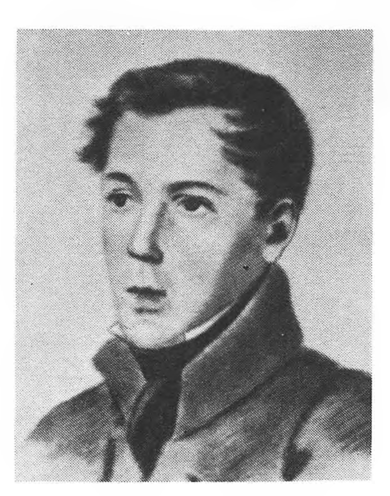
А. С. ПУШКИН.
Портрет работы О. А. Кипренского. 1827 г.



АКТОВЫЙ ЗАЛ ЛИЦЕЯ.
Литография В. Лангера. 1820-е гг.



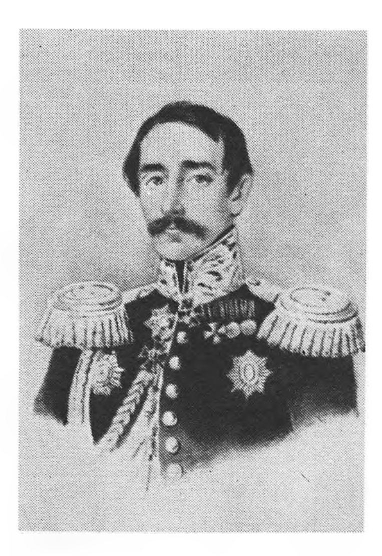
И. И. ПУЩИН.
*Рисунок, пастель
Ф. Верне. 1817 г.*



Ф. Ф. МАТЮШКИН.
*Рисунок неизвестного художника.
1816—1817 гг.*



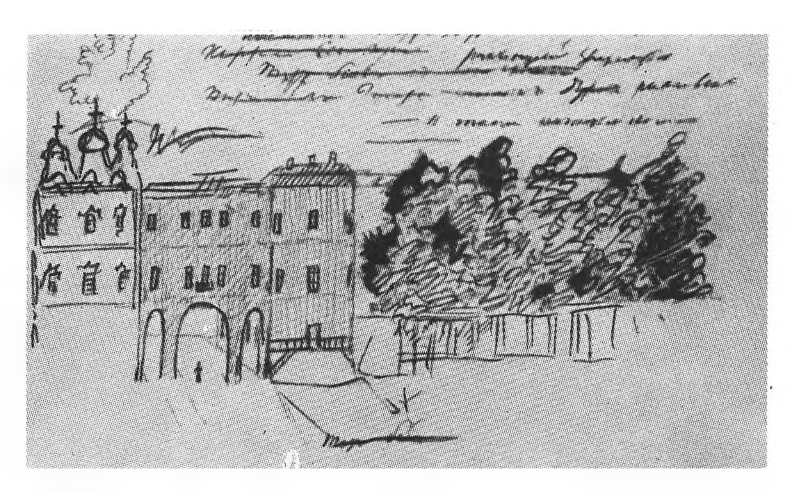
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР.
*Гравюра И. И. Матюшина
с оригинала П. Л. Яковлева. 1820-е гг.*



В. Д. ВОЛЬХОВСКИЙ.
Портрет работы неизвестного художника. 1830-е гг.



Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ.
Литография с фотографии конца 1850-х — начала 1860-х гг.



ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ.
Рисунок А. С. Пушкина.



К. Ф. РЫЛЕЕВ.
Рисунок неизвестного художника.
Карандаш. 1820-е гг.



М. Ф. ОРЛОВ.
Портрет работы А. Ризенера. 1814 г.



ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. на СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ.
В. Ф. Тимм. 1853 г.



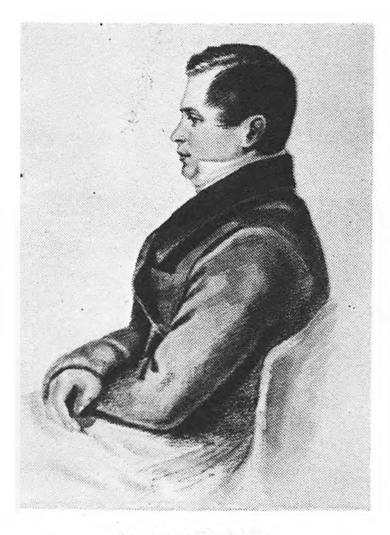


М. А. ФОНВИЗИН.
Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг.

С. П. ТРУБЕЦКОЙ.
Портрет работы неизвестного художника. 1819—1820 гг.



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР.
Акварель П. Л. Яковлева. 1820-е гг.

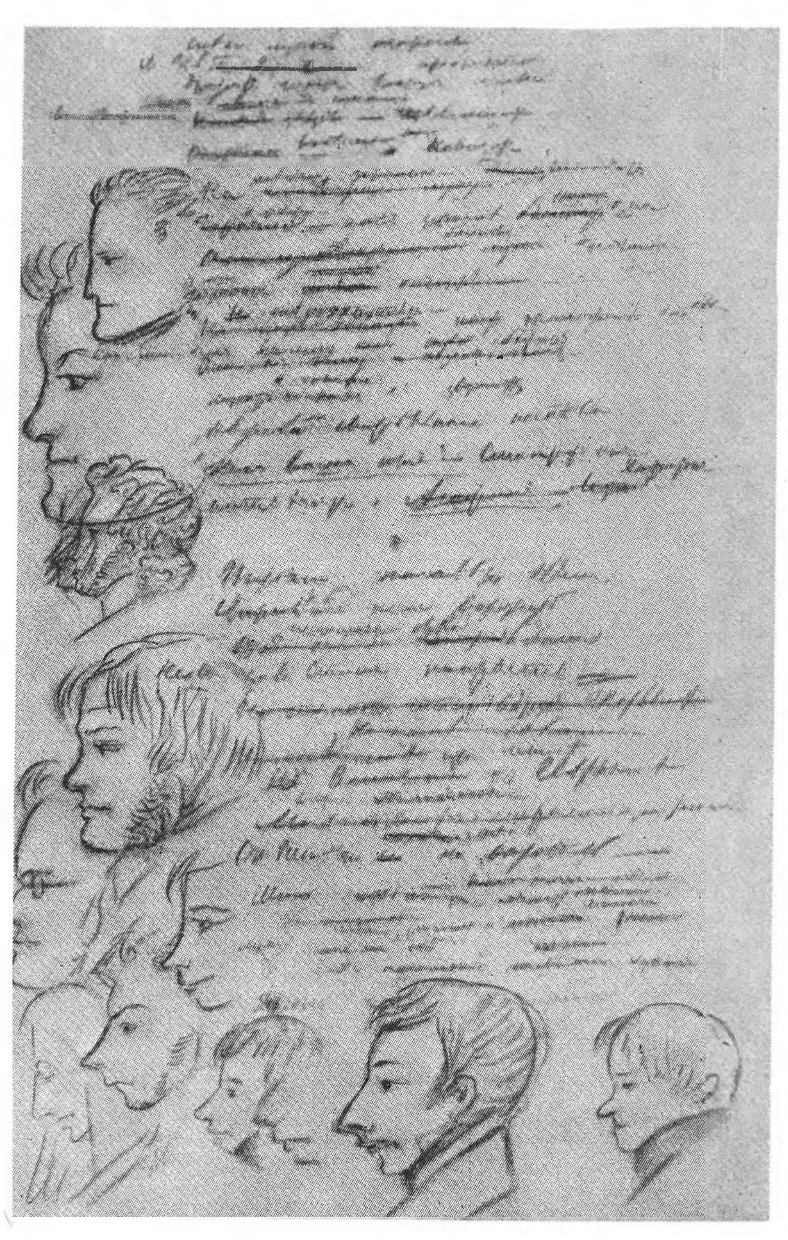


И. И. ПУЩИН.
Акварель Д. М. Соболевского. 1825 г.



Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ НА ДОПРОСЕ.
Рисунок В. Ф. Адлерберга (?). 1826 г.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ.
Акварель неизвестного художника. 1845 г.



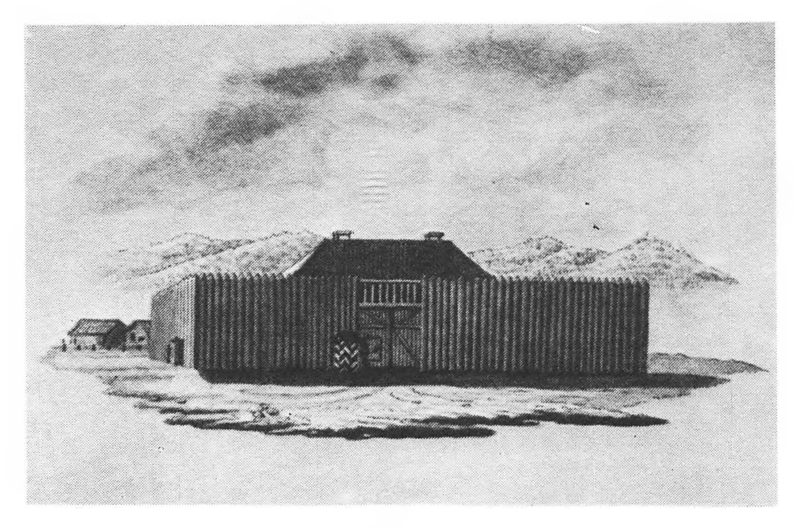
НЕИЗВЕСТНЫЙ, АВТОПОРТРЕТ, И. И. ПУЩИН,
А. А. ДЕЛЬВИГ, В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР, К. Ф. РЫЛЕЕВ.
Рисунок А. С. Пушкина на полях V главы «Евгения Онегина».



А. Г. МУРАВЬЕВА.
Акварель Н. А. Бестужева. 1832 г.



М. Н. ВОЛКОНСКАЯ.
Акварель Н. А. Бестужева. 1837 г.



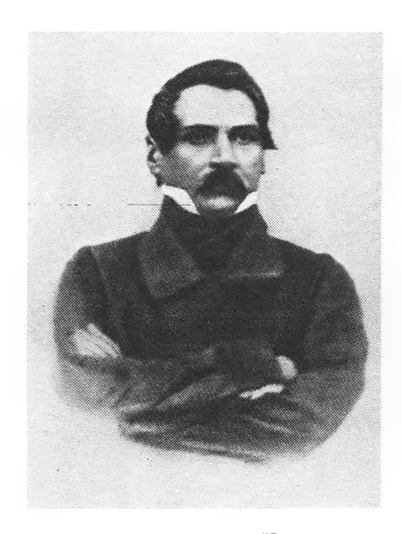
ВОРОТА ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА.
Акварель Н. А. Бестужева. 1829—1830 гг.



Е. И. ТРУБЕЦКАЯ.
Миниатюра на слоновой кости Н. А. Бестужева. 1828 г.



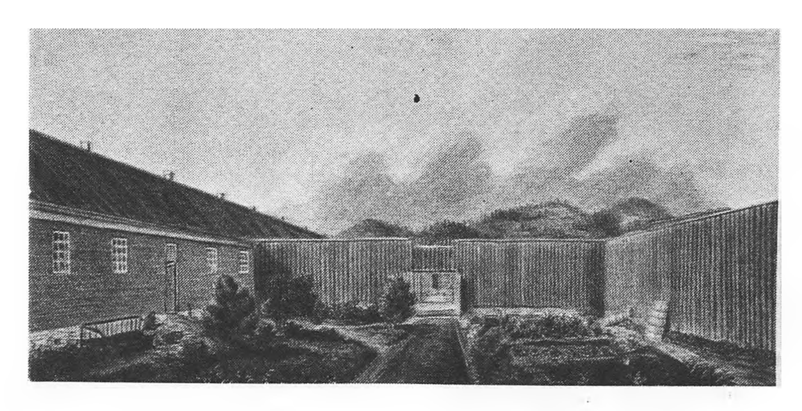
К. П. ИВАШЕВА.
Акварель Н. А. Бестужева. 1831 г.



И. И. ПУЩИН.
Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830 гг.



Н. Д. ФОНВИЗИНА.
Акварель М. С. Знаменского. 1840-е гг.

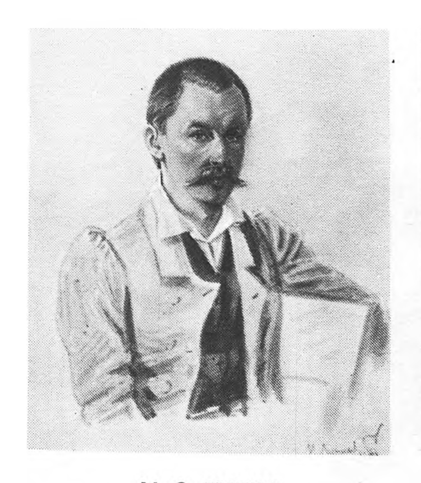


ВИД ВНУТРЕННЕГО ДВОРА ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЫ.
Акварель Н. А. Бестужева. 1832 г.

КАМЕРА И. И. ПУЩИНА В ПЕТРОВСКОМ ЗАВОДЕ (вид от окна).
Акварель П. И. Борисова.



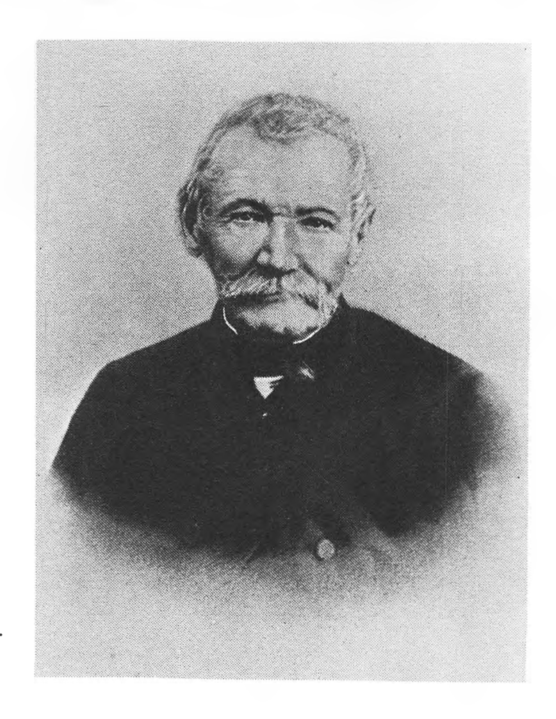
И. И. ПУЩИН.
Акварель Н. А. Бестужева. 1837 г.



М. С. ЛУНИН.
Акварель Н. А. Бестужева. 1836 г.



М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ.
Фотография 1880-х гг.



Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ.
Фотография 1860-х гг.



Г. С. БАТЕНЬКОВ.
Фотография 1850-х гг.



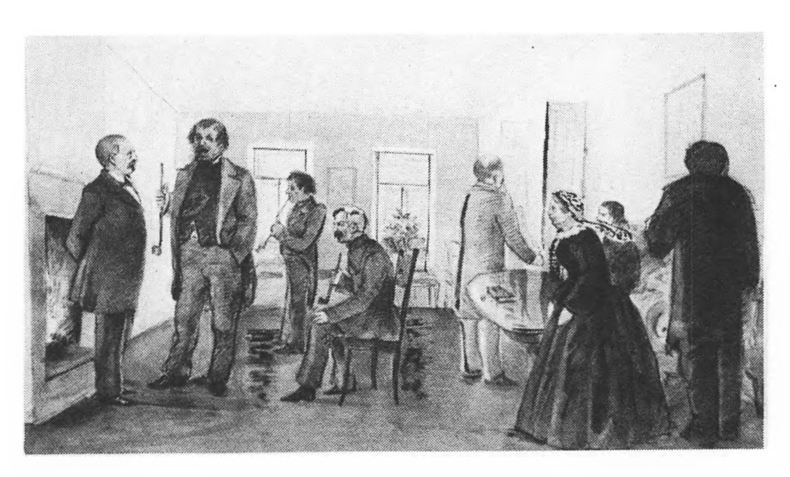
И. Д. ЯКУШКИН.
Рисунок К. Мазера. 1850-е гг.



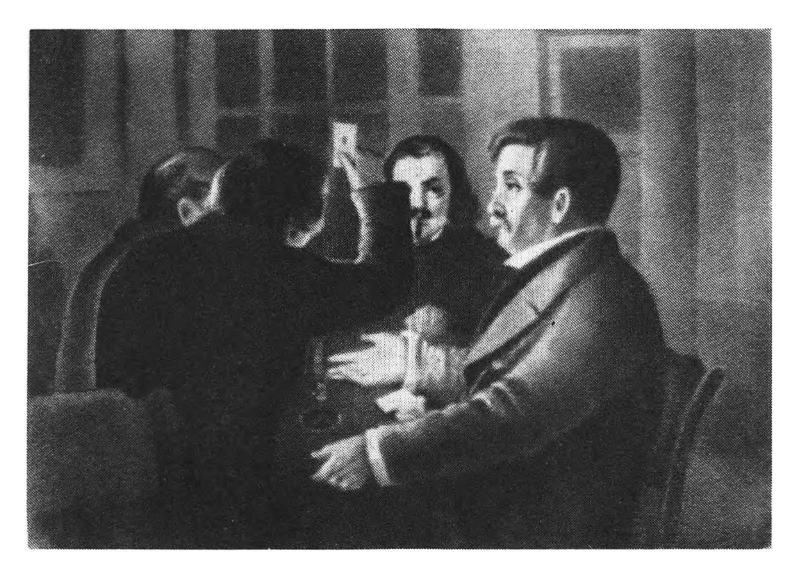
ДОМ И. И. ПУЩИНА И Е. П. ОБОЛЕНСКОГО В ЯЛУТОРОВСКЕ.
Акварель А. П. Созонович. 1842—1856 гг.



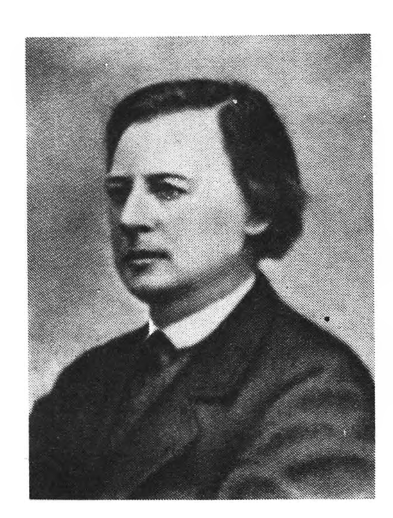
М. А. ФОНВИЗИН.
Акварель М. С. Знаменского. 1850-е гг.



И. И. ПУЩИН СРЕДИ ДЕКАБРИСТОВ В ЯЛУТОРОВСКЕ.
КОМНАТА В ДОМЕ И. И. ПУЩИНА.
Акварель М. С. Знаменского. 1840—1850-е гг.



И. И. ПУЩИН В ЯЛУТОРОВСКЕ.
С картины М. С. Знаменского «Преферанс».



Е. И. ЯКУШКИН.
Фотография.



И. И. ПУЩИН.
С рисунка К. П. Мазера. 1850 г.



И. И. ПУЩИН.
Фотография. Москва, 1857 г.

Что будет делать Непир в Балтике?

Не кончится ли все это демонстрацией? Нигде не предвижу возможной встречи. Нельзя же думать, чтоб повторилась история Копенгагена[2].

Однако довольно заряжать тебя этими старыми толками. От тебя можно услышать что-нибудь новое, а мне трудно отсюда политиковать. В уверенности только, что ты снисходительно будешь все это разбирать, я болтаю. Еще если б мы могли говорить, а заставлять читать мой вздор — просто грех!

На нашем здешнем горизонте тоже отражается европейский кризис. Привозные вещи вздорожали. Простолюдины беспрестанно спрашивают о том, что делается за несколько тысяч верст. Почтовые дни для нас великое дело. Разумеется, Англии и Франции достается от нас большое чихание. Теперь и Австрия могла бы быть на сцене разговора, но она слишком низка, чтоб об ней говорить. Она напоминает мне нашего австрийца Гауеншильда. Просто желудок не варит. Так и хочется лакрицу сплюснуть за щекой.

Доболтался до того, что надобно тебя обнять и просить расцеловать всех наших стариков. Я мысленно с вами, добрые друзья, когда вы вместе, зная, что и вы меня вспоминаете нередко.

Про прозу жизни нечего сказать особенного. Все идет заведенным порядком. Иногда побаливает спина, но я делаю, как будто этого не замечаю.

Аннушка благодарит тебя за слово к ней. Она растет — и понемногу развивается.

Прощай, добрый друг! Собирается наша артель — от меня поедет Евгений Якушкин. Будем в последний раз с ним вечеровать.

Отчего думаешь, что вид Лицея навел на меня грусть? Напротив, с отрадным чувством гляжу на него. Видно, когда писал тебе, высказалось что-нибудь не так. Отъезд нашего doyen d'âge не мог нас слишком взволновать: он больше или меньше везде как чужой. И в Нарве как-то плохо идет. Я это предвидел — и сын его Михайло мне не раз это писал[3].

Vale et mihi fave*

И. Пущин.

---

* Будь здоров и ко мне благосклонен *(лат.)*.

176. С. Д. КОМОВСКОМУ

<Ялуторовск, 9—28 июня 1854 г.>

9 июня 854.

Сейчас прочел письмо твое от 23 мая из Царского Села. Спасибо тебе, любезный друг Комовский, что ты замедлил откликнуться (хотя обыкновенно за это не благодарят), но ты видишь, что очень удачно отыскал меня своим листком в самый тот день, когда мы во время оно обнимались на пороге Лицея. Этот день у меня всегда постоянно посвящается воспоминаниям старины и рассказам о былом. Здешним моим товарищам <нрзб.> приходится волею и неволею выслушивать повторение преданий о всех вас, добрые мои друзья. Они терпеливо слушают повесть сердечную, которая молодит старика. Твое письмо еще более меня, далекого, перенесло в прошедшее; мысленно собрал я около себя всех спутников моей юности, и сущих и отшедших. А вы, добрая m-me Комовская, в дружеских ваших строках двумя стихами нашей прекрасной песни как будто заставили меня услышать те звуки, которые с 17-го года мне родные. Благодаря бога, я свято исполняю завет Дельвига, практически доставшийся на мою долю[1]. Сказал вам это — и как будто испугался, чтоб вы из этих слов не приписали мне какой-нибудь самонадеянности. Надобно скорей уничтожить и тень такого сомнения. Знайте, что я себе ровно ничего не отношу, а всем обязан счастливым встречам и обстоятельствам, которые во всех положениях моей не совсем обыкновенной жизни ставили меня в исключительное положение. Это благоволение свыше — вполне это знаю и чувствую и до сих пор иначе не умею молиться, как благодарить. Не знаю, зачем это все вам говорю, но между тем думаю, что такого рода исповедь приятнее всякого другого известия, особенно из нашего *далека.* <...>

Не взыщите, что не пишу к вам по-французски. Сколько-нибудь знаю этот язык, но у меня муха[2]: никогда не употреблять его, особенно на бумаге, с соотечественниками; мне *шибко* хочется, чтоб наконец убедились, что нам, русским, надобно сноситься на родном языке. На этот раз мне не совсем удобно следовать за моей мухой: не знаю, как вас величать по нашему обычаю. <...>

28 июня.

Еще спасибо тебе, что ты хочешь пополнить мой архив. План Ц<арского> С<ела> я скоро получу — мне его высылает Евгений Якушкин, сын моего здешнего товарища, который по служебному поручению был у нас. Он тоже некоторое время был в Лицее и понимает мою привязанность к старому Лицею. От него я получил «Памятную книжку» 852—853 года. Прочитавши ее, я понял, почему сестра мне ее не высылала. Ей, как и мне, показалось странно, что меня, Вильгельма и других совершенно захерили и даже изменили историческую верность, показавши, что в первом выпуске вышло только 27-мь человек[3]. Гораздо простее было бы сказать истину. Я нисколько, кажется, не получал наших летописей и нисколько не обиделся бы, если бы в отметке моей был выставлен теперешний громкий титул г<осударственный> п<реступник>. Впрочем, это их дело. <...>

177. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 21 июня 1854 г.

<...> С тех пор как я не беседовал с вами, в наших списках опять убыль: М. А. Фонвизин 30 апреля кончил земное свое поприще в Марьине, где только год пожил. Жена его осталась горевать на родине. Вслед за тем получили известие о смерти Павла Созоновича. <...>

Я к вам с просьбой от себя и от соседа Басаргина. Брат его жены, некто Менделеев, подал в Омске просьбу Бекману о месте. Бекман обещал определить его, когда возвратится из Омска в Томск. Вероятно, теперь уже дома, потому что на прошлой неделе Гасфорт с молодой супругой проехал на свое воеводство. Пожалуйста, узнайте у Бекмана и уведомьте меня. Он заверил Менделеева, что непременно исполнит его просьбу,— а тот, естественно, очень нетерпеливо ждет; без сомнения, вам не будет никакого затруднения доставить нам положительные сведения по этому вопросу. <...>

Не слышно ли чего-нибудь о нашем маркизе? Мне любопытно знать, что он сделал в столице, где вряд ли найдет ожидаемое сочувствие[1].

Из Иркутска ничего нет хорошего. Плачевное дело, как слышно, плохо идет. Скоро должно быть что-нибудь положительное. Очень жаль бедную Нелиньку. Она худеет; видно, что все эти вещи тревожат юную ее душу. Мишу послали ревизовать тракт от Охотска до Аяна. Сам Николай Николаевич плывет по Амуру. Как бы его не встретил в Камчатском море какой-нибудь винтовой англичанин. Свербей Свербеевич[2] с ним вроде секретаря по дипломатической части — на его прежнее место назначен Вячеслав Якушкин. Не знаю только, с кем Свербеич будет дипломатствовать. Все эти дела очень побледнели при теперешних событиях, о которых не будем говорить. Довольно, что приходится читать пропасть вещей, которых не понимаешь. Будем живы, увидим, чем разгадается эта загадка. <...>

178. С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ

<Ялуторовск>, 30 июня 1854 г.

<...> Я дожидался все отъезда нашего бедного Ивана Дмитриевича, чтобы отвечать вам, но, как видно из хода его болезни, он еще не так скоро в состоянии будет пуститься в путь, хотя бы ему и сделалось лучше, чего до сих пор, однако, не заметно[1]. Бедный больной наш очень страдает и чрезвычайно слаб в силах. Много вредит ему, как мы полагаем, неудобство его квартиры, где он всегда как в бане, особливо при теперешних жарах. Советовать переменить ее было бы бесполезно: вы знаете хорошо его характер. Теперь же от болезни он сделался еще несговорчивее. <...>

179. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Ялуторовск, 8 июля 1854 г.

Вот вам, добрый друг Гаврило Степанович, и наш Ланкастер, отец Евгения! Не знаю, скоро ли он довезет вам мою грамотку, но все-таки ему вручаю ее. Вы увидите и Вячеслава, брата Евгения. Полюбите отца и сына. Они, вероятно, отдохнут у вас в Томске. <...>

Марью Александровну и мы ждем. Бедная женщина! Из какой-то непонятной мечты расстроила полезное свое существование[1].

Спасибо вам за три стиха по случаю новой могилы в Марьине. Грустно за бедную Наталью Дмитриевну. Ваше трехстишие отрадно![2] Я ей при первом письме передам вашу мысль,—она ей придется по душе. <...>

Вероятно, вы видели фельдмаршальшу, сестру Сергея Григорьевича, и порадовались, что брат будет иметь отраду обнять ее. Она у нас погостила сутки и у меня со всей нашей артелью субботничала[3].

О плачевном деле все еще ничего нет положительного. Хорошего, однако, ничего не обещают. Нелиньке бедной будет опять тяжелое время. Все это тоска[4].

О политике не говорю. Все так перепуталось, что аз, грешный, ровно ничего не понимаю. <...>

Верный ваш *И. П.*

180. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 6 августа 1854 г.

<...> Еще должен вас уведомить, что 1-го августа получил вашу посылку. Нашел в ней, между прочим, план Царского Села с изъяснением. Это признаю своей собственностию и с удовольствием рассматриваю давно знакомые места, которые много изменились и расширились с тех пор, как мне, по некоторым обстоятельствам, не удавалось там побывать. Спасибо и за сведения о последней переписи. Рисунки и портреты хранятся у меня до получения вашего письма насчет их. Догадываюсь, что Филарет вашему соименнику, а генерала вовсе не знаю[1]. <...>

181. Н. А. БЕСТУЖЕВУ

<Ялуторовск>, 3 сентября <1>854 г.

Пора благодарить тебя, любезный друг Николай, за твое письмо от 28 июня. Оно дошло до меня 18 августа. От души спасибо тебе, что мне откликнулся. В награду посылаю тебе листок от моей старой знакомки, бывшей Михайловой.

Она погостила несколько дней у своей старой приятельницы, жены здешнего исправника. Я с ней раза два виделся и много говорил о тебе. Она всех вас вспоминает с особенным чувством. Если вздумаешь ей отвечать, пиши прямо в Петропавловск, где отец ее управляет таможней.

Много воды утекло с тех пор, как я тебе послал мое мартовское письмо. О политике не хочу говорить, потому что ничего в ней не понимаю; вижу только, что все довольно мрачно и что все в чрезвычайно натянутом положении. Как, когда и чем разрешится эта задача, не берусь сказать, едва ли и сами двигатели ответят удовлетворительно на этот вопрос. Следовательно, мы с тобой смело можем помолчать об этом и скрепя сердце ожидать, что выкроит провидение для бедного человечества из всей теперешней кутерьмы, которая завязалась не на шутку. Ты, вероятно, читаешь все, что и мы читаем, то есть «Débats» и «Московские ведомости».

И в наших инвалидных рядах после смерти Александра четыре новых креста: *Муханов* в Иркутске, *Фонвизин* в Марьине, где только год прожил и где теперь осталась оплакивать его Наталья Дмитриевна, *Василий Норов* в Ревеле и *Николай Крюков* в городе Минусинске.

Под мрачным впечатлением современности началось с некролога. Эта статья нынче стала чаще являться в наших летописях. Ты, может быть, все про это давно слышал. Извини, если пришлось повторить.

Довольно об умерших – вздохнем и перейдем к живым.

В продолжение нынешнего лета проводили семью Александра, состоящую из его жены, Миши, славного мальчика по 12-му году, и из трех дочерей. Все они благополучно прибыли в Соколинки. Вероятно, скоро разрешат им жить в самой Москве. Проездом весь караван погостил у нас почти неделю.

Вскоре после них был здесь Иванов, инженерный офицер, который женат на Оленьке Анненковой. Они тоже уехали в Петербург, куда он перемещен на службу из Омска. Мудрено тебе вообразить, что Оленька, которую грудным ребенком везли из Читы в Петровское, теперь женщина 24 лет – очень милая и добрая. Брат ее Ваня, еще зимой кончивши курс гимназии, определился юнкером в Прусский полк и теперь в Ревеле ждет англичан, но они, кажется,

ограничиваются беззащитными подвигами, то есть жгут селения и грабят церкви, откуда им ни одного выстрела не посылают. Непостижимая война в нашем веке!

Остальные лица старого и нового нашего поколения все на прежних местах. Указал тебе на все изменения, известные мне по сегодняшнее число.

Ты уже должен знать, что 14 августа Иван Дмитриевич прибыл в Иркутск с старшим своим сыном Вячеславом. Дорога ему помогла, но болезнь еще не уничтожена. Будет там опять пачкаться. Дай бог, чтоб это шло там удачнее, нежели здесь в продолжение нескольких месяцев. Просто страшно было на него смотреть. Не знаю, можно ли ему будет добраться до вас. Мне это необыкновенно счастливо удалось, но и тут тебя, добрый друг, не поймал. Авось когда-нибудь как-нибудь свидимся.

В августе был у меня Яков Дмитриевич, объезжал округ, он из Перми завернул ко мне, погостил четыре дня. Всем нам это был праздник — добрый человек, неизменно привязанный к нам по старине. Велел очень кланяться тебе и брату. Он очень жалеет, что не мог быть у вас за Байкалом до выезда из Иркутска. Теперь его постоянное жительство в Омске. Сашенька здорова, но все он опасается нервических ее припадков.

Не нужно тебе говорить, что вместе со мной крепко тебя обнимают наши старики, — теперь нас четверо[1]. Все здоровы, обними за нас и брата Михайлу. Усердный поклон почтенным твоим сестрицам. Не порадовал ты меня известием, что вы хвораете; пожалуйста, оставьте эту дурную привычку — она в наши годы никуда не годится. Скажи мой привет Катерине Петровне и напомни, что если она поедет за Урал, то на дороге ее Ялуторовск, где все радушно желают ее видеть. Кажется, она знает нашу здешнюю вдову Александру Васильевну. Пусть из Уковского завода скажет, чтоб ее везли прямо в дом Бронникова: на этой станции все знают этот дом.

В одно и то же время, как тебе, писал и Горбачевскому — до сих пор от него ни слуху ни духу. Видно, опять надобно будет ждать серебрянку[2], чтоб получить от него весточку. Странно только то, что он при такой лени черкнуть слово все мне жалуется, что все его забыли, и считает всех перед ним виноватыми. Оригинал — да и только! — Распеки его при случае.

Иоссе мне понравился, он зимой должен опять быть здесь проездом из России. От него ты будешь иметь грустные об нас всех известия, которые иногда не укладываются в письмо. Мне пришло на мысль отправить эти листки к Д. Д. С<тарцеву>. Он тебе их вручит. Таким образом и волки сыты, и овцы целы![3]

Виделся ли ты с Софьей Григорьевной? Я слышал, что она поехала в Кяхту. Мне было очень приятно с нею здесь провести денек. Добрая женщина, без всяких вычур. Появление ее — отрадная страничка в наших памятных тетрадках. Я счастлив за С<ергея> Григорьевича.

Прощай покамест. Будьте все здоровы и веселы. Ты мне не говорил, есть ли у твоего брата потомство? Пожми руку ему и всем вашим дамам.

Верный твой *И. П.*

Все мои в России, благодарю бога, здоровы и по-прежнему продолжают опекать меня. У Николая две дочери и сын. Я ему даю об вас весточку. Он с дружбою всех помнит.

И<ван> П<ущин>, приветствуя Дмитрия Дмитриевича, просит передать это письмо Николаю Александровичу Б<естужеву>.

182. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Ялуторовск, 24 сентября 1854 г.

Непростительно мне, вечному писаке писем, что я до сих пор не благодарил вас, добрый друг Гаврило Степанович, за ваши листки с ех-директрисой. Из последующего вы увидите причины этой неисправности и, может быть, меня оправдаете.

С того нужно начать, что Марья Александровна со всем своим причтом явилась в сумерки 3 сентября прямо в дом Бронникова. Хозяин, только что вышедший из бани, вышел встречать ее. Разумеется, тотчас подали самовар. Тут и слезы, и толки бесконечные. <...>

Мы прожили вместе до 12-го сентября. После обедни, в этот день после обедни отслужили панихиду по Муханове и, отобедавши, посадили дорогих гостей в экипажи. Мрачно мне было думать и теперь мрачно думается о доб-

рой Марье Александровне[1]. Я при ней и хохотал и дурачился, но все это было не совсем искренно. Она едет бог знает зачем к людям ей совершенно неизвестным. Надобно самые счастливые стечения обстоятельств, чтобы она ужилась с родными своего жениха, к которым она как с неба свалится. Много мы об этом говорили. Она сама понимает и говорит, может быть, возвращусь в Сибирь. Вообще наша Марья Александровна — ходячий пример преследования судьбы. Что она вытерпела — это страшно. Впрочем, нельзя и не сказать, что она сама много портила свою жизнь. Почему бы под конец не остаться в институте. Нет! нужно было задумать новое супружество, которого я никак не понимаю. Однако довольно об этом. Дай бог, чтоб она, с теплой душой своей, успокоилась. От души ей этого желаю. <...>

14 августа обедал у меня курьер с устья Амура Корсаков, — мы с ним выпили шипучку за окончание экспедиции. Поскакал в столицу, и в газетах я уже читал, что его произвели в полковники. Лишь бы какой-нибудь винтовой англичанин не сбил с позиции оставленный отряд на Сахалине. Теперь все так сложно, что мудрено загадывать вперед. Кто поживет, тот увидит, чем эта история разрешится. Все-таки ясно одно, что Россию поставили в довольно глупое положение. Кто сидит в главе, тот должен уметь заглядывать вперед, а если слеп, то виноват. По какому-то предчувствию я убежден, что и из этой беды мы выйдем сухи, но усилия опять большие. Сколько раз давал себе слово не касаться этого предмета, а все невольно болтнешь. Беспрестанно мысль занята современностию и мрачною и сложною. <...>

Может быть, вы уже видели Молчановых, а я только жду их — и жду с стесненным сердцем. Последние вести, что его провожают подписным обедом по 25 целковых с лица. Я ничего тут не понимаю. Боюсь только заплакать, когда придется обнять Нелиньку. Не раз спрашиваю себя: за что такой ее удел? — fatum* в полном развитии лежит над этой юной, милой женщиной. Подкрепи ее та сила, которая действует независимо от всех наших соображений. Пишу это глядя на синичку, она раскинулась на моем окне в миль-

* рок *(лат.)*.

оне цветов свежих и веселых. Такова бы должна быть участь Нелиньки. Существенность иначе гласит. <...>

В Тобольске Вольф очень хворает. Не могу дождаться почты, чтоб успокоиться на его счет[2]. Там из наших знакомых умер Жилин (Петр Дмитриевич) и прокурор Францев. <...>

Менделеев вразумлен. Он часто пишет с Колывани к своей сестре. Доволен своим местом и понимает, что сам (независимо от вашего покровительства) должен устраивать свою службу. <...>

Завтра Сергиев день, у нас ярмарка, меня беспрестанно тормошат — думают, что непременно должно быть много денег, а оных-то и нет! Эти частые напоминания наводят туман, который мешает мыслям свободно ложиться на бумагу. Глупая вещь — эти деньги; особенно когда хотелось бы ими поделиться и с другими, тогда еще больше чувствуешь неудобство от недостатка в этой глупой вещи. Бодливой корове бог не дал рог. И сам уж запутался. <...>

Верный ваш *И. П.*

Наконец пришла почта и сказала, что Вольфу получше. Обещают даже, что он совершенно поправится. В этом случае всегда готов верить на слово.

183. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 8 октября <1854 г.>

Вы у меня просили, любезный друг Евгений Иванович, поручений, вот вам целый короб. Справляйтесь как знаете.

1) Отправьтесь погулять Пресненской части в 6-й квартал. Отыщите там дом купца Царского. В этом доме отыщите дворника Ивана Абрамова. Этому дворнику скажите, чтоб он известил своего деревенского приятеля крестьянина Кузьму Ефимова о кончине его отца Ефима Петровича. Этот почтенный старичок кончил жизнь 24-го сентября. Вдова его просит меня написать о своей потере — и надеется, что Кузьма Ефимович к ней напишет. Покойный давно горевал, что нет весточки от сына. Пусть Абрамов вам отдаст его письмо, а вы его перешлете Мешалкиной, которая похожа на Маремьяну-старицу. Это уже не новость для вас.

2) Николай Яковлевич просит вас добыть для него «Современник» за декабрь месяц 1853 года. Эта книжка не была ему выслана из Московской газетной экспедиции, и здешний почтмейстер уже писал туда, что этот номер не был здесь получен. До сих пор результата никакого нет. Вам предстоит разрешить удовлетворительно эту задачу.

3) Собственно от меня просьба: нельзя ли достать сочинений Мицкевича. Я хочу сделать этот сюрприз одному ляху, который очень желает их иметь. Вы, как истый библиоман, может быть, найдете возможность это устроить. Нужно что-нибудь позднейшее. Издание старинное, в двух частях, уже есть.

Поручения кончены. <...>

Депеши из Крыма еще хуже. Совестно даже читать, чем нас потчуют оттуда. Где же наши войска? Я здесь знал, что будет туда высадка: как же не принять меры?[1] Аминь. <...>

184. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 9 октября <1854 г.>.

Два слова в ответ на ваше письмо от 15 сентября, которое у меня уже давно, добрый Петр Николаевич!

Вы уже должны знать от Павла Сергеевича, что «L'oncle Tome»* уехал с Якушкиным в Иркутск,— Якушкин в последнем письме просит, чтобы я ему переслал Милютина[1] и отчеты по училищам, которые у вас остались. Пожалуйста, доставьте мне все это; я найду возможность перебросить в Иркутск.

Ив<ан> Дм<итриевич> лечится. Говорит, что раны опять на ногах, но Персин уверяет, что все должно пройти. Дай бог! Все вообще не весело в нашей семье, рассеянной по Сибири. Нелинька говорила мне, что Катерина Ивановна очень похудела и хворает. Заботлива и за нее.

Матвей мне говорил, что вы хотите участвовать в сборе для bon ami**. Когда-нибудь пришлите ваши 10 целковых. Я надеюсь к ним еще кой-что прибавить и все отправлю. Вероятно, он обратился и в Иркутск, хотя и там, при всех богатствах, мало наличности. Как это делается, не знаю[2].

---

* «Дядя Том» *(фр.).*
** добрый друг *(фр.).*

Спешу; обнимаю вас за себя и за всех наших.

Матвей к вам писал с почтой.

Мои здоровы.

Просите гомеопата о портрете Волконского. Миша, верно, уже кончил[3].

Татьяне Александровне пожмите руку — деток ваших приласкайте.

Верный ваш *П.*

Сегодня празднуем у Тулинова — он Яков.

Обнимите Павла Сергеевича.

Храни вас бог.

185. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 11 октября <1854 г.>

У меня нет Соломенного[1], но зато нанимаю дом Бронникова, и в этом доме это время, свободное от постоя, накопилось много починок, так что меня с обоих крылец тормошат разные мастеровые. Вот причина, по которой до сего дня не дал вам, добрый друг Гаврило Степанович, весточки о Нелиньке. Она мне 29-го сентября привезла вашу записочку от 20-го. Значит, с безногим мужем едет довольно хорошо, и в такое время года.

Нелинька прелесть — а он беда! Тоскливо, мрачно видеть сочетание полной жизни с омертвением. Впрочем, вы их видели вместе, следовательно, ощущали то ж, что и я.

Если так же благополучно ехали вперед, то должны уже быть почти в деревне его матери. Там отдых.

Что будет дальше — неизвестно и так же трудно разгадать, как все современные вопросы, о которых я дал себе слово не писать, а только спорить и кричать без конца. Это и исполняется при наших сходках. Если угодно участвовать, милости просим сюда. Однако донесения из Крыма так на меня подействовали, что несколько дней и не спорил. Грешно потчевать православных такими бюллетенями. Но я забыл, что не пишу о событиях.

В нашем кругу все обстоит благополучно. Получено письмо Ивана Дмитриевича от 21-го сентября. У него опять раны на ногах, и больше, нежели здесь. Персин уверяет, что все должно скоро пройти. Ест черемшу и мажется раз-

ными зловониями. Может быть, Чех сам вам писал прямо, а я все-таки вздумал и это вам сказать вместо политики. Извините, если выйдет дубликат.

Нелинька говорит, что вы молодеете и что между всеми нашими у вас в этом отношении один я соперник. Она была здесь весела, но иногда невольно подметишь слезу на этих прелестных глазах. Храни ее бог!

Прощайте. Сегодня четвертая депеша — потому она и короче других. Хотелось только выполнить наконец ваше доброе желание услышать о Нелиньке. Муж ее переносит дорогу довольно хорошо.

Все наши вас крепко обнимают, а я вас готов задушить в крепких объятиях.

Верный ваш *И. П.*

186. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 1 ноября <1854 г.>.

<...> Горькая весть пришла из Иркутска. Нашей доброй Е. И. Трубецкой нет более с нами. Это горе для нас всех общее — не говорю уже про мужа и детей. Ив<ан> Дм<итриевич> вам подробно это горе расскажет. Хорошо, что он теперь с Сергеем Петровичем. Это время что-то очень мрачно навевает у нас со всех сторон. И Вольф очень болен, говорят, после горячки вода образовалась в груди.

<...> Не вижу, как вы говорите, чтоб дела наши в Крыму поправлялись. Напротив — жду развязки не совсем веселой под Севастополем. Превосходство оружия губит наших безответных храбрецов, и не заметно предусмотрительности в распоряжениях с нашей стороны. Вообще тоска! <...> Боюсь писать Н<аталье> Д<митриевне> — смерть Трубецкой ее сильно огорчит. Без того ей много горя. <...>

187. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 19 ноября <1854 г.>.

13-го числа в Бронникова дом явился барон, и тогда только я прочел, добрый мой фотограф, ваше письмо от 28 сентября. Очень рад был обнять моего позднего потомка по

Лицею — он вчера только от нас уехал, просил вас обнять за него. Сам будет вам писать из Семипалатинска[1]. Не отвечаю вам теперь на ваши старые вести. Да и новые из Крыму не совсем отрадны. Затеяно дело, а отчего не приготовились. Превосходство оружия губит наших безгласных храбрецов. Вообще тоска все это! Увидим, чем кончится эта плачевная кутерьма. Что-нибудь должно же выкроиться для человечества, в разных его проявлениях.

<...> Недавно получил от него <И. Д. Якушкина> и от Вячеслава грамотку. Они пишут после горестного события — кончины нашей доброй Екатерины Ивановны Трубецкой. Эта весть глубоко нас всех поразила, хотя давно знали, что эта почтенная женщина очень больна. Для Сергея Петровича большое утешение теперь присутствие Ивана Дмитриевича. В наших рядах в течение последнего года новых восемь деревянных крестов. Время кладет неумолимую свою печать.

Вся наша древность вас приветствует. <...> Мысленно беспрестанно в Крыму и без конца толкуем об этом сложном деле. <...>

188. М. Н. ПУЩИНОЙ

<Ялуторовск>, 26 ноября 1854 г.

Несколько дней тому назад я получил, добрая Марья Николаевна, ваше письмо от 20 октября. Спасибо вам, что вы мне дали отрадную весточку о нашем больном. Дай бог, чтоб поддержалось то лучшее, которое вы в нем нашли при последнем вашем посещении. Дай бог, чтоб перемена лечения, указанная Пироговым, произвела желаемый успех! Мне ужасно неловко думать, что Петр, юнейший между нами, так давно хворает и хандрит естественным образом: при грудных болезнях это почти неизбежное дело.

Не нужно вам повторять, что мы здесь читаем все, что можно иметь о современных событиях, участвуя сердечно во всем, что вас волнует. Почта это время опаздывает, и нетерпение возрастает. Когда узнал о смерти Корнилова, подумал об его брате[1] и об Николае, товарище покойного. Совершенно согласен с нашим философом, что при такой смерти можно только скорбеть об оставшихся.

Поцелуйте за меня ваших малюток. Аннушка просит вас о том же. Она здорова и с каждым днем вытягивается. У нас все идет прежним порядком, но теперь довольно мрачных ощущений.

Вы уже слышали о смерти Катерины Ивановны Трубецкой. Не вдруг свыкнешься с мыслию об этой утрате. В Тобольске очень трудно болен наш Вольф и, кажется, вряд ли может выздороветь. С прошлого ноября между нами недосчитывается восемь человек. <...>

Верный вам *И. Пущ<ин>*

189. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 11 декабря 1854 г.

<...> Это последнее время навевало сильною тоскою со всех сторон. Мрачные вести из Иркутска, без сомнения, и до вас давно дошли — я еще не могу с ними настоящим образом примириться[1].

Маремьянствую несознательно, а иначе сделать не умею. С другой стороны, тут же подбавилось: узнал, что Молчанов отдан под военный суд при Московском ордонансгаузе. Перед глазами беспрерывно бедная Нелинька! оттасоваться невозможно. Жду не дождусь оттуда известия, как она ладит с этим новым, неожиданным положением. Непостижимо, за что ей досталась такая доля? За что нам пришлось, в семье нашей, толковать о таких грязных делах?

Объясните мне еще теперешнюю политику. Вы все должны знать. За что такое ожесточение, когда мы мечтаем в направлении века сближением народов и возможною между ними взаимною помощью? Я как-то привык в этом видеть плоды просвещения и современного развития. Где же эти мечты? Крым плохо разрешает эти думы — и думается тяжело, вдобавок и впереди туманно, разве чем-нибудь разразится неожиданно воля того, который неведомыми путями ведет человечество. Полно о политике. Наши толки тут ни к чему. Подсядьте к моему камину; тогда будем без конца толковать, иначе невозможно.

Камчатка порадовала, но это такая дробь, что почти незаметно проходят подвиги тамошней воительной силы[2].

Более всего содействовали успеху ошибки врагов. Н<иколай> Н<иколаевич> должен быть доволен, что принял меры, над которыми смеялись в Петербурге, когда он их требовал[3].

Скоро увидите Казимирского, он в половине декабря собирается на Ангару. От него я имел и письмо Н<иколая> Н<иколаевича> о деле камчатском и донесение Завойки, которое, вероятно, скоро будет в газетах. О маркизе я имел известия через барона Врангеля, тоже лицеиста, который приехал сюда служить в новую Семипалатинскую область. Он у меня погостил несколько дней, и я его благословил на доброе дело, только советовал смотреть на дела людские с некоторою снисходительностью, чтоб не лишить себя возможности быть полезным. Он в Петербурге видался с маркизом, который, кажется, собирается за границу.

Последние известия о Марье Александровне заключаются в том, что она едет в Петербург искать места. Значит, не осуществилась ее фантастическая мысль ухаживать за матерью покойного своего жениха. Я ей это предсказывал, но она ничего не хотела слушать. Добрая женщина, но вся на ходулях. От души желаю ей найти приют. Жаль, что она не умела остаться в институте. <...>

Софья Григорьевна Волконская до февраля остается у брата, за это ей большое спасибо. И там теперь не весело по случаю плачевного дела, которое теперь плачевнее, нежели когда-нибудь. <...>

Убыли много в наших рядах. С прошлого ноября 53 не стало восьмерых. Аминь.

Верный ваш *И. П.*

190. Н. Г. ДОЛГОРУКОЙ

<Ялуторовск>, 26 декабря 1854 г.

Иван Дмитриевич рассказал вам тепло и верно о незабвенной спутнице нашего изгнанья[1].

Не знаю, удастся ли мне что-нибудь прибавить к сказанному им на этом спешном листке.

Во время оно я встречал Александру Григорьевну в свете, потом видел ее за Байкалом. Тут она явилась мне существом, разрешающим великолепно новую, трудную задачу.

В делах любви и дружбы она не знала невозможного: все было ей легко, а видеть ее была истинная отрада.

Вслед за мужем она поехала в Сибирь (в 16 суток прискакала из Москвы в Иркутск). Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в сношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную ее прелесть. Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить — придавала бодрость другим. Для мужа была неусыпным ангелом-хранителем и даже нянькою.

С подругами изгнания с первой встречи стала на самую короткую ногу, и тотчас разменялись прозвищами. Нарышкину назвали Lischen, Трубецкую — Каташей, Фонвизину — Визинькой, а ее звали Мурашкою. Эти мелочи, в сущности, ничего не значат, но определяют близость и некоторым образом обрисовывают взаимные непринужденные сношения между ними, где была полная доверенность друг к другу.

Помню тот день, когда Александра Григорьевна через решетку отдала мне стихи Пушкина. Эти стихи она привезла с собой. Теперь они напечатаны. Воспоминание поэта — товарища Лицея точно озарило заточение, как он сам говорил[2], и мне отрадно было быть обязанным Александре Григорьевне за эту утешительную минуту.

Недолго, однако, мы наслаждались присутствием Александры Григорьевны между нами. Во цвете лет она нас покинула. Много страдала, но все переносила безропотно. Незадолго до болезни, будучи беременна, она ходила на ходулях; может быть, и эта неосторожность ей повредила. Знаю только, что мы тогда очень боялись за нее.

По каким-то семейным преданиям, она боялась пожаров и считала это предвещанием недобрым. Во время продолжительной ее болезни у них загорелась баня. Пожар был потушен, но впечатление осталось. Потом в ее комнате загорелся абажур на свечке, тут она окружающим сказала: «Видно, скоро конец». За несколько дней до кончины она узнала, что Н. Д. Фонвизина родила сына, и с сердечным чувством воскликнула: «Я знаю дом, где теперь радуются, но есть дом, где скоро будут плакать!» Так и сбылось.

В одном только покойница ошиблась, плакал не один дом, а все друзья, которые любили и уважали ее.

Не знаю, что сказалось, знаю только, что молвить слово об Александре Григорьевне — для меня истинное наслаждение. Воспоминание по ней светло во всех отношениях.

В 1849 году я был в Петровском; подъезжая к заводу, увидел лампадку, которая мне светила среди туманной ночи. Этот огонек всегда горит в часовне над ее могилой; я помолился на ее могиле. Тут же узнал от Горбачевского, поселившегося на старом нашем пепелище, что, гуляя однажды на кладбищенской горе, он видит человека, молящегося на ее могиле. Подходит и знакомится с генералом Черкасовым. Черкасов говорит ему, что счастлив, что имел возможность преклонить колени перед могилой, где покоится прах женщины, которой он давно в душе поклоняется, слыша о ней столько доброго по всему Забайкалью.

Вот уже с лишком 20 лет, что светится память нашей первомученицы!

Там ей хорошо!

191. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 31 декабря, пятница, 1854 г.

Два слова письменных в дополнение к письму вашего соименника, дорогой фотограф, в ответ на ваши строки от 18 декабря[1]. Я писал к вам в понедельник, нельзя же вас заваливать письмами, да и вообще нечего особенного сказать. Разве сообщить вам о кончине Вольфа — вы, верно, это уже знаете от Ж<озефины> Адамовны, к которой писали из Тобольска. Он страдал жестоко пять месяцев — горячка тифозная, а потом вода в груди. Смерть была успокоением, которого он сам желал, зная, что нет выздоровления.

Редеют наши ряды. Как быть. Грустно переживать друзей, но часовой не должен сходить с своего поста, пока нет смены. <...>

28-го, день рождения Ивана Дмитриевича, мы праздновали, по обычаю, у Александры Васильевны, угостительной, почтенной нашей вдовы.

Пожмите руку Нелиньке — очень рад буду получить от нее весточку, хотя вряд ли ей придется сказать мне что-ни-

будь утешительное — в начале жизни ей задана трудная задача. Помогай ей бог. Маремьяна-старица тут ничего не может для нее сделать.

Спасибо вам, что вы преследуете Ефимова. <...>

Нетерпеливо жду возвращения Н<атальи> Д<митриевны>[2]. <...>

192. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 10 генваря 1855 г.

Обыкновенно, обнимая на Новый год, начинают речь чем-нибудь приятным, а мне пришлось, добрый мой Евгений Иванович, встретить вас поручением довольно мрачным. Давыдов мне пишет о смерти нашего товарища Спиридова и просит известить об этой утрате его родных. Ни Давыдов, ни я не знаем, куда к ним писать, и потому прошу вас сказать это княгине Шаховской. Она всегда принимала родственное участие в покойном. Вы ее знаете[1]. Не могу сообщить вам никаких подробностей. Знаю только, что Спиридов простудился, сделалось воспаление в боку (что у него и прежде бывало); сначала он не принял решительных мер, а когда Давыдов привез ему в Дрокину врача, было уже поздно. 21-го декабря не стало нашего доброго товарища. Пусть княгиня напишет к Василию Львовичу Давыдову в Красноярск, он ей напишет все, как было. Он и все его семейство оплакивают Спиридова — с 839-го года неразлучно жили вместе. <...>

Скажите мне еще, где теперь профессор Редкин? Недавно был у нас разговор об нем с людьми хорошо его знавшими и бывшими в числе его слушателей. <...>

193. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Ялуторовск, 22 февраля 1855 г.>

Балаклава взята русскими — три тысячи врагов легло на месте! Завтра будете читать это в газетах[1]. Верное известие из Ирбита. Аминь.

194. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Ялуторовск, 22 февраля <1>855 г.

<...> Я уже имел известие о приезде Я<кова> Д<митриевича> в Иркутск. Он 25-го генваря явился на Ангару, и все наши обняли его радушно. Даже Иван Дмитриевич, надев доху, выплыл из дому, где сидел почти всю зиму безвыходно. Черемша свое дело сделала,— дай бог, чтоб раны совсем закрылись. Чех должен теперь быть с отцом, не понимаю, какая цель была командировать его к инородцам.

15-го почта привезла мне еще ваше письмо от 7-го февраля. Начинаю с первого параграфа, где вы касаетесь старости и рассуждаете о другом. При этом случае должен вам сказать, что не замечаю в себе ни малейшего охлаждения. Напротив, Сашенька говорит, что вы и я совершенные юноши среди древности, рассыпанной обстоятельствами по Сибири. Кстати об ней. <...> Помогай ей бог! она теперь как в лес поехала. Направил ее во все места, где, надеюсь, ей будет тепло. Обещали написать Мешалкиной, когда увидит Нелиньку, за которую душа болит. Ровно ничего не знаю, что там делается. Заколдованное, плачевное дело! Корреспондент мой Евгений, брат Чеха, давно что-то молчит. <...>

Сейчас пробежал телеграфическое известие из Ирбита, что Балаклава взята нашими и что 3 т. врагов легло на месте. Ура! будем ждать 18 № «Мос<ковских> ведомостей». Говорят, это там подробно рассказано. Минеев, впрочем, должен быть у нас прежде этого листка. Я сказал, потому что меня эта новость расшевелила, и потом уже придумал, что вы ее сами услышите. <...>

Верный ваш *И. П.*

195. И. Д. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 7 марта 1855 г.

<...> Теперь такое новое событие, которое поглощает все мелочи вседневной нашей жизни, которую вы живо можете представить. Разумеется, очень естественно человеку, рожденному на свет, умереть — как царю, так и подданному, но умереть в такую минуту тому, который затеял всю кутерьму,— это не совсем обыкновенно[1]. Одним словом,

этим многое может разрешиться. Новому правителю легче действовать и поправлять ошибки не свои. С другой стороны, и наши враги, может быть, поймут, что не к чему елозить и мучиться. Не будет подозрений на захват несчастного Константинополя, который они мирным образом заняли.

Теперь вы знаете то же, что и мы знаем из газет и от перелетных посетителей дома Бронникова; но, верно, не знаете, что из всего этого будет и какой тропой пойдет Александр.

За одно не спасибо ему, что он передал гласности последние слова отца[2], вспомнившего нас и при гробе. Кажется, сыну следовало бы оставить при себе такое чувство умирающего отца. Мне на его месте совестно бы было поставить весь мир свидетелем такой беседы. Возьмите приказ по войскам, хотя вы не читаете газет. Увидим, что будет.

Вы можете себе представить, что мы здесь толкуем про все, что может быть и не быть. Обширное поле для предположений и споров. Мы им пользуемся вполне. <...>

Гончарова не видать и, без сомнения, уже не будет. Жаль, мне хотелось на него взглянуть[3].

<...> Ничего нет мудреного, что двинут весь туалет. Если не будет этих фантов при перемене царства, то, вероятно, никогда не будет. Я ничего не загадываю, но и не удивлюсь, если скажут: отправляйтесь куда знаете. 30 лет без нескольких месяцев — такая хронология не часто бывает. <...>

Верный ваш *И. П.*

196. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 28 марта 1855 г.

<...> Давно что-то от вас нет листка. Наступило новое царство с тех пор. Что-то оно скажет в делах общественных? Покамест ничего не выражается. Как будто только вставлен один зубец вместо другого.

Тучи собираются — тучи темные и кровавые. Переговоры о мире в ходу, а лагери на всех возможных пунктах. Чудеса, да и только.

Теперь такое время, что о себе не думается. Сердце болит за многие сотни тысяч. Аминь. <...>

Верный ваш *Маремьяна-старица.*

197. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 13 мая <1855 г.>.

<...> Спасибо вам за все сообщаемые новости. Очень рад был прочесть стихи Пушкина; они его напоминают, но точно ли его, наверное не берусь решить. Тут нужна сознательная критика[1].

<...> Очень желаю видеть ваши новые фотографические опыты, а еще лучше, если вы сами их привезете. Когда же вас ожидать? Это вернее свидания в Москве.

Вся наша древность и молодежь вас приветствует. Все здоровы. <...>

198. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 27 мая <1855 г.>.

Май месяц был мне хлопотлив, торжественные дни, в которые приходится хлопотать самому виновнику торжества, хоть вообще гости народ неприхотливый. К тому же вдобавок привязался ко мне какой-то кашель, от которого до сих пор голос мой не отличается звучностию. Это, впрочем, в порядке вещей; ибо мы уже XXX лет лишены голоса, в строгом и существенном смысле этого органа.

Вы мне при ваших изворотах говорите, что Дорохова у отца, а я вам скажу, что она уже начальницей института в Нижнем. Я уже к ней туда писал, радуясь, что она, оставивши свои поздние фантазии, опять деятельную жизнь начала. Скоро жду от нее известий с новоселья. Уверен, что на новом месте полюбят эту женщину, одаренную необыкновенной теплотой души.

<...> Прекрасно делаете, что оставляете под красным сукном надежды, которыми и вас, как и меня, потчуют добрые люди. Это очень понятно и естественно с их стороны, но, кажется, мы, допотопные, не подлежим ни переменам погоды, ни переменам царства.

Я тоже восстановил ограду, уничтоженную прошлогодним разлитием Тобола, и засеял свой огород. Воображаю роскошь вашего Соломенного и стыжусь говорить о моем цинциннатстве[1].

Извините, что не буду политиковать. Набил оскомину говоря, не только писавши об этом мрачном предмете. Наро-

ды, где они имеют значение, до того перепутались, что я совершенно потерял толк. Спасибо безответным руссакам, что они держатся на славу. Севастополь с ума и с сердца не сходит: совестно обогреться божьим солнышком и свободно подышать теплотой. Сейчас видишь наши сады в крови, покрытые бесчисленными жертвами. Небывалая оборона. Вобан и прочие стали бы в тупик, если б увидели осажденных осаждающими осаждающих.

Прочтите речь Наполеона на выставке. Отсюда так и хочется взять его за шиворот. Но что же французы? Где же умы и люди, закаленные на пользу человечества в переворотах общественных? — Тут что-то кроется. Явится новое, неожиданное самим двигателям. В этой одной вере можно найти некоторое успокоение при беспрестанном недоумении. Приезжайте сюда, и будем толковать — а писать нет возможности. <...>

Наш Иван Дмитриевич опять было очень захворал, но теперь несколько оперился. Дай бог выздоровления. Печальные вести о Н. Бестужеве. Он, возвращаясь из Иркутска в Селенгинск, сильно простудился и отчаянно болен. На этом остановилась весть о нем. Ужели опять новая могила![2]

Верный ваш *И. П.*

199. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, суббота, 4—6 июня <1>855 <г.>.

Дорогой друг Матрена Петровна[1]. <...> Наш Ланкастер долго молчал, потому что болезнь бросилась на глаза. <...> Он бросил все аптечные снадобья и, проводивши Печилова в экспедицию на Амур, перешел к С<ергею> П<етровичу>, засел в темную комнату с лишком на месяц <...>.

Николай Александрович Б<естужев> в конце марта выехал из Иркутска домой в Селенгинск, простудился и отчаянно болен. <...> Ужели опять новая могила?

Все это не очень утешительно, но есть еще третье письмо от известной вам Дросиды Ивановны. <...> Когда в 850-м году, по возвращении моем из отрадного путешествия, я отправлял ее с казаком Пежемским в свою сторону <...>, она вручила мне, кроме Вани, свой капитал за десять процентов в год. В продолжение пяти лет я уже процента-

ми уплатил ей половину капитала и делал это в том убеждении, что она беззаботна насчет своей фортуны. Вдруг она просит теперь, чтоб я ей выслал все деньги. Это прекрасно, но у меня их нет[2]. К своим я писать не могу, потому что знаю, что и у них теперь тонко. Между тем есть русская пословица: с чужого коня среди грязи долой! <...> Если вы можете и верите мне, то пришлите три ломбардных билета, каждый в *триста* целковых, а один в *сто* ц<елковых>, т. е. всего на *тысячу рублей серебром.* <...> Эта сумма будет вам возвращена, может быть, через год, а наверное, через два, с процентами опекунского совета. Билеты должны быть на имя *неизвестного;* так меня просят. Опекун мой Михаил хлопочет осуществить мою долю, но теперешние обстоятельства всему мешают. <...>

6 июня. <...> Газеты мрачны. Высаживаются враги в разных пунктах наших садов и плавают в наших морях. Вообще сложное время, и бог знает чем все это кончится. Настоящих действователей у нас не вижу. Кровь льется, и много оплакиваемых. <...>

Верная вам *М. Мешалкина*[3].

200. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 10 июня 1855 г.

<...> Вчера получил я, добрый мой фотограф, ваше письмо от 27 мая. Спасибо вам за обе пиэсы Пушкина, особенно за «Челн»[1]. С особенным чувством читал и перечитывал его.

<...> Крымские известия тоже нерадостны. Один Севастополь светит, да и тому может быть плохо, если движение войск с разных точек, уже занятых, внутри Крыма будет успешно. Ничего не понимаю – лучше буду молчать.

201. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, воскресенье, 19 июня <1855 г.>.

В четверг рано утром завез мне Добронравов твои листы, добрый друг Николай. Спасибо тебе за твой рассказ – именно судьба тебя отыскала, и я вполне уверен, что

ты сделаешь все по ожиданию К<онстантина> Н<иколаевича>. Он, без сомнения, тебя выбрал не по технической части, а по бескорыстию, которое в нынешнем веке капитал. Следовательно, тебе, без всякой скромности, можно быть на этом месте тем, чем ты есть[1]. <...>

Заботливо теперь у меня — паралич бедной Михеевны совершенно срезал и нас. Вот скоро три недели, что мы все возимся с нею, но успеха мало, и вряд ли можно надеяться на выздоровление. Она всегда была, на старости лет, олицетворенная деятельность; и тем ей теперь труднее, нежели другому, привыкшему хворать. Делаем, что можем,— и это наша прямая обязанность за ее заботы об нас в продолжение 13-ти лет.

О политике не буду говорить, набило оскомину. Удивляюсь одному, что при множестве войска никогда нет его там, где оно нужно.

Последние известия из Крыма нерадостны.

Образ действий флотов просто наводит отвращение.

Тоска — да и только!

Кто же действователь у нас? Ужели Ростовцев распоряжает военными делами? Он и Витовтов мне надоели своими адресами и приказами. Мундиры бесят меня. Как-то совестно читать о пуговицах в такую минуту.

Обнимаю тебя с женой и детьми. Обними всех наших. Действуй, добрый друг, и вспоминай твоего брата Jeannot.

Когда же Петр ко мне напишет? <...>

202. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 23 июля <1855 г.>.

12-го июля проводил Якова Дмитриевича, в надежде опять увидеть в августе. С тех пор в доме Бронникова ничего не переменилось. Михеевна в том же параличе — и даже прихватило теперь зрение. Все это большая помеха у меня — тем более, что я не умею вполовину о ком-нибудь заботиться.

<...> Посылаю вам для развлечения три брошюрки — прочтите, если еще не читали[1]. Если же они вам уже знакомы, то при случае возвратите. Со временем пришлю вам еще три новые, две об Крымской кампании, а одна об

венских конференциях[2]. На днях только их получил и не успел прочесть. Зиновьев оставил нам два-три увража*. По прочтении в нашем околотке, к вам же пришлю. Таким образом, будет что подержать в руках. Вообще у нас бедность типографическая. Приходится больше рассказывать и наблюдать: ни из того, ни из другого ничего не выходит путного.

Крепко вас обнимаю за себя и за всех наших допотопных. Старики держатся, хоть иногда и кряхтят. Иначе не может быть, когда такая хронология, не выдерживающая благоразумной критики.

О политике молчок: это самое благоразумное дело. Тут надобно или без конца болтать, или молчать. Храни вас бог.

Верный *И. П.*

203. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 1 августа <1855 г.>.

<...> Спасибо тебе за полновесные книги: этим ты не мне одному доставил удовольствие — все мы будем читать и тебя благодарить. Не отрадные вести ты мне сообщаешь о новой нашей современности — она бледна чересчур, и только одна вера в судьбы России может помирить с теперешнею тяжелою думою. Исхода покамест не вижу, может быть оттого, что слишком далеко живу. Вообще тоскливо об этом говорить, да и что говорить, надобно говорить не на бумаге. <...>

Я бы желал получать «Морской сборник», если он не дорог. Этот журнал дышит отрадной деятельностию[1]. Евгений просит тебя сказать ему что-нибудь о Шестакове, который, верно, тебе знаком и который женат на его племяннице. Кажется, малый способный и дельный. <...>

Недавно узнал, что Нелинька выхлопотала позволение М<арии> Н<иколаевне> ехать в Москву. Значит, она будет здесь, и тогда больше с тобой поболтаю. <...>

Скажи Федернелке, что я получил его фотографический портрет, готов был расцеловать его, если б не боялся ис-

---

* произведения (от *фр.* ouvrage).

портить моим соприкосновением, так живо старческие черты мне напомнили его молодого. Я к нему буду скоро писать. Спасибо и за брошюрки. Хотя в них нет ничего особенного, но все-таки прочел их со вниманием, как читаю все, что касается до теперешнего вопроса.

<...> Ничего нет мудреного, что Мария Николаевна повезет Аннушку к Дороховой, которая, сделавшись директрисой института в Нижнем, с необыкновенною любовью просит, чтобы я ей прислал ее для воспитания,— принимает ее, как дочь, к себе и говорит, что это для нее благо, что этим я ей возвращу то, что она потеряла, лишившись единственной своей дочери.

Тут просто действует провидение, и я только должен благодарить бога и добрую женщину. Теперь подготовляю, что нужно для дороги, и с полной уверенностию провожу Аннушку. Может быть, бог даст, и сам когда-нибудь ее увижу за Уралом. Жаль, что я не могу тебе послать теперь писем Дороховой,— впрочем, если Мария Николаевна поедет с Аннушкой, то я тебе с нею их перешлю, но только с тем непременным условием, чтоб ты мне их возвратил. Это мое богатство. Не знаю, за что эта добрая женщина с такою дружбою ко мне. <...>

Верный твой *И. П.*

204. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Ялуторовск>, 13 сентября 1855 г.

<...> Абаза здесь был, когда пришла горькая весть о Севастополе[1]. Плохо наши правители и командиры действуют. Солдаты и вообще Россия — прелесть! За что эти жертвы гибнут в этом потоке? Точно, прошлого царя можно назвать незабвенным, теперь бедная Россия поплачивается за его полицию в Европе. Полиция вообще наскучивает, и теперь пришлось поплатиться за эту докуку. Грустно — тоска! Все-таки верю в судьбу безответной Руси.

Новое царство больше нежели бледно, да и нелегко действовать в таких обстоятельствах. Я бы созвал, на его месте, народное вече, чтоб не лежала на мне ответственность за отца незабвенного[2]! Кажется, этого ничего не будет — пахнет только мундирами и пуговицами. Совестно

это читать при бойне крымской, где мы встречаем врагов в больших силах.

Что ж делать, добрый друг, настала тяжелая година — под этим впечатлением не болтается, будем ждать, что будет! Как-то мудрено представить себе хорошее. Между тем одно ясно, что в судьбах человечества совершается важный процесс. Все так перепуталось, что ровно ничего не поймешь, наш слабый разум теряется в догадках, но я верю, что из всех этих страданий должно быть что-нибудь новое. Сонные пробудятся, и звезда просветит[3]. Иначе не могу себя успокоить.

Нелинька меня тревожит; последнее письмо обещает, что будет смягчение, но я не разделяю эти надежды, пока не узнаю что-нибудь верное. Это милое существо с ума у меня не сходит. Обещала меня уведомить тотчас, когда будет конфирмация. И тут ничего не поймешь.

Вдова Юшневская получила позволение ехать на родину. Это такие дроби, о которых совестно говорить.

Нелегкая меня к вам не понесет, а все надеюсь вас видеть в доме Бронникова, известном всей Европе. Михеевне плохо — глаза потемнели. Берегу ее, как умею, — за долговременную службу. Аминь.

Вся колония вас обнимает. Порошит снег — камин согревает.

Верный ваш *И. П.*

Брошюрки в исправности получил. Есть у меня другие, но посылать не смею. Все вздор.

205. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 22—23 ноября 1855 г.

Давно не было от тебя, любезный друг Николай, весточки прямой — и жена твоя что-то молчит. Я понимаю, что на вас всех, как на меня, действуют современные дела. Они неимоверно тяготят — как-то не видишь деятеля при громадных усилиях народа. Эти силы, без двигателя, только затруднение во всех отношениях.

Вот куда бросилась мысль при самом начале, а сел к столу с тем, чтоб сказать тебе, что я 13 ноября получил твой листок от 31 августа с брошюрками, которые, верно, прислал мой Федернелко.

За Victor Joly большое спасибо. Второй выпуск его статей лучше первых. Приятно слышать независимый голос бельгийца, одаренного верным взглядом. <...>

Я тут думал найти *«Вопросы жизни»,* о которых ты давно говоришь. Я жажду их прочесть, потому что теперь все обращается в вопросы[1]. Лишь бы они разрешились ко благу человечества — а что-то новое выкраивается. Без причин не бывает таких потрясений.

Я вижу, что ты получил мое письмо, где я говорил тебе об Аннушке моей. <...> Контрабандные сношения, при всей их незлобности, требуют скорого отклика, иначе невольно зарождается сомнение. <...>

Теперь я в ожидании семьи, которая повезет Аннушку к Марье Александровне. Заключу мою беседу с тобой, когда эта семья явится ко мне. Им поручу бросить в ящик в первом городе мой штемпелевый.

Проси Дмитрия Ивановича, чтоб он подписался на «Морской сборник» и «Illustration» и велел высылать их Николаю Яковлевичу. Я не хочу более получать «Journal de S.-Petersbourg», которым пользовался нынешний год. Все то же, что в «Московских ведомостях»,— и иногда даже позже. Стоит то же, что «Illustration», а там я надеюсь найти и портреты и местности, любопытные в нашем далеке. Деньги за эти издания он вычтет из генварской присылки. <...>

Посылаю тебе все письма Дороховой, чтоб ты с женой их прочел, сообщив нашим и моему старому директору. Из этих писем вы увидите, добрые мои друзья, на чем основано мое решение расстаться с Аннушкой. Это просто благоволение свыше. Тут нечего говорить эгоистически об разлуке. Явно провидение благоволит, наше дело благодарить и благоговеть. Я принимаю все это с глубокою благодарностию — проникнут этим отрадным чувством и точно не понимаю, за что так делается? Самый этот вопрос исполняет меня каким-то невыразимым внутренним, молитвенным утешением. Помогай бог моей новой сестре в ее попечениях об Аннушке. Я ей уже писал, что посылаю ей здоровье и труд от брата, который счастлив тем, что новая его сестра считает его благодетелем, между тем как он сознает, что она ему благодетельствует. Последний ее листок меня несколько отуманил. Я за нее испугался, но и тут, помолившись богу, вверился провидению. Так все это необыкновенно устраивается, что нет возможности не послать Аннуш-

ку. Ты увидишь ее спутниц. Может быть даже, я попрошу их доставить этот пакет лично. Это будет зависеть от того, что будут ли они где-нибудь останавливаться. Письма Дороховой возврати при случае. Это мой капитал.

Покамест прощай. Идем обедать к А. В. Ентальцевой. Теперь у нас все проводинные сходки. Вчера вечеровали у Евгения, Аннушкиного крестного. Я ей проповедую, чтоб она благодарила бога за любовь всех с самого ее детства.

Для Гусевой сделай, что можешь. Я ей всегда пишу, чтоб она прямо обращалась к тебе. Мы с ней в частых сношениях, но от меня, кроме изъяснений, никакого нет толку. В полном смысле слова: Маремьяна-старица! Это уже вошло в мое призвание. Благодаря бога, старая Маремьяна иногда и не бесполезно заботится.

До свидания. Не знаю, личного ли, по крайней мере еще допишу этот листок.

23 <ноября>.

После обеда. Сейчас еду проводить Аннушку. Не пишется. Этот пакет тебе доставит Елизавета Алексеевна Кобелева,— надеюсь, что она благополучно доставит Аннушку Марье Александровне. Я очень доволен, что спутницы у нее такие добрые,— ей не будет скучно в дороге — и я спокоен.

Обнимаю тебя, Марью Николаевну. Целую деток ваших. К Eudoxie пишу казенным путем. Расцелуй всю семью. Может быть, нынешнюю зиму Марья Яковлевна увидится с Аннушкой. Теперь она от вас недалеко будет.

Верный твой *И. П.*

206. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск, ноябрь 1855 г.>

<...> Вы уже знаете, что К<лейнмихель> сменен, но, может быть, не знаете, что это был единственный человек в России, qui a en le suffrage universelle* (то есть что все мнения согласны были на его счет)[1]. Потом в народе говорят, что будто ц<арь>, скучая в Николаеве, говорит: «Дай потешу народ мой, сменю К<лейнмихеля>». Читайте и разумейте.

---

* Букв.: который получил всеобщее признание *(фр.)*.

Все тоска, любезный друг. Должно быть, что-нибудь выкраивается. Как-то не совсем ладно все идет. <...>

Все вас обнимают в надежде скоро расцеловать реально.

Мы погоревали о Василии Львовиче. И эта весть пришла как будто совершенно неожиданно, хотя он сам давно уже мне пишет, что ощущает в себе начало конца[2]. <...>

207. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 16 генваря 1856 г.

Сегодня получена посылка, добрый друг мой Матрена Петровна. *Все* нашел, *все* в моих руках. Спешу тебе[1] это сказать, чтоб тебя успокоить. Qui cherche, trouve!* Ничего еще не читал. <...> Скоро откликнусь — и откликнусь с чувством признательной затаенной любви. <...> Прочел стихи:

Стану молиться я богу,
Стану тебя поджидать[2].

<...> Ваня вертит свою игрушку и очень доволен. <...> От Аннушки получил весточку от 3 генваря. <...>

Поцелуй Таню — меня пугает слово на надписях. Все какое-то прощание! а я это слово не люблю вообще, а особенно от нее[3]. Не лучше ли: до свидания! Где-нибудь и как-нибудь.

Обнимаю тебя крепко. <...> До свидания!

Верный твой *И. П.*

Ваня целует тебя. Он теперь почти здоров и скоро поедет в училище.

208. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 30 генваря 1856 г. отправляется.

Вот уже две недели, как я сказал тебе, друг мой неуловимый, что посылка в моих руках. <...>

После полуночи остался один,— нет, не один, а с тобой в виде грозного судьи! <...> Я распечатываю, по твоему

---

* Кто ищет — находит! *(фр.)*

приказанию, одну только вторую часть «Унженской поэмы». Читаю листок от 22 октября. Перехожу к дневнику <...>, не сходя с места, произнес свой приговор: стать перед тобой на колени[1]. <...>

Ты непостижимое создание. <...> «Не понимаю, почему нельзя быть с признанным братом при всех и нежно наружно? Зачем ставить себя в безвыходное положение — и страдать, когда есть сознание чего-то другого?..»

Заочные наши сношения затруднены. Я с некоторого времени боюсь с тобой говорить на бумаге. Или худо выражаюсь, или ты меня не хочешь понимать, а мне, бестолковому, все кажется ясно, потому что я уверен в тебе больше, нежели в самом себе... Прости мне, если всякое мое слово отражается в тебе болезненно. <...>

Таню <...> я и люблю! Неуловимая моя Таня! <...>

Странное дело! Таня со мной прощается, а я в ее *прощай* вижу зарю отрадного свидания! И так ясно вижу эту звездочку, что теперь сам прошу приехать прямо в Аннушкину комнату. Мне кажется, что я просто с ума сошел, — меня отталкивают, а я убеждаюсь, что — ближе, нежели когда-нибудь, и все мечтаю!..

Верь мне, твоему заветному спутнику! Убежден, что мы с тобой встретимся, о многом ты от меня услышишь. <...>

Не верю тебе самой, когда ты мне говоришь, что я слишком благоразумен. Я шалун был и останусь. <...> Власть твоя надо мною все может из меня сделать. Пожалуйста, не говори мне об Онегине. Я Иван и ни в какие подражания не вхожу[2]. <...>

209. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 7 февраля 1856 г.

Вот твой знакомец Александр Егорович Врангель! Этот раз он непременно будет у тебя, любезный друг Николай.

Корсаков провел у меня вечер 31 генваря; с ним — твое письмо от 11 генваря, со старым от 8 августа, с «Вопросами жизни» и с облатками. «Вопросы» читаю с истинным удовольствием, но еще не кончил, потому что Евгений взял и говорит, что я могу после него прочесть. Когда воз-

вратит, передам тебе мое впечатление. Будь спокоен и успокой Пирогова — рукопись его не будет в чужих руках. <...>

Отвсюду говорят, будто бы намерены нас пустить за Урал. Нарышкин меня в этом уверяет. Как тебе нравится это соображение — оно вроде многих теперешних. <...>

Менделеев уже в Симферополе на службе[1]. <...>

Спасибо за облатки: я ими поделился с Пушкиным и Евгением[2]. Следовало бы, по старой памяти, послать долю и Наталье Дмитриевне, но она теперь сама в облаточном мире живет. Как бы хотелось ее обнять. Хоть бы Пушкина ты выхлопотал туда. Еще причина, почему ты должен быть сенатором. Поговаривают, что есть охотник купить дом Бронникова. Значит, мне нужно будет стаскиваться с мели, на которой сижу 12 лет. Кажется, все это логически!

Неизменный твой *И. П.*

Михеевна в слепоте просит усердно тебе кланяться.

210. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 13 февраля <1856 г.>.

31 генваря был у меня Корсаков, он уделил нам восемь часов — это уже много, при их скачке. Видел моих родных, привез от них письма. В Нижнем не узнал Аннушку, которая его встретила, когда он вошел к директрисе. <...> И от нее был с ним листок. М<арья> А<лександровна> просит, чтоб я Аннушку называл Ниной, в воспоминание ее дочери. <...>

Корсаков меня успокоил насчет плачевного дела. Говорит, что есть несомненная надежда на окончание сколько-нибудь сносное. Все это несколько умирит бедную Нелиньку с роковой ее судьбой. Страшная драма разыгрывается с этим существом. Может быть, это так суждено, чтоб ее оценили. Жду, чтоб ты ее увидела. Верно, полюбишь.

3 февраля, в день Аннушкиных именин. <...> Беспрестанно отрывали меня в этот день поздравительные посещения. <...>

6 и 7-го числа опять гость — молодой Врангель, лицеист, служащий в Семипалатинске. Опять толкотня в доме Бронникова. <...> Еще моряк князь Оболенский с Амура. <...> С ним беседа любопытна.

7-го, когда я сидел с Ваней за ужином, бросился на меня Миша Волконский. Курьером скачет к Н<иколаю> Н<иколаевичу>. Тут много перебежало и в голове и сердце в продолжение получаса, что он у меня пробыл. <...>

8-го приехал погостить Казимирский с Сашурой миниатюрной. Они и теперь у меня, останутся до масленицы. Он необыкновенно добрый человек, особенно к твоему *холодному* другу. Не смею опять спросить, за что? <...>

Письмо из Тобольска. Вскрываю и бросаюсь на шею Казимирскому. Он просто чуть не упал. «Что такое?» — Пушкин освобожден!!! <...> Понимаешь ли ты, как я обниму нашего гомеопата в доме Бронникова?[1] <...>

И<ван> Д<митриевич> все хворает. Пишет мне несколько слов в письме Вячеслава.

Учи меня, добрый друг, авось будет прок в юноше, жаждущем науки. <...>

Позволь тебя обнять, не говоря как. <...>

211. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск, февраль — март 1856 г.>

<...> 24-го я отправил барону твои деньги; разумеется, не сказал от кого, только сказал, что и не от меня. <...> От души спасибо тебе, друг, что послала по возможности нашему старику. В утешение тебе скажу, что мне удалось чрез одного здешнего доброго человека добыть барону ежемесячно по 20 целковых. Каждое 1-ое число (началось с генваря) получаю из откупа эту сумму и отправляю, куда следует. Значит, барон покамест несколько обеспечен[1]. <...>

Прихворнул, тотчас принял меры. Пустил из левой руки кровь и другими освежающими средствами успокоил волнение. Теперь полегче. <...>

Ужели ты в самом деле думаешь, что я кого-нибудь виню или осуждаю? Именно ни тени ничего этого во мне нет. Я осужден в первом разряде и считаю своим уделом нести это осуждение. Тут действует то же чувство, которое заста-

вляло меня походом[2] <не> сидеть на лошади, а вести ее в поводу, когда спешивалась вся батарея,— чуть ли не я один это делал и нисколько не винил других офицеров, которым не хотелось в жар, по глубокому песку проходить по нескольку верст. То же самое на мельнице, я молол постоянно свои 20 фунтов, другие нанимали. Разве я осуждал кого-нибудь? В походе за Байкалом[3] я ни разу не присел на повозку. Меня же называли педантом. Вот мое самолюбие! Суди как знаешь. Может быть, это муха, в которой я не даю себе отчета, знаю только, что мне с ней ловко и ни малейшей занозы против кого бы то ни было.

Теперь я по воле твоей разрешил брату располагать мною в твое соседство. Это я сделал легко и даже с наслаждением[4]. Увидим, что из этого будет. Я знаю только, что я тебя увижу непременно! Но знаю также, что вряд ли это будет для меня исключением. Спроси брата Николая, почему я думаю, что меня прежде других не пустят. До перемены царства по крайней мере так было. Впрочем, теперь тут вмешалось другое,— может быть, и будет успех. <...>

Сегодня прощеный день — *бедовый* человек издали просит, чтоб ты простила его и позволила любить тебя так, чтоб это не было для тебя невыносимой бедой. <...> Одна любовь залечивает раны. <...>

Долго я смотрел на Девичий монастырь[5] — и мне знакомо это место,— я часто там бывал, живя близко у Колошиных. <...>

Дело плачевное, должно быть, кончено. Последнее известие, что конфирмация отложена до приезда Н<иколая> Н<иколаевича>, а он уже с 10 февраля в Петербурге. <...>

Ал<ександра> Ив<ановна> Давыдова послала просьбу о возвращении на родину. Юшневская писала мне из Нижнего, а из Киева еще нет весточки. <...>

Аннушке в сентябре минет 14-ть. <...> Она почти с меня ростом; нельзя сказать, чтоб была так хороша, как я, но открытая, приятная, веселая рожица. Ловка и ласкова! <...>

Горе тому и той, кто живет без заботы сердечной,— это просто прозябание! <...>

2 марта. Все ждали нашего Кита[6], но его до сих пор нет. <...> Подождем, узнаем наконец, как все преодолевается терпением,— это добродетель русских. <...>

Поцелуй крепко Таню, мне кажется, что она сердита.

212. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 12 марта <1856 г.>.

Вы уже знаете, добрый друг Петр Николаевич, из письма Павла Сергеевича, посланного с Рудаковым, что поезд двинулся от меня 6 марта. При выезде была маленькая тревога, но дело обошлось мирно. К счастью, тут случился Тизенгаузен — и его сопровождение на две станции убедило *нас,* что везут на восток, а не на запад. А то уже было заявление ко мне, как хозяину дома и члену верховной думы Тайного республиканского общества, что справится с двумя казаками. Я, разумеется, поднял голос и объявил, что вместо двух явится сотня татар, следовательно, бой не равен! Это несколько тоже подействовало[1]. Прочие дни он был и мил и любезен с нашими дамами на обедах и вечерах. Разумеется, принимал их за девиц и не допускал, что Ольга Ивановна — жена Басаргина, а просто актриса Медведева. Александра Васильевна была очень довольна воззрением на *дамский пол,* как выражался некогда mon bon ami* Тютчев[2]. Просто смех и горе! Но душа болит за нашего друга Павла. С ним я просиживал ночи, на прощание наговорились. Брат проводил ночи во флигеле, иначе не было бы возможности молвить слова.

Вот вам листок, полученный мною сейчас из Екатеринбурга. Едут хорошо; дай только бог, чтобы было спокойно и благополучно.

Недавно было письмо от Казимирского — он просит меня благодарить вас за радушный и дружеский прием. Подозревает даже, что я натолковал вам о его гастрономических направлениях. Ваш гомерический обед родил в нем это подозрение. Вообще он не умеет быть вам довольно признательным. Говорит: «Теперь я между Свистуновым и Анненковым совершенно чувствую себя не чужим».

Зиночка объявлена невестой Свербеева. Жених из Петербурга будет у меня около 17 марта. Союз по склонности и, кажется, счастливее других сестер.

Ребиндер назначается в Киев попечителем. Сашенька ожидает скоро сына или дочь. Летом поедет в Иркутск за

---

* мой добрый друг *(фр.).*

Николенькой, а может быть, и Ребиндер сам за нее совершит это путешествие.

Вот вам покамест все. Обнимаю вас. Пожмите руку Татьяне Александровне. Новое ваше поколение приласкайте за меня.

Верный ваш *П.*

Все наши вас приветствуют.

213. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 16 марта <1856 г.>.

<...> С почтой получил Басаргин письмо Киреева. Киреев пишет о смерти Тютчева 24-го генваря — от горячки.— Нынче что-то очень часто убыль в наших рядах. Впрочем, это в порядке вещей. Мы спрашиваем Киреева, что осталось после mon bon ami. Вероятно, есть потомство, и, верно, в бедственном положении[1].

В Минусинске князь Костров окружным начальником. Он женат на Бердяевой — племяннице Тютчева. Без сомнения, по возможности что-нибудь сделают. <...>

214. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 19—26 марта <1856 г.>.

Сегодня почта привезла мне, добрый друг мой, конверт с незнакомой надписью — я угадал инстинктивно, что это от тебя. <...>

20 марта.

<...> Приехал брат Жозефины — Бракман из Тобольска. <...> От него слышал неожиданную новость — Ж<озефина> А<дамовна> вышла за Мейера! <...>

26 марта.

<...> Опять пришла почта, принесли одно только письмо от Константина Ивановича из Кронштадта. Этот раз оно на меня сделало то впечатление, как когда я перед 14-м

поздно вечером подъехал к вашему крыльцу в деревне. Выбегает со свечой Михаил Александрович и кричит: «Здравствуй, Сергей Павлович!»[1] <...>

Недавно нам был циркулярный запрос от губернатора. Городничий от каждого из нас взял показание. Вопрос в том: где находится семейство и из кого состоит[2]. <...> Мой ответ: «Семейство мое состоит из сестер и братьев, которые все живут в Петербурге. Сам я холост». Следовало бы по-настоящему сказать: пишу 30 лет через III отделение. Прошу взглянуть на адресы — и все сведения получите. По-моему, если хотят возвратить допотопных, стоит только сказать: поезжайте, куда желаете, и скажите нам, куда едете.

В газетах все надежды на мир, а Кронштадт Иванов укрепляет неутомимо — говорит, что три месяца работает как никогда. Иногда едва успевает пообедать. С ним действует и брат Павла Сергеевича. <...> Сердечно целую Таню, которую один я знаю, а Н<аталье> Д<митриевне> посылаю и свой и всех нас дружеский привет. <...>

Верный твой гонитель и мучитель.

215. П. Н. СВИСТУНОВУ

<Ялуторовск>, 21 марта <1856 г.>.

<...> Вчера получили весточку от Аннушки моей. Она уже познакомилась с моим братом Михайлом, который с женой навестил ее. Они из Петербурга ездили в Дивеевскую пустынь, где в общине живет сестра братниной жены, Подкользина. На возвратном пути опять погостят у Дороховой, которая просто сроднилась с нами. Она так любит Аннушку, что уже называет ее нашей дочерью — и вдобавок переименовала в Нину, в воспоминание той, которую она оплакала 16-ти лет.

О Свербееве скажу вам, что он остается в Сибири, пока Сергей Петрович не тронется с места. Это говорит за его чувства[1].

Прекрасно сделали, что писали Наталье Дмитриевне об сватовстве Якова Дмитриевича. Она посмеется, как не часто ей случается смеяться при теперешней обстановке.

Последнее письмо от нее, что она захворала дорогой в Кострому. Надеюсь, что эта тревога пройдет,— а меня тревожит. Всегда с ней был близок, а теперь еще больше из моего *далека* с нею сблизился. Существо не всем понятное, но точно симпатичное. <...> Сейчас проводил двух артиллеристов, которые из Нижнего ко мне приехали с отрадными вестями об моей Аннушке и ее мамаше, за которую вы меня, допотопного, сватаете.

Если возвратят нас, я бросаю якорь в Нижнем, но нисколько не думаю о сочетании.

Верный ваш *И. П.*

216. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 30 марта <1856 г.>.

Сегодня откликаю тебе, любезный друг Николай, на твой листок от 2 марта, который привез мне 22-го числа Зиночкин жених. Он пробыл с нами 12 часов: это много для курьера и жениха, но мало для нас, которые на лету ловили добрых людей. Странное дело — ты до сих пор ни слова не говоришь на письма с Кобелевой, с Врангелем и с Якушкиным. <...>

Пожалуйста, скажи что-нибудь на этот счет. Разумеется, это не государственные депеши, но если пишет государственный *человек,* чтобы не сказать другого своего звания, то желает, чтоб достигло его писание своего назначения. <...>

Ты говоришь: верую, что будет мир, а я сейчас слышал, что проскакал курьер с этим известием в Иркутск[1]. Должно быть, верно, потому что это сказал почтмейстер Николаю Яковлевичу. Будет ли мир прочен — это другой вопрос, но все-таки хорошо, что будет отдых. Нельзя же нести на плечах народа, который ни в чем не имеет голоса, всю Европу. Толчок дан поделом — я совершенно с тобой согласен. Пора понять, что есть дело дома и что не нужно быть полицией в Европе. <...>

Вскоре после отъезда П<авла> С<ергеевича> с нас и с поляков отбирали показания: где семейство находится и из кого состоит. Разумеется, я отвечал, что семейство мое состоит из сестер и братьев, которые живут в Петербурге,

а сам холост. По-моему, нечего бы спрашивать, если думают возвратить *допотопных*. Стоит взглянуть на адреса писем, которые XXX лет идут через III отделение. Все-таки видно, что чего-то хотят, хоть хотят не очень нетерпеливо. <...>

Расцелуй за меня добрых моих однокашников. <...>

217. П. С. БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ

<Ялуторовск>, 2 апреля 1856 г.

Пора отыскивать тебя, добрый друг Павел Сергеевич, в Алексине, пора приветствовать тебя на родине. <...>

29 марта пришло твое письмо из Нижнего. Душевно рад, что М<арья> А<лександровна> и Аннушка полюбились тебе,— они просто с восхищением говорят о встрече с тобой. <...>

Первый посетитель после тебя был Бракман — он отправился в Екатеринбург торговать или не знаю, что делать. Сообщил нам известие о свадьбе Ж<озефины> А<дамовны> с Мейером, которая должна была совершиться в Дерпте в первое воскресенье Великого поста.

Я тогда послал от Терпугова просьбу в консисторию[1].

У нас спрашивали, где находится семейство и из кого состоит. Отобрали и с нас и с поляков показания и тотчас отправили. Увидим, что будет. <...> Мне сдается, что наконец отпустят. <...>

Жаль, что ты одним <днем> не застал Михайлы моего в Нижнем. Он и жена его очень полюбили Аннушку. Он мне говорит, что мою Нину считает и своею! <...>

Верный твой *И. П.*

218. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 15—20 апреля <1856 г.>.

Ночь на Пасху.

<...> Оставим заботу сердечную, перейдем к существенному. <...> Я целую тебя троекратно, чтоб не сказать: мильон раз.

<...> Читал «Пахарь» Григоровича. Пожалуйста, прочти его в мартовской книге «Современника» и скажи мне, какое на тебя сделает впечатление эта душевная повесть[1]. По-моему, она — быль; я уже просил благодарить Григоровича — особенно за начало. В конце немного мелодрама. Григорович — племянник Камиллы Петровны Ивашевой. В эту же ночь написал к М. П. Ледантю, его бабушке. <...>.

16 апреля.

<...> Сегодня известие: А. И. Давыдова получила разрешение ехать на родину. Летом со всей семьей будет в доме Бронникова. Таким образом, в Сибири из приехавших жен остается одна Александра Васильевна. Ей тоже был вопрос вместе с нами. Я не знаю даже, куда она денется, если вздумают отпустить. Отвечала, что никого родных не имеет, хотя я знаю, что у нее есть сестра и замужняя дочь.

Она и мне никогда об этом не говорит. Тут какая-то семейная тайна. При всей мнимой моей близости со вдовою, я не считал себя вправе спрашивать и допрашивать. Между тем на меня делает странное впечатление эта холодная скрытость с близким ей человеком. Воображение худо как-то при этом рисует ее сердце.

Говорят: 1. В Сибири будет наместничество. Наместником будет в<еликий> к<нязь> Н<иколай> Н<иколаевич>. 2. Утвержден проект железной дороги до Иркутска,— вероятно, это предприятие на иностранные капиталы[2]. Не худо соединить Амур с Невою, если Амур не разоружится по трактату, которого мы еще не читали. Манифест приготовляет мнение к уступкам. Я не в пространстве полагаю счастие России, а желал бы, чтоб оно не стесняло в мерах к благосостоянию. До сих пор противное вижу. Я бы задал задачу Европе — объявил бы независимость Польши, которой караул томит Россию. Что бы сказали на это западные державы? Такая мера разрешила бы вопрос Италии, Венгрии и пр. Но, вероятно, ничего этого не будет.

Мир заключен. Я этому рад, но прочен ли он? Это другой вопрос. Натянутое положение не обеспечивает будущности. <...>

Сегодня отвечал Лебедю[3]. Он мне пишет, что, если возвратят, бросает якорь, как и я, в Нижнем, а если нет, то переезжает в Ялуторовск. Я ему сказал, что рад его иметь сожителем в одном городе, но все-таки лучше, если соединимся на Волге, где теперь Аннушка моя восхищается разливом этой главной артерии нашей земли. <...>

Обнимаю тебя, друг тайный души моей! <...> так крепко, что ты должна слышать мои объятия отсюда.

20 апреля.

<...> Сто раз тебя целую! <...>

219. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 23 апреля <1856 г.>.

За три дня до праздника я получил, почтенный Николай Иванович, ваше письмо от 21 марта. Благодарю вас очень, что побеседовали со мной[1]. <...>

Кажется, я давно благодарил вас за «Вопросы»[2]. Они произвели на меня и на нас самое благотворное влияние. Везде мысль и чувство, заочно сближающее с тем, кто думал вслух об этих важных вопросах. Нельзя сказать, чтоб они вполне были разрешены, но дана нить самая благодетельная для блуждающих в этом лабиринте. Я в минуты отдыха беру эту тетрадь и, читая ее, много перебираю в мыслях. Одним словом, большое, сердечное спасибо вам, что вы поделились со мной этим отрадным чтением,— не я один благодарю вас искренно.

И за облатки давно благодарил. Видно, не все мои благодарения доходят до своего назначения, но тем не менее эти благодарения глубоко в душе.

Вы спрашиваете меня о Василье Львовиче и об Николае Александровиче. К прискорбию должен вам сказать, что никто из близких не написал мне об его кончине. Я от посторонних узнал об этих потерях.

Знаю только, что Николай по вызову Якова Дмитриевича приезжал в Иркутск, был совершенно здоров, мил, любезен, добр и весел, как всегда. Провел там месяц и возвращался к Пасхе домой. Спешил, дорогой как-то простудился, а через две недели не стало этого доброго человека. Как бы, кажется, Михайле или Елене Александровне не сказать

мне словечка о последних его днях. Я думал было тогда же обратиться с вопросом, но мне показалось, что это может быть принято за упрек, и к тому же, когда узнал о смерти его и когда пришел бы мой вопрос, много уже времени утекло.

Про Вас<илья> Львовича и того не знаю,— говорят, недолго хворал перед смертию, но он уже был давно болен; давно мне твердили: que c'est le commencement de la fin!* К нему я писал незадолго, и мое письмо осталось без ответа[3]. А<лександра> И<вановна> будет летом здесь — получила разрешение и собирается уже. При свидании расспрошу ее и попеняю, что не погоревала со мной в первые тяжелые минуты. Я считал лишним писать ей condoléances**, кажется, не может сомневаться в моих чувствах — уверять в них я не мастер.

И точно, как вы говорите, в это время еще образовалась ваканция: в Минусинске в генваре нынешнего года новая могила; умер незнакомый вам А. И. Тютчев[4]. С ним теперь 63 с деревянными крестами. А кто знает, может быть, и еще кто-нибудь исчез. Довольно некрологствовать. <...>

Спасибо, что лично исполнили мое поручение к свояку Владимира Ивановича, которому, между прочим, 12 апреля минуло 73 года. Бодр и свеж мыслию и телом![5]

С истинным моим к вам высокопочитанием имею честь быть вашим покорнейшим слугою. *Николай Басаргин.*

Не знаете ли, где Василий Агеевич Абаза? Он в феврале хотел быть, а все нет.

220. НЕИЗВЕСТНОМУ[1]

<Ялуторовск, апрель 1856 г.>.

У нас все благополучно. Нового ничего нет особенного. Читаем то же, что вы читаете. Бесцветное какое-то начало нового царствования. Все подличают публично и подчас целуют руки у царя. Все это дико и ничего не обещает хорошего. Адресов и приказов нет возможности читать. Отличились четыре генерал-адъютанта, а Ростовцев, тот просто истощается в низости; нет силы видеть такие проявле-

---

* что это начало конца! *(фр.)*
** соболезнования *(фр.)*.

ния верноподданничества. Не знаю, были ли эти сцены при Николае,— кажется, не печатались. Знаю только, что Александр I не дозволял так кувыркаться. По-моему, это упадок, и до сих пор не вижу ничего, кроме упадка. Между тем время такое, что можно бы на что-нибудь получше обратить умы. <...>

221. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск, апрель 1856 г.>.

<...> Вопрос от министра внутренних дел был и о всех государственных и политических преступниках. Для них я понимаю существенную амнистию, а для нас это пуф. И, кажется, ждешь, чтоб из допотопных[1] возвращением воспользовались те, у которых ни родных, ни родины, то есть клочка земли уже нет. Я думаю, это отнюдь *не может* оскорбить *правительство* теперешнее. Все сроки давности прежним пропущены. <...>

Лебедь сделал мне приятный сюрприз, послал барону к Пасхе от маленькой артели 30 целковых. <...>

222. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Ялуторовск>, 21 мая <1856 г.>.

Почтенный и любезный мой фотограф, прошу вас побывать в доме гр<афини> Растопчиной за Красными воротами. Отыщите там дворового человека Федора Филипповича Алексеева. Скажите ему, что в феврале месяце писала к нему его матушка с унтер-офицером, провожавшим Ваню Анненкова, и до сих пор не имеет никакого известия. Просит старушка сына откликнуться. <...>

223. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 24 мая—1 июня <1856 г.>.

<...> Я так высоко перед собой, то есть перед мужчиной, ставлю женщину, что никогда не позволю себе думать, чтоб она могла быть виновата. Это изящное создание

всеми обречено на жертвы, а я в этом случае хочу быть исключением. Поклоняюсь ей и буду поклоняться. Это не слова, а глубокое убеждение, в котором все сильнее и сильнее убеждаюсь. <...>

Верный твой *Jean-Jeannot.*

224. Н. И. ПУЩИНУ

<Ялуторовск>, 28 мая. Понедельник, <1856 г.>

<...> Кстати, есть к вам просьба; не откажите сделать, что можете. Авось бог поможет вам. Вот в чем дело.

В Тобольске состоялся приговор над скопцами. Между прочими приговорены к ссылке в Туруханск два брата *Гавасины,* которые в малолетстве приобщены к этой секте, не сознательно сделались жертвами и потом никаких сношений с сектаторами не имели. Мать послала в нынешнем месяце просьбу к министру юстиции. Шепните, кому следует, за этих бедных людей. Если потребуют дело в Сенат, то все будет ясно. Приговоренные сидят в тюменском остроге. <...>

У нас все обстоит благополучно. Все здоровы. Прекрасно бы сделали, если бы могли прокатиться в Тульскую губернию. Туда поехала на несколько дней Наталья Дмитриевна[1]. Она часто ко мне пишет, с необыкновенною добротой уделяет мне свои досуги от деловых занятий. Хлопот ей много.

Ваш покорнейший слуга *Н. Балин*[2].

225. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

Ялуторовск, 11 июня 1856 г.

<...> Спасибо большое за весточку о плачевном деле. Хорошо, что Нелинька перестанет *адвокатствовать,* что не совсем иногда удобно. Но что же дальше? Все очень плохо, и кажется, нет исхода! Вот тут такой fatum, что и ты, друг сердечный, не разгадаешь. Однако, пожалуйста, повидай

Нелиньку — и взгляни на простоту М<арии> Н<иколаевны>. Прежде она этим не отличалась. Мрачно об ней иногда думается. Нелегко ей в этой драме. <...>

Верный твой *Jean-Jeannot.*

226. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 3 августа 1856 г.

Не знаю, застанет ли это письмо Таню в Омске. Жду ее нетерпеливо, в каком бы проявлении ни явилась. Во всяком виде всегда желанная и отрадная гостья[1].

Почтмейстер был так любезен, что сам привез письмо и деньги. Деньги хранятся здесь, как я уже писал вчера к Степану Яковлевичу. <...>

Погода у нас ужасная: дождь, дождь и дождь! Вместо нестерпимых жаров, которые нас мучили здесь, теперь холода. Не простудись в твоих переездах. Храни тебя бог! Целую тебя мильон раз и в глазки, и в щечки, и в губки.

Верный твой *И. П.*

227. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 17 сентября<1>856 <г.>.

Вот уже три дня, что мы с тобой расстались, заветный друг мой!

Пора сказать тебе несколько слов и поблагодарить Таню за записочку с первой станции. Именно будем надеяться на бога любви — он устроит один то, что настоящим образом не укладывается в голове. В одном уверен, что мы должны увидеться!

В пятницу, проводивши тебя, я долго бродил по комнатам, наполненным воспоминанием о тебе. <...>

Задумался я об Аннушке, прочитавши в письме Марьи А<лександровны>, как она была, бедняжка, больна. Нетерпеливо жду, чтоб ты на нее взглянула и сказала мне словечко об ней. <...>

Вечером к чаю собрались у меня Якушкины, Матвей Муравьев и Евгений. <...> Вечеслав остался ночевать. В суббо-

ту в 8 часов утра мы с ним отправились в Чернорлинский завод к Новицкому. Оба хворые, а особенно Вечеслав.

Новицкий нас обоих осмотрел и снабдил разными снадобьями. Вид мой поразил его. Он говорит, что твой юноша, на его глаза, десятью летами постарел. Хорош юноша твой! <...>

Я радовался хорошей погоде, думал о дорогой моей путешественнице. <...>

Бок мой подживает совершенно — вчера уже не клал сала. Нога все прихрамывает. Аппетит как будто получше. Новицкий действует на печень. Завтра для развлечения начинаю принимать пилюли его. <...>

Кажется, сбудется мое предположение, что не будут торопиться местные власти разрешить наш отъезд. <...>

Обними крепко Аннушку и мамашу ее. Поговори мне подробнее об Аннушке. Что за болезнь была у нее? Совсем ли прошла? Одним словом, успокой меня — твое слово имеет на меня магическую силу. <...>

Опять помеха, пришел Евгений. Просто тоска, когда нужно действовать, то есть писать. Не люблю торопиться, а приходится так.

Верный твой *И. П.* <...>

Целую тебя несчетно раз.

Обнимаю добрую Марью Александровну и милую Нину, прошу передать это письмо *Наталье Дмитриевне Ф<онвизиной>*.

228. Е. П. и М. М. НАРЫШКИНЫМ

<Ялуторовск>, 21 сентября <1856 г.>.

Добрая Елизавета Петровна, сегодня только откликаюсь на ваше письмо от 23-го августа, которое дошло до меня 11 сентября. Деньги Елены Родионовны[1] тогда же отправлены были по ее назначению, и она, верно, прямо получит ответ из Тобольска.

3 сентября был у нас курьер Миша, вестник нашего избавления. Он прискакал в семь дней из Москвы. Николай Николаевич человек с душой. Возвратясь с коронации, в слезах обнял его и говорит: скачи за отцом и заезжай в дом Бронникова! — Спасибо ему![2]

Миша застал здесь, кроме нас, старожилов ялуторовских, Свистуновых и Наталью Дмитриевну, которую вы не можете отыскать. Она читала вместе со мной ваше письмо и, вероятно, скоро лично будет вам отвечать и благодарить по-своему за все, что вы об ней мне говорите, может быть, не подозревая, что оно ей прямо попало в руки. Словом, эта женщина сделала нам такой подарок, который я называю подвигом дружбы. Не знаю, как и благодарить, хоть она уверяет, что поездка в Сибирь для нее подарок, а не для нас.

Два раза погостила в доме Бронникова: 3 июля явилась с отрадным гостем в темную, дождливую ночь. Никто не верил, когда я утром возвестил о ее приезде. Тогда пробыла с нами до 15 июля.

Теперь, съездивши в Тобольск и Омск, 25 августа опять с нами. Вместе отпраздновали Натальин день. Одних наших 23 человека было за столом с детьми. Это просто роскошь. Не поскучала остаться с нами до 14 сентября. Хотя я расставался с нею этот раз до верного свидания, но тяжело было отпускать ее одну. Следовало бы проводить, но нет разрешения – и до сих пор оно не приходит. Так долго мы зажились в благодатной Сибири, что не вдруг отпустят. Все есть долгая процедура, между тем время осеннее и надобно бы не мешкать, чтобы на колесах двигаться. Я помню этот путь, когда фельдъегерь вез меня в Сибирь. Теперь вряд ли мне его одолеть, а не хотелось бы оставаться до зимы.

Два часа после прощания с Натальей Дмитриевной принесли мне, добрый друг Нарышкин, твое письмо от 30 августа. Оно было прочтено с кафедры всей колонии, и все вместе со мной благодарят тебя за дружбу. Будь уверен, что никто не минует Высокого. Лишь бы тронуться с места, а там все в наших руках.

Евгений получил от сестры известие, что его сыновья князья. Это его ставит в затруднительное положение, потому что Варвара Самсоновна скоро опять должна что-нибудь произвести на свет и тогда потребуется новый указ Сенату. Дело сложное: не будучи князем, он тут делает князей; но все-таки я ему советую подумать о том, что он делает[3]. 6 октября будем праздновать его 60-летие!

Сегодня писал к Павлу Сергеевичу. Он и, верно, вы тотчас повидаете нашу заветную путешественницу, которая одна с запада вашего явилась на наш восток. Не могу быть спокоен, пока не узнаю, что она в Нижнем. Каково такой

трусихе путешествовать в такую пору, и, как нарочно, все лето было дождливое и дороги непроходимые.

Забыл с вами немного побраниться, добрая Елизавета Петровна. Вы говорите, что нам *ловко будет возобновить знакомство, хоть и давно расстались.* Я не допускаю этой мысли, мы не только знакомы, а всегда дружны. Были врозь; может быть, во время этой разлуки не все досказывалось, но, когда свидимся, все будет ясно и светло! Иначе я не понимаю наших сношений. С этим условием хочу вас обнять — наш сибирский завет непреложен: я в него верую несомненно.

Предлагал Евгению написать, но он отложил. Эти дни здесь праздновали коронацию. Он везде действовал нравственно и физически и утомился. Я по нездоровью имел право избавиться от участия в этом деле.

Крепко обнимаю вас обоих. До свидания! Где и как — еще не знаю. Все наши сердечно вас приветствуют. Подробности предположений каждого расспрашивайте у Натальи Дмитриевны. Она лучше расскажет, нежели я напишу. Я сам еще как в тумане вижу даль.

Верный ваш *И. Пущин.*

P. S. Наша корреспонденция разрешена на общем основании. Это уже нам объявлено.

229. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 24 сентября <1856 г.>.

Сегодня пишу тебе, заветный друг, два слова в Нижний. Не знаю даже, застанет ли этот листок тебя там. Я сейчас еду с Матвеем в Тобольск хлопотать о билетах насчет выезда. Свистунов пишет, что надобно подавать просьбы. Если бы они давно это сказали, все было бы давно кончено. Надобно понудить губернское правление. Иначе ничего не будет. Хочется скорее за Урал. Я везу Ивана Дмитриевича, который не терпит холоду.

Благослови меня, добрый друг. Здоровье мое получше, но нога все дурит. Я ее закутаю в одеяло — и марш вперед.

Хотел с тобой больше болтать, но беспрестанно мешали. Это просто беда.

До свидания!

Верный твой *И. П.*

Жажду получить от тебя весточку. Воображаю, что ты теперь давно на пароходе. Как бы скорей узнать, что ты в Нижнем. Это уже будет легче в заботе о тебе.

Все наши молчат, но в этом молчании как будто выражается что-то замысловатое. Увидим, что бог даст.

Ваня тебя целует.

Весь дом Бронникова благословляет тебя.

Прости за этот лаконизм. Может быть, из Тобольска опять напишу.

Мы прямо едем к Свистунову.

Обнимая вас, добрый друг Марья Александровна, и целуя Нину нашу, прошу это письмо передать Наталье Дмитриевне.

Если ее уже нет у вас, перешлите.

230. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 26 сентября — 5 октября <1856 г.>.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

24 сентября, в 6 часов после обеда, я с Матвеем отправился в Тобольск в виде опыта, чтобы достать визы всем малолетним дворянам ялуторовским. Утром заставил их всех написать просьбы в губернское правление. (Это было вследствие письма Лебедя, который мне сказал наконец, что местная власть, не знаю почему, ждет прошения от лиц под благотворным действием манифеста. Значит, не все одинаково понимают его действие.)

27-го около полудня мы добрались до Лебедя. Наше появление порадовало их и удивило. Я не стану рассказывать тебе всех бедствий дороги. Почти трое суток ехали. Тотчас по приезде я отправился к Милордову, в твой дом (с особенным чувством вошел в него и осмотрел все комнаты). Отдал просьбы и просил не задерживать. Милордов порядочный человек, он правил должность тогда губернатора за отсутствием Арцимовича.

Попали мы на прощальный обед барону у Лебедя[1]. Это был для барона сюрприз, который избавил его с попутным для него молодым Разгильдеевым заезжать в Ялуторовск.

Дорога меня немного помяла, нога почувствовала эту передрягу, но я все в Тобольске действовал. Навестил всех близких. Подробности при свидании.

28-е прошло без особенных событий, в болтовне и хлопотах.

29-го проводил барона и встретил Батенкова, приехавшего из Томска. <...>

Все везде напоминало мне тебя, и часто склонялось твое имя, тайный друг мой. Это бы и не нужно говорить, потому что оно само собою разумеется. <...>

30-го обедали у Анненкова. <...>

В этот день, то есть Покрова, от погоды или от нечего делать все любезничали с Татьяной Александровной. Видно, эта любезность была довольно сильная, что Лебедь на другой день говорит мне, что видел во сне, будто бы я ухаживал за его женой, и что он на меня сердился. Я засмеялся и сказал ему, что пожалуюсь тебе на него. Лучшего не придумал ответа.

Между тем все приготовил к моему возвращению. 2 октября в час пополудни сел в тарантас с Батенковым и Лебедем. Они меня проводили до «Самолета». Татьяна Александровна, прощаясь со мной, просила меня сказать тебе, что утешается мечтой к Новому году быть у тебя в Марьине. Не знаю почему — они все говорят мне о тебе. Видно, что-нибудь значит[2].

Жаль, что не застал Дьякова. Он был в округе. Кроме того, что хотел с ним проститься, хотел поговорить о моей исторической ноге. Оставил ему записку прощательную, резкую! <...>

Добрался до дому Бронникова 4-го числа в 7 часов утра. Ваня меня встретил босиком, обрадовался. Утром читал письма, которых в мое десятидневное отсутствие собралось много. Первые были прочтены твои листки из Екатеринбурга и из Перми. Официальные вечером читали все наши, собравшиеся у меня вечером, а заветные — мое богатство.

Теперь не знаю, что тебе сказать — на твое сердечное излияние. И я в тумане. Авось явится солнышко. Все в каком-то недоумении. Невольно продолжается то, что было при тебе. Просто чудеса! Видно, так надобно для испытания. Дело необыкновенное. Не испугайся, когда увидишь меня. <...>

<5 октября.>

Вечером сидел Иван Дмитриевич. Спрашивал, открылась ли ты мне в твоем намерении выйти замуж и не знаю ли я, кто этот избранный. Я рад был, что это было в сумерки, потому что не умею лгать. Сказал, что пришлось в голову, и отделался кой-как от дальнейших расспросов. Уверил только, что, верно, если бог велит, то твое соединение будет во благо.

Теперь я сижу, залечиваю ногу. Без этого нельзя думать о дороге. Без сомнения, прежде зимы нельзя будет ехать. Я не разделяю твоих страхов, но хочу без раны пуститься, иначе придется с рожей на ноге и с лихорадкой сидеть где-нибудь на станции.

Между тем отвсюду пишут и воображают, что я уже в дороге. Сестра говорит, что всякий день думает — пришлет Николай сказать, что я у него на даче их жду.

М<арья> А<лександровна> наняла уже квартиру и пишет, что достаточна и для *женатого*. Что с этим делать юноше твоему, который сидит на диване и нянчит ногу? Fatum! Берет иногда нетерпение, но я держусь, как умею.

Последняя почта привезла мне горькую весть! В Варшаве кончил свои страдания брат Петр. Он, бедный наш Веньямин[3], не дождался меня.

Прощай, друг верный. Скоро опять буду писать тебе, уже в Марьино. С нас снято запрещение почтовое. Можем сами писать, и к нам доходят письма. Это распорядился Сенат.

До зимы не едем, вереницей потащимся с Батенковым вместе, который сюда будет.

Обнимаю тебя несчетно раз. <...> Извини, что худо пишу. С больной ногой неловко сидеть.

Твой.

Отправлено 8 октября.

Прошу покорно Татьяну Ивановну немедленно передать или переслать это письмо *Наталье Дмитриевне Фонвизиной.*

231. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Ялуторовск>, 5 октября <1856 г.>.

<...> Помолитесь за моего бедного брата Петра. Сию минуту получил письмо из Варшавы. Он 5 сентября там кончил земные свои страдания, которые два года продолжались. Похоронили его в *Воле,* где легли многие тысячи 30-го года[1]. Там теперь православное кладбище.

<...> В Нижнем все благополучно. Туда назначен губернатором Александр Николаевич Муравьев и просит, чтоб я у него остановился. Брат Николай уже меня ждет на дачу. Все они ждут, а мы ни с места — и, кажется, придется ждать зимы, нога моя шалит.

Верный ваш *И. П.*

232. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 22—29 октября <1856 г.>.

Сейчас получил я, друг мой сердечный, твои листки 10—12-го из Нижнего. Прочитавши их, мне как-то легче стало сидеть, хотя, признаюсь, с трудом сидеть. Часто вспоминаю, как я лежал у вас наверху; обстоятельства тогда были не совсем те же, но то же испытание терпения. Теперь это испытание в больших и сложнейших размерах, и потому надобно находить в себе искусство с ними ладить. <...>

Поверишь ли ты, друг мой тайный (эта таинственность нашего чудного сближения просто меня чарует, так что мне кажется, будто бы ты везде со мной,— я тебя слышу, вижу, ощущаю, и тут же ты для меня неуловима, в общем смысле житейском), что я плакал, читая твои строки об Аннушке и Марье. Этого мало, что плакал один, а плакал при других, когда Якушкину читал это место, переменяя местоимения. <...>

Досадно, что не могу тебя послушаться, тотчас бы был здоровым, как Таня магически приказывает Юноше. <...> Письмо твое меня застало; ноге несколько получше, но все хромаю, когда приходится испытать процесс хождения <...>, кажется, в первой половине ноября можно будет двинуться.

Вообще заколдованное дело для нас всех выезд из Ялуторовска. Мой спутник Иван Дмитриевич сам кой-как держится, но Вечеслав все болен. Так, может быть, случится мне ехать одному, потому что отец не соглашается оставить сына здесь <...>.

Сегодня проводил Батенкова, он погостил у меня трое суток. Поехал в Белев, Тульской губернии, предлагал взять Якушкина в крытом возке. <...>

29 октября. <...> Матвей, только третьего дня возвратившийся из Тобольска, <...> получил от брата приглашение в Хомутец[1]. Все-таки они будут у тебя. Время выезда еще не определено. <...> Теперь жду из Нижнего известия от Сергея Григорьевича и Батенкова.

Будь уверена, что я не выскажусь Марье, не потому, чтоб я был мастер в этом отношении, как ты говоришь, но потому, что это заветное дело сердечное недоступно для других. Это как будто какой-то тайник отрадный, боящийся чужого дыхания. До сих пор он только Киту доступен. Опять на то возвратился, хотя сказал, что не буду писать об этом. <...>

Ваня тебя целует. Юноша не смеет тебя целовать. Он целует твою пухленькую ручку. <...>

233. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Ялуторовск>, 16 ноября <1856 г.>.

<...> Послезавтра снимаюсь с якоря. Сажусь с Ваней в возок. <...> Все предосторожности приняты. <...>

Ты уже, верно, знаешь, что Евгений 11-го числа уехал. С ним Александра Васильевна в особой повозке на буксире. <...>

И<ван> Д<митриевич> со мной не может ехать. Вечеслав все болен. <...>

Мильон раз целую твою ручку.

Верный твой *И. П.* <...>

Матвей отправляется вместе с Свистуновым около 25 ноября. <...>

234. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

Екатеринбург, 21 ноября 1856 г.

Из 7-го номера пишу тебе два слова, добрый, сердечный друг. Вчера утром сюда приехал и сегодня отправляюсь в дальнейший путь. Эта даль должна наконец меня с тобой сблизить. До сих пор благополучно с Ваней путешествуем. Менее двух суток досюда спутник мой не скучает и на станции не болтает с бабами. Они его называют: говорок — и меня преследуют вопросами об нем. <...>

Пришел Бракман, брат Жозефины. Лошадей закладывают. <...> Нога не совсем здорова. <...>

235. С. Г. ВОЛКОНСКОМУ

<Петербург>, 23 декабря <1856 г.>.

Почтенный друг Сергей Григорьевич, познакомьтесь с добрым Константином Ивановичем. Он вам вручит этот листок — обнимите его как человека, истинно привязанного ко всей нашей сибирской семье.

Я благополучно добрался до столицы северной. Здесь продолжается для меня сердечный, родной праздник, который начался в Москве у Рябининых. Совершенно принадлежу родным и друзьям. Болтовня бесконечная — отрадная! <...> Кроме родных, я беспрестанно с лицейскими нашими. И Горчакова видел, по разным дорогам сошлись, как будто не разлучались. Теперь ему хлопотливо: частые телеграфические депеши, по случаю конференции, мешают нашим неслужебным сходкам[1]. Вообще сибиряка закоренелого не чуждаются. Поразил только меня болезненно Энгельгардт: в совершенной апатии, хотя фактически здоров. Это сильно меня отуманило. Грустное было свидание с отжившей, теплой душой. <...>

236. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

<Петербург>, 8 генваря 1857 г.

<...> 15 декабря мы заехали в Казанский собор, где без попа помолились[1], и отправились в дом на Мойку. У входа обнял всех сестер и племянниц. Ты поймешь эту встречу.

<...> Полная дружба, как будто не расставались, и новое поколение тотчас стало близко и знакомо. В тот же день лицейские друзья явились. Во главе всех Матюшкин и Борис Данзас. Корф и Горчаков, как люди занятые, не могли часто видеться, но сошлись как старые друзья, хотя разными дорогами путешествовали в жизни. <...> Все встречи отрадные, и даже были те, которых не ожидал. Вообще не коснулся меня, далекого, петербургский холод, на который все жалуются. <...>

237. И. А. АННЕНКОВУ

<Под Петербургом>, 10 генваря <1>857 г.

Со взморья, с дачи брата Николая, пишу вам, любезный друг Иван Александрович. Приветствую вас, добрую Прасковью Егоровну, милую Наташу, Володю и Николая с наступившим Новым годом. Всем вам от души желаю всего лучшего!

На днях узнал, что по желанию вашему устроен ваш выезд из Сибири: подробности этого дела описал вам Константин Иванович, и, верно, вы уже получили официальную бумагу. Сердечно радуюсь, что нет препятствий к оставлению Сибири.

Без сомнения, вы не будете медлить и воспользуетесь зимним путем. Назначение ваше в Нижний нисколько не обязательно,— если пожелаете переменить место служения, то это всегда можно. Впрочем, я надеюсь, что вам понравится иметь дело с А. Н. Муравьевым, и, во всяком случае, достигнувши Нижнего, вы на пути, куда бы ни вздумали направить полет. Вдобавок это место из самых дешевых для существования, что тоже не безделица[1]. Итак, благословясь, снимайтесь с якоря. Отсюда вижу, как довольна Прасковья Егоровна возможности проститься с Тобольском. Помогай вам бог. Пожалуйста, не медлите — летний путь еще далеко и требует лишних издержек.

Оленька нетерпеливо вас ждет, я несколько раз виделся с нею, пока был в Петербурге, и сюда уже она приезжала с Константином Ивановичем.

Я вполне возвратом на родину насладился, одна только нога до сих пор мешает мне действовать. Это время еще не удалось заняться починкой ноги. Все надобно кого-нибудь из родных и друзей видеть. С самого Нижнего все отрадные встречи. Когда-нибудь, бог даст, увидимся — потолкуем. Так время наполнено, что нет возможности заняться перепиской. Вера Ивановна Анненкова в числе многих необыкновенно балующих меня. Это женщина с теплою душой. Восполняет ту дружбу и радушие, которые я везде встречаю. Когда увидите ее, сами в этом убедитесь.

Барон вам кланяется, он по-прежнему ходит и занимается мимикой. Не успел еще с ним поговорить особняком, все встречались в публике. Сын его славный человек — это общий голос.

Оленька, верно, вам писала, что я в вагоне встретился с Башмаковым молодым, который хотел послать денег нашему старику — хотел доставлять ему ежегодно 300 целковых. Без сомнения, начало этому делу уже положено, и Флегонт Миронович успокоен, потому что молодой Башмаков намерен был выслать в Тобольск 150 ц<елковых> тотчас по приезде в Петербург. Я с ним расстался в Твери, оставшись у племянницы Полторацкой на сутки.

Обнимаю вас крепко.

Верный ваш *И. П.*

Прилагаемое письмецо передайте по адресу.

238. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

<Петербург>, 11 марта <1857 г.>

Нетвердой рукой, потихоньку наконец скажу, добрый друг мой, что я оправился от трудной болезни, которая решительно не давала мне возможности подать голоса. Скажу также, что выздоровление медленно. <...> Настрадался я досыта. <...> Но бог поддержал и поддерживает, видно, еще нужен на что-нибудь. Сбывается пословица, что болезнь приходит пудами, а выходит золотниками. Но вообще гораздо лучше. <...>

До свидания, до свидания, до свидания!

Верный твой *И. П.*

239. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Петербург>, 28 марта <1857 г.>.

<...> Я все хлопочу. Разрешено ли Ив<ану> Дм<итриевичу> остаться в Москве до излечения, как мне,— сегодня даже поджидал справки по III отделению от моего здешнего агента, но до сих пор ничего нет[1]. Это все меня волнует, как всякая несправедливость, особенно когда меня ставят в исключительное положение. Здесь даже пронесся и дошел до меня нелепый слух, будто бы Д<олгоруков> написал Зак<ревскому>, что Н<аталья> Д<митриевна> не может оставаться в окрестностях Москвы, а что может лечиться, где поместится, в другой губернии. Я надеюсь, что это все вздор,— и никак не умею согласить с тем, что мне Басаргин пишет, будто бы намерен оставаться в Москве полтора месяца[2].

<...> Сегодня поджидал Н<аталью> Д<митриевну>. Она мне писала, что выезжает 25-го или 26-го. Ужели приехала и не дает знать! А я не знаю, где отыскивать ее. <...>

240. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Петербург>, 2 апреля <1857 г.>.

Вчера Щепкин принес мне ваши листки, добрый друг мой фотограф; с сжатым сердцем читал я их; на этот раз пожалел сильно, что нет у меня власти. Однако я через кого могу буду здесь действовать — авось бог поможет песчинке что-нибудь сделать. Понимаю, друг, все, что вы ощущаете, разделяю с вами вполне справедливое ваше негодование, но теперь больше говорить об этом не буду — так сильно все это меня волнует, что по теперешней моей восприимчивости действует и на организм, который покамест нужно поберегать, чтоб он оправился от недавней передряги[1].

Скажите, однако, у какого Толстого живет отец, ужели это Николай Николаевич Толстой, которого я знал, брат Якова, что в Париже? Кажется, должен быть не тот. Третий брат этих Толстых, тоже семеновский, Иван, ревизовавший Руперта, умер; следовательно, положительно не он[2]. Как

адресовать письмо к отцу? Может быть, можно в Завидовскую станцию для доставления в д. Новинки. Разрешите мне все эти вопросы. Я вам тотчас скажу, что здесь узнаю и до чего добьюсь из моего лазаретного уединения, которое, впрочем, часто навещается добрыми существами. Через них буду действовать. <...>

241. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Петербург>, 4 апреля <1857 г.>.

<...> Обстоятельства, разлучившие вас с отцом, будут известны на днях Суворову, и даже может быть прочтено ваше письмо, которое я бы напечатал. Цель моя в том, чтоб Суворов, qui a le franc parler avec l'empereur*, нашел бы случай донести до его сведения чудеса, совершающиеся под его благотворными манифестами[1]. Одним словом, я всеми средствами веду мины, не знаю, будет ли что-нибудь, но чувствую неодолимую потребность действовать при самом своем бессилии: это несколько успокаивает мое волнение.

<...> Скажите Анненкову, что я писал брату Михайле по его поручению. Пожмите крепко руку этому симпатичному человеку. Жаль только, что болезнь не дала мне чаще видеть и больше сблизиться[2].

Кетчеру мой искренний привет, если он еще помнит меня. Немудрено, что и забыл, потому что мы виделись у вас, гуляка милый мой, в таком дыму, что страшно и сказать. <...>

242. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Петербург>, 8 апреля 1857 г.

Упорное молчание ваше, добрый друг Матвей Иванович, пережило мою болезнь, которая продолжается почти три месяца. Теперь я выздоравливаю, хотя довольно медленно. <...>

Не говорю о том, что делают с вами, это меня так волнует при моей теперешней восприимчивости, что я думать об этом не могу. Верно, вы читали мои письма к Евгению.

---

* который может свободно говорить с императором *(фр.)*.

Следовательно, нечего повторять. Наконец, вы меня знаете и можете судить о том, что я чувствую. Почти уверен, что это изменится, потому что должно дойти до царя: он ничего не знает. Ему даже не докладывает, а действует Долгорукой, который пикирует с Закревским. Тоска, да и только[1].

Свистунову позволено ехать в Париж, за поручительством брата, на шесть недель[2]. Поймите тут что-нибудь.

Оболенский мне как-то писал, будто вы видели кого-то, который вам сказал, что я всякий день гуляю по Невскому. Это точно странно! Я с 3-го генваря жил на даче у брата, около 20-го занемог там и лежал пластом. Было несколько дней, что не думали, чтоб я встал. Благодаря бога, организм выдержал сильные средства, без которых нельзя было уничтожить болезнь. Нужно было действовать решительно. Бог помог, видно, надобно еще жить. Когда началась распутица и нельзя было родным ко мне ездить, не ломая бока, когда и доктору затруднительно было делать десять верст всякий день, иногда два раза в день, сестра Набокова обратилась с просьбою, чтоб мне позволено было переехать к ним. Высочайше разрешено мне до выздоровления жить в столице. Меня перевезли 19 февраля, и с тех <пор> я безвыходно дома. Жду, чтоб установилась погода, чтоб ездить кататься. Обещают, что воздух должен меня укрепить. Увидим. Дыхание очень коротко — и это должно поправиться. Вообще пришлось довольно похворать и не на шутку. Еще никогда так болен не был. Может быть, эта трудная болезнь необходима была для меня.

Пожалуйста, скажите словечко, как вы? Как уладились ваши дела? Вообще не отчуждайте меня — мы должны плотнее держаться друг друга, хотя и разлучены.

Обнимаю вас крепко. Обнимаю вместе с вами добрую кумушку Марью Константиновну. Целую в лобик Анеточку — Гутиньке кланяюсь.

Верный ваш *И. П.*

243. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Петербург>, 13 апреля <1857 г.>.

<...> Спасибо вам за труды для меня около Пушкина[1]. Я непременно сделаю тоже все, что вам обещал, хотя уверен, что это будет единственно для вас, а в публику не мо-

жет идти. Мы об этом уже говорили с Анненковым[2]. Дайте опериться!

<...> Пожалуйста, обнимите С<ергея> Г<ригорьевича>, когда увидите. Я как-то не решаюсь ему писать, но он должен хорошо понимать, что я сердечно участвую в его душевных тревогах. У Нелиньки я в ногах! Все это ужасно![3].

Прекрасно сделали, что Матвею напомнили меня портретом. Я потерял с ним терпение, не ожидая его письма, написал к нему в Тверь.

Любопытно мне знать, кто является с требованиями на мою ничтожную фигуру. Если этот вопрос нескромен, то вы мне скажете. Надеюсь, однако, что вы не из *полного* вашего кармана удовлетворяете эти требования.

Н. Н. Толстого я знаю с детства. Говорят, он в Москве на службе; если это так, то, когда встретите его, спросите: помнит ли он, как мы в Рябове воровали из оранжереи собственные их персики, когда там жила Алефтина Ивановна. Обнимите его. <...>

244. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Петербург>, 23 апреля <1857 г.>.

<...> Надобно вам сказать другое совсем — и поделиться <с> вами приятным ощущением, которое я имел. На днях с женой Алексея Шереметева приезжала ко мне Палогея Васильевна Муравьева[1]. Это было для меня совершенно неожиданно: жену Алексея ожидал.

Поблагодаривши искренно за внимание П<алогею> В<асильевну>, я, как с старой знакомой, хотя до этого не видал ее, тотчас начал говорить об Ив<ане> Д<митриевиче> и об вас, жертвах какой-то машинации. Говорил до того, что задохся; у меня так коротко после воспаления в печени дыхание, что при малейшем оживлении я просто должен стать в тупик — вместо слов слышно только усиленное дыхание. Она встала, подошла ко мне, говорит: «Бога ради, успокойтесь! Мы надеялись, что Ив<ан> Д<митриевич> будет соединен с Евгением к Пасхе, но это тогда не исполнилось. Та же уверенность и теперь. Я вам даю

слово сама приехать сказать, когда это будет улажено». Разумеется, я схватил ее за руку и рассыпался в благодарности. Всякий день жду ее появления, но ее еще нет. Не может быть, чтоб она без оснований говорила мне так положительно. Дай бог скорей увидеть ее.

Писал об этом Евгению с Натальей Дмитриевной, которая третьего дня поехала в Москву. Хлопотала здесь о передаче крестьян в казну. Прошение пошло в ход. Остается желать, чтоб царь передал в м<инистерство> г<осударственных> им<уществ>,— там Муравьев обещал ей содействовать[2].

Обнимаю вас и всех ваших, желая всего лучшего. Пора кончить. Едут на дебаркадер.

Верный ваш *И. П.*

На этот раз Август Лафонтен глубоко меня тронул[3]. Спасибо вам! <...>

Ахшарумов
Достоевский
Дебу 1-ой
Дебу 2-ой
Плещеев
Головинский
Дуров
Толль
Ястржембский

Этим девяти коммунистам возвращены права пот<омственного> дворянства.— 17-го апреля[4]. 7 апреля в Пасху дали Казимирскому Анненскую ленту.

245. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

С.П.т.бург, 13 мая <1857 г.>

<...> Вот вам для вступления самая свежая новость: сейчас был у к<нязя> Долгорукова, благодарил его за *исключительное* разрешение, по просьбе сестры, лечиться в столице. В субботу, то есть 18-го, выезжаю. При этом слу-

чае позволил себе спросить его: есть ли надежда Якушкину возвратиться в Москву к сыну? На это спросил меня: разве он точно болен? – Я отвечал, как следует, и узнал, что уже написано г<рафу> Закревскому, что если он почтет нужным разрешить Ивану Дмитриевичу приезд в Москву, то чтобы это сделал. Меня очень порадовала эта весть, и я уже мечтаю, что наш непроходимый софист опять у фотографа под крылышком.

Чех, по последнему известию, в Москве простудился и сидит дома: это точно беда. <...>

На днях приехал сюда Н. И. Тургенев из Парижа. Вы, верно, давно знаете, что ему разрешено было еще во время конгресса возвратиться в отечество. Я его не увижу, если он сам не отыщет, а он отыскивать не будет, как я полагаю, после напечатанной им книги[1]. <...>

Верный ваш *И. П.*

246. М. Н. ПУЩИНОЙ

<Москва>, 10 июня 1857 <г.> У Алеши.

<...> Ты сетуешь, друг, что я не открыл тайны моей Николаю[1]. Во-первых, ты ясно, хорошо понимаешь, что это не мне одному принадлежала тайна. Это бы еще ничего – она всегда согласна была бы, чтоб Николай с нами помолился, но главное дело в том, что, сказавши ему, нельзя не сказать сестрам, не обидевши их. Следовательно, мы решились молчать до поры до времени и нести все упреки, которых ожидали в уверенности, что никто, размысливши исключительное наше положение, не будет винить нас в намерении огорчить таким ходом дела. К тому же оно требовало избежать толков преждевременных, а доверившись, не было бы им конца. Пожалуйста, разбери все это хорошенько, поставь себя на наше место, и, верно, ты согласишься, что другого исхода этому заветному делу <не было>. Одним словом, помиримся и обнимемся!

Дорохова тоже бранит нас нещадно за таинственность с нею. На днях был ее ответ на наше объявление. <...>

247. Н. И. ПУЩИНУ

<Москва>, 19 июня 1857 г.

Только что собрался ответить твоей жене на ее письмо от 15 числа, как получил, любезный друг Николай, твои листки. <...> Я прочел все со вниманием и нахожу, что ты хорошо сделал,—только одно меня озадачило. Какие тут назначения по 3 т<ысячи> братьям. Если один из этих братьев я, то прошу захерить эту статью. <...>

Не можешь ли ты, любезный друг Николай, повидаться с Вяземским и взять у него мой портфель, если он его не прислал еще в дом. Он хотел отыскать его на даче своей у Лесного института и тотчас доставить. Обработай это дело и перешли мне портфель сюда[1]. Случаи бывают частые. <...>

248. А. Ф. БРИГГЕНУ

С. Марьино, близ Бронниц, 4 июля 1857 г.

27-го июня я получил, почтенный Александр Федорович, ваше письмо от 2-го того же месяца. Катаеву в ту же почту ответил на его послание. Благодарю вас за доставление.

Вы спрашиваете, где кто из наших: вот вам отчет:

Барон Штейнгейль—в Петербурге, С. Г. Волконский, И. Д. Якушкин (по болезни до излечения), А. Н. Сутгоф, А. В. Ентальцева—в Москве, Е. П. Оболенский, П. Н. Свистунов—в Калуге, Г. С. Батеньков—в Белеве (в деревне у Елагиной), И. А. Анненков (на службе)—в Нижнем Новгороде, М. И. Муравьев-Апостол—в Твери, С. П. Трубецкой, А. А. Быстрицкий—в Киеве, Н. В. Басаргин—временно в Смоленской губернии у Барышникова. Не знаю еще, где бросит якорь.

Теперь собственно обо мне. Оваций никаких не было; но прием сердечный от всех старых друзей и товарищей. О родных уже не говорю. С самого возвращения на родину я почти постоянно хвораю и теперь далеко от здорового.

Слух о моей женитьбе справедлив. 22-го мая я соединен с Н. Д. Ф<онвизиной>. Благодарю бога за наш союз. Пока-

мест пользуюсь деревенским воздухом и пью воды в деревне жены. Не знаю еще, где мы будем жить постоянно,— это решится, когда я выздоровлю, если бог поможет.

Желаю вам, Александр Федорович, приятного новоселья, а главное, здоровья. С истинным уважением преданный вам

И. Пущин.

249. Н. И. ПУЩИНУ

<Марьино>. Прибавление. 17 июля 1857 г.

Вчера жена не собралась, следовательно, можно маленькое дополнение сделать к письму.

1) Наведи все батареи на министра народного просвещения, пока он на даче у Лесного института: иначе опять в долгий ящик пойдет добывание моего портфеля. Мне хочется непременно его добыть. <...>

(Довольно. Продолжение впредь.)

И. П.

Лиза мне писала, что издание, о котором мне говорил Модест, по каким-то обстоятельствам не так скоро выйдет, как он обещал при моем последнем с ним свидании[1].

Всех крепко обнимаю.

250. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

Марьино, 21 июля 1857 г.

Добрый друг Сергей Петрович, сегодня отвечаю вам на два ваших письма от 28 июня и 2 июля. <...> С 6-го числа мы переехали в Марьино. Доктора посоветовали мне на время оставить микстуры, капли и пр. и пр., которыми несколько лет меня потчевали усердно, и ехать дышать здешним деревенским воздухом. <...>

Все то же короткое дыхание и та же слабость. Силы никак не возвращаются, а о прежней удали и помину нет! <...>

Третьего дня навестил меня Матвей Апостол <...>, уделил мне денек. <...> В начале будущего месяца ожидаю брата Михаила с женой из-за границы. <...>

Нарышкиных буду рад видеть — с 33-го года не видались: это гомерические сроки! Кроме нашей хронологии, редко где они встречаются.

Н. И. Тургенева я не видал, хоть в одно время были и в Петербурге и в Москве. Он ни у кого из наших не был, а я, признаюсь, при всем прежнем моем уважении к нему, не счел нужным его отыскивать после его *книги.* Матвей случайно встретился с ним в тверском дебаркадере. Обнялись. Тургенев его расспрашивал обо всех, познакомил его с сыном и дочерью, и по колокольчику расстались. Он опять уехал в Париж и вряд ли возвратится в Россию. Я не очень понимаю, зачем он теперь приезжал. <...>

Не знаю, помнит ли меня в 849-м году Федя Кучевской, но я его очень помню. Обнимите его. Что делается с его отцом? Давным-давно ничего не слышу.

Крепко вас обнимаю.

Верный ваш *И. П.*

251. М. М. НАРЫШКИНУ

Марьино, 21 июля 1857 г.

Долго шло до меня, любезный друг Нарышкин, твое письмо от 2-го числа. Я его получил 14-го. <...>

Уверять вас, что благодарю бога за соединение мое с заветным моим другом, было бы лишнее. Все это так дивно устроилось, что я как будто еще не верю, но мрачно то, что я не могу поправиться здоровьем. Не совсем утешительна для жены моей постоянная моя хворость, но и этим она не тяготится, весело и терпеливо переносит все эти заботы и попечения. <...>

Та же одышка и то же бессилие! Нет, любезный друг, переломан совершенно — куда девалась прежняя удаль. <...> Не могу долго сидеть, а ходить и думать нечего. Ученые говорят, что это ослабление мускулов. <...>

В соседстве у вас живет Настенька Рылеева, теперь Настасья Кондратьевна Пущина. Верно, вы их знаете, и странно, что никогда мне об них не говорили. Пожалуйста, к ва-

шему приезду соберите мне об ней полные сведения. Мне это нужно[1]. <...>

Иван Дмитриевич, по последним известиям, поправляется, обещает с сыном Евгением приехать в Марьино.

252. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

Марьино, середа, 24 июля 1857 <г.>.

В воскресенье получил я, любезный друг Николай, твои листки от 16-го числа. Пожалуйста, никогда не извиняйся, что не писал. Ты человек занятый и общественными и частными делами, т. е. своими, следовательно, время у тебя на счету. Вот я, напр<имер>, ровно ничего не делаю, и тут не успеваю с моей перепиской. Впрочем, на это свои причины, и все одни и те же. Продолжается немощное мое положение. Марьино с самого нашего приезда без солнца, все дожди и сырость. Разлюбило меня солнышко, а его-то я и ищу! <...>

Я просил, чтобы ты при случае прислал мне номера «<Морского> сборника» (случаи бывают часто). Адресуй их к моему комиссионеру московскому Алеше. Я этот журнал люблю — с июня не видал его.

Не клади оружия, пока не добудешь моего портфеля.

Спасибо тебе, добрая Марья Николаевна, за твою беседу на листке твоих деток. Я столько пишу в разные стороны, что просто потерялся. По твоему вопросу о Нижнем вижу, что я еще не говорил тебе, что на днях ожидаю Ваню. <...>

Я очень знаю, что надобно действовать, но это время, как ты видела, я просто ни на что не годен. Он со мной поживет, потом поступит к Циммерману в Москве. Это заведение лучшее во всех отношениях, и там он может остаться до самого университета. Я уже вошел в переговоры с Циммерманом[1], но надобно еще самому с ним познакомиться, все высмотреть. Авось бог поможет как-нибудь распустить крылья, которые до сих пор подрезаны. <...>

Библиотека здесь большая, но все уже такая классическая древность, что из рук падает. Мы подписались у Urbain[2] и почитываем иногда романчики. Давно я ничего в этом роде не видал. (Это ответ на Николаев вопрос.) Кроме того, получаем русские журналы.

Обнимаем вас крепко. Верный ваш *И. П.*

Ждем Нарышкиных — они обещают повидаться, уезжая за границу на зиму. <...>

253. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Марьино, 14 августа 1857 г.

Спасибо вам, добрый друг Матвей Иванович, за весточку в письме к Батенькову.

<...> В бытность Батенькова[1] прикатил наконец ко мне из-за границы брат Михайло с женой. С ним не видался с Никольской куртины, после приговора, а она для меня новое знакомство. Не нужно говорить, как это свидание было отрадно, — брат совершенно тот же, только седой, а с ней как будто всегда были вместе. Нам, двум женатым братьям, теперь очень ловко вместе. Я их донельзя не буду отпускать. Жена с ними сблизилась вдруг, что с нею не всегда бывает, — одним словом, за все благодарения богу! Лишь бы самому оправиться, а то никак не можешь идти в уровень событий: нужно действовать, нужно ехать в Нижний и в Москву, а все не едется!

<...> Обещанных вами гостей до сих пор нет. Прискорбно, что не могу пожить с Ив<аном> Дм<итриевичем>. Мне улыбалась мысль, что он с сыновьями погостит у нас, но, видно, этому не бывать. Истинно грустно! Просил Батенькова подробно мне об нем поговорить. Кажется, не совсем хорошее с ним делается.

Недавно приезжал ко мне исправник здешний и спрашивает, долго ли я думаю остаться в Марьине и не намерен ли я здесь основаться? Бумаги с этим вопросом он мне не показывал, не знаю, от кого вопрос, но исправнику сделан московским губернатором. Признаюсь, меня это удивило, я предложил дать письменный отзыв — исправник сказал, что достаточно, если я ему на словах сделаю ответ. Вследствие этого я просил исправника кому следует написать, что я приехал в Марьино по совету медиков пользоваться воздухом, что останусь здесь, пока будет хорошая погода. Насчет же дальнейшего ничего определительного сказать не могу, что это все будет зависеть от состояния моего здоровья; с тех пор не получал никаких новых вопросов.

<...> Читайте новую книгу: «Восшествие на престол Николая I». Вы, верно, читали уже в газетах объявление. Я жду с нынешней почтой это произведение Корфа. Скажите мне что-нибудь по прочтении.

<...> Обнимаю вас крепко. Ваня покамест с женой Михайлы всякий день с час читает. Циммермана не упущу, будьте спокойны. Все сделано, что только могу, для нового поколения.

Верный ваш *И. Пущин.*

254. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Марьино, 21 августа 1857 г.

Сегодня три дня, что я получил, добрый друг Гаврило Степанович, ваш листок от 15-го числа. Мое сердце-вещун, с самого того времени, как Матвей обещал мне появление Ивана Дмитриевича в Марьино и он не являлся, я был в мрачных предчувствиях на его счет. Вы, я думаю, заметили частые мои пени, что никто об нем не пишет. 15-го приезжает ко мне Алексей Рябинин с Яковлевым. Первый вопрос ему об нем — он говорит: ничего не знаю (странно, как в Москве все это разобщено). Одним словом, не мог оттасоваться от этой мысли. Теперь задача решена! С вами вместе пишет и Евгений-фотограф, я с ним в тот же день поделился скорбным чувством[1]. Любил я его отца и прошу сыновей, в воспоминание об нем, еще больше со мной сблизиться! Вы верно и непреложно говорите: «Предадим воле божией настоящую нашу скорбь». Естественно, она отуманила меня, я целый день толковал брату и приехавшему племяннику Малиновскому о нашем покойном друге — эта беседа успокоивала несколько. <...>

Об Ване дело улаживается, Циммермана видела жена — он согласен принять его и велел привозить молодца. Благослови бог это начинание!

К А<лександре> В<асильевне> я писал после вас; значит, теперь она совершенно успокоена от напрасных своих опасений[2].

Обнимаю тебя, добрый человек! Так и тянет говорить тебе «ты», но ты на это как-то смотришь неладно, потому я все и сбиваюсь.

До другого разу. Все еще не налаживаюсь — одно и то же перед глазами. Говорят, наш покойный друг страшно исхудал и высох. Велел на могиле посадить два вяза и клен — отнюдь не ставить памятника.

Жена приехала в дом Аббакумова. Евгения не было дома. Спрашивает отца. Ей говорят, что он не только умер, но уже похоронен. Можешь себе представить, как это поразило ее. <...>

У меня заронилась мысль — если действительно пойдет к выздоровлению, съездить в Нижний к 8-му сентября. В этот день Аннушке минет 15 лет.

Верный твой *И. П.*

<...> Что скажешь о книге Корфа? На меня она сделала очень мрачное впечатление и еще более отдалила от издателя[3].

Пока кончаю. Просто беда.

255. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Марьино>. Пятница, 23 августа <1857 г.>

В воскресенье получил я ваш листок, добрый друг Матвей Иванович,— он только подтвердил мне то, что писал мне Евгений Ив<анович> и Батенков. От души спасибо вам, что поговорили со мной о покойном нашем друге: в эти горькие минуты чувствуешь глубокую потребность сообщиться с близким по воспоминаниям об нем. Я уже знал, что вы проводили его на кладбище; но не знаете, может быть, что я с самого свидания с вами, когда вы мне обещали приезд его в Марьино, который все не осуществлялся, постоянно преследуем был грустною мыслию, что мы не увидимся с ним более. Всех приезжавших спрашивал — все говорили, что ничего нет особенного,— а мне все мерещился конец. Так и вышло: к прискорбию, предчувствие не обмануло меня. Да, ряды наши редеют — именно надобно как более их сдвигать! По этому случаю я должен вам сказать, что не понимаю, почему вы думаете, что запросы, мне сделанные, могут помешать нам быть в Марьине. Я этого отнюдь не вижу и очень рад бы был, если бы вы собрались к нам. <...> Получил на днях письмо от Евгения Калужского. Он с Свистуновым поехал к Нарышкиным и

к Пушкину. Нарышкины около 15-го сентября собираются за границу, обещают заехать сюда. Рад буду их увидеть. С лишком 20 лет не видались.

Корфова книга вам не понравится — я с отвращением прочел ее, хотя он меня уверял, что буду доволен. Значит, он очень дурного мнения обо мне. Совершенно то же, что в рукописной брошюре, только теперь не выставлены имена живых[1]. Убийственная раболепная лесть убивает с первой страницы предисловия. — Истинно, мне жаль моего барона!

<...> Пожалуйста, не смущайтесь вопросами — на это нечего обращать внимания. Все это такой вздор — хотя именно досадно, что Ив<ана> Дм<итриевича> преследовали эти пустяки. Я тоже уверен, что cela a mis de l'eau dans son vin[*]. Самая жизнь в деревне Толстого, верно, отозвалась на его расстроенном организме, не говоря уже о нравственном страдании при разлуке с семьею Евгения. Обнимаю вас. <...>

Верный вам *И. П.*

256. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Марьино, 8 сентября 1857 г.

Добрый друг Матвей Иванович, не по-прежнему мы проводим сегодняшний день. Вы, верно, вспомнили мою новорожденную, которой минуло 15 лет. Она с мамашей, тоже сегодня именинницей, в Нижнем, я с Ваней в Марьине, жена, вероятно, в Тамбове (4-го отправилась по делам в Ряз<анскую> и Тамб<овскую> губернии); вы с доброй Марьей Константиновной, Гутяшей и Анеточкой в Твери, Евгений — в Калуге, Фабрикант[1] у Барышникова, Иван Дмитриевич *там!*

Где *там,* не знаем,
Мы только плачем и вздыхаем.
О, горе нам, рожденным в свет!

И Михеевна в Туринске.

---

[*] этим подмешали воды в его вино (т. е. — ухудшили его положение) *(фр.).*

<...> О книге не станем говорить[2], просто тошнит, особенно мне неловко за барона, хотя я давно знаю, что он стал на параллель со мной. Встретиться мы никак не можем. <...>

257. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

С. Марьино. 21 сентября 1857 г.

Сейчас уезжает от меня брат Николай, посетивший наше уединение, и я пользуюсь его отъездом, добрый и почтенный Петр Андреевич, чтоб опять вас просить о доставлении мне моего портфеля. Мне, право, совестно министра просвещения отвлекать от дела такими пустяками, но, без сомнения, г-н министр простит, что давно известное лицо, оставшееся sans portefeuilles*, хлопочет о том портфеле, в котором сохранились воспоминания его детства.

Пожалуйста, велите отыскать и перешлите запечатанным на имя моего брата Николая, в дом наш на Мойке. Скоро он будет иметь верный случай сюда. Жаль мне, что не мог он сам привезти, хотя надеялся после последнего с вами свидания.

В прошлом месяце я имел наконец отраду обнять Михайла моего и познакомиться с женою его. Она мне полюбилась с первой встречи, как будто вместе всегда были,— а Михайло мой устарел и насупил брови.

Здоровье мое, благодаря бога, поправляется. Авось скоро выпишусь из лазарета.

Обнимаю вас, прошу дружески приветствовать княгиню.

Душевно вас уважающий *И. Пущин.*

258. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 22 сентября <1857 г.>, воскресенье.

<...> В «Мос<ковских> ведомостях» меня так поразило крушение корабля «Лефорт», что, найдя то же самое в «Полицейской газете», я вырезал для тебя. Ты должна делить со мной все мои ощущения — у меня все перед глазами это поглощение 828 существ! Сколько будет слез об них! Такого рода ужас поражает каким-то страшным величием[1]. <...>

---

* без портфелей *(фр.)*[1].

259. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Марьино>, 25 сентября 1857 г.

<...> Об указе насчет ограничения власти помещиков я слышал, но не знаю, в чем он будет состоять. Смотрю на всю эту манипуляцию как на полумеру, которая мало обещает дельного, и как бы даже не повредила всему делу робостью, с которой действует. Ясно только то, что никто ясно не видит[1].

Вы получили мое письмо, следовательно, знаете мое распоряжение насчет Горбачевского[2].

Скажите Сутгофу, что я верно больше его <желаю>, чтоб позволили рабе жены моей Александре выйти замуж, но дело в том, что Александра эта не раба ее, а в числе многих дворовых поступила в ведение казны, которая с лишком пятнадцать лет держит между небом и землей. Он знает это обстоятельство. Но вам любопытно сказать, что, когда жена писала в кологривский суд, который заведывает этими людьми, и просила, чтоб некоторым девушкам, между прочим Александре, позволили сочетаться законным браком, суд отвечает: «Что они могут идти в монастырь, а брака не разрешает, чтоб не потерять счета». Где на это закон, право, не знаю. Жена ездила в Москву для свидания с вашим дядюшкой-министром и между прочим подала ему записку об этом деле, противном, по-моему, правилам народной нравственности. В записке она коротко и ясно изложила, в чем вся штука, сказала, что костромская палата государственных имуществ два раза отказывает в течение этого гомерического срока принять эти бедные души в число казенных крестьян и что, наконец, запрещен увядающим девицам брак. Он на это отвечал, чтоб она опять просила палату, и если палата откажет, то чтоб ему написала жалобу. Она говорит, что это большое промедление времени, а что его запрос может заставить сейчас кончить дело. Министр решительно объявил, что не может иметь *инисиативы.* Теперь опять пойдет в долгий ящик. Пусть Сутгоф спросит министра, почему он не может пугнуть палату. Я решительно не понимаю, а вижу в этом ответе, что он гусиной тропой идет. Вот целая история[3]. <...>

260. М. Н. и Н. И. ПУЩИНЫМ

<Марьино>, середа, 2 октября <1857 г.>.

<...> Верно, Николай читал тебе речь Пирогова по случаю новоселья Лицея[1]. Я читал ее Варе и вспомнил вас. Оно и стоит того, чтоб прочесть. Славно думает и говорит Пирогов! Симпатичный человек. <...>

Хозяйки все еще нет, но, вероятно, не замедлит теперь явиться — иначе я подам явку в земский суд.

Верный твой *И. Пущин.*

Ваня целует Николая, тебя и всех твоих малолетних — он Николая порядочно тормошил. Теперь скоро будет за настоящим делом. 4 числа ему минет 8 лет. После будем собираться с ним в Москву.

Любезный друг Николай, узнай мне, где и как живет Катерина Петровна Торсон. Наша артель имеет возможность ей помочь. Теперь у меня делается раскладка на будущий год. Артельный год наш начался с *26 августа.* Я не знаю, где отыскать ее. Все думал, что она возвратится в Москву, а Ентальцева пишет, что до сих пор ее нет. Каково было действие моего ultimatum к министру н<ародного> п<росвещения>? Вчерашняя новорожденная обещала в другой раз написать тебе[2]. Она теперь с Ваней занята.

261. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

С. Марьино, 14 декабря 1857<г.>.

<...> С прошлой почтой отвечал, т. е. послал Озерскому[1] дополнительный листок к первому моему письму. Не входя в полемику с тобой насчет Томской губернии, я передал ему твою мысль, хотя она диаметрально против моей направлена. Пусть он сам разбирает, как знает. Я нашел возможность сделать экстрактные дела, не руководствуясь, впрочем, обычаями приказных в этом случае. В заключение познакомил нового начальника губернии с Лучшими людьми и с Кобылиными[2]. Тут NB, что об них говорится с пол-

ною уверенностью, а отзыва о других лицах нет, потому что у нас принято за правило: не клеймить без положительных данных, особенно когда это клеймо накладывается тайно, без ведома пациента, при этой трудной операции. Сообщу тебе, если откликнется Озерской, а с тобой когда-нибудь поговорим, на теперешней бумажке тесно, да и дела много у меня к завтрашнему дню по маремьянству. Сегодня начал почтовую работу, хотя думы перебрасывают далеко назад[3]. Вы, верно, в вашем треугольнике вспоминали меня сегодня. Годовщина свежо напоминает себя. Жена выносит одна этот раз все бремя рассказов старика, которого участь, в иных случаях, повторяться немилосердно. <...>

262. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Марьино>, 18 декабря 1857 г., середа.

<...> Вы, добрый мой фотограф, искали в брошюрке замечания на замечания С<утгофа>. Право, не стоит того. Напрасно даже закрепили его карандаш на полях[1]. <...>

263. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

С. Марьино, 22 декабря 1857 г.

<...> До вас, верно, дошла весть, что в сентябре месяце я почувствовал облегчение, которого уже почти не смел надеяться, так долго гнездилась во мне болезнь в разных проявлениях. <...> Теперь я и дышу и двигаюсь. <...> Очень помог мне здешний уездный доктор Казанский. <...> До октября месяца я безвыездно жил здесь. <...>

В октябре жена поехала в костромское имение, а я с сестрой и Ваней — в Москву. <...> Пожил в Москве две недели. <...> Повидался со всеми нашими там. <...>

С Ваней я был на Пятницком кладбище. Помолились на могиле нашего друга Ивана Дмитриевича. Ваня был представителем Ялуторовской школы, созданной им. Необыкновенно тяжело легла на меня кончина Ивана Дмитриевича. <...> И теперь безотчетно приходит он мне на мысль. <...>

В октябре еще не стало одного ялуторовца. 25-го умер Тизенгаузен, наш doyen d'âge*. С этой вестию был у меня на несколько часов сын его Михайло. <...>

В Москве я виделся с П. А. Вяземским. <...>

Я пишу, глядя на ваш портрет,— как будто говорю. Позвольте еще сказать, что я желал бы, чтоб вы сбрили бороду. Никак не могу к ней привыкнуть, хоть Сашенька меня уверяла в Ялуторовске, что борода к вам очень идет. Добывши ваш портрет, я не согласен с ее мнением. <...>

Верно, до вас дошла весть о смерти Алексея Васильевича Шереметева. Я был в Москве, когда Евгений получил это известие из деревни, и погоревал с ним об добром товарище-сослуживце[1]. <...>

264. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Марьино>, 1 генваря 1858 г.

<...> Чокнувшись бокалом в полночь, вспомнил и ушедших и отсутствующих.

Храни вас бог.

Познакомьте меня заочно с Толем. Его приветствует жена. Она виделась с ним в Тобольске во время оно. Дверь открыта: увидим, что выкинет наше *мудреное* дворянство. Все-таки лучше, что из-за кулис дело вышло на сцену. Авось бог поможет снять это горе с нескольких мильонов наших земляков. Аминь[1].

Не забывайте нас, грешных.

265. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Марьино, 8—9 января 1858 г.>

Вот вам, добрый мой Евгений Иванович, *для прочтения* письмо Мозгалевской! Значит, вы убедитесь, что ей можно назначить так, как я вам об этом писал с Нарышкиным[1].

Почта привезла мне сегодня ваше вчерашнее письмо. Думал вам на него отвечать с Ваней, но он еще несколько дней остается здесь. <...> Не отвечаю второпях настоящим порядком, потому что много сегодня было депешей к от-

---

* старейшина *(фр.)*.

правлению. Скажу вам только, что Денис Иванович Фонвизин — родной брат Александра Ивановича Фонвизина, у которого сын Михаил Александрович, то есть Д<енис> И<ванович> родной дядя М<ихаила> А<лександровича>. И тот же Д<енис> И<ванович> — дядя Марье Павловне, матери Натальи Дмитриевны, которая дочь родного его брата Павла Ивановича. Денис Иванович был старший из трех братьев.

Детскую книгу «Хижину дяди Тома» пришлите мне сюда.

С дочерью Рылеева я войду скоро в сношения, авангардное дело уже начато.

У вас был или будет Евгений Калужский[2] и Свистунов. Допрашивайте их об нас. <...>

Благодарите М. С. Щепкина за отрадную весточку об Аннушке. <...>

Досадно, что Мозгалевская благодарит меня, когда я тут нуль.

Верный ваш *П.*

Письмо это возвратите.

266. М. Н. ПУЩИНОЙ

С. Марьино, 12 генваря 1858 г.

<...> Надеюсь, что ты теперь давно оправилась от банного приключения и что нет следов этого события, довольно неприятного. Я частию понимаю неудобства синяков на лице, но у меня дело обошлось без обморока. Стоя под венцом в новом вкусе, с розовым подбоем, я как-то воображать стал, что если бы вы увидели меня тогда подбитого, то, верно, расхохотались бы. Точно, дело оригинальное,— я думаю, трудно найти что-нибудь подобное в брачных летописях. Между тем если бы не 22 мая я венчался, то по быстрому ходу второй моей болезни я бы уже не мог идти в церковь. Не явно ли это судьба, действовавшая вопреки всем соображениям и общепринятым формам? <...>

Кончу ответом на твой вопрос об указе насчет крепостных. Ты не можешь сомневаться, что я с радостию прочел этот призыв царя. Лишь бы дворянство поняло всю благотворность этого призыва и умело настоящим образом со-

действовать мерам правительства благоразумными местными соображениями к упрочению этого святого дела. Теперь дверь открыта: можно говорить, соображать, вразумлять гласно, а не за кулисами. Это лучший способ отвратить всякое недоразумение, всякое вредное влияние тех, которые по каким-либо личным предрассудкам и ложным воззрениям стараются доказать, что это дело невозможное. Может быть, и потребуется некоторое пожертвование, но оно не должно останавливать при нравственном убеждении в несправедливых отношениях между владеющими и владеемыми. Я твердо уверен, что бог благословит это дело: начало положено — будем ждать конца. Мы живем в эпоху важных событий! Много бы еще надобно сказать, но эта рамка тесна. <...>

Верный твой *И. П.*

267. Н. Д. ПУЩИНОЙ

С. Марьино. 7 февраля 1858 г.

<...> Не знаю, говорил ли тебе наш шафер[1], что я желал бы, чтоб ты, друг мой, с ним съездила к Энгельгардту. <...> Надеюсь, что твое отвращение от новых встреч и знакомств не помешает тебе на этот раз. Прошу тебя! Он тебе покажет мой портрет еще лицейский, который у него висит на особой стенке между рисунками П. Борисова, представляющими мой петровский номер от двери и от окна[2]. Я знаю, что и Егору Антоновичу и Марье Яковлевне будет дорого это внимание жены их старого Jeannot. <...>

Он мне подарил автограф стихов Пушкина «Роняет лес багряный свой убор» с пометками и помарками автора красными чернилами. К<онстантин> И<ванович> сам переписывал. Автограф этот кто-то зачитал — я его не нахожу, а нужно бы иметь. Знаю, что у старшего адъютанта много письменной работы, но знаю также, что он добрый человек и, может быть, не откажет в свободную минуту сам списать эту рукопись, для меня дорогую. Можно бы дать написать и хорошему писарю, лишь бы было все верно[3]. <...>

268. П. Н. СВИСТУНОВУ

С. Марьино. 9 февраля 1858 г.

Нерадостны известия о Матвее Апостоле. Точно его судьба в некотором отношении гонит. Я еще понял бы, если бы меня наказывали за неправильность в финансовом отношении , а он, l'éxactitude même*, за что с этой стороны терпит, и терпит с тех пор, как я его знаю.

В 825-м году он, как пленный француз, ходил в изорванных башмаках; в деревне, живя у Апостольского ключа[1], окруженного 5 т<ысячами> душ, черпал из него только 400 р. асс. в год — и то еще были от Ивана Матвеевича замечания конторе. Кажется, и блудного сына нельзя бы строже пасти. Но Матвей был тогда весел и мил необыкновенно. <...>

Воображаю вас в Москве — особенно у Константина Оболенского. Это мой допотопный знакомый. Тогда он был точно вырезанный из репы. Видел я его в Москве — та же пустошь неимоверная. При свидании больше об нем когда-нибудь поговорим и посмеемся. Я вам расскажу преуморительные вещи, писать их не приходится. <...>

M-lle Попов усердно кланяюсь (боюсь назвать по имени и отчеству, верно, давно перепутал, не гожусь в диаконы). <...>

Счастлив я тем, что гласно говорят о той истине, за которую нам довелось пострадать. Счастлив, что дожил до того, что ее официально признали[2]. <...>

Переписка моя приняла огромные размеры. Настройте себя, как вы настраиваете виолончель,— вам это, должно быть, гораздо легче, нежели мне. Я бросил еще в Лицее учиться на скрипке, потому что никак не мог ее настроить. <...>

Верный ваш *И. П.*

269. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 9 февраля <1858 г.>, воскресенье.

<...> *Люблю тебя более, когда ты влюблена в меня!* Вот тебе истина нагая. Но как сделать, чтобы ты уверовала

---

* сама точность, аккуратность *(фр.)*.

в эту правду? Авось поможет бог! Нельзя же, друг, чтобы ты наконец не поверила мне. <...> Покоряюсь всему с любовью к тебе, которая именно парит над подозрениями за старые мои, не оскорбляющие тебя, мимолетные привязанности. Это достойно и праведно. <...>

М. С. Пилецкому-Урбановичу, первому нашему инспектору в Лицее, передай мою благодарность за воспоминание обо мне. <...> Я, верно, читал тебе лицейскую песню, где и об нем упоминается между прочими:

Пилецкий, пастырь душ, // С крестом!

Он был у нас недолго. Большой был тогда аскетик — худобы страшной. Он должен быть теперь очень стар[1]. <...>

270. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 11—12 февраля <1858 г.>, утро.

<...> Штакельберг, мой потомок лицейский,— последний мой гость в доме Бронникова. Благодари, если увидишь, что вспомнил предка своего. Благородный малый, но, кажется, есть немного немецкая закваска. <...>

12 февраля. Середа.

<...> Я начинаю ревновать Пилецкого-Урбановича. Очень понимаю, что у ног жены моей, но все-таки скажи ему, что я старый дуэлист, что еще в Лицее называл меня <так> Вильгельм. Это остановит страсть его в границах. Ты знаешь, что я не шучу!

Ужели я никогда не говорил тебе о *Семенове-бороде* (таково было у нас во время оно прозвище Алексею Васильевичу, которого ты встретила у старого его полкового командира, твоего дядюшки)? Когда-нибудь мильон смешного тебе передам о бороде.

<...> Твое служение заветному делу святое. Не уставай и не волнуйся. Говори с министрами и со всеми прямо и гордо, проникнутая своей правдой[1]. <...>

271. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 14—16 февраля <1858 г.>.

Сейчас проводил Казимирского. <...>

Читаю на русском перевод «Хижины дяди Тома» при первом номере «Современника». Перевод «Русского вестника» лучше, но хорошо, что и этот выдан вдруг сполна. Там публика должна ждать несколько месяцев. Я думаю, помещики и помещицы некоторые увидят, что кивают на Петра[1].

16 февраля, воскресенье.

<...> Порадуйся за меня! Полторацкий пишет, что дело об Ване пошло в ход и Ваня будет записан в 3-ю гильдию Новоторжского, а не Тверского общества[2].

В Ялуторовском женском училище в средней комнате упал с одной стороны потолок — счастие, что не было беды. Никого не ушибло. Пишет мне Балакшин. Я ему послал 25 целковых, да, кроме этого, из артели 50. Пишу, что если недостаточно на починку потолка и других поправок, то чтоб уведомил. Надобно поддержать ланкастерию нашу сибирскую. <...>

272. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

С. Марьино, 16 февраля 1858 г.

Ты уже знаешь от жены, что я получил, любезный друг Николай, твое письмо от 10-го с припиской жены твоей. Теперь должен вам обоим сделать выговор: как вы не сказали Казимирскому, что *супруга* моя в Петербурге, — он четыре для провел с ней в одном городе, два раза приезжал сюда в Марьино и, не видавши ее, должен отправиться в Омск. <...>

Ты говоришь, добрая Марья Николаевна, что мое сердце *любвеобильно*. Ты совершенно справедливо это замечаешь — оно так создано, следовательно, не назовешь меня, читая эти строки, гречневой кашей. Бог помог природное настроение не утратить среди многих толчков, доставшихся и на мою долю. И за это глубокое ему благодарение! Не

знаю, до какой степени плодотворна эта любовь, но знаю, что она и мучение мое, и отрада. Ты все это поймешь, не нужно пояснений. Впрочем, люблю потому, что приятно любить. <...>

273. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 17—19 февраля <1858 г.>.

18-го, вторник.

Разузнай, что сделано с чьими-то крестьянами, посланными на железную дорогу для заработок. <...>

19 февраля.

Поразила меня кончина Марьи Яковлевны — за нею непременно дойдет и добрый мой директор. Когда будешь посвободнее, непременно навести за меня и поцелуй с искренним участием. <...> Не пережить старику Марьи Яковлевны. <...>

Папаича увижу скоро. <...> Мы вместе с ним экзаменовались в Лицей. Готовы были принять любого из двух, но так как нельзя было из одного семейства быть двоим, то дал Разумовский выбор на волю покойного деда. Он выбрал меня потому, кажется, что наша семья многочисленнее[1]. <...>

274. Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ

С. Марьино, 23 февраля 1858 г.

Добрая и почтенная Елена Александровна!

Взглянув на этот листок, вспомните того, который в последний раз видел вас в 1849 г. в Селенгинске. <...> Я искренно разделил с вами потерю *вашу,* когда узнал о кончине моего доброго Николая Александровича. Этому прошло много лет, но все не могу равнодушно вспомнить об истинно любимом мною и уважаемом товарище. <...>

Теперь я к вам обращаюсь с просьбой: сделайте мне одолжение — пришлите на время портреты, нарисованные покойным Николаем. Я недолго задержу их и с благодарностью возвращу их вам сохранно. <...> Позвольте надеяться, что вы <...> исполните мою просьбу. <...> Мне хотелось бы скорей получить портреты[1]. <...>

С истинным уважением душевно вам преданный

И. Пущин.

275. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 25 февраля <1858 г.>, вторник.

<...> Сейчас писал к шаферу нашему в ответ на его лаконическое письмо. Задал ему и сожителю мильон лицейских вопросов[1]. Эти дни я все и думаю и пишу о Пушкине. Пришлось наконец кончить эту статью с фотографом. Я просил адмирала с тобой прислать мне просимые сведения. Не давай ему лениться — он таки ленив немножко, нечего сказать. <...>

276. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Марьино, 1 марта 1858 г., суббота.

<...> Завтра ты увидишь Михайла. <...> Я его просил добыть мне некоторые факты о моих допотопных долгах, которые я не считаю уплоченными, пока не знаю наверное[1].

Говорили об делах артельных наших вообще.

<...> Я теперь все с карандашом — пишу воспоминания о П<ушкине>. Тут примешалось многое другое и, кажется, вздору много. Тебе придется все это критиковать и оживить. Мне, как кажется, вяло и глупо. Не умею быть автором. J'ai l'air d'une femme en couche*. Все как бы скорей услышать крик ребенка, покрестить его, а с этой системой вряд ли творятся произведения для потомства! <...>

---

* Я похож на женщину, собирающуюся родить *(фр.)*.

277. М. М. НАРЫШКИНУ

<Марьино>, 2 марта <1858 г.>.

Третьего дня был у меня брат Михайло. Я рад был его видеть — это само собой разумеется, но рад был тоже и об тебе услышать, любезный друг Нарышкин. Решительно не понимаю, что с тобой сделалось. Вот скоро два месяца, как мы виделись, и от тебя ни слова. Между тем ты мне обещал, проездом через Тулу, известить об Настеньке, которая теперь Настасья Кондратьевна Пущина. Признаюсь, я думал, что ты захворал, и несколько раз собирался писать, но с каждой почтой поджидал от тебя инисиативы, чтоб потом откликнуться. <...>

Брат <...> говорит, что ты хотел дать ему какую-то записку ко мне, но забыл. Я в этом тебя узнаю, любезный мой сосед[1]. <...>

Жена надеется на этой неделе получить ultimatum так или иначе и лететь в объятия супруга, ожидающего ее, но вместе с тем требующего, чтоб она не *спешила* и настоящим образом кончила дело. Она за насмешку принимает подчеркнутое слово. <...>

Советую тебе подписаться на «Журнал землевладельцев». <...> будешь доволен. Когда-то мы опять будем говорить об русском вопросе? Я читаю все, что пишется об этом в «Русском вестнике», «Современнике» и «Атенее». <...>

Верный твой *И. П.*

278. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 3—5 марта <1858 г.>.

<...> Еще хотел тогда просить тебя, чтоб ты отобрала от шафера сведения (в дополнение к тем, которые от него требуют): не помнит ли он или Яковлев, когда Пушкин написал известные стихи в альбом Елизаветы Алексеевны. Мне кажется, что она ему еще в Лицее прислала после этого в подарок часы, а Анненков относит в своем издании эту пиесу к позднейшему времени. Вот тебе совершенно неожиданное поручение. Не смейся, пожалуйста, надо мной! По-

зволяю только моргнуть на меня, когда будешь об этом толковать с Матюшкиным, который, верно, почитает меня за сумасшедшего[1]. <...>

Середа, 5 марта.

<...> Благодарю за *мысль.* Не то чтоб я не любил стихи, а избалован Пушкина стихом. Странно, что и ты получила мои стихи из Москвы почти в одно время[2].

Сегодня посылаю тебе прозу поэтическую А. Н. Муравьева[3]. Это мне прислала Дорохова, я ее за *речь* благодарил, но распек, что не отвечает на мои вопросы. <...> Распек жестоко! Пишет одна Аннушка, просит тебя поцеловать. Казимирский был у них и привез Аннушке от меня ноты — я его просил купить в Москве. Он дилетант, и Нелинька тоже. <...>

Верный твой *И. П.*

В очарованном замке все благополучно.

279. Н. Д. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 10—12 марта <1858 г.>.

<...> Прекрасно, что Михайло взялся ходатайствовать о Сереже Дурове, но не мешало бы направить еще кого-нибудь из его родственников. Может быть, тетушка твоя Елизавета Павловна могла бы тут тебе помочь. Верно, она сама или через кого-нибудь из близких своих имеет возможность поговорить <о> Д<урове>. Ты меня много порадуешь, если скажешь, что удастся это дело[1]. <...>

В последнем № «М<осковских> вед<омостей>» я прочел, что после нынешней ревизии запрещено перечислять из крестьян в дворовые. <...>

12-е, серсда.

<...> Странное дело, откуда взял наш шафер, что я тебя жду? Я просил его прислать с тобою некоторые сведения, но отнюдь не назначал времени твоего выезда. <...>

<...> В субботу привезли купчика Пущина[2]. <...>

Аннушка мне пишет, что в Нижний ждут Басаргиных и что Поленька невеста Павла Менделеева, что служит в Омске. Может, это секрет, не выдавай меня. Летом они, кажется, едут в Сибирь. Когда узнаю, что Басаргин в Нижнем, напишу к нему, что его крестник теперь Пущин, а не Васильев, хоть, может быть, ему это все равно, но я помню, как они много для меня сделали, когда этот купчик явился на свет. <...>

Нарышкин видел наконец Настеньку Пущину — долг мой ей не заплочен. <...>

280. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Марьино>, 16 марта <1858 г.>, воскресенье.

Вчера вечером явился ко мне новоторжский купчик 3-й гильдии Ваня Пущин и привез мне, добрый друг Матвей Иванович, ваш листок от пятницы. Так давно не слыхал вашего голоса. <...>

Жена сегодня в Петербурге садится на чугунку. К вам, кажется, не заедет. Спешит домой — вот уже почти два месяца, что мы расстались. <...> Дело ее вряд ли будет иметь желаемый успех, она не могла поймать министра, но, кажется, он не желает совершить покупки имений в казну. Дело пошло к докладу государю. Скоро узнаем, чем там решено будет. <...>

Впрочем, теперь можно спокойно ждать и самый отказ: нет опасения насчет крестьян в случае их перехода к наследнику. Вопрос изменения в ходу и произведет свое благотворное действие на всех и на вся.

Я не понимаю, почему многие теперь призадумались,— кажется, можно радоваться, хоть дело и сложное, но уже самое приступление к развязыванию этого дела, все больше или меньше затягивавшегося от времени застоя, освежает надежду на лучшее. Я по крайней мере в этом полном убеждении и счастлив, что дожил до теперешней минуты. Надобно бы много говорить, писать не приходится. Я читаю все, что пишут и печатают об этом вопросе. Много встречаю дельного, но толки г.г. помещиков большею частью тоска, да я от них и избавлен, никого почти здесь не знаю.

Разумеется, если бы с начала царствования Александра (почти уже 60 лет) действовали не одними неудовлетвори-

тельными постановлениями, а взглянули бы настоящим образом на это дело с финансовой стороны, хоть бы даже сделали налог самый легкий с этой целью, то о сю пору отвращены были бы многие затруднения и чуть ли не большая часть из крестьян была бы уже свободна с землею.

Тогда шептались об этом, как же не радоваться, что об этом говорят, пишут, вразумляют, убеждают — одним словом, ищут исходной точки! Мне жаль, что я вам теперь не могу послать речи Александра Николаевича при открытии комитета в Нижнем[1]. Я ее послал жене; когда привезет, непременно сообщу. Писано с теплотой. Может быть, впрочем, вы ее читали? <...>

Верный ваш *И. П.*

281. Е. П. НАРЫШКИНОЙ

<Марьино>, 30 марта 1858 г.

В тот самый день, как я писал к Michel-Michel, то есть 16-го числа, почта привезла мне, добрая Елизавета Петровна, ваш листок от 9-го с выпиской из письма Кондратия. Благодарю вас и извиняюсь, что столько было вам хлопот. Теперь вы порадуетесь вместе со мной, что я имел возможность отослать деньги Настасье Кондратьевне,— брат Михайло прислал мне их с женой, и я с первой почтой кончил это дело. Написал к ней письмо, теперь оно уже у нее. Надеюсь, что мой однофамилец — муж ее или она сама мне откликнется. Писал лаконически, *но много сказал,* если они захотят понять меня настоящим образом[1]. <...>

Уже большой шаг, когда можно говорить, вразумлять и уяснять всем и каждому то, о чем прежде шептались. Эта гласность предупреждает многие опасности, неразлучные с тайною в таком деле. <...>

282. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

С. Марьино. 2 апреля 1858 г.

<...> Представилось дело, которое я откладывать не люблю. Посылаю вам для передачи Андрею Андреевичу копию с бумаги, по которой он может просить об казенном

пособии. *Третий пункт* этой бумаги укажет ему дорогу, каким образом действовать. <...> Не следует пренебрегать этой помощию помимо Маленькой артели. <...> Я нашел эту бумагу у Фролова и сегодня же посылаю другую копию Соловьеву[1].

Фролов на днях к нам приехал. Вчера отправился в Петербург с своим старшим сыном и с сыном Фаленберга. Жена с остальными детьми (двумя) отдыхает в Марьинском очарованном замке; она больная женщина, утомилась дорогой. <...> Фролов с семьей поедет в Керчь к матушке. Фролов как-то не так угловат, как был прежде. Его жена очень порядочная женщина. Вообще, кажется, он довольно удачно разрешил задачу в смысле mariages espagnols*, как я называю сибирские сочетания. <...>

К. П. Торсон в Москве. <...> Существует безбедно. Имеет помощь от казны и от Маленькой артели.

О девицах Бестужевых ничего положительного не умею вам сказать. Недавно я писал к Елене Александровне, было дело. Когда получу ответ, дам и вам сведения об них. <...> Михаил Бестужев должен быть в Америке, он *чем-то* в Иркутской пароходной компании по Амуру[2].

Быстрицкому благодарить меня не за что. Пусть ведает, что я по-прежнему казначей Маленькой артели и больше ничего.

О Бриггене я ничего не знаю. Он был в Москве и ни с кем не видался. <...>

Матвею Апостолу посылаю речь А. Н. Муравьева при открытии Нижегородского комитета. Речь теплая, но странно, что с текстом из Луки. Мне не случалось слышать у губернатора такой цитаты[3]. Директриса мне прислала эту речь.

Верный ваш *И. П.*

283. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

С. Марьино, 16 апреля <1858 г.>.

<...> Насчет гостя твоего Евгения я вполне разделяю твое мнение. Скажу даже более: не только нельзя не любить этого честного полусвятого человека, как ты говоришь, но нет возможности на него сердиться, хотя иногда

---

* испанские браки (неравные, неподходящие) *(фр.)*.

он именно взбесит разным вздором, который какая-то нелегкая угораздит его выпустить. Я с ним рука в руку с 1817 года. Скажи ему, что я получил от Настеньки ответ на посланные его деньги. Очень мило пишет. Матушка ее уже умерла. Непременно увижусь с нею, когда буду путешествовать, а когда это будет, в газетах еще не объявлено. Известно только из «Полицейских ведомостей» об отъезде за границу семьи Волконского. Кажется, 14-го должны были оставить Москву. С<ергей> Г<ригорьевич> остается на Руси и будет странствовать вроде «вечного жида».

Фотограф возвратился из Смоленска и тотчас отправился в Петербург, откуда теперь его ожидает жена, по крайней мере она мне это говорит в последнем письме 12-го апреля.

Благодарю за известие о водворении Бакунина в доме Лучших. Хорошо знать его на хороших руках, но я хотел бы, чтоб ты мне сказал, на ком он затевает жениться? Может быть, это знакомая тебе особа — ты был дедушкой всех томских невест. И я порадовал бы его матушку, если б мог сказать ей что-нибудь положительное о выборе ее сына[1]. Неизвестность ее тревожит, а тут всегда является Маремьяна. <...>

Верный твой *И. П.*

284. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Марьино>, 20 апреля 1858 г.

Вот уже с лишком неделя, что надобно бы откликнуться, добрый друг Матвей Иванович, на ваше письмо от 6-го числа, но мне этот раз больше, нежели когда-нибудь, хотелось бы не писать к вам, а говорить с вами. Начнем с понятной вашей скорби об Иване Дмитриевиче. Я ее вполне разделяю с вами; чувствую, что вам несравненно тяжеле моего эта потеря, но все-таки желал бы, чтоб вы примирились с этой бедой! Я уверен, что он сам, если б мог оттуда высказаться, просил бы вас об этом, не желая, чтоб воспоминания об нем отравляли земной ваш быт, который и без того имеет не совсем светлые стороны. Ему так отраднее было бы знать, что вы, и в загробной привязанности к нему, находите, в тяжелых ваших минутах, то утешение, которое иногда находили в нем, когда он был *здесь.* Зачем же лишать его этой отрады? Я не знаю, в каких отношениях с на-

ми близкие нам души, но убежден, что земная разлука не разрывает настоящей связи — она должна иметь свое проявление, до предстоящего всем свидания. Когда, где и как? Я тоже не понимаю и даже теряюсь, когда ищу понять; но внутри ощущаю, что с иными не совсем расстался. <...>

Прекрасно делаете, что хотите написать завещание,— это обязанность прямая всякого честного человека, когда есть чем и для кого распорядиться, и отнюдь не лишнее, хоть бы пришлось жить еще сто лет. <...>

Ужели до сих пор нет «Тверских губернских ведомостей»? Что делал мой Бакунин? Очень рад был прочесть письмо Толя по этому поводу — пожмите ему за меня руку. Надобно непременно скорей начать это дело. Теперь нужен в каждой местности свой орган[1].

Я не только не нахожу, чтоб здешняя весна была лучше сибирской, но вот их две пришлось уже здесь видеть, и обе несравненно хуже ялуторовских. Там апрель был прелесть! <...>

Самые частые у нас письменные сношения с Калугой. Все трое оттуда пишут[2]. Евгений Калужской ожидает в июне или князя или княжну. Убедите вашего племянника, что пора кончить эти исторические задачи,— и то уже разрыли все нижегородские архивы для доказательства требуемых княжеских грамот наличным своим детям[3].

285. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

<Марьино>, 23 апреля <1858 г.>, середа.

В прошлую середу калужский дворянин[1] должен был доставить тебе мой ответ на один пункт твоего письма от 13 числа, добрый друг Евгений. Пора коснуться и других и поблагодарить тебя за твою грамотку.

Ты говоришь о полном усыновлении,— разумеется, это можно бы сделать, но я не хочу касаться этого, потому что надобно тут дело доводить до престола. Теперь все способы есть к поступлению в университет, следовательно, от Вани уже зависит шагать вперед. С помощию божию это все уладится. Усвоить же себе и Аннушку и его никакою формальностию я не могу больше как теперь. Люблю их, сколько умею, и делаю, что могу. Следовательно, эта статья не требует никаких новых исканий, которые вообще сопряжены с большими неудобствами.

Не знаю, почему ты представил себе, что я равнодушен к крестьянскому делу. Разве потому, что я не пишу об нем, как ты. Ты очень хорошо делаешь, что пишешь, а мне позволь ограничиться тем, что я читаю все, что только об нем печатают. Это научает меня и просветляет мою мысль. Ты, верно, не сомневаешься, что я всегда желал и желаю теперь освобождения крестьян,— радуюсь сердечно, что положено начало исполнению; но только мне обидно, что почти шестьдесят лет, когда уже начали об этом думать и перестали закреплять людей, как это делалось до Александра I[2], не пошли настоящим путем; выпускали разные постановления, ни к чему не ведущие[3], а не приступили тогда же к настоящей системе, т. е. к выкупу, о чем представлялись правительству проекты еще до нашего истребления. Тут разрешался бы финансовый вопрос. Не говоря уже о разном способе составить нужный для этого капитал, я допускал даже налог со всех классов для этой цели — гласный! Он никому бы не был тяжел и отвратил те затруднения, которые теперь являются. О сю пору уже было бы почти все сделано. Ты скажешь, что об этом теперь нечего говорить. Может быть, и так! Но, кажется, нам с тобою и это позволено, потому что мы в эту кружку уложили кой-что не денежное. Благодарю бога искренно, что дожил до той минуты, когда говорят и печатают то, о чем мы шептались. Что же мне делать, если я по невежеству моему не умею практически ничего в этом деле указать. Поэтому я молчу и слушаю. Ты же в своем положении — пишешь и ожидаешь плода от твоих писаний.

Помогай тебе бог! Каждый действует по своему убеждению. <...>

286. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Марьино>, 30 апреля <1858 г.>.

Сейчас Маремьяна писала в Тверь к матери того, который, вероятно, уже сочетался законным браком с дочерью меньшого из Квятковских. Сообщая этот удовлетворительный, отрадный отзыв куда следует, поручила мне наскоро сказать спасибо сердечное доброму человеку, который доставил ей эту справку. <...>

Иван Великий предполагает на будущей неделе двинуться в Москву; там пробудет до 7-го числа — заберет сестру

свою, вдову Бароццову, которая к этому дню должна приехать на чугунке, заберет и купчика Ивана малого и привезет их к 8-му в Марьино, где жена состряпает именинный пирог. Вам не можно уехать, потому что тут скопилось несколько праздничных дней. Он тоже состоит под охраной Иоанна-богослова.

Нам всем жаль, что нашего народу никого не придется угостить. Разве удастся залучить фотографа, но и то еще не верно. Сестра останется у нас, пока я не соберусь в Нижний, куда должна заехать за мной жена, осмотревши костромское именье. Это уже будет в половине июня. Так предполагается навестить Калугу и Тулу с окрестностями[1]. <...>

Верный твой *И. П.*

287. Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ

С. Марьино, 21 мая 1858 г.

Три дня тому назад дошло до меня, добрая и почтенная Елена Александровна, дружеское ваше письмо от 5 апреля. <...> Если я не подал вам голоса по переезде моем за Урал, то это потому, что я сначала был очень болен, а потом в Петербурге Катерина Петровна заверила меня, что вы тоже будете сюда. <...> Вперед благодарю вас за внимание ваше к моей просьбе; буду ожидать вашего появления в Москву, — может быть, даже удастся вас увидеть. <...> Петр Васильевич Казакевич лично мне знаком и известен: чуть ли это не лучший сподвижник Н. Н. Муравьева, которых я почти всех имел случай больше или меньше видеть. <...>

С полным уважением, душевно вам преданный

И. Пущин.

288. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

С. Марьино, 21 мая 1858 г.

<...> Сегодня середа — а в субботу я буду вечером в Москве. Еду с сестрой Бароцци, которая погостила у нас. Очень рад бы найти вас в Белокаменной — с прошлой почтой узнал от Александра Ларионовича, что вы там, но он не пишет, надолго ли. Давно мы не видались, и если теперь не застану вас, то до сентября не увидимся.

У нас сделан бюджет на лето. Надеюсь, что бог поможет привести его в исполнение. Предположено:

1) В Нижнем провести две или три недели, т. е. до 20-х чисел июня. Жена в это время съездит в костромское имение.

2) Возвратясь из Нижнего, беру Ваню на вакацию — остаюсь до первого августа дома — действую и ожидаю Дурова из Одессы.

3) В августе навещаем наших в Туле и Калуге.

4) В сентябре поездка в Петербург — отдых в Твери.

Дальнейшее предоставляется обстоятельствам. <...>

Балакшин меня порадовал известием об училище — пишет, что Крестьянов очень дельно им занимается, что девушек ходит 74 и что учителя преподают в классах. На пожертвованный ситец ученицам сшиты новые платья[1]. Говорю это вам, а может быть, вы все лучше меня знаете, если получаете письма от тамошних ваших корреспондентов. <...>

Верный ваш *И. П.*

289. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Нижний Новгород. 4—8 июня 1858 г.

<...> Я с отрадой смотрю на Аннушку нашу — миловидную наивную болтунью, — в разговоре она милее, нежели на письме. <...> Велел принести папку — отдал Аннушке две иллюминованные литографии (виды Везувия, Неаполь и Сорренто), которые я купил в Москве. Она рисует изрядно. Буду видеть и с карандашом в руках. При этом осмотре моих рисунков директриса получила в дар портреты П. Борисова, Волконского и Одоевского. <...>

Потолковали и отправились к Муравьеву. <...> У Муравьева по случаю воскресенья был прием. <...> От Муравьевых заехал к Карамзиным — он сын историографа <...>, член комитета современного дела. <...>

Отыскивая «Колокол», я случайно узнал от М<арьи> А<лександровны>, что здесь мой сибирский хороший знакомец Шумахер. Она тотчас послала ему сказать, что я приехал; к чаю он явился с номером, где то, что мне нужно. <...>

Навестил Даля (с ним побеседовал добрый час). <...>

Ты будешь читать письмо Герцена и будешь очень довольна[1]. Есть у меня. <...>

6 июня, пятница.

<...> Утром явился ко мне Володя Анненков. <...> Спрашивает, где отец его. Я решительно ничего не мог ему сказать. Говорит, что ожидает их возвращения каждый день. С ним потолковал и нашел, что он все тот же. Кажется, переезд через Урал нисколько его не оживил, только меньше плюет по-бурятски. И то хорошо. <...>

Вся наша петербургская семья отправляется 1 июня в Царское Село; покамест на Мойке остается Михаил с женой, Бароццова (она здорова и весела), Варя и Лиза. Этот отряд будет наезжать в Ц<арское> С<ело> до отправления в Щиглицы. <...>

Воскресенье, 8 июня.

<...> Явился к директрисе Иван Александрович, встретился с ним пристойно, но холодно. Она, то есть Анненкова, простудилась — ставила пиявки. Я к ней заеду с визитом и покажу Анненкову — душеприказчику — письмо Киреева, которое очень кстати ты мне прислала. Это его заставит скорей послать деньги в Минусинск[2]. <...>

290. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Нижний, 9 июня 1858 г.

<...> Здесь остаюсь до 16-го. <...>

Сегодня день моего выпуска из Лицея в 817-м году. Поглядывал на кольцо, вспоминал всех однокашников. <...>

Сейчас мы едем навестить Прасковью Егоровну. Считаю обязанностию исполнить эту вежливость. <...>

291. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

Нижний, 12 июня 1858 г.

На днях я просил Eudoxie сказать тебе, любезный друг Николай, что я в Нижнем не раз склонял и склоняю твое имя с Далем и Шумахером. <...>

Ты и Марья Николаевна, вы без рассказов понимаете, с какой радостию мы обнялись с Аннушкой: ее наивная сердечная веселость при встрече удвоила отрадное чувство мое. <...> Мы с Аннушкой толкуем о многом — она меня понимает. Пребывание мое здесь будет иметь свой плод, как я надеюсь. Покамест она остается, иначе невозможно: и жена того же мнения — мы не раз трактовали с нею об этом предмете, нам обоим близком. <...>

С Далем я ратоборствую о грамотности. Непременно хотелось уяснить себе, почему он написал статью, которая всех неприятно поразила. Вышло недоразумение, но все-таки <лучше>, если бы он ее не писал, если не мог, по некоторым обстоятельствам, написать, как хотел и как следовало. Это длинная история[1]. <...>

Верный твой *И. П.*

292. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Нижний Новгород, 13—14 июня 1858 г.

Анненков никуда не назначен и нигде не заседает. Это московские бредни. Я был у Прасковьи Егоровны — она в насморке, не выезжает. Душеприказчик обещает завтра выслать в Минусинск деньги. Я уже писал вчера об этом Фаленбергу. Фролов получил свои. Есть уже от них ответ.

Вообще я жестоко ораторствую и по крестьянскому делу (и по другим отраслям). <...>

14, суббота

Сегодня поеду проститься с губернаторской семьей. <...>

Басаргин мне пишет, что будет в Нижний 20-го числа. Чтобы я их дождался, они едут в Омск. На всякий случай советует, если здесь не останусь, спросить об нем во Владимире, где он несколько дней должен пробыть. Разумеется, я его не жду. <...> Необыкновенно тянет меня к тебе. <...>

293. М. С. КОРСАКОВУ

Марьино, 6 июля 1858 г.

Простите великодушно, добрый и почтенный Михаил Семенович, что до сих пор не откликнулся на ваше милое и любезное письмо от 30-го марта. Я его получил перед самым отъездом моим в Нижний, где пробыл с Аннушкой до половины июня. Ваше письмо необыкновенно долго шло,— видно, весенняя распутица была причиной этого страшного замедления,— правда, и не близко мы теперь друг от друга! <...>

Благодарю вас искренно за ваше участие в перемене моего быта. Это истинно явное благоволение свыше! Никак не приписываю себе, своим достоинствам согласие жены разделить со мной остаток наших дней. Союз этот возвратил меня к жизни, значит, я еще на что-нибудь здесь пригоден. Благодаря бога, с прошлого сентября болезнь уступила, и я начал поправляться. Теперь хотя не Геркулес, но сколько-нибудь действую. Надеюсь, что силы укрепятся. Очень жалею, что вы не навестили нас в Марьине. Пожалуйста, если будет возможность, доставьте нам это удовольствие. Жена так часто слышала от меня рассказы об вас, что желала бы с вами познакомиться. Когда вы были в Москве, я не мог туда приехать. Меня держали в карантине. Грешно было бы его нарушить, когда он был наложен любовью и дружбой. В продолжение прошлой зимы меня навещали и родные, и друзья — два раза был Яков Дмитриевич. Теперь мы с женой в августе думаем побывать у наших в Калуге и Туле. Из ваших знакомых в Калуге Оболенский и Батеньков. У Евгения недавно родилась опять дочь, княжна Мария. Басаргин поехал в Омск выдать замуж и пристроить Поленьку — ее жених Павел Менделеев, брат Ольги Ивановны[1]. Я с ними, к сожалению, разъехался ночью под Владимиром, возвращаясь из Нижнего. Матвея Апостола видел в Москве, он приезжал один быть крестным отцом Сережи, родившегося у Нонушки. Домашних его надеюсь увидеть в сентябре, если устроится, как предполагаю, поездка моя в Петербург.

Этот раз останавливался, по усиленной просьбе, у Сергея Григорьевича. Он *ужасно* один в пустом Нелинькином доме и рад был моему сожитию, хотя были вместе только рано утром и поздно вечером. Он сам должен скоро ехать в Воронеж и Крым, по делам дочери. Она, М<ария> Н<и-

колаевна> и Миша и Сережа на водах. Пьют их и купаются. Дай бог, на пользу!

Меня удивило, что вы мне говорите о намерении выйти в отставку[2]. Не понимаю этого! Или *что-нибудь* тут кроется мне неизвестное, иначе не могу себе представить, чтобы вы оставили Н<иколая> Н<иколаевича> после всего, что он для вас сделал. Извините, что я вам говорю откровенно, как думаю, не умею иначе поступать. Со временем все это мне объяснится. От души желаю вам всего лучшего, главное, терпения в начатом деле. Храни вас бог! Обнимаю вас крепко...

И. П. <...>

294. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

С. Марьино, 16 июля 1858 г.

<...> Насчет твоего дружеского выговора в том же письме мы несколько объяснились при минутном свидании под Новинским[1]. Ты не приписываешь мне, как я уверен, чего-нибудь ненормального в наших сношениях. Благодарю бога, они отрадно упрочились. Впрочем, я русский человек, люблю, когда меня бранят,— это пригодится вперед, хоть на этот раз и незаслуженно. Довольно объяснений. Будем всегда, как мы теперь, и все будет хорошо. <...>

Жена в это время похоронила дядю[2] своего в Москве — на несколько дней туда ездила. Теперь скоро опять поедет в костромское именье, чтоб в августе быть свободной для нашего путешествия неделового. Бог даст, увидимся, потолкуем — поговорить есть о чем. Не вини ее, что она не писала вам обо мне. Она завалена вопросами по рязанскому комитету. Больше или меньше тормошат ее остальных трех губерний комитеты[3], т. е. предводители уездные, не заботясь о том, что задают вопросы без всякой системы и толку. Она добросовестно смотрит на все это и невольным образом озабочена. При ее же медленности дела не спорятся.

Пушкин еще у нас, Дуров тоже. Так что в очарованном замке тоже бывают сходки довольно шумные. Утром только всякий за своим делом. Я погибаю в строительном заведовании: и плотники, и маляры, и каменщики — все в работе. Кой-что уже кончено, но много хлопот и впереди. Когда приедешь в Марьино, найдешь большую перемену в наружной физиономии усадьбы.

<...> Жена видела Александру Васильевну. Все нездорова — при ней К. П. Торсон — бережет ее, сердобольная. На днях жду Казанского из Москвы, он обещал навестить ее и сказать мне, что и как, а кажется, не совсем ладно. <...>

295. Е. П. и М. М. НАРЫШКИНЫМ

С. Марьино, 27 июля 1858 г.

Оболенский тоже требовал от меня сведений насчет нашего съезда; я ему сказал с разными прибаутками, что в наших свиданиях не так, как <у> царских особ, не нужно никаких приготовлений. Следовательно, можно всегда явиться запросто и благодарить бога, что мы не цари.

<...> 24-го числа Ал<ександра> Вас<ильевна> Ентальцева кончила земное свое странствие. <...> 26-го ее похоронили в Алексеевском монастыре. <...>

296. М. В. ИВАШЕВОЙ-ТРУБНИКОВОЙ

С. Марьино, 30 июля 1858 г., середа.

Сегодня получил, милый друг Машенька, твой листок от 26-го числа и тотчас с упреком совести бросился справлять<ся> с записной книгой: вышло, что писал тебе в последний раз 11 мая, — кажется, не может быть, чтоб я так долго молчал с тобой: или ты мне не отвечала на тогдашнее письмо, или я забыл отметить в своей книжке. Между тем мне помнится, что я тебе писал из Нижнего. Впрочем, если ты говоришь, что переписка наша остановилась, значит, я провинился. Не взыщи: это время много было и хлопот, и движения, и всякой всячины. Когда-нибудь, вероятно в сентябре, будем об этом говорить, писать такую длинную историю я и сегодня не имею возможности. Взять перо по почтовым делам — их накопилось довольно много, и непременно, прочитавши твое, захотелось хоть словечко тебе сказать, дружок мой, в изъявление благодарности за дружеские твои пени.

Я точно это время часто имел вести о тебе от моих домашних. Знаю твой подвиг храбрости, или по крайней мере нетрусости, что иногда все равно. Мне Annette описывала пожар и твое присутствие духа среди этой тревоги, а как раз всякого другого озадачило бы в твоем положении оди-

наково тогда с малютками. Хвала богу, но и тебе спасибо! Я просил Annette тебя расцеловать.

Впрочем, я тебя уже знаю — ты с сыном партизана[1] поступила, как, верно, другая не сумела бы. Все это я давно тебе высказал. Не знаю только, писал ли я тебе, что перед отъездом в Нижний, в Москве у Трубецкого встретился с молодым человеком. Меня с ним познакомили, мы долго толковали об его отце, которого я хорошо знаю, и мне даже показалось, будто бы мой собеседник знает меня. Я потом у хозяина спросил его имя. Говорит — Денис Денисович! Потом уже не видались, и никакого намека от него <не> было в продолжение разговора, чтоб я сколько-нибудь был ему известен. При свидании больше об этом поговорим.

Обнимаю тебя, мой дружок, наскоро — ты обнимешь за меня мужа, обеих Верочек и незнакомку мою Оленьку. Петя не заезжал ко мне, а шоссе Рязанское вижу из окна. Очень бы рад, если б он завернул ко мне.

Жена еще не возвратилась из костромской деревни — когда будет дома, прочтет твой листок, и я поцелую ее за тебя.

Крестный твой[2] поехал в Омск, там выдаст замуж Поленьку, которая у них воспитывалась, за Менделеева, брата жены его, молодого человека, служащего в Главном управлении Западной Сибири. Устроит молодых и зимой вернется в Покровский уезд, где купил маленькое именье. Я все это знаю из его письма — опять с ним разъехались ночью под Владимиром. Как не судьба свидеться!

Теперь в заключение напишу письмо к жене — от нее сегодня не было.

Если увидишь кого-нибудь из моих, скажи, что жив Чурилка! Все слава богу.

Напиши Петруше, чтоб он на возвратном пути под Бронницами вспомнил Марьино!

Верный твой *И. П.*

Твой должник будет к тебе с расчетом и уплатой.

297. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Марьино>, 30 июля <1858 г.>.

<...> 1) Добудьте мне полные сочинения Фурье — мне это нужно для Дурова (он не нашел в Одессе).

<...> 4) Книжонку о Пушкине[1] пришлите с Иваном-кучером, он в воскресенье везет Ваню — у вас будет в поне-

дельник. Хочется посмотреть, нет ли там чего-нибудь для моей рукописи. Еще пять листов уже готовы — быстро подвигаемся к концу. <...>

298. Е. И. ЯКУШКИНУ

Марьино, 15—21 августа <1858 г.>.

Вот вам, любезный мой банкир, и фотограф, и литограф[1], и пр. и пр., окончательные листы моей рукописи. Прошу вас, добрый Евгений Иванович, переплесть ее в том виде, как она к вам явилась,— в воспоминание обо мне!

Печататься не хочу в *искаженном виде* и потому не даю вам на это согласия. Кроме ваших самых близких, я желал бы, чтоб рукопись мою прочел П. В. Анненков. Я ему говорил кой о чем тут сказанном. Вообще прошу вас *не производить меня в литераторы.*

Или сами (или кто-нибудь четко пишущий) перепишите мне с пробелами один экземпляр для могущих быть дополнений, только, пожалуйста, без ошибок. Мне уже наскучила корректура над собственноручным своим изданием. Когда буду в Москве, на первом листе напишу несколько строк; велите переплетчику в начале вашей книги прибавить лист[2]. <...>

Дуров вам вручит и этот листок, и рукопись. <...>

Наконец сегодня, то есть 21 августа, явился Пальм и завтра утром увозит Дурова, который непременно сам заедет к вам. Вопрос в том, застанет ли он вас дома. Во всяком случае, у вас на столе будет и рукопись, и это письмо. <...>

Обнимаю вас. *И. П.*

299. Н. И. ПУЩИНУ

<Марьино>, 17 августа <1858 г.>.

<...> При случае поблагодари Даля за предложение приютить меня, хотя вряд ли я этим воспользуюсь, если придется быть опять в Нижнем. Я уверен, что его предло-

жение не фраза, но я не иначе у кого-нибудь останавливаюсь, как если уже настоящим образом близок.

Недавно получил письмо от Елены Александровны Бестужевой. Она с сестрами возвращается в Россию. <...>

Верный твой *И. П.*

300. Е. И. ЯКУШКИНУ

<Марьино>, 27 августа <1858 г.>.

<...> 2) Марлинского величают Александром Александровичем. 3) О знакомстве и близости Пушкина с ним и с Рылеевым не берусь теперь ничего сказать. Как в тумане все это. Поговорим при свидании. Теперь весь в почте. Пропасть ответов. Остальные ваши вопросы до того же времени откладываю. Вероятно, от этого промедления не пострадает род человеческий.

И вы с своей стороны приготовьте все вопросы. Когда закурите у меня трубку — вынем их из-за вашей пазухи, и начнется экзамен.

Не хочется уехать, не распорядившись делами артели. Сегодня получил от Трубецкого письмо, в котором он говорит следующее: «В делах артели я участвую на половину того, что вы посылаете Быстрицкому; а так как в прошлом году я ничего не давал, то я это заменю в нынешнем выдачею ему всей суммы сполна, считая, как вы мне указали, к 26 августа,— следовательно, он будет обеспечен по такое же число будущего 1859-го года, а к тому времени, если будем живы, спишемся с вами. <...>»

От Пущина нового (как называет Батенков Ваню) не имею ни строчки с тех пор, как уехал. <...>

Рылеевой, жены, нет в живых. Я увижу дочь, единственную наследницу[1].

Об сношениях Пушкина с Марлинским я вас направлю на сестру его, т. е. на Елену Александровну Бестужеву, которая должна скоро быть из Селенгинска в Москву. У меня уже есть ее адрес московский. С ней будут портреты[2].

Знакомство и сношения могли быть в 18-м, 19-м и 20-м году. Я смутно вспоминаю это время. Тогда сам я не был знаком ни с Кондратием, ни с Марлинским. При свидании все это разберем по косточкам. Теперь решительно не об том думаю. Скопилось много разнородных дел. Почта не ждет. <...>

301. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

<Марьино>, середа, 27 августа <1858 г.>.

<...> Что ты мне ничего не говоришь о перемещении Пирогова в Киев. Ребиндеру будет трудно после него в Одессе, где Пирогова все ценили и любили[1]. Дуров мне много о нем говорил. <...>

Он же таковой же[2].

Пусть эту подпись объяснит тебе адмирал-шафер, по лицейским преданиям.

302. Н. Д. ПУЩИНОЙ

Марьино, 3 сентября, середа, 1858 г.

<...> Новость одна (и то еще не знаю, достоверная ли), что Нелинька выходит замуж за Кочубея. Мне об этом пишет Биби, которого ты никогда не узнаешь.

Для порядка надобно тебе сказать, что иркутский Николай Николаевич получил титул графа Муравьева-Амурского. Это уже в газетах. С чем тебя и поздравляю. Мне как-то смешно звучит это прилагательное. <...>

Верный твой *И. П.*

303. М. Н. ПУЩИНОЙ

<Марьино>, 14 сентября <1858 г.>.

10 числа получил я, добрая Марья Николаевна, твои листки от 3 числа, а на другой день явилась домой моя хозяйка. <...>

Ты меня спрашиваешь, что я скажу о графе Амурском? Это слово, в виде прилагательного имени, как-то плохо звучит, но если приятно графу новому, то почему же не называть его так, хотя, верно, родится много шуток по этому случаю. В моих глазах собственно Муравьев не вырос после этого титула. Я всегда отдаю ему должную справедливость и душевно желаю, чтоб упрочилось и развилось настоящим образом Амурское дело,— тогда история оценит его настоящим образом[1]. Сегодня прочел, что новый граф и полный генерал. Просто потоп наград[1]. <...>

Верный твой *И. П.*

304. В. И. ПУЩИНОЙ

Калуга, 26 сентября <1858 г.>.

Вчера в шесть часов вечера, с заходящим солнцем, мы въехали в Калугу. Здесь нашел я письма, посланные по моему распоряжению из Марьина.

О поездке моей к дочери друга Кондратия будем говорить, когда я буду к вам. Очень доволен, что отыскал Настеньку прежних лет, а теперь Пущину.

Верный твой *И. П.*

305. М. М. НАРЫШКИНУ

Калуга, суббота, 27 сентября 1858 г.

Пользуюсь свободной минутой, чтобы обнять тебя, добрый друг Нарышкин, и благодарить искренно вас обоих, радушных хозяев села Высокого. Жена то же гласит, хотя не пишет отсюда. <...>

Простившись с тобою в Туле, мы продолжали путь до Алексина. <...>

Я тотчас отправился за письмами к Батенькову. <...> Он поехал к Елагиным, а Евгений в Москву — по вызову Ростовцева. Все это не совсем удачно! Отправился к Свистунову. У Свистунова проболтал до полуночи. <...>

Хорошо, если бы Евгений вернулся. Охота ему возиться с Иаковом.

Завтра последний день не Помпеи, а нашего пребывания в Калуге. В понедельник рано утром предположен выезд на Малый Ярославец.

Сейчас приехал Свистунов. Отправляюсь с ним посмотреть Калугу. <...>

Верный твой *И. П.*

306. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Калуга>, 27 октября <1858 г.>.

Благодарю вас, любезный друг Матвей Иванович, за ваше письмо. Наскоро вам отвечаю, по пунктам.

1) Адрес Дурова — в Одессу, на Морском бульваре, дом Каруты.

2) Унковс<кий> у меня не был, да я этого и не требую от человека, занятого дела<ми>. Я виделся с Бакуниным. Он мне сообщал результаты их исканий. Вы от них теперь все слышали. Дай бог, чтобы наладилось дело[1]. <...>

Записки Вани вы когда-нибудь увидите, если он их не истребил. Вы только напрасно при этом случае говорите о Циммермане. Он тут ни в чем не виноват. Когда Ваня был у меня летом, однажды спрашивает: что ему делать? Я и говорю ему: возьми бумаги и пиши свои записки — расскажи наше путешествие. Вот почему он несколько дней кряду писал сочинения, которые читал Евгению Ивановичу и Дурову.

Крепко вас обнимаю — авось увидимся в Москве,— к сожалению, не могу опять отдохнуть в гостеприимном вашем приятном уголке.

Верный ваш *И. П.*

Вчера провели у меня день сибирские кадеты Фаленберг, Фролов и Мозгалевский.

307. П. Н. СВИСТУНОВУ

С. Марьино, 9 ноября 1858 г.

<...> Министра нашего не видал, потому что он не счел нужным повидаться со мной; верно, знал, что я через Мойку от него.

Корф был, и я с ним откровенно высказался,— это не нарушило нашей лицейской связи. <...>

Прочтите 25-й номер «Колокола»[1]. <...>

308. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

С. Марьино, 19 ноября 1858 г.

<...> Письмо ваше от 4 октября получил я в Петербурге, куда мне прислала его жена. Там я не имел возможности заняться перепиской. Все время проводил в болтовне дома с посетителями и старыми товарищами и друзьями. К жене я возвратился 8-го числа. <...>

Начнем с Викторыча. От него я не имею писем, но знаю от сестер Бестужевых, что он и не думает возвращаться, а хочет действовать на каком-то прииске в Верхнеудинском округе. Что-то не верится. Кажется, это у него маленькое сумасшествие[1]. Бестужевы видели его в Иркутске — они приехали в Москву в конце октября, простились совсем с Селенгинском, где без Николая уже не приходилось им оставаться. Брат их Михайло покамест там, но, может быть, со временем тоже с семьей своей переселится в Россию.

Волконский за два дня до приезда моего в Москву уехал за границу. Путешествие его было самое тяжелое: он трое суток лежал больной в Варшаве, в Берлине столько же и приехал в Париж с опухшими ногами, с ранами на ногах. Нелинька зовет его на зиму в Ниццу, где уже Мария Николаевна с Сережей.

С востока тоже было известие мрачное. У Казимирского был удар. <...> Думает ехать в Москву после Нового года. <...>

Надобно бы вам рассказать нашу поездку с женой в Тулу и Калугу, но для этого нужно исписать фолианты. Я скажу вам только, что в 20 верстах от Нарышкина отыскал Настеньку Рылееву, теперь Пущину. Был у нее, нашел ее матерью 9 детей, которых всех сама вскормила,— последний теперь грудной. На вид ей не больше 30 лет. Старшие три сына в Тульской гимназии. Пустил я в ход дело о напечатании вновь сочинений Кондратия, изданных в 825-м году. Дочь его писала письмо министру просвещения по предварительному согласию его ходатайствовать об этом. Не знаю, что будет, а было бы не худо, если б это маремьянство удалось,— у нас нашлись средства издать, с возвращением этой издержки из вырученных денег. Скоро должно решиться это дело[2]. <...>

«Колокол» и у вас слышен, без сомнения,— я остановился на 25-м ударе.

О современном вопросе, кажется, начинают думать в финансовом отношении — признают необходимость выкупа.

От Быстрицкого опять получил письмо. <...>

Если с вами играет в шахматы Павел Сергеевич Пущин, то, пожалуйста, обнимите его за меня. Он, верно, вспомнит наши встречи в Кишиневе в 820-м году. <...>

Басаргины должны быть теперь дома, в нашем соседстве — последнее об них известие было из Нижнего.

Рыжий был у меня в Петербурге; сказал, что Бригген живет в северной столице и собирается навестить меня, но я его не видал.

Барон там, с ним виделся. Он начинает пришепетывать ногами.

Покамест довольно. Крепко вас обнимаю, добрый друг.

Верный ваш *И. П.*

309. П. Н. СВИСТУНОВУ

С. Марьино, 7 декабря 1858 г.

<...> Приехал из Петербурга совершенно здоров, а потом ни с того ни с сего начал кашлять очень сильно и худеть. Решительно не мог ничем заняться, слабость неимоверная. Нужно было опять чиниться. <...>

С этим листком вы получите посылку. В ней вы найдете «Одичалого». Рукопись эту посылает Пашенька Оболенскому, который просил ее списать эти стихи Батенкова; он, может быть, и забыл об этом[1].

310. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

1859-го года, февраля 15, с. Марьино.

С прошедшей почтой получил я твой листок от 8-го, мой любезный калужский дворянин. Как ты видишь, Иван Великий еще не сам звонит, но глубоко чувствует твое дружеское участие и просит доброго человека за него посекретарствовать[1]. <...>

Ты в числе двенадцати освобожден от надзора, чему я очень рад и решительно не понимаю этой цифры; почему Барон Баронов не в этом числе![2] Собственно, мне ничего не объявлено – я и делаю, как бы за мною надзора нет, потому что три месяца не выхожу из комнаты. Если тебе известно, то назови всех с тобою избавленных; любопытно знать, потому что и возвратилось не много больше этого числа. Евгений Якушкин назначен управляющим ярославской палатой и скоро туда едет, это самая свежая новость. <...>

311. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

Марта 15, 1859 г., с. Марьино.

Добрый друг Сергей Петрович <...>, вместо моего почерка вы видите почерк Павла Сергеевича. Он и опекает меня, и секретарствует. Значит, я еще сам никуда не гожусь. <...> Отвечу коротко на некоторые ваши вопросы. <...>

Сестры Бестужевых, которых я видел в Москве во время моего путешествия, поселились в Москве. <...> Брат их Михаил остался в Селенгинске с семьею. Переезд его в Россию еще не решен[1]. <...>

Казимирский с 26 февраля в Москве, едет за границу весною; после удара он поправился. <...> Я назначил было ему свидание в Москве, но судьба решила иначе.

В бытность мою в Тульской губернии я навестил Настеньку или, лучше сказать, Настасью Кондратьевну Пущину. Муж ее отставной кирасир, живет в деревне. Зовут его Иван Александрович. Живут летом в деревне, а зимой в Туле, где старшие три сына учатся в гимназии. Все семейство состоит из девяти человек. Она меня приняла, как родственника, и мы вместе поплакали об Кондратии, которого она помнит и любит. Мать ее несколько лет тому назад как умерла. Живут они безбедно. <...> Она мне напомнила покойника быстротою взгляда и верхней частию лица,— видно, женщина с энергией, но, живя в глуши, мало знакома с происшедшим. Теперь она довольно часто видается с Нарышкиными. Я сам не теряю надежды, если бог поставит на ноги, хорошенько с нею повидаться. Этот раз только несколько часов были вместе. Встреча наша необыкновенно перенесла меня в прошедшее: о многом вспомнили. <...>

312. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

<Марьино>, 22 марта 1859 г.

Вы поймете, добрый друг Матвей Иванович, что во мне происходит, увидя, что диктую Аннушке письмо мое к вам. Сначала я испугался, знавши об их намерении приехать сюда, боялся весенней дороги для М<арьи> А<лександровны>, но, благодаря бога, все совершилось благополучно, и 16-го числа вечером я обнял Аннушку. Поселил их в моей комнате наверху — это только для отдыха, а постоянная резиденция их у меня в кабинете. Хозяйку ожидаем на днях:

я строго запретил ей возвращаться домой, не кончивши всех дел, в которых и то уже я давно помехой.

Не говорю вам о глубокой моей благодарности за ваше посещение: кажется, это между нами ясно. В награду вам скажу, что пульсация значительно меньше теперь против прежней; в известных вам случаях не возвращается. Бывает, но редко и слабее. Я это добро приписываю силе вашей воли. Вообще и другие припадки уменьшаются, но в сложности нет еще настоящего восстановления сил. Если это богу угодно, то он ускорит или даст терпение, которым не хвастаю сам.

Пожалуйста, в добрую минуту поговорите мне о себе, о всех ваших и дайте маленький отчет о нашем Казимирском, насчет которого имею разноречащие сведения. Мне бы хотелось иметь ясное об нем понятие, а вы, верно, успели обозреть его со всех сторон. Жена писала мне, что она у него с вами обедала. Ужели он со всей своей свитой пускается в путь? Эдак путешествие за границей съест его. Я прямо от него ничего не знаю.

Если этот листок застанет вас еще в Москве, пожалуйста, поправьте мою ошибку, которых много по моей болезненной рассеянности я делаю. Зайдите к барону, отдайте ему карточку и велите заделать ее в бронзовую рамочку. В этом виде представьте ее Марье Константиновне. Стоит это полтора целковых, которые до случая за мной. Сочтемся.

Еще новый выходец из Сибири. Фаленберг уже в Нижнем, но я еще от него не знаю, где он намерен бросить якорь[1].

Батеньков писал мне из Калуги — Евгений не принял Родецкого, который теперь покамест гостит у калужского дворянина[2].

Обнимаю вас и за себя, и за Павла Сергеевича. М<арья> А<лександровна> сама бы приписала, но утомилась и душевно жалеет, что вы не дали ей в Москве взглянуть на себя.

Сестра Лиза — у обедни, иначе, верно бы, послала вам свой саламалик*.

Всем вашим в Твери и в Москве сердечный мой привет. <...>

---

* т. е. приветствие.

313. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

<Марьино>, 25 марта <1859 г.>.

Сейчас надобно отправлять почту, она и сегодня действует, хоть птица гнезда не вьет[1], а настает надобность хватить еще словечко тебе, добрый друг Гаврило Степанович,— жена кричит с лестницы, что завтра чествуют твоего патрона и чтоб я непременно хоть невидимкой со всем теперешним нашим обществом явился к имениннику, который, верно, задает пир на дворянской улице. От души обнимаю тебя и желаю тебе того, что ты сам себе желаешь.

Ты уже знаешь, что у меня Аннушка с М<арьей> А<лександровной>, больше нечего рассказывать, чтоб ты понял все, что во мне происходит,— жаль только, что в субботу опять разлука.

Время летит. Благодарю бога за отрадное, неожиданное свидание. Много нашел в ней нового, успокоительного, радостного.— Она тебя целует. На огромном теле совершенно детская рожица — симпатичное создание!

18-го получил твой листок от 15-го. Пусть Родецкой висит у тебя в прихожей. Не успел еще с Евгением объясниться, да и не стоит того. Теперь больше болтаю и слушаю.

Вот тебе опять письмо барона. Любопытные дела с ним совершаются. Я ему давно не писал и еще откладываю до того времени, когда он отыщет свои права[2].

Новости в нашей сибирской семье: Фаленберг в Москве и ему Ховен нашел место управляющего в имении Куликовского. 400 целковых жалованья и готовое содержание. Слава богу!

2) 10 февраля Быстрицкий женился на Изабелле, фамилии не разберу в письме Юшневской, и поселился в заштатном городе Хмельнике, Подольской губернии. Артель наша собирается помочь молодым в медовом месяце, то есть посылает помимо получаемого им пая.

Проси Ольгу Павловну, чтоб она была здорова. Не ее дело хворать. Поздравляю с дорогим именинником.

Тебя еще раз обнимаю крепко. Павел Пушкин делает то же. Передаю перо директрисе. Ты будешь рад увидеть ее почерк. Добрая женщина! это не новость для тебя.

Всех в треугольнике обнимаю[3], а тебе на именины разрешаю носить медаль 12-го года!

Верный твой *И. П.*

У меня нет твоего формуляра. Если ты не был офицером в 12-м году, то не надевай медаль[4]. По молодости твоих лет, может быть, я и ошибаюсь.

314. Е. П. и М. М. НАРЫШКИНЫМ[1]

Марта 29, 1859 г., с. Марьино.

Именно просил жену оставить мне местечко, чтоб поблагодарить вас, добрые друзья, за последние ваши листки, которые мне пришлись по сердцу. Прошу только Michel-Michel'я не кашлять: это пусть предоставит мне, не думающему ехать за границу. Там эта дурная привычка не допускается. Жена мне предоставила ответ на ваше приглашение ехать вместе с вами: решительно я не ездок и не знаю даже, что будет со мной. Ход моей болезни так неправилен, что ничего нельзя предполагать. Да будет во всем воля того, который знает, что нам нужно.

Крепко вас обнимаю – с лучшими вам обоим желаниями.

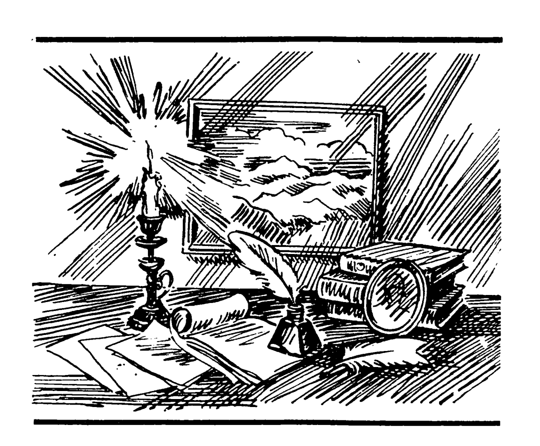
Друг Павел что-то прихварывает; я всячески стараюсь его уверить, что он здоров, но это мне не удается. Хохлится, и нет подчас доброй его улыбки.

С Аннушкой свиделся: это такая отрада, которую не берусь объяснить.

Новости: Фаленберг приехал и Ховен ему добыл место частное – управляющего имением. Быстрицкий женился на Изабелле, родовитой польке, и живет в Хмельнике. Артель прибавила ему годовой оклад.

У Евгения умерла меньшая дочь Марья. Сегодня он мне пишет слезницу, а я, грешный человек, говорю, слава богу, что прибрал эту княжну (грудной ребенок).

Верный ваш *И. П.*



ПРИЛОЖЕНИЕ

М. И. ПУЩИН

ИЗ «ЗАПИСОК» (1825–1826)

Вдруг неожиданно роковая весть о кончине Александра разнеслась в Петербурге. Известие это получено в то время, как все были собраны на молебствие о здравии в Невский монастырь, после полученного известия, что государю лучше; но тут же, не кончивши молебствия, начали служить панихиду по получении известия, что императора не стало. Тогда начались переговоры между великими князьями. Все оставались в тревожном ожидании после того, как тотчас же присягнули цесаревичу Константину. Слухи носились, что цесаревич отказался и что императором будет Николай. В высших сферах, конечно, все известно; но для публики была тревожная неизвестность. Я был один из тех, которые желали императора Николая, но это казалось невероятным для меня потому только, что было бы слишком хорошо[1].

Еще прежде кончины императора у Петра Колошина из бюро пропали деньги; жена его Мария Сергеевна настоятельно требовала, чтобы он поехал к гадальщице Киргоф и через нее отыскал вора. По просьбе Колошина я согласился с ним поехать к Киргоф и даже просить ее и мне погадать. Для Колошина она, развернув колоду карт, сказала цвет одежды вора, и более никаких указаний не было ею сделано. Когда дошла очередь до меня, она опять развернула на столе свою перетасованную колоду и сказала: «Вы ищете перемены по службе, подавали об этом три бумаги; перемена вам будет, но не та, которую вы ожидаете; странно говорят карты, вы будете солдат,— потом опять перебрала свои карты и прибавила:— Это не должно вас тревожить, вы солдатом прославитесь; денег же, денег у вас будет столько, что вы будете бросать золотом без счету; ко-

нец ваш будет тихий и благополучный». Конечно, я посмеялся такому предсказанию вместе с Колошиным, который, при ожидаемой перемене Константина и Николая, тогда же предсказывал мне скорое возвышение по службе, что, конечно, очень было правдоподобно по отношениям моим к великому князю Николаю Павловичу. «Мы с тобою, конечно, не будем вмешиваться в престолонаследие, по пословице,— сказал он,— что ни поп, то батька, хотя с воцарением Николая вся выгода на твоей стороне».

Во время междуцарствия совсем неожиданно приехал из Москвы брат Иван Иванович; еще прежде его приезда сестра Анна Ивановна, не получавшая долго от него писем, сказала мне однажды: «Может быть, тебе придется съездить в Москву, если скоро не получим письма от Ивана; я за него очень боюсь, чтобы он не замешался в какую-нибудь политическую историю».

Сейчас по приезде брат стал говорить, что если назначена будет новая присяга, то присягать не следует, что нельзя дозволить так легко обращаться с чужою совестью, особенно необразованного народа. Однажды он мне сказал: «Побывай у Рылеева, тебе будет яснее нынешнее наше положение». Из любопытства на другой день утром я пошел к Рылееву, который мне тогда сказал, что многие решились не принимать новой присяги, что большая часть войска готова взяться за оружие и защищать народную совесть, что Корнилович с Юга, а Якубович с Кавказа привезли известие о самом лучшем настроении войск. Тогда несколько прояснился для меня намек сестры, слова брата стали понятнее, и я уже не сомневался в существовании заговора, который еще составлялся и в который набираются соучастники. Еще более убедил меня в этом Якубович, зайдя к которому я застал за завтраком и бутылкою вина; он с Кавказа приехал после полученной там раны в голову, большой был хвастун и с перевязанным лбом морочил православный люд. На Кавказе узнал я разного рода его проделки, как он с Верзилиным условился превозносить храбрость друг друга. Верзилин исполнял условие добросовестно, а Якубович везде и всем разглашал противное против Верзилина, что еще более заставляло верить словам Верзилина про него[2]. При мне все были осторожны, как узнал я впоследствии, оттого, что я не принадлежал к обществу. Странно теперь вспоминать, что, побираясь этими смутными сведениями, я нисколько не беспокоился в той уверенности, что все это

пустая болтовня, которая ничем не кончится; тем более я мог это предполагать, что в то время очень много и свободно толковали о злоупотреблениях в администрации и развивали конституционные идеи во всех собиравшихся офицерских кружках, в гостиных и гостиницах. Мне случалось в то время у Андрие слышать за обедом, что один пистолетный выстрел в Петербурге подымет всю Европу и деспотам придется искать убежища в Азии или в свободной Америке. В воздухе носился революционный дух, и вся молодежь была им более или менее заражена.

По воскресеньям нанималась четырехместная карета, которая должна была везти к Ивану Алексеевичу Яковлеву на Васильевский остров в Загибенин переулок меня, двух Искрицких, Чевкина и Галямина. Карета ожидала на сборном пункте у Искрицких, живших вместе с Чевкиным у Синего моста. 13-го декабря 1825 г. в воскресенье я пришел на сборный пункт довольно рано, нашел там Александра Искрицкого и Галямина. Чевкин и Демьян Искрицкий, служившие при корпусном штабе, еще даже на обед домой не возвращались. В ожидании их мы играли в Halbe-Zwölf. Скоро пришел к нам Игнатьев, ротмистр конной гвардии, с поручением от Чевкина и Искрицкого сказать нам, чтобы мы их не ожидали, что они к Яковлеву за неимением времени не поедут. Тогда Игнатьев сказал нам, что завтра восшествие на престол Николая Павловича и что поэтому в штабе очень заняты необходимыми распоряжениями для присяги, что всем начальникам приказано от своих частей не отлучаться и везде к 8 часам утра собрать войска для принесения присяги. Только теперь для меня сделалось верно ходившее известие об отречении Константина Павловича, и, вспомнив слова брата, Рылеева и других, я, вместо того чтобы ехать к Яковлеву, пошел отыскивать брата к Рылееву, жившему через несколько домов от Искрицкого, в доме американской компании, которой он был делопроизводителем[3]. Наверно думал я застать у него брата и посоветовать ему принять новую присягу и отстать от намерения сопротивляться власти. Войдя в переднюю к Рылееву, меня поразило множество шуб, хотя ни одного экипажа не было на улице у подъезда. В комнатах нашел я большое собрание и несколько знакомых мне личностей в числе множества незнакомых. Но брата там не было, и, не достигнув своей цели, я хотел через несколько минут уйти, тем более что удивленные взгляды некоторых меня убедили, что я тут

лишний. Но Рылеев после обычного приветствия сказал: «Господа, это наш; я его с детства знаю, он нас не выдаст». После такой рекомендации мне стало стыдно за свое малодушие, я решил остаться, чтобы иметь понятие, в чем дело; не скрою того, что любопытство, возбужденное к тому же, подстрекало, и, когда Рылеев попросил господ военных в другую комнату, я вместе с Сутгофом, Кожевниковым, Арбузовым, Бестужевым, Пановым, Фохтом, Коновницыным, Палицыным и другими (всех не припомню) пошел за Рылеевым и сел за круглый стол, на котором лежали какие-то бумаги. Тут я слышал обещание привести на площадь полк Измайловский, в котором он служил подпоручиком, Сутгофа и Панова то же сделать с л.-гв. Гренадерским, Щепина-Ростовского с Московским и Арбузова и Петра Бестужева с гвардейским экипажем. Мною выражено было сомнение, что нельзя полагаться на прапорщиков, чтобы они, помимо своих начальников, повели полки; что это несбыточно; если старшие офицеры исполнят свою обязанность, то я посмотрел бы, как младший меня офицер, состоящий под моим начальством, сделал бы это, разве только проведя эскадрон через мой труп; что после всего слышанного мною здесь весьма сомневаюсь в успехе предприятия; другое дело, если бы мне здесь сказали, что Милорадович и другое известное войску лицо стоит во главе движения: тогда, может быть, и я бы к нему примкнул. Я советовал им не надеяться на обещания молодых офицеров, говорил, что предприятие их не может иметь удачи, что они себя губят, конечно, идя на это предприятие, они, может быть, приносят себя в жертву; но за что же они хотят погубить легковерных, которых успеют соблазнить, а что погубят себя и их, в том нет никакого сомнения. Рылеев на это возразил, что если не удастся ничего сделать в Петербурге, то они отретируются на Старо-Русское военное поселение и, подняв его, возвратятся с ним в Петербург. «Надо не иметь никакого понятия о стратегии, чтобы полагать возможным ретироваться по Петербургским дефилеям»,— заметил я. Тогда обер-прокурор Сената Краснокутский сказал, что, если будет собрано войско на Сенатской площади, он заставит сенаторов подписать конституцию и отречение от престола императора; между тем будет отдано приказание занять дворец и вывезти оттуда царскую фамилию, а в случае невозможности вывезти, всю истребить. Приехавший из южных губерний Корнилович сказал:

стотысячная армия ожидает только сигнала и готова пойти на соединение с северным восстанием. Сергей Трубецкой, который назначался в диктаторы, заговорил в моем тоне и между прочим сказал: «Я совершенно согласен с Пущиным, что к поднятию оружия мы не готовы и что нет никакого нравственного ручательства в успехе предприятия». Рылеев тогда сказал, что отложить задуманного нельзя, что правительству открыты глаза, и указал на лежавший на столе разговор государя с Ростовцевым, им письменно сообщенный, разговор, в котором Ростовцев предостерегал Николая Павловича против готовящегося возмущения. (Мне пришлось по времени узнать происхождение этого оригинального доноса. За несколько дней до 14-го декабря собрались у князя Евгения Оболенского Каховской и Ростовцев, и после толков о предстоящем предприятии Ростовцев им объявил, что не может помирить с своею совестью истребление царской фамилии, что обязанностью считает предупредить будущего государя, но дает свое честное слово никого не называть и не делать прямых указаний ни на кого. Оболенский пришел в восторг от заявления Ростовцева, стал его целовать и, похвалив благородство его, отпустил с благословением делать то, что совесть ему указывает. Ростовцев отправился во дворец и предупредил великого князя о готовящемся восстании, никого не назвал и разговор свой с ним, своею рукою написанный, передал Рылееву.) Этот сверток, лежавший на столе, был прочитан; по прочтении этой оригинальной бумаги, Бестужев Александр восторженно вскрикнул: «Переходим за Рубикон, руби все! По крайней мере об нас будет страничка в истории»[4]. На эти слова я отвечал очень тихо: «Страничка эта замарает историю нашу и покроет нас стыдом», взял шляпу и вышел от Рылеева в надежде, что посеянная мною нерешительность в диктаторе князе Трубецком произведет свое хорошее действие и что восстание будет по меньшей мере отложено на неопределенное время. Выходя от Рылеева, у крыльца встретил я Моллера, полковника Финляндского полка, на другой день вступающего с батальоном в караул во дворец и который должен был завладеть дворцом, о чем только что узнал я от Рылеева. Не допуская Моллера до снятия шубы, я попросил пройтись со мною немного, имея нужду с ним о серьезном деле переговорить, рассказал ему о всем, слышанном у Рылеева, советовал ему отказаться от своего намерения и обещания, к Рылееву не

ходить, чтобы избавиться от неприятных для него объяснений. Моллер говорил о своем честном слове, еще так недавно им данном. «Для дела бесчестного нет честного слова»,— отвечал я ему, и в разговорах, нас тогда занимавших, мы прошли до Измайловского моста по Вознесенскому проспекту; тут мы с ним расстались после обещания, данного мне, не участвовать в готовящемся восстании, от замыслов которого у него кружилась голова.

Я жил в Измайловских казармах на одной квартире с Дараганом, нашел у него Бартоломея и Денисова за стаканами чая и им рассказал все мною в этот вечер слышанное и мною говоренное. Эскадроном я давно не командовал, потому что хотя и не рапортовался больным, но имел разрешение великого князя не заниматься службою по причине сильнейших геморроидальных припадков, которые в настоящем случае усилились до того, что тотчас по возвращении от Рылеева я слег в постель и в постели принимал вахмистра Кузьмина, который пришел ко мне посоветоваться о том, как поступить эскадрону, присягать завтра или нет, потому что солдаты Измайловского полка забегают в казармы наши и говорят, что они присягать не будут, потому что их обманывают. Не распространяясь в разговоре с Кузьминым, я его отправил, сказав: «Эскадрон будет делать, что я прикажу, потому что завтра я буду при эскадроне во время присяги, что нужно исполнять приказание начальства, что за исполнение солдат в ответе не будет, напротив же, за неисполнение подвергается строгому наказанию». Ночь, как часто со мною было, я провел без сна, эту же в особенности, от волнения, действовавшего пагубно на мои немощи. В 7 часов утра через силу пошел я в казармы, куда в дежурную комнату были собраны все офицеры по приказу с вечера по всем войскам. Когда я проходил в дежурную комнату мимо солдатской казармы и здоровался с эскадроном, выстроенным для присяги, эскадрон так громко отвечал на мое ему приветствие, что испугавшийся Засс выскочил из дежурной комнаты, чтобы узнать, что такое случилось. «Это молодцы здороваются с начальником, которого давно перед строем не видали»,— сказал я Зассу и вместе с тем вошел в дежурную комнату, где уже нашел собравшихся наших и Измайловского полка офицеров.

Несмотря на высказанное мною накануне дня присяги, Рылеев, не знаю почему, все еще полагал, что я с эскадроном приму участие в восстании, и, пока мы ожидали на-

чальника дивизии, который должен был приводить нас к присяге, послал ко мне сперва генерального штаба офицера Палицына, что Московский полк на Сенатской площади, потом Коновницына, что туда же прибыл лейб-гвардии Гренадерский и Гвардейский экипаж. Когда вызывал меня Палицын, Засс спросил зачем; я отвечал, что Палицын только что приехал в Петербург и хотел узнать от меня о времени и порядке присяги, а про Коновницына сказал, что отыскивал у меня Палицына, которого требуют в штаб.

В девять часов вывели войска на казарменный двор, где прочитана была присяга, всеми повторенная, но некоторые офицеры Измайловского полка заставляли солдат кричать: «Константину!» Несмотря на то, присяга была принята, и тут же получено приказание эскадрону седлать лошадей и выступить на Сенатскую площадь, также Измайловскому полку идти туда же, взяв с собою боевые патроны. Это произвело во мне такое волнение, что, не имев возможности сесть на коня и вести эскадрон, я вынужден был лечь в постель и в постели нетерпеливо ожидать со страхом известий с места действия. Первое известие было от солдат, которые привезли убитого любимого мною унтер-офицера и солдата, смотревшего за моими лошадями. Второе — сам Рылеев, который приехал мне объявить, что все потеряно, оттого что я и многие не исполнили принятых на себя обязательств. Брат Иван Иванович также приезжал ко мне и выговаривал мне, зачем я был у Рылеева, что он с умыслом все от меня скрывал и не завербовал меня в общество, чтобы я оставался у родных, когда он сам погибнет; он знал наверно, что пропадет, потому что никакой веры не имел в организацию общества, но от товарищей отстать не хотел. Показал он мне картечные дыры в своей шубе и сказал, что, когда все начальствующие в каре разошлись, ему пришлось принять начальство и распоряжаться; последнее его распоряжение было: «Sauve qui peut!»* Но он все-таки надеялся, что меня не возьмут к ответу, а если и возьмут, то, вероятно, отпустят, потому что не будет в чем меня обвинить. Тревожно проведенный день 14-го декабря сильно меня расстроил. У меня оставался ночевать Илья Назимов, не бывший при батальоне, накануне ко мне приехавший и видевший меня в таких тяжких страданиях.

---

* Спасайся кто может! *(фр.)*

15-го, в 9 часов утра, когда я еще лежал в постели, приехал генерал наш Сазонов с приказанием от государя меня к нему привезти. Я встрепенулся, собрал последние силы, оделся в мундир, взял с собою все деньги, которые у меня были, в том числе и казенные, и вместе с Сазоновым в его санях поехал во дворец. На дороге встретил брата Ивана Ивановича, ехавшего ко мне с сестрою Анною Ивановною, которая доложила, что государь требует меня к себе, чтобы сделать меня флигель-адъютантом. Сазонов меня привез на дворцовую гауптвахту, где занимала караул рота Финляндского полка, усиленная накануне гв. саперным батальоном. Дежурный по караулам был полковник Моллер, который, увидев меня, так оторопел, что, спросив у Сазонова приказание меня арестовать, уже протянул руку к моей сабле. Сазонов отвечал, что никакого приказания о моем аресте от государя не имел, но государь желает меня видеть, а привез он меня на гауптвахту для того только, чтобы ожидать, пока государю угодно будет меня потребовать к себе, о чем он идет спросить государя. Между тем бывший тут же на гауптвахте товарищ мой Витовтов известил меня, что уже несколько человек взятых были с допроса у государя; что, кажется, они сделали показания на многих, что брат мой Иван Иванович еще не был взят; я не сказал ничего о нем. Исповедь моя не имела бы смысла; к тому же я тогда полагал, что, может, брат и не будет задержан, если никто его не выдаст. Когда меня потребовали к государю, я вооружился всевозможными отрицаниями. Во дворце в залах было необыкновенное движение и беспрерывная беготня флигель- и всяких адъютантов. Когда перед кабинетом государя я ожидал, упираясь на саблю, горькой участи своей, все проходившие мимо меня пожимали плечами; иные зверски на меня смотрели, и никто с особенным участием, как бы боясь выказать его в дворцовых стенах; один только начальник штаба Нейдгарт подошел ко мне и с участием спросил: «Скажите, Пущин, виноваты вы или нет?» Я отвечал: «Нет». Он крепко пожал мою руку и сказал: «Ну, теперь я совершенно спокоен насчет вас». Какой-то преображенский офицер, которого никогда я не видал, проходя мимо меня с товарищем, сказал: «В тихом омуте черти водятся, казался всегда таким скромным!»

Наконец вышел из кабинета государь во всей форме, со шляпою в руках и, увидав меня, сказал Сазонову: «Возьмите у него саблю и отправьте его на гауптвахту, теперь мне с

ним толковать нет времени, а по моем возвращении приведите его ко мне». Государь отправлялся благодарить и отпустить войска, со вчерашнего дня собранные около дворца и ночевавшие на биваках. Возвратившись на гауптвахту уже арестованным, я приведен был в комнату караульного офицера, где в это время командир батальона Геруа завтракал. Мои отношения с ним были самые лучшие; он не стал ни о чем меня расспрашивать, а пригласил с ним позавтракать, на что я охотно согласился, потому что даже чаю не успел напиться дома (это было уже во втором часу). Государь от войск возвратился в третьем часу, и меня привели к нему уже в сопровождении двух часовых. В комнате перед кабинетом государя находились в то время Левашов, который снимал допросы, и дворцовый комендант Башуцкий. Вскоре вышел из кабинета государь в сюртуке без эполет, подошел ко мне и довольно ласковым тоном сказал: «Знаю, что ты их отговаривал; но ты мне должен сказать, почему ты мне не донес?» — «Я, ваше величество, не знаю, о чем доносить, потому что ровно ничего не понимал и ни о чем обстоятельно не знал». Тогда государь, переменив тон, сказал Левашову: «Такого закоренелого упрямства, как в этом человеке, я ни в ком не встречал. Вы хоть на ножи его посадите, он вам ничего не скажет; но я вас заставлю говорить; допросите его хорошенько, генерал», — и повернулся, чтобы идти в кабинет, но опять возвратился. Тогда вслед уходящему ему я сказал: «Когда я имел причины, государь, вам ничего не сказать, то, уже конечно, генерал Левашов ничего от меня не узнает». — «Посмотрим, кто кого переупрямит», — сказал государь, снова возвращаясь в кабинет. Левашов, взяв лист чистой бумаги, стал задавать мне вопросы и записывать мои на них ответы. Вопросы и ответы были следующие: Были у присяги? Был. Где? При эскадроне. Знали о существовании общества? Нет. О существовании заговора? Тут я должен бы был сказать да, но я отвечал нет. Допрос производился в присутствии Башуцкого, не знаю почему тут все время остававшегося. Во время допроса входил государь и, подойдя ко мне, опять ласково сказал: «Ай, ай, Пущин, никогда я от тебя этого не ожидал, — и, коснувшись пальцем моего лба, прибавил: — А это все голова!» — «Я так счастлив, государь, что голова моя по сие время не вводила меня ни в какое дурное дело и, надеюсь, что и впредь меня никогда не введет». — «Буду очень рад, если ты оправдаешь-

ся»,— сказал государь и возвратился в кабинет. Левашов, получивши мои ответы на все вопросные пункты, просил меня их подписывать (не совсем правдивые ответы), и я сказал ему, что я полагаю, что мне нечего подписывать, когда нет и не может быть от меня ни указаний, ни показаний. «Это правда»,— заметил он и с ответами моими пошел к государю[5].

Пока Левашов еще не возвратился от государя, Башуцкий, который почувствовал сердцем мою невинность, сказал: «Пущин, я за вас, потому что верю вам; виновный так с государем говорить, как вы, не может и не посмеет».— «Благодарю, в<аше> п<ревосходительство>, всегда буду помнить участие ваше, столь драгоценное в теперешнем моем положении». Левашов вышел от государя с запечатанным конвертом; увидев это, Башуцкий, удивленный, попятился назад. Левашов, подойдя к нему, сказал что-то на ухо. «Ну, теперь я покоен»,— отвечал Башуцкий и, оборотясь ко мне, сказал: «Пойдемте, Пущин, со мною» — и молча повел меня в Комендантскую канцелярию, позвал фельдъегеря, которому приказал меня отвести к коменданту Петропавловской крепости Ал. Яков. Сукину.

Я был очень коротко знаком в доме Сукина по товариществу моему с племянником Сукина, Витовтовым, жившим до женитьбы своей в его доме, почему и ожидал от Сукина какого-либо покровительства, дожидаясь у него в зале с доставившим меня фельдъегерем; туда пришел плац-адъютант Николаев, и к нему я адресовал просьбу передать Витовтову мою визитную карточку, на которой тут же у коменданта написал: «Туда, где я буду сидеть, доставить мне табаку, книг, сюртук и халат». Николаев отозвался, что от арестантов не дозволено принимать никаких писем. «Но я, как известно вам, пользуюсь знакомством коменданта, и, кажется, никто не может мне помешать оставить ему свою визитную карточку». Возражения не было, и я положил карточку с моею припискою на стол; не знаю, что сделалось с этой карточкою, но я тогда подумал, что Сукин, посмотрев на карточку, вспомнит о заключенном и, во всяком случае, не может не передать ее Витовтову, а если нет, то это подло. Вышел Сукин, распечатал привезенный фельдъегерем конверт и сказал: «Государь делает вам милость, приказав посадить вас не в каземат, а на гауптвахту». Тогда я понял, почему слова, сказанные Левашовым

Башуцкому на ухо, успокоили его: он, добрейший, полагал, что гауптвахта рай земной в сравнении с казематом.

Плац-адъютант отвел меня на гауптвахту, где стоял на карауле семеновский офицер Дамич. Так как я был в мундире и у меня не было никаких вещей, то я попросил Дамича послать от меня открытую записку с вестовым в Измайловские казармы к товарищу моему Дарагану. Записка была следующая: «Я содержусь на гауптвахте Петропавловской площади; пришли мне трубку, табаку, сюртук, халат и книги, которые лежат на письменном столе». Прежде чем просить об этом караульного офицера, я просил через плац-майора у коменданта позволения послать за моими вещами, но комендант отказал, и Дамич хотя и знал это, но никакого не сделал затруднения исполнить мою просьбу, напротив, поспешил отправить записку с приказанием вестовому скорее с ответом возвратиться.

Вечером того же дня привезли ко мне в сотоварищи: Кожевникова Нила, Фохта и Шторха, а на другой день саперного на карауле кн. Вадбольского. Привезли под вечер к нам же графа Захара Чернышова. Чернышов во всеуслышание начал критиковать действия заговорщиков 14-го числа и сказал, что, по мнению его, нужно было увериться в артиллерии и поставить ее против Зимнего дворца, дать несколько залпов ядрами, гранатами или картечью, чем попало, и тогда он уверен, что дело бы приняло совершенно иной образ и мы тут бы не сидели. Я остановил его, сказав, что тут не место на такие рассуждения и что, конечно, теперь более чем когда нужно быть поскромнее. На другой день нас по очереди вызвали к коменданту. Товарищей моих повели прежде меня, и они на гауптвахту не возвращены. Меня последнего отвели к коменданту. Когда я к нему пришел, он мне показал мою записку к Дарагану и спросил, я ли ее писал. На утвердительный мой ответ спросил, почему я называю крепость площадью. «Никогда не называл так крепость»,— утверждал я. «Вот доказательство противного»,— сказал Сукин и показал мне записку мою к Дарагану, в которой действительно была моя описка (на гауптвахте Петропавловской площади), а на записке карандашом государевой рукой написано: «Спросить у Пущина, почему он крепость называет площадью?» Конечно, мне не трудно было уверить Сукина, что тут не было никакого умысла, но что свежее происшествие на площади так врезалось в мою мысль, что совершенно нечаянно написалось

на бумаге в записке, с поспешностью писанной. «Зачем вы писали записку?» — «Это выражено в записке, которую через пл<ац>-майора просил я у вашего превосход<ительства> переслать, но, когда вами было отказано, караульный офицер не нашел никакого затруднения переслать открытую записку, видя, что у меня ничего нет, чтобы хоть несколько успокоиться ночью». Сукин мои объяснения принял благодушно и сказал, что ему очень жаль, что мои товарищи не умели себя вести на гауптвахте и что я хотя останавливал Чернышова, но государь приказал всех рассадить по казематам, не исключая никого.

В 11 часов меня отвели во временно устроенный каземат в кронверк и посадили в чулан в три аршина ширины и четыре длины. Чуланы, временно устроенные из сырого соснового леса, издавали сильный запах смолы. Кельи эти были расположены по обеим сторонам коридора, и в двери каждой кельи было окошко со стеклом, завешенное от коридора; ходивший по коридору часовой с ружьем беспрестанно заглядывал, вероятно из любопытства. Когда я вступил в Кронверкскую куртину, то еще кельи достраивались, и несносный шум топоров наводил какую-то грусть. Я один из первых занял свою келью; по мере их изготовления поступали новые жильцы их. В первые дни моего заточения я постоянно слышал мелодический свист, который интриговал; исходил он из одной кельи против меня, через коридор расположенной. Хотелось очень мне узнать, кто этот артист, для чего я обратился к остановившемуся против моей двери часовому; часовой обещал мне узнать и мне сообщить. От него я узнал, что интересный свистун — ротмистр Франк, мой товарищ по корпусу, и вслед за тем у нас завелся разговор через того же часового. Но не все часовые помогали нашим развлечениям; были и такие, которые даже и не отвечали на наши им вопросы и молча опускали занавеску. Дней через несколько после моего заключения вошел ко мне плац-майор, завязал мне глаза, долго водил меня сперва по каким-то коридорам, потом по улице и наконец опять в какой-то дом. Когда он развязал мне глаза, я узнал знакомый мне зал комендантского дома, и там в одном углу за ширмой он мне указал на стул, на который я мог сесть. Скоро ко мне пришли какие-то чиновники, завязали мне глаза и опять начали кружить со мною по комнатам. Но так как комендантский дом мне довольно был знаком, то я очень хорошо знал, что меня несколько раз

провели по одним и тем же комнатам; по сие время непонятен для меня этот ни к чему не ведущий маневр. Наконец меня остановили, развязали глаза, и я очутился в ярко освещенной комнате, где за большим столом сидели: воен<ный> мин<истр> Татищев, Кутузов, Потапов, Левашов, Бенкендорф и Адлерберг, все члены следственной комиссии, к которой принадлежал и великий князь Михаил Павлович, но его тогда тут не было[6]. Адлерберг предложил мне вопросы, на которые я отвечал уже со всею откровенностью, потому что, когда еще сидел на гауптвахте, видел, как привезли моего брата Ивана со связанными руками, в сопровождении фельдъегеря и двух жандармов верхом, с обнаженными саблями. Адлерберг спросил меня, почему я государю не сообщил обо всем, что знал; что по отношениям моим к нему сообщение это не было бы доносом, а только доказательством моей к нему преданности. На это я отвечал, что мне и на мысль не приходила возможность доноса и что этого я не нашел в правилах, которыми руководился. «Поэтому в ваших правилах нет правил чести»,— сказал тогда Левашов. «Я понимаю честь такого рода, которого, кажется, в<аше> п<ревосходительство> не понимаете»,— отвечал я. Тогда все члены, сидевшие за столом, встали, и Бенкендорф сказал: «Вы не должны забывать, что говорите в присутствии лиц, облеченных властию от государя, и что за выражения ваши можете пострадать».— «А я прошу облеченных властию от государя не забывать, что я гвардии капитан, что невеликодушно меня обижать словами, когда я лишен оружия для защиты своей чести». Все присутствующие опять сели, и граф Татищев сказал: «Вы получите вопросные пункты, на которые должны отвечать, ничего не скрывая; от более или менее добросовестных ответов ваших будет зависеть участь ваша». Опять мне завязали глаза и опять прежним маневром отвели в каземат.

В первом часу ночи я заснул сном праведного, после длинной прогулки по коридорам и дворам. До этого я лишен был сна: геморроидальные шишки не позволяли мне сидеть, и я невыносимо страдал; страдания всякий день усиливались от недостатка движения. Ходил ко мне доктор Елькан, давал мне принимать какие-то порошки и спермацетовые свечи для наружного употребления; по его предписанию водили меня по нескольку раз в неделю в баню. Государь посылал своих генерал-адъютантов к нам и осве-

домлялся через них о том, довольны ли мы содержанием и обхождением с нами; первый Мартынов нас посетил, потом Стрекалов, а последний Сазонов. Стрекалов мне говорил, что никогда не думал со мною встретиться в крепости. «Отчего же, в<аше> п<ревосходительство>. Встречались же мы во дворце, крепость такое же казенное место». У меня были некоторые книги, и я в крепости не скучал; книги, присланные мне на гауптвахту с царского разрешения, перешли со мною в каземат, а сестры официальным путем прислали мне Библию и Евангелие. Я вспоминал все арии, когда-то мною слышанные, и всегда находился в самом веселом расположении духа.

На присланные из комиссии вопросы в декабре, в конце, я отвечал подробною исповедью на одном листе[7]. В январе меня опять водили к допросу и посадили за ширмы в зале комендантской; сидя за ширмами, я узнал по портрету вошедшего в залу Зубкова, Василия Петровича, так же, как и я, приведенного из каземата, но, к моему удивлению, за ширму не спрятанного, а в ожидании Сукина просто расположившегося в зале. Вошедший комендант поздравил Зубкова с освобождением и предложил ему остаться ночевать в крепости. «Нет, покорно вас благодарю, лучше буду ночевать на снегу на Неве, чем у вас в крепости»,— отвечал Зубков и после обычных приветствий простился с Сукиным. Это обстоятельство тут же родило во мне мысль, что, может быть, и меня хотят освободить, и сердце затрепетало от ожидаемой радости; но нет, мне не суждено было выйти так скоро из крепости на свободу. Скоро плац-адъютант опять завязал мне глаза и повел меня по комнатам, и когда развязал мне их, то я увидел против себя великого князя Михаила Павловича в кабинете Сукина. Великий князь очень ласково и приветливо обошелся со мною, что меня очень удивило, потому что, когда встречался с ним в служебных столкновениях, он всегда был мне как бы враждебен и всегда находил что-нибудь критиковать в командуемом мною эскадроне, видя во мне соперника конно-гвардейской артиллерии. Тут он спросил о моем здоровье, извиняясь, что так поздно потревожил меня, на что я ему отвечал, что желал бы ежедневной такой тревоги, которая доставляет мне счастье беседовать с ним. Он мне показал свернутую записку и спросил, когда и в каких обстоятельствах я ее писал. Это было письмо, писанное мною 12 декабря к Назимову, бывшему тогда в отпуску в Пскове. Он

поручил мне продажу его лошадей и уплату долга вырученными деньгами от продажи их. Срок отпуска его кончался, лошади не продавались, и я, ожидая ежедневно его возвращения, ввиду его неприезда, на всякий случай написал ему несколько слов: «Любезный Назимов, приезжай скорее, дела твои требуют скорого твоего возвращения...» Эти точки возбудили подозрение государя, который поручил великому князю потребовать от меня их смысл. Я сообщил великому князю вышеписанное и сожалел очень, что в теперешних обстоятельствах совершенно невинно поставленные точки могут навлечь на меня новое подозрение, а что еще хуже, скомпрометировать Назимова, который, как я тогда заверял великого князя, наверно к обществу не принадлежит. «Пущин, я вам верю,— сказал великий князь,— очень буду рад, когда вы окончательно докажете свою невиновность». Я просил великого князя ходатайствовать за меня у государя. «Государь сам лучший ходатай за вас, в этом могу вас заверить»,— сказал великий князь и при прощании пожелал мне доброго здоровья. Это неожиданное свидание опять возродило во мне надежду на скорое освобождение. В феврале привезли С. И. Кривцова и посадили в камеру против моей; мы тотчас же начали перепеваться, т. е. разговаривать по-французски. Через несколько дней, в один вечер, его повели к допросу; он возвратился восхищенный обращением с ним великого князя, обещал ничего перед комиссией не скрывать и назвать всех, кого в разное время принял в общество. Когда я хотел узнать, кого он принял, он назвал между многими и князя Суворова. Суворова я просил его не называть, потому что он еще в декабре был призываем государем, прощен и произведен в корнеты. Что он его не назвал, это ясно, потому что тогда он был бы привезен из тульской деревни еще в январе месяце. Долго боролся Кривцов со своей совестью, наконец сказал, что послушает моего совета, не назовет Суворова. Впоследствии Суворов мне сказал, что показание Кривцова могло бы его погубить[8].

Четыре месяца в конурке, несмотря на частые бани, довели меня до того, что в последних неделях Великого поста со мной сделался геморроидальный припадок, лишивший меня чувств. Испуганный часовой тотчас дал знать о моей кончине. Все власти пришли подбирать мертвое тело; вместо того я встретил заботливых посетителей с веселым лицом, но при этом сказал Сукину, что если меня

оставят в моем ящике, то, конечно, для того, чтобы скорее богу душу отдать. В субботу на Страстной неделе пришел ко мне протоиерей Казанского собора Мысловский; после исповеди и причастия, принятого от него, он поздравил меня со свободою духовною и сказал, что завтра надеется меня поздравить со скорой свободой гражданской. Слова эти мне дали силу с терпением ожидать Христова воскресения. В самый день праздника приходил Мартынов поздравлять нас с праздником от имени государя. На другой день в необычное время зашел ко мне плац-майор и велел одеться, что еще более породило во мне розовых надежд; я готов был броситься Подушкину на шею: такая была уверенность, что получаю наконец свободу, на дарование которой государь избрал праздник Христова воскресения. Какая милая внимательность, подумал я тогда; но оказалось, что на донесение о моих геморроидальных припадках последовало высочайшее повеление переместить меня в просторный каземат и дозволить мне ежедневные прогулки по крепостному валу в сопровождении плац-адъютанта. Меня переместили к Петровским воротам; окошко, смотреть из которого я должен был подмащиваться, выходило к Петропавловским воротам. Всегда, как слышен был стук по мостовой, я взбирался посмотреть на проезжающего и несколько дней после моего перемещения имел удовольствие встретиться глазами с Николаем Павловичем, который очень пристально смотрел на меня и любовался своим пленником. У Петровских ворот вместе со мною в моем соседстве сидели Михаил Орлов и Семичев. С Семичевым у нас скоро завязался певучий разговор, и я узнал, что он, гусарский майор, замешан в движении Сергея Муравьева около Белой Церкви[9]. С Орловым же никаких переговоров я не вел: его отделяла от нас каменная стена, но однажды видел из окна, как брат его Алексей Федорович, ехавши в крепость, делал ему знаки, говорившие, что он освобождается.

После месячного моего пребывания в новом просторном каземате (дворец в сравнении с прежним) в мае отряжена комиссия от верховного уголовного суда, и нас поодиночке водили в эту комиссию, расположившуюся в доме коменданта. Мне показали единственную бумагу, писанную мною в следственную комиссию с ответами на запросы комиссии, и тут же приложено было письмо мое к государю, написанное по совету Сазонова; но к этим двум листам была при-

шита довольно толстая тетрадь постороннего письма. На спрос, признаю ли я эти бумаги за свои, я отвечал: да, но только две мною написанные, и просил дозволения прочесть пришитое к моим бумагам прибавление; мне отвечали, что это для меня не нужно, и отослали обратно в каземат[10]. Перед приездом комиссии за несколько дней навестил нас Сазонов, очень удивился найти меня веселым и здоровым, с прекрасным цветом лица и против прежнего вообще потолстевшего, по причине прекращения кровотечения и всех давно одержавших меня недугов. Я выразил ему надежду свою на скорое освобождение и вероятный перевод в армию. Сазонов всегда меня очень любил и доказывал это при всяком случае и тут, видевши меня веселым и совершенно покойным, как ребенок, расплакался и советовал мне приготовиться ко всему худшему, чтобы, когда это случится, быть приготовлену к перенесению своего несчастия с мужеством. Слезы Сазонова меня растрогали; мы долго плакали вместе и не могли ни слова сказать друг другу. Наконец Сазонов передал мне, как государь, отправляя его к нам, сказал: «Ты Пущина увидишь веселого, довольного тем, что сидит в крепости, и готового советовать всякому больному его болезнью не искать иного способа лечения, а стараться так накутить, чтобы посадили в крепость, и там пользоваться тамошними русскими банями». Эти шуточные слова мои п.-м. Подушкину переданы комендантом государю, вероятно, тоже как шутка. Сазонов советовал написать государю не оправдания свои, а просить его милости, так как он видел, что государь не может забыть, как он любил меня. Посланное тогда же письмо мое и было впоследствии пришито к моему делу; написал же я его par acquit de conscience*, знав наверное, что не поведет ни к чему. Посещение это Сазонова была последняя к нам любезность Николая Павловича.

В июне приехал в крепость верховный суд, составленный из 70 членов, под председательством министра юстиции князя Лобанова[11]. Нас с непонятными тогда для нас разделениями за конвоем водили в этот шемякин суд. Перед комнатою, где заседал суд, нас, несколько человек, ожидало (как после мне объяснилось) три категории: 9-я, 10-я и 11-я. Сперва вызвали к суду 3-х человек 9-й категории, которые к нам в комнату не возвращались; потом вызвали ме-

---

* чтобы не делать упрека совести *(фр.)*.

ня одного. Суд заседал за столами, расположенными покоем; подсудимых останавливали в открытом фасе этого покоя. Судьи наши (суда нам не объявляли, мы только по обстановке догадывались, что нас судят) занимали одну сторону стола, так что входящий подсудимый мог видеть в лицо всех судей, почему-то судивших нас заочно. Когда я вошел и остановился на показанном мне месте, Паскевич, тогда командир 1-го пехотного корпуса, бывший в числе судей и сидевший недалеко от председателя, встал и мне поклонился. Я отвечал ему поклоном, хотя тогда не понял особенной с его стороны ко мне любезности (разъясненной мне Паскевичем, когда я являлся к нему солдатом на Кавказ). После того как Паскевич сел на своем месте, князь Лобанов, стоя, прочел мне следующую сентенцию: «Гвардии капитан Пущин, за то, что знал о имеющем быть мятеже и не донес, лишается чинов, дворянского достоинства и записывается в рядовые до выслуги». После этого чтения была минута тишины, нарушенная моим движением в середину покоя заседавших членов. Князь Лобанов в каком-то испуге сказал: «Куда вы идете? Вам нужно выйти в дверь направо».— «Я полагал, что мне нужно расписаться на приговоре»,— отвечал я и вышел в правую дверь, где меня ожидали конвойные для сопровождения в каземат. Странное дело: не солдатство мое меня тогда занимало, а то, что возвращаюсь в заточение, из которого полагал, что солдатство меня освободит.

Первый визит мне, солдату, был визит доброго сторожа моего инвалида Семена, который с любопытством пришел узнать, чем решилась моя участь, но когда я ему сказал, что я его товарищ, что я солдат, тогда он со слезами бросился целовать мои ноги и понять никак не мог своим умом, как я буду солдатское платье носить. Трогательная сцена эта долго оставалась у меня в памяти.

Того же дня вечером меня перевели в Кронверкскую куртину, лишили попечительных услуг сторожа Семена и просторного каземата, где через посредство Семена писал и получал я письма от сестер. В тот вечер нам всем семидесяти, или сколько не помню, осужденным переменили казематы, неизвестно по какому соображению. В ту же ночь после 12 часов нас всех собрали на крепостном дворе против собора Петропавловского; тут мы первый раз друг друга увидели. Тогда я от брата узнал, что он сидел в Алексеевском равелине, а что теперь его против меня посадили

на Кронверкскую куртину. Чья эта любезность? Крепостного начальства или свыше? Полагать надо, что свыше; потому что в действиях Николая Павловича была какая-то деликатность чувств, перемешанная со зверством. На нашем сборище недоставало пятерых, и мы поняли, что их участь будет не та, что наша. Можно себе представить, как радостно было наше общее свидание: все в этот час как бы забыли свое неотрадное положение и наслаждались встречею с друзьями. Трубецкой извинялся предо мною в том, что назвал меня государю, думая найти для себя в этом некоторое оправдание. «Полно, князь, стоит ли об этом говорить, когда у всех нас одна только радость на уме? И все мы как будто бы не выстрадались?» — заметил я ему. Нас окружал конвой Павловского гвардейского полка, и Абрамов, наш товарищ заточения, сняв с себя эполеты полковничьи, просил одного солдата передать их на память брату, служившему в полку, тогда отсутствующему. Солдат взял эполеты и заложил их на груди своей между ремнями перевязей. Часа два или более продолжались наши свободные разговоры. Бенкендорф следил за нами, но предоставил нам совершенную свободу на крепостном дворе; из выражения его лица видно было его к нам сострадание. Начинало рассветать, было около трех часов утра; нас попросили собраться по гвардейским дивизиям, а разночинцам и армейским вместе. В таком порядке повели нас на кронверкский гласис, где ныне устроен Александровский парк. Там были выстроены войска, оставшиеся в Петербурге после выхода других в Москву на имевшую быть коронацию, остановили нас против своих дивизий. Я вместе с служившими в 1-й гвардейской дивизии остановлен был против этой дивизии, где начальствовал генерал Головин (он же был исполнителем экзекуции); подле него стояли два фурлейта и в кучке лежали какие-то шпаги, вероятно театральные. Головин велел нам повернуться и указал нам на пять приготовленных виселиц, после чего вызывал вперед каждого из нас по старшинству полков в дивизии, приказывал фурлейтам снимать с нас мундиры, которые бросали в разведенный костер огня, потом становил на колени, и над головою коленопреклоненного фурлейты ломали шпагу. Для каждой партии приготовлено было шпаг по числу приговоренных к лишению прав состояния. В нашей партии последняя шпага была сломана над головою Назимова. Оставались я и несколько человек 11-й категории, разжалованных до

выслуги, над которыми не следовало ломать шпаги (их по этому случаю и не было для нас приготовлено); но Головин, вызвав меня, приказал снять с меня мундир и стать на колени. Прежде чем исполнить его приказание, я сказал ему, что не следует ломать мою шпагу, которую я могу заслужить. Несмотря на это, Головин закричал фурлейтам, чтобы стащили с меня мундир; конечно, я до этого их не допустил, сам снял мундир и бросил его по направлению к Головину, которому тогда сказал, что он такой подлец, которому нет подобного, что помню угрозу его мне отомстить, но что мщение его в настоящем случае мне нипочем, потому что терплю ни более, ни менее того, что терпят мои товарищи, но что после этого на него, как на изверга, будут показывать пальцем. Он угрожал мне велеть зажать рот, а когда я опустился на колени, не оказалось налицо шпаги для экзекуции надо мною. Головин послал за шпагою полицмейстера Чихачева к ближайшей партии, оттуда принесли две шпаги, а я в ожидании своей казни все время должен был стоять на коленях. Головин велел принесенные шпаги сломать над моей головой одну после другой; их ломали так зверски, что у меня из головы пошла кровь. По совершении казни для всех приготовлены были лазаретные халаты, но мне халата недостало, и я в одной рубашке возвращался в крепость мимо войск, на гласисе расположенных. Проходя мимо армейского конно-пионерного эскадрона, командир эскадрона Денисов отсалютовал ощипанному и уязвленному своему бывшему начальнику. Салют этот тем более мне был приятен, что исходил от человека, не получившего образования и поступившего фурштатским офицером в эскадрон из вахмистров Кавалергардского полка. От нас он получил столько образования, что впоследствии мог быть переведен в армейский конно-пионерный эскадрон, в котором командовал до назначения его полковым командиром Орденского кирасирского полка, уже когда я был на Кавказе.

После объявленной нам сентенции и исполненной экзекуции дозволено было родным нашим приезжать для свидания в дом коменданта. Ко мне приезжал отец, сестры и братья. Я просил прислать мне солдатскую шинель, мне ее тотчас прислали; а в ночь пришли за мною, чтобы отправляться с фельдъегерем в дальний, мне неизвестный путь. Проходя мимо казематов брата Ивана, по вниманию к нам сторожа, я мог в отворенной двери его каземата с ним

проститься. Скоро удовольствие дышать на свободе свежим воздухом взяло верх над всеми невзгодами моего положения. В доме коменданта ожидали меня фельдъегерь Григорьев с жандармом и гвардейского экипажа лейтен<ант> Окулов (тоже солдат), отправлявшийся со мною. Сукин вручил фельдъегерю 100 р. ас., оставленные для меня отцом, вместе с инструкцией, пожелал нам счастливого пути и, много не разговаривая, откланялся. У крыльца ожидали нас две перекладные тройки; на одну сел Окулов с жандармом, на другую я с фельдъегерем, и мы по выезде из Шлиссельбургской заставы уже на рассвете помчались в неизвестную нам сторону.

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ ЗА КАВКАЗОМ[1]

В 1829 году, в мае месяце, дождавшись главнокомандующего на границе в крепости Цалке, с ним я отправился в Карс, откуда сделано было нами движение к Ардагану, где, отделив от себя Муравьева на подкрепление Бурцова под Ахалцыхом, мы с главнокомандующим возвратились в Карс; Бурцов же, подкрепленный Муравьевым, не замедлил разбить турецкого пашу, желавшего отнять у нас Ахалцых, и прибыл к нам в Карс, подкрепивши Бебутова гарнизон в Ахалцыхе. По собрании всего отряда в Карсе мы присоединились к Панкратьеву, который выдвинут был на Арзерумскую дорогу. Тут, несмотря на все убеждения двигаться вперед, Паскевич откладывал движение со дня на день, боясь Гагки-паши, расположенного влево от нас, в урочище Дели-муса-фурни, чтобы при движении вперед не иметь его в тылу нашем.

Во время этого бездействия я, который занимался разведыванием о неприятеле и составлял карты движения к Арзеруму, по обязанности своей должен был делать рекогносцировки и каждую ночь их удачно делал с партией линейных казаков, чаще всего с гребенскими. Однажды, уже в июне месяце, возвращаясь из разъезда, на этот раз очень удачного, до самого лагерного расположения турок на высоте Мелидюза, которое в подробности имел возможность рассмотреть, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорою неминуемою встречею с неприятелем, встречею, которой все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удив-

ления и радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать[2], и первый вопрос его был: «Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал!» — «Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться тебе на смотр; полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия; если же они не атакуют нас, то я с Бурцовым завтра непременно постараюсь заставить их бросить свою позицию, с фронта неприступную, движением обходным, план которого отсюда же понесу к Паскевичу, когда он проснется».

Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Сакеном (начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился) за стаканами чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики, Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами полка. На чем Пушкин остановился — не знаю, потому что меня позвали к главнокомандующему[3], который вследствие моих донесений послал подкрепить аванпосты, приказав соблюдать величайшую бдительность; всему отряду приказано было готовиться к действию.

По сказанному — как по писаному. Еще мы не кончили обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего, с саблею наголо, про-

тив турок, на него летящих *[4]. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться — и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкой, и он хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи.

Быстрое движение Гагки-паши, с незначительною потерею нескольких казаков убитых и раненых, вывело главнокомандующего из бездействия, всех сердившего. Мы стали подвигаться вперед, но с большою осторожностью. Через несколько дней, в ночном своем разъезде, я наткнулся на все войско сераскира, выступившее из Гассан-Кале нам навстречу. По сообщении известия об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком; но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере и вообще всегда, на всех répos** и в свободное от занятий время за ним посылал и порядочно — по словам Пушкина — ему надоел[5]. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде, до самой сдачи Арзерума, без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях,

* Генерал Н. И. Ушаков так описал этот эпизод: «Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-су, неприятель внезапно атаковал переднюю цепь нашу, находившуюся под начальством полковника Басова. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке. Это был первый и последний дебют любимца муз на Кавказе» (Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, ч. 2. Варшава, 1843, с. 303).

** стоянках *(фр.)*.

были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагери и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения,— я же, напротив, радовался тому, что мог чаще ехать в коляске и отдыхать, потому что делал поход 1829 года еще с незалеченною раной в грудь, полученною в 1828 году на штурме Ахалцыха, и всякая усиленная верховая езда чрезвычайно мне вредила.

Я с нетерпением ожидал занятия Арзерума, имев обещание Паскевича, по занятии его, меня отпустить к Кавказским минеральным водам. Терпение мое не истощилось: 27 июня занят Арзерум. Но мне еще оставалось на несколько дней работы: по поручению главнокомандующего должен был составить проект укрепления города на случай нападения турок. Проект составить было легко, потому что нападения со стороны турок никак нельзя было ожидать; их армия так вся разбрелась, что никакая человеческая воля не могла ее собрать.

В первых числах июля я выехал из Арзерума с поручением главнокомандующего проводить пленных пашей до Тифлиса: поручение неприятное, которое задержало меня в дороге и в карантине более, чем я желал. В Тифлис я прибыл с пашами в конце июля. Там ко мне, для следования в Пятигорск к водам, присоединился Дорохов, с которым я вперед условился ехать вместе в моей коляске до первой драки с кем бы то ни было.

Из Тифлиса выехали мы вдвоем с Дороховым; но его денщик и мой человек, вместе и повар, остались в Тифлисе закупать провизию на дорогу через горы. В Душете они должны были догнать, а мы их ожидать. Люди наши замешкались и прибыли с провизией и вьюками Дорохова довольно поздно вечером. Дорохов, которого желчь уже давно разыгрывалась, начал тузить своего денщика; тот сложил вину промедления на повара моего Степана, который в не совершенно трезвом виде ему что-то грубо отвечал. Увидав это, я приказал денщику своему Кирилову запрягать лошадей и объявил Дорохову, что, так как условие нарушено и не желая другой раз быть свидетелем подобных сцен я его оставляю и предпочитаю ехать один, чтоб оборонить от побоев людей своих и его не вводить в искушение. Дорохов давал мне новые клятвенные обещания вести себя прилично, только чтобы я позволил ему вместе со мною ехать, но я остался непреклонен: сел в коляску, весьма скоро за-

пряженную четверкою лошадей, отдохнувших в течение целого дня, и пустился по ночи вперед по дороге ко Владикавказу.

Во Владикавказе пришлось мне ожидать несколько дней оказии. Накануне того дня, как я должен был выехать вместе с отрядом при орудии, назначенном конвоировать собравшихся со мной путешественников и обозы, неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догнал, чтобы вместе ехать на воды[6]. Понятно, как я обрадовался такому товарищу. После первых расспросов друг у друга Пушкин мне объявляет, что у него есть до меня просьба, и вперед просит не отказать в исполнении ее. Конечно, я порадовался чем-нибудь услужить ему. Дело состояло в том, чтобы я позволил Дорохову ехать вместе с нами, что Дорохов просит у меня прощения и позволяет мне прибить себя, если он кого-нибудь при мне ударит. Долго я не хотел на это согласиться, уверяя Пушкина, что Дорохов по натуре своей не может не драться. Пушкин все свое красноречие употреблял, чтобы меня уговорить согласиться на его просьбу, находя тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе. В этом я был совершенно с ним согласен и наконец согласился на убедительную его просьбу принять Дорохова в наше товарищество. Пушкин побежал за Дороховым и привел его ко мне с повинною вытянутою фигурою, до того комическою, что мы с Пушкиным расхохотались, и я Дорохову на мировую протянул руку, но только позволил себе сделать с обоими новый уговор — во все время нашего следования в товариществе до вод в карты между собою не играть. Скрепя сердце оба дали мне в этом честное слово. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи и, между прочим, ящик отличного рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок.

Все прекрасно обошлось во время нашего следования от Владикавказа до Екатеринограда и оттуда до Горячеводска, или Пятигорска. Ехали мы втроем в коляске; иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие; но ни приключений, ни горцев во всю дорогу он не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов: один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один рейн-

вейн услаждал общую нашу скуку, и в ящике немного его осталось, когда четверка лошадей уже не шагом, а рысью повезла нас из Екатеринограда в Пятигорск.

В Пятигорске я не намерен был оставаться; для раны моей мне надлежало ехать прямо в Кисловодск. Приехавши в Пятигорск, я собирался сейчас же все осмотреть и приглашал с собою Пушкина; но он отказался, говоря, что знает тут все, как свои пальцы, что очень устал и желает отдохнуть. Это уже было в начале августа; мне нужно было спешить к Нарзану, и потому я объявил Пушкину, что на другой же день намерен туда ехать, и если он со мной не поедет, то когда мне его ожидать? «Могу тебе только то сказать, что не замедлю здесь лишнего дня; только завтра с тобою ехать не в состоянии: хочу здесь день-другой отдохнуть».

Получивши этот ответ Пушкина, я пошел осматривать источники, гулянья и город, что заняло меня на несколько часов. Возвращаясь домой после заката солнца к вечернему чаю, нахожу Пушкина, играющего в банк с Дороховым и офицером Павловского полка Астафьевым. «La glace est rompue*,— говорит мне Пушкин,— довольно мы терпели, связанные словом, но ведь слово дано было до вод; на водах мы выходим из-под твоей опеки, и потому не хочешь ли поставить карточку? Вот господин Астафьев мечет ответный».— «Ты совершенно прав, Пушкин. Слово было дано — не играть между собою до вод; ты сдержал слово благородно, и мне остается только удивляться твоему милому и покладистому характеру». Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев; Дорохов проиграл, кажется, более, чем желал проиграть; Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола.

Когда Астафьев ушел, я просил Пушкина рассказать мне, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего. «Очень просто,— отвечал Пушкин,— мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он — добрый малый и любит в карты поиграть».— «Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Аста-

---

* Лед сломан *(фр.)*.

фьевым в карты не играть».— «Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорей, чем ты думаешь». Но на поверку вышло не так: более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск, наконец приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им у Раевского на дорогу. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься; приказал моему Кирилову приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом (лошади мои паслись в нескольких верстах от Кисловодска). Мне странна показалась эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев и Пушкин всякое утро к нему заезжал. Ожидая, что из этого выйдет, я скрывал от Пушкина мои разыскания о нем. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. «Откуда, Пушкин, такое богатство?» — «Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уж вытащил у него моих денег».

Всего было им наиграно червонцев двадцать. Долго бы пришлось Пушкину отыгрывать свою тысячу червонцев, если бы Астафьев не рассудил скоро оставить Кисловодск.

Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда

...В ненастные дни
Занимались они
Делом:
И приписывали,
И отписывали
Мелом.

Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина: сарапульский городничий Дуров, брат той Дуровой, которая служила в каком-то гусарском полку во время 1812 года, получила Георгиевский крест и после не оставляла мужского платья, в котором по наружности ее, рябой и мужественной, никто не

мог ее принять за девицу. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

Приближалось время отъезда; он условился с ним ехать до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался chevalier d'industrie*, выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался, поскакал один в Москву и, вероятно, с Дуровым никогда более не встретится.

В память нескольких недель, проведенных со мною на водах, Пушкин написал стихи на виньетках в бывшем у меня «Невском альманахе» из «Евгения Онегина». Альманах этот не сохранился, но сохранились в памяти некоторые стихи, карандашом тогда им написанные. Вот они:

Вот перешедши мост Кокушкин,
Опершись ...ой о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С monsieur Онегиным стоит.
Не удостоивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом...
Не плюй в колодезь, милый мой!

На виньетке представлена была набережная Невы с видом на крепость и Пушкин, стоящий опершись о гранит и разговаривающий с Онегиным. Другая надпись, которую могу припомнить, была сделана к виньетке, представляющей Татьяну в рубашке, спущенной с одного плеча, читающую записку при луне, светящей в раскрытое окно, и состояла из двенадцати стихов, из которых первых четырех не могу припомнить[7].

---

* мошенник *(фр.)*.

ВОСПОМИНАНИЯ О И.И.ПУЩИНЕ

Н. В. БАСАРГИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Ялуторовский товарищ мой Пущин, умерший в России в 1859 г., был общим любимцем, и не только нас, то есть своих друзей и приятелей, но и всех тех, кто знал его хотя сколько-нибудь. Мало найдется людей, которые бы имели столько говорящего в их пользу, как Пущин. Его открытый характер, его готовность оказать услугу и быть полезным, его прямодушие, честность, в высшей степени бескорыстие высоко ставили его в нравственном отношении, а красивая наружность, особенный приятный способ объясняться, умение кстати безвредно пошутить и хорошее образование (он воспитывался в Лицее и вышел в первый выпуск вместе с поэтом Пушкиным, князем Горчаковым, нынешним министром иностранных дел, и многими другими, заслужившими почетное имя между русскими сановниками, учеными и литераторами) увлекательно действовали на всех, кто был знаком с ним и кому случалось беседовать с ним в тесном дружеском кругу.

Происходя из аристократической фамилии (отец его был адмирал[1]) и выйдя из Лицея в гвардейскую артиллерию, где ему представлялась блестящая карьера, он оставил эту службу и перешел в статскую, заняв место надворного судьи в Москве. Помню и теперь, как всех удивил тогда его переход и как осуждали его, потому что в то время статская служба, и особенно в низших инстанциях, считалась чем-то унизительным для знатных и богатых баричей. Его же именно и была цель показать собою пример, что служить хорошо и честно своему отечеству все равно где бы то ни было, и тем, так сказать, возвысить уездные незначительные должности, от которых всего более зависит участь

низших классов. Надобно сказать, что тогда он уже принадлежал к обществу и, следовательно, полагал, что этим он исполняет обязанность свою как полезного члена в видах его цели.

В Чите и Петровском, находясь вместе со всеми нами, он только и хлопотал о том, чтобы никто из его товарищей не нуждался. Присылаемые родными деньги клал почти все в общую артель и жил сам очень скромно, никогда почти не был без долгов, которые при первой высылке денег спешил уплатить, оставаясь иногда без копейки и нуждаясь часто в необходимом. Это бескорыстие, или, лучше сказать, бессребреность доходила до крайних пределов и нередко ставила его самого в затруднительное и неловкое положение; но он всегда умел изворачиваться без вреда своей репутации и не нарушая правил строгой честности.

Нельзя сказать, чтобы и он не имел своих недостатков. Мнение света, то есть людей его знающих, слишком много значило для него, и нередко он поступал вопреки своему характеру и правилам, чтобы заслужить одобрение большинства. Кроме того, у него была и еще слабость: это особенное влечение к женскому полу. Покуда он был молод, ее мало кто замечал и всякий более или менее извинял его, под старость же она казалась в строгом смысле предосудительной, хотя в отношении его и прощалась теми, кто хорошо его знал, ибо вполне искупалась многими другими его прекрасными качествами. Впоследствии именно эти недостатки были причиною его неблагоразумной женитьбы и отчасти преждевременной кончины[2].

М. С. ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ДЕТСТВО СРЕДИ ДЕКАБРИСТОВ»

ПРИЕЗД ИВАНА ИВАНОВИЧА ПУЩИНА И ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО

— Рекомендую вам,— обратился Муравьев к моему отцу[1],— еще двух наших.

И он назвал Пущина и Оболенского.

Пущин был выше Оболенского, пожалуй, втрое толще. Он был красив. Голубые глаза смотрели весело, светлые волосы никак не хотели лежать по указанию гребенки, но, поднявшись над прямым лбом, перекидывались аркой вперед, под широким носом светлые усы ложились на верхнюю губу тоже выгибом; из-за высокого галстука, небрежно повязанного, выходил широкий отложной воротничок рубашки.

Оболенский был довольно тонкий, немного сгорбленный; одет в серое коротенькое пальто. Он носил маленькие бакенбарды, похожие на запятые, между которыми помещалось длинноватое кроткое лицо.

— Они будут жить с нами в Ялуторовске,— сказал Матвей Иванович,— прошу любить и жаловать[2].

И с тех пор в обществе наших декабристов являлись постоянно Иван Иванович и Евгений Петрович.

* * *

Осенний дождь усердно барабанил в освещенные окна угловой комнаты Ивана Ивановича Пущина. После мокрой и грязной улицы эта комната с камином и мягким диваном казалась очень и очень привлекательной. Тут сегодня находился весь кружок в сборе. Светлее и светлее разгораются березовые дрова в камине, спиной к которому стоит, покачиваясь на каблуках, Оболенский и спокойно возражает Якушкину, который, по обыкновению, горячится. В углу на

диване с газетой в руках сидит Матвей Иванович Муравьев. В задних комнатах слышится голос Пущина, делающего хозяйственные распоряжения. Василий Карлович Тизенгаузен, по обыкновению, молча измеряет шагами комнату. С остервенением рвется в окна непогода. Светлее и светлее разгорается камин...

В передней хлопнула наружная дверь, и зазвонил колокольчик. Кто же это? Дамам являться еще было рано, поэтому все подвинулись к передней. Там стоял промокший насквозь пожилой крестьянин, пришедший, по его словам, к его благородию с просьбицей насчет своего делишка. И он спокойно безыскусственным слогом начал повествовать о своих горьких хождениях по судебным мытарствам. Из-за каждой фразы его простого рассказа выглядывали призраки: неуважение к личности, кулачная расправа, взяточничество, беззаконие...

— Что же я могу сделать? — спросил Пущин.

— Да уж не знаю... Сделай божескую милость. А уж окромя тебя мне больше идтить некуда,— безнадежно произнес крестьянин.

Пущин предложил ему несколько вопросов. Записал, что нужно, и, пообещав крестьянину похлопотать за него, возвратился к компании, сидевшей молча под влиянием тяжелого рассказа.

Предпослав свое обычное «ох-хо-хо», Муравьев разразился громами. Пущин сел к письменному столу и принялся за письмо.

Всем сделалось легче, потому что все знали — в письме излагается дело только что ушедшего «Антона Горемыки». Все знали, что письмо Пущина к губернским друзьям имеет большой вес. Знали это ялуторовцы, и поэтому вскоре после его прибытия в город устремились к нему все униженные и оскорбленные, предпочитая его всем дипломированным адвокатам. Уверившись, что дело, о котором его просят, законное или гуманное, Пущин брался за перо, и в Тобольск летело письмо за письмом; хлопотал он за других всю свою жизнь, мне случилось встретить человека, который с восторгом рассказывал, как он, зная Пущина только по слухам, обратился к нему письменно, прося похлопотать о деле. Он вскоре получил ответ, писанный уже посторонним человеком под диктовку Пущина, в письме было уведомление, что по письму сделано все, что возможно. Письмо это было написано накануне смерти Пущина...

М. С. КОРСАКОВ

ИЗ «ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В СИБИРЬ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Середа, 23 февраля 1849 г., Ялуторовск.

Отнесу посылки *несчастным,* как их здесь называют. <...> Отправился к Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, который, узнав, что я приехал в Ялуторовск, прислал за мной лошадь. У него нашел я и прочих: то есть Ивана Дмитриевича Якушкина и Ивана Ивановича Пущина. <...>

Пущин высокого роста, молодец собой, а Якушкин маленький, седой, лицо доброе. Очень они были рады мне; сейчас же разобрали посылки и прочли письма, которые я им привез. Расспрашивали меня про своих, все им было интересно. Они здесь получают газеты и следуют за политикой и даже лучше знали ее, нежели я, приехавший из столицы. Много говорили о Семеновском полку. Двое из них служили прежде, то есть еще при Александре Павловиче, в старом Семеновском полку. Пущин же — в Конной артиллерии.

Про гомеопатию много говорили. У них в этот день много было гостей. У Матвея Ивановича воспитываются две девочки, и к ним-то приезжали гостьи. Я пил чай и ужинал у них и вечер провел очень приятно, с умными людьми и нельзя иначе.

Хотел было я сегодня же в ночь выехать из Ялуторовска, но Пущин звал меня к себе завтра утром кофей пить. Я подумал, что для них немалое удовольствие видеть кого-нибудь, который может им рассказать про родню, обещал прийти на кофей, да к тому сегодня написал письмо кстати домой. Теперь час пополуночи — пора спать.

Четверг, 24, Ялуторовск.

Сегодня встал я и только что начал бриться, в комнату ко мне взошел Матвей Иванович Муравьев. Он заехал за мной, чтоб вместе отправиться к Пущину. Там застали мы Якушкина, а потом пришел и Оболенский. С ним говорил я о гомеопатии и рассказывал им удивительные случаи вылечивания папенькою больных[1]. Много опять говорили про прошедшее. <...>

Якушкин завел здесь школу. Помощником у него — священник здешний. Очень порядочная на вид девочка лет 16, воспитанница Матв<ея> Ив<ановича>. Бедная нездорова[2] и сегодня едет в Тобольск лечиться. <...>

Все утро просидел у Пущина и обещал ему отобедать у него. <...>

Обедал у Ив<ана> Ив<ановича> Пущина. Живет он, кажется, в довольстве, стол очень вкусный; обедали у него и Якушкин, Муравьев-Апостол и Оболенский. <...>

Жаль мне было прощаться с ними, так радушно они приняли меня и с таким чувством благодарили меня за то, что я к ним в Ялуторовск заехал. Бедные люди!..

Прощаясь, Пущин протянул мне руку, я обнял его, и крепко поцеловались мы; так же простился я и с другими. Грустно мне было. Каково им жить одним так далеко от своих! Все они вышли провожать меня на двор, помогали садиться мне. Сами застегнули кибитку, и крепко пожали мы друг другу руки.

Странно! люди они мне чужие, провел я с ними день и так сблизился, как будто давно уже были мы знакомы. А полюбил я их. <...>

Е. И. ЯКУШКИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

1853 г. я познакомился с Иваном Ивановичем Пущиным, жившим в то время в г. Ялуторовске[1]. Имя Пущина было давно мне известно из стихотворений Пушкина. Некоторые рассказы лиц, знавших его до его ссылки, вызывали во мне глубокое к нему сочувствие: личное знакомство с этим «первым другом» великого поэта еще более усилило то чувство уважения, которое я имел к нему ранее. Он произвел на меня сильное впечатление. Когда я с ним познакомился, ему было 55 лет, но он сохранил и твердость своих молодых убеждений, и такую теплоту чувств, какая встречается редко в пожилом человеке. Его демократические понятия вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала его судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми. Люди самых противоположных с ним убеждений относились к нему с глубоким уважением.

Сблизиться с таким человеком мне было тем более легко, что он был очень дружен с моим отцом. С первого же дня знакомства между мною и им установилась тесная связь, не прерывавшаяся до самой его смерти. Во время пребывания моего в Ялуторовске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представляли его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях его к А. С. Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живою речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине.

ИЗ ПИСЬМА К ЖЕНЕ

<Сентябрь> 1855 г.

<...> Подъезжая к Ялуторовску (я тебя избавляю от описания дороги до Сибири), я стал давать больше на водку и поехал скорее. Последние станции я ехал верст 20 в час. Я еще в Москве постановил остановиться у Пущина, но так как дом М. И. Муравьева ближе к заставе, то я заехал сначала к нему. Его не было дома, он уехал на охоту. Ко мне выбежали на крыльцо Марья Константиновна, жена его, моя большая приятельница, известная тебе Гутинька и еще более известная Аннушка — я со всеми перецеловался, поболтал с ними минут 10 тут же на крыльце и отправился к Ивану Ивановичу. Прямо против него живет Басаргин — жена его увидала меня в окошко; я, разумеется, подошел поцеловаться с ней. Она разбудила мужа, который спал после обеда,— и у нас начался было очень живой разговор, как вдруг появился у своего окна Иван Иванович и стал звать к себе. Я наскоро пообедал у него, и начались расспросы и рассказы про Россию. Рассказывать было что: в Ялуторовске не знали еще про дело на Черной речке[1]. Хоть я описывал тебе прежде ялуторовских жителей и ялуторовскую жизнь, но об жителях не лишнее сказать еще несколько слов: по отъезде Тизенгаузена и отца здесь остались Пущин, Басаргин, Оболенский, Муравьев-Апостол и вдова Ентальцева. Пущин, несмотря на то что ему теперь 57—8 лет, до такой степени живой и веселый человек, как будто он только что вышел из Лицея. Он любит посмеяться, любит заметить и подтрунить над чужой слабостью и имеет привычку мигнуть, да такую привычку, что один раз, когда ему не на кого было мигнуть, то он долго осматривался и наконец мигнул на висевший на стене образ. В то же время это человек до высочайшей степени гуманный (я, право, не знаю, как выразиться иначе) — он готов для всякого сделать все, что может, он одинаково обращается со всеми, и с губернатором, когда тот бывает в Ялуторовске, и с мужиком, который у него служит, и с чиновниками, которые иногда посещают его. Никогда он не возвысит голоса более с одним, чем с другим. Он переписывается со всеми частями Сибири, и когда надо что-нибудь узнать или сделать, то обращаются обыкновенно к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я ду-

маю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича, хоть по имени. Он один из немногих, отзывающихся с полным уважением о деле, за которое они живут в Сибири, и не делающих в этом отношении ни малейшей уступки; я даже не удивился бы, ежели бы он, возвратясь в Россию, завел, как он называет, маленькое общество. Казалось бы, что сосланные в Сибирь и прожившие в ссылке 30 лет должны бы ставить на пьедестал то дело, за которое они столько лет страдают,— ничуть не бывало. Большая часть из них смотрят на это дело совсем не так и ставят его даже ниже, чем оно должно стоять,— правда, что большая часть ударилась в мистицизм и поэтому прежние понятия не совсем сходятся у них с новыми. Но даже и те, которые проповедуют теперь самодержавие и православие, не могут совершенно отделаться от прежних убеждений, и они иногда невольно высказываются у них.

Басаргин — человек тоже лет 59, человек весьма сурьезный и положительный — убеждений у него, собственно говоря, кажется, нет никаких (т. е. политических убеждений)[2], он даже в настоящее время слишком труслив, чтобы высказывать свои убеждения, ежели бы они и были у него, а уж, кажется, и бояться нечего: что он ни проповедуй — дальше Сибири не сошлют. Он, разумеется, говорит, что общество их было ничего больше как ребяческая затея, а между тем как-то раз признался, что он никогда не был так счастлив, как во время существования Южного общества, и что ему и теперь приятно вспоминать о нем. Поди разбери человека. Басаргин человек очень приятный и очень умный; но у него какой-то сухой ум. Оболенский — предводитель войск на площади 14 декабря и мой тезка — (меня назвали в его честь Евгеньем) — человек чрезвычайно странный. Он хочет уверить себя и других, что он с головы до ног православный и самый ревностный поклонник самодержавия и особенно Николая Павловича,— кроме этого, он имеет свойство Пикулина защищать свое мнение так, что, слушая его, другие убеждаются в совершенно противном. Поэтому разговор с ним бывает иногда чрезвычайно забавен. Зато он олицетворенная доброта, и его никак нельзя не любить. Разумеется, Пущин беспрестанно мигает на него, и ему достается в Ялуторовске ото всех. Муравьев был, говорят, когда-то чрезвычайно веселый человек и большой остряк. Смерть двух братьев, Ипполита и Сергея, страшно подействовала на него — он редко бывает ве-

сел; иногда за бутылкой вина случается ему развеселиться, и тогда разговор его бывает забавен и очень остер. Он воспитывался за границей, в Россию приехал лет 18-ти, до сих <пор> не совсем легко говорит по-русски, вежлив совершенно как француз, да и видом похож на французского отставного офицера; между тем он самый ярый патриот из всех ялуторовских. Я редко заговаривал с ним о прошедшем, всегда боялся навести его на тяжелый разговор про братьев, но когда, бывало, Оболенский, защищая самодержавие, не совсем почтительно отзывался об обществе, то Матвей Иванович распушит его так, что тот замолчит, несмотря на то что охоч спорить. Про Ентальцеву говорить много нечего — она очень добрая женщина, неопределенных лет (однако же за 60), любит молодиться и скрывает, что носит парик. Остальное женское общество в Ялуторовске состоит из жены Муравьева Марии Константиновны — малороссиянки, как я уже сказал — большой моей приятельницы,— жены Басаргина, тоже очень простой и доброй женщины, и жены Оболенского, во всех отношениях простой, но тоже доброй[3]. Одна беда, что Оболенский всегда с большими претензиями за нее и беда, ежели ему покажется, что не обращаешь на нее должного внимания.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Когда я пообедал, вдруг из другой комнаты голос: «Что же вы не даете чаю Евгению Ивановичу?» Это был голос известной тебе и всей Сибири Матрены Михеевны Мешалкиной. Она, бедная, уже несколько месяцев лежала в параличе и потеряла зрение. В прошлый приезд она наливала мне обыкновенно после обеда чай — и теперь вспомнила об этом. Я пошел к ней поздороваться и не узнал бы ее, до такой степени она похудела. Скоро пришел к Пущину Басаргин, и мы отправились вместе к Оболенскому, который праздновал в этот день именины сестры. Разумеется, он мне очень обрадовался,— ты спросишь, отчего разумеется: оттого, что он очень полюбил меня в первый мой приезд. Через несколько времени приехал и Матвей Иванович. Меня, конечно, усадили играть в карты,— тут уже отказаться не было никакой возможности, потом подали наливку, от которой, как ты сама догадаешься, я тоже не отказывался. Мы разошлись часу во 2-м и уговорились обедать на другой день у Пущина. На другой день Пущин разбудил меня часов в 7. Ночью часа в 3 приехала в Ялуторовск Марья Н<иколаевна> Волконская и хотела меня видеть. Я отнес к ней письмо от дочери и ду-

мал, что она будет меня расспрашивать об ней, но она ничего не спросила об ней, только уже перед самым отъездом спросила про здоровье Молчанова. Впрочем, понятно, что разговор о дочери с человеком, которого она видела в 1-й раз, не мог быть ей приятен. О сентенции военно-судной комиссии она узнала еще в Томске, но о содержании Молчанова в остроге ей не писали. И того, что она знала, было довольно, чтобы уничтожить самого крепкого человека, и она действительно была жалка. Сначала она хотела пробыть день в Ялуторовске, потом хотела остаться только до обеда, но наконец часов в десять просила, чтобы ей привели почтовых лошадей, потому что, как говорила она, она не может оставаться в таком тревожном положении и спокойна только тогда, когда сидит в карете.

К обеду все собрались у Ивана Ивановича, вечером были у Басаргина, где, кроме нас, было еще 5 человек сосланных на поселение поляков, двое из них кончили курс в Московском университете — вообще из Московского университета поляков в Сибири много. Один из моих товарищей — Граховский тоже недавно прислан в Сибирь в заводскую каторжную работу, но его я не мог видеть. Все ялуторовские поляки сосланы за основанное в Варшаве в 1848 г. общество, которое не имело никакого собственно политического характера[4]. Так как за границей печатается много книг на польском языке, разумеется большей частью запрещаемых цензурою в Польше, то несколько человек согласились сложиться и выписывать эти книги из-за границы и передавать их друг другу. Мало-помалу охотников набралось много, и между охотниками нашелся человек, который и донес об этом. Их схватили, судили и заперли по крепостям; наконец, с открытием нынешней войны, чтобы очистить крепости, их сослали в Сибирь: некоторых в каторжные работы, а некоторых на поселение. Между подсудимыми был один молодой человек, лет девятнадцати, который нисколько не участвовал в передаче запрещенных книг и даже не знал об ней. Судная комиссия его оправдала, но так как он был знаком с некоторыми из осужденных, то она и приговорила его отдать под тайный надзор полиции. Ридигер под этим приговором подписал: «Согласен отдать под надзор полиции, но только в Иркутске». Поляки в Ялуторовске живут в крайней нужде: один из них нашел место учителя за 3 рубля серебром в месяц.

Разумеется, у Басаргина меня опять усадили в карты, и разошлись все очень поздно. На другой день утром я решился сделать нападение на Пущина, Басаргина и Оболенского: первый мог сообщить много любопытного о Пушкине, с которым был вместе в Лицее и был очень дружен после; от второго я мог узнать некоторые подробности о Пестеле, так как он жил в последнее время в Тульчине, третий был коротко знаком с Рылеевым. С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно, я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым. «Послушайте, что же я буду писать,— перебил он меня,— кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?» — «Как кого? я думаю, всех; вы Пушкина знали в Лицее, знали его после до 26 года,— он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать».— «Да, ежели бы я мог написать что-нибудь интересное, я бы и написал, но во-1-х, я не умею писать, хоть Пушкин и уверял всегда, что у меня большой литературный талант, да я, слава богу, ему не поверил, и хорошо сделал, потому что точно не умею писать, а во-2-х, я могу сообщить только такие мелкие подробности, которые никого не могут интересовать, а писать для того, чтобы все знали, что я был знаком с Пушкиным, согласитесь сами, было бы очень смешно».— «Так вы просто скажите: я не хочу писать, потому что я самолюбив; но согласитесь сами, что, как бы ни были мелки подробности, которые вы можете рассказать, они все-таки будут интересны уже потому, что будут рассказаны о Пушкине; да иногда случай вовсе незначительный обрисовывает совершенно характер человека, и вы хоть побожитесь, так я вам не поверю, чтобы вы не могли рассказать ни одного подобного случая».

«Ну, а есть и такие вещи, которых я, как товарищ, не хотел бы рассказывать про Пушкина. Например, я помню, мы были раз вместе в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов все вертелся около Волконского и Киселева, как собачонка какая-нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: «Что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить — ведь над тобой все сме-

ются!» Он совершенно растерялся, а в следующий антракт опять то же. Это рассказывать, разумеется, мне не весело, а сношения мои с ним — для кого любопытны? Ну что ж, я бы мог описать мою поездку к нему в деревню в 1825 г. Как я заехал в Опочку поздно вечером — целый час стучался в каком-то погребке, чтобы купить несколько бутылок шампанского,— нельзя же было приехать к Пушкину без вина. Ну, разумеется, он мне был ужасно рад, только на другой день утром мы сидим с ним, разговариваем, вдруг Пушкин вскакивает, бросается к столу и развертывает книгу. Я смотрю — что за книга? Библия. «Что с тобой, Пушкин?» — «Архимандрит едет». Он был сослан в деревню и отдан под присмотр архимандриту. Архимандрит узнал, что к Пушкину кто-то приехал, и, по обязанности своей, явился узнать, кто такой. Ну что же, это для вас любопытно?» — «Разумеется, любопытно».— «Для вас-то может быть, потому что вы меня знаете».— «Да и для всех любопытно».— «Ну, хорошо, я для вас напишу все, что припомню».— «Даете слово?» — «Даю и приготовлю к вашему возвращению». Итак, одно дело было сделано.

Я пошел к Басаргину, но тут узнал мало. Узнал только, что Пестель был невысокого роста, черноволос, с черными выразительными глазами, с постоянно насмешливой улыбкой на губах. По словам Басаргина, он действовал с полным убеждением и был совершенно предан делу, но увлечения в нем не было ни малейшего. Когда он хотел убедить кого-нибудь, то никогда не доказывал своей мысли прямо, а разговором, вопросами своими доводил другого до того, что тот сам высказывал наконец эту мысль как свою собственную. Впрочем, это я слышал и не от одного Басаргина. Потом я отправился к Оболенскому, хотя это было и воскресенье и обедня давно началась. Но так как я сказал ему накануне, что приду к нему утром, то он был дома и не пошел совсем в этот день к обедне. Оболенского надо было навести на разговор о Рылееве осторожно,— ежели приступить прямо, то он скажет, что это все пустяки, и начнет восхвалять Николая,— надо было сначала, как говорит отец, «взвинтить» его. Слабая струна его 14-е декабря; я знал это еще по разговорам с ним в первый мой приезд и поэтому начал прямо с 14-го и именно с того, что про общество и про историю их в России мало знают верного, и особенно про 14-е декабря ничего почти не знают. «Да, скажите, пожалуйста, Евгений Петрович,— прибавил я,—

я слышал, что 14-го декабря вы ранили Милорадовича, в донесении этого нет».— «В донесении все наврано,— отвечал он с жаром,— видите ли, как это было: я стою на площади впереди с застрельщиками; вдруг Милорадович едет к нам и хочет говорить солдатам. Я кричу ему: «Ваше сиятельство, я не могу вам позволить говорить». Он не слушает меня и подъезжает ближе. Я опять ему закричал: «Ради бога, уезжайте отсюда». Но он меня не послушал и начал было говорить, тогда я кинулся к нему и ударил его штыком в бок, лошадь в это время поворотила и поскакала, он упал к ней на шею. Я не слыхал выстрела и не знаю, когда выстрелил в него Каховский, но очень хорошо видел, что ранил Милорадовича, потому что когда ударил его штыком, то сквозь мундир показалась рубашка и кровь. Отчего этого в донесении нет, я не знаю, потому что это есть в моих показаниях. Я, разумеется, не мог позволить Милорадовичу уговаривать солдат, но одного я тут не понимаю: я на него кинулся с какою-то яростью — за минуту перед этим и все время после я был совершенно спокоен. Это меня убеждает вполне, что на человека действуют темные силы».— «Помилуйте, какие тут темные силы, просто пришло время действовать — так, разумеется, тут явилось увлечение». Оболенский стал на это возражать. «Ну,— подумал я,— все дело погибло, коль зашла речь о темных силах»,— но сделал еще попытку. «Скажите, пожалуйста, Евгений Петрович, за что вас не любил так Николай Павлович?» — «А вот видите ли, я был адъютантом у начальника гвардейской пехоты Бистрома и заведовал канцеляриею, а он был дивизионным командиром, ну и, разумеется, делал у себя что хотел. Когда я вступил в должность, то и устроил так, что все дивизионные должны были доносить о своих дивизиях и не могли ничего делать без разрешения начальника гвардейской пехоты. За беспорядки делались выговоры, а так как у Николая Павловича было много беспорядков, то ему делались часто выговоры. Разумеется, он знал, что это выходит все через меня,— ну, это против меня его и восстановило, так что он и императором не мог этого забыть. Вот видите ли, когда меня привели во дворец...» — «Вас как взяли, так и привели туда?» — «Меня взяли 15-го утром и посадили на гауптвахту в Зимнем дворце; утром же пришел туда Михаил Павлович, посмотрел на меня и закричал дежурному офицеру: «Этому мерзавцу связать назад руки веревками». Мне связали руки, потом перед

вечером повели меня во дворец».— «С завязанными руками?» — «С завязанными так я и оставался, пока меня не перевезли в крепость. Привели меня в одну из зал Зимнего дворца, тут опять подошел ко мне Михаил Павлович, положил мне руку на плечо и сказал: «Кто бы мог ожидать этого от такого отличного офицера? Оболенский, что это с тобой сделалось? Что ты сделал?» — «Я исполнял долг свой, в<аше> в<ысочество>»,— отвечал я ему. Он повернулся и ушел. В залу вошел Николай Павлович. Он подошел прямо ко мне со словами: «Вот он, хваленый офицер». Потом обратился к Левашеву и, показывая на меня, сказал: «Один бог знает, сколько я от него терпел». В это время ввели в залу Александра Бестужева и доложили Николаю Павловичу, что он явился сам с повинной. Николай Павлович опять обратился ко мне и сказал: «А ты, негодяй, и этого не умел сделать». Вслед за этими словами он махнул рукой, меня вывели и увезли в крепость».— «Скажите, пожалуйста, Рылеева не было на площади?» — «Нет, сначала он был, потом ушел и не возвращался. Почему он ушел, это для меня до сих пор остается тайною. Этот человек был предан душою делу, он только для него и жил,— он был замечательный человек, я был с ним очень дружен, уважал и любил его. Да и теперь люблю о нем вспоминать. В последнее время мы с ним часто видались; надо вам сказать, что за несколько месяцев до 14-го мои прежние убеждения начали уже колебаться. У меня явилось сомнение: хоть мы и убеждены, что стремимся к добру, но вправе ли мы насильно навязывать это добро народу. Ежели бы мы были выборные от народа — это было бы другое дело, но народ нас ни на что не уполномочил. Об этом мы обыкновенно и спорили с Рылеевым,— он доказывал, что это не только наше право, но и наша обязанность. Обыкновенно он приходил ко мне вечером — в последний раз он был у меня 13-го; уже решено было на другой день действовать — тут же был и Ф. Глинка; я помню, он спросил у меня: сделали ли мы какие-нибудь распоряжения, чтобы овладеть крепостью,— я отвечал, что нет,— он настаивал в том, что это необходимо,— и точно — Глинка был прав,— ежели бы мы заняли крепость, 14-е могло бы кончиться совсем не так, как оно кончилось».

«У меня есть до вас просьба, Евгений Петрович. Вы сами говорите, что Рылеев был замечательный человек,— вы знаете, что об нем, кроме близких ему людей, никто почти ни-

чего не знает. Что вам стоит записать об нем все, что вы припомните? Я на это смотрю как на вашу обязанность,— никто, может быть, не был к нему ближе, чем вы, последние его слова уже в каземате были обращены к вам (действительно, Рылеев прислал перед казнью два стихотворения Оболенскому), кому же, как не вам, заботиться, чтобы о нем сохранилась память». Оболенский обещался мне написать об Рылееве; не знаю, сдержит ли он свое обещание, впрочем, надеюсь, что не обманет[5].

В этот день мы все обедали у Муравьева. Разумеется, разговор большей частью вертелся около военных дел. Вспомнили, между прочим, о Георгиевских крестах, данных великим князьям за то, что около них пролетела бомба, между тем как тут были сотни людей, которые каждый день бывали под выстрелами и даже были ранены, а все-таки остались без Георгиевских крестов. Я напомнил, что и Николай Павлович надел на себя Георгиевский крест за 25 лет службы. Оболенский вступился за Николая Павловича: «Он имел полное право надеть этот крест,— сказал он,— потому что точно прослужил России 25 лет».— «Хорошо служил,— заметил Басаргин.— Об России он не заботился, заботился он только о войске, а как открылась война, так у нас нет ни генералов, ни войска, ни флота. Нечего сказать, хороша служба».— «Да ведь я тебе и не говорю, что он хорошо служил,— отвечал Оболенский,— а все-таки служил». Вот тебе образчик того, каким образом защищает свое мнение Оболенский. И после обеда и вечером для Оболенского был сделан бенефис, т. е. все это время проиграли в карты. Из письма этого ты видишь, что я много играл в карты, и можешь подумать, что я проигрался в пух. Успокойся: я ничего не проиграл.

После этого мы все обедали у Ентальцевой — вечер я просидел с Пущиным,— разумеется, разговор большей частью шел о войне. «Успеха нечего ждать,— сказал Ив<ан> Ив<анович>,— но и неуспех будет нам полезнее самого блестящего успеха, ежели он откроет нам наконец глаза». Утром на другой день Басаргин, Оболенский, Муравьев и я ездили осматривать купленную двумя первыми мельницу на Тоболе, верстах в 7-ми от Ялуторовска. Управление принадлежит Басаргину, который и не позволяет мешаться в это дело Оболенскому, и хорошо делает, потому что тот беспрестанно составляет самые неудобоисполнимые проек-

ты, между которыми занимает не последнее место проект железной дороги от мельницы к Ялуторовску.

В этот день я обедал у Оболенского; разумеется, тут были и все, потому что после обеда я должен был ехать. Я не знал, заехать ли в Тобольск из Ялуторовска или на обратном пути; заехать, во всяком случае, было необходимо; как, в самом деле, не сделать каких-нибудь 260 лишних верст (по сибирской езде это совершенно пустяки), чтобы увидаться с хорошими знакомыми, с которыми, может быть, не придется более никогда увидеться. Наконец я решился заехать теперь — тем более что Пущин уже давно ждал меня и несколько раз писал, чтобы меня уговорили поскорее к ним приехать. Вечером, напившись чаю, я простился со всеми у Ивана Ивановича и отправился в Тобольск <...>.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бригген — Б р и г г е н А. Ф. Исторические сочинения. Иркутск, 1986.

ВД — Восстание декабристов. Материалы. М; Л. Т. I—XVIII. 1925—1975 (римскими цифрами — том, арабскими — страница).

Воспоминания Бестужевых — Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.

Записки ОР ГБЛ — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 1—45.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома).

Кюхельбекер — К ю х е л ь б е к е р В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.

Лорер — Л о р е р Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984.

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея.

ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Пушкин — П у ш к и н А. С. Полное собрание сочинений. М.; Л. Т. I — XVII. 1937—1959 (римскими цифрами — том, арабскими — страница).

Розен — Р о з е н А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984.

Фонвизин — Ф о н в и з и н М. А. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1979; Т. 2. Иркутск, 1982.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР.

Штейнгейль — Ш т е й н г е й л ь В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1985.

Штрайх, 1956 — П у щ и н И. И. Записки о Пушкине. Письма / Ред., вступ. статья и прим. С. Я. Штрайха. М., 1956.

Якушкин — Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951.

Автограф хранится в *ИРЛИ,* ф. 244, оп. 17, № 36.

Впервые: Атеней, 1859, ч. II, № 8, март—апрель, неполно и с цензурными купюрами; пропущенные места впервые напечатаны А. И. Герценом: Полярная звезда на 1861, кн. VI. Материалы для биографии А. С. Пушкина; первая полная публикация: Записки И. И. Пущина о Пушкине. СПб.: тип. «Сириус», 1907.

В настоящем издании текст заново сверен с автографом; внесен ряд уточнений по сравнению с предшествующими изданиями, в том числе с изданием 1956 года (Записки о Пушкине. Письма. Ред., вступ. статья и прим. С. Я. Штрайха) и текстом в издании «Пушкин в воспоминаниях современников». М., 1985. Т. 1.

[1] *Дом Бронникова* — дом вдовы Бронниковой, где Пущин жил в Ялуторовске с 1843 по 1856 г. Е. И. Якушкин впервые приехал в Ялуторовск для свидания с отцом в конце 1853 г. Его рассказ об этом см. на с. 433 наст. изд.

[2] Лицеем (Ликеем) называлась одна из трех афинских гимназий, расположенная возле храма Аполлона Ликейского. Ликей основал в 335 г. до н. э. Аристотель. Царскосельский лицей создан был по проекту М. М. Сперанского. «Постановление о Лицее», утвержденное Александром I 12 августа 1810 г., рассматривало его как высшее учебное заведение для «образования юношества, особенно предназначенного к важным частям государственной службы». Первый набор, к которому принадлежали Пушкин и Пущин, состоял из 30 учащихся. Открытие Лицея состоялось 19 октября 1811 г.

[3] Адмирал П. И. Пущин имел орден Андрея Первозванного — высший орден империи.

[4] У отца Пущина, генерал-интенданта флота, Ивана Петровича, было 12 детей: сыновья Петр (умер в молодости), Иван, Михаил, Егор, Николай, Петр, дочери Екатерина, Анна, Мария, Елизавета, Евдокия, Варвара.

[5] В. Ф. Малиновский был директором Лицея с 1811 до 1814 г.

[6] Вдовствующей императрицы Марии Федоровны и жены Александра I Елизаветы Алексеевны.

[7] По свидетельству историка Лицея Селезнева, в это время телесные наказания употреблялись «довольно часто» (см.: Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского лицея. 1811—1861. СПб., 1861. С. 390).

[8] *В. Ф. Малиновский* — просветитель-демократ, сторонник преобразования государственного устройства России в духе народоправства и отмены крепостного права, написал к открытию Лицея речь, которая не была одобрена министром просвещения А. К. Разумовским. Поэтому он вынужден был прочесть речь, сочиненную директором департа-

мента И. И. Мартыновым (см.: Речи, произнесенные при открытии Императорского Царскосельского лицея. СПб., 1811).

[9] А. П. Куницын читал в Лицее курс естественного права, проникнутый свободолюбивыми идеями — равенства людей перед законом, незаконности крепостного права, ответственности верховной власти перед обществом (лекции его в записи однокурсника Пущина А. М. Горчакова см.: Красный архив, 1937, № 1). Некоторые из этих мыслей, отразившихся в речи Куницына (см.: Наставление, читанное воспитанникам при открытии Императорского Царскосельского лицея. СПб., 1811), в то время вполне могли быть одобрены Александром I. Поэтому вряд ли оправдано стремление комментаторов «поправить» рассказ Пущина (см.: *Штрайх, 1956,* с. 386; а также прим. Я. Л. Левкович к «Запискам о Пушкине».— Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т.1. С. 483). Преследования Куницына начались в 1821 г., уже в других исторических условиях.

[10] *Марья Федоровна* — по происхождению вюртембергская принцесса, прожив в России более полувека, до конца жизни не говорила свободно по-русски.

[11] *Соника* — термин карточной игры: сразу, с первого раза.

[12] Имеется в виду стихотворение Пушкина «Н. Я. Плюсковой», впервые напечатанное в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1819, № 10 под заглавием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны» (Н. Я. Плюскова — фрейлина императрицы). Как установил А. Н. Шебунин, стихотворение было написано в 1818 г. под влиянием Ф. Н. Глинки (Шебунин А. Н. Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 53—90).

[13] Е. А. Энгельгардт был директором Лицея с 1816 по 1822 г. Речь Куницына была издана на русском языке (см. прим. 9), найти ее немецкий перевод не удалось.

[14] Лицейский служитель К. Сазонов за 2 года (1814—1816) совершил в Царском Селе 6 или 7 убийств и был арестован 18 марта 1816 г. Последний стих передан Пущиным неточно; следует: «А Пешель — лекарем моим» (*Пушкин,* I, 177).

[15] Строки из стихотворения Пушкина «Александру» («Утихла брань племен; в пределах отдаленных...»). Третья строка приведена неточно, надо: «Душой восторженной за братьями спешил».

[16] Во время «междуцарствия» Лицеем последовательно управляли Н. Ф. Кошанский, затем Конференция педагогов, а с сентября 1814 г. исполняющим должность директора стал Ф. М. Гауеншильд. Е. А. Энгельгардт был назначен директором 27 января 1816 г.

[17] В 1858 г. из лицейских товарищей Пущина в живых оставались А. П. Бакунин, А. М. Горчаков, К. К. Данзас, С. Д. Комовский,

М. А. Корф, И. В. Малиновский, Ф. Ф. Матюшкин, А. Д. Тырков, М. Л. Яковлев.

[18] Эти стихи Пушкина неизвестны. Поэтическое дарование его отмечалось преподавателями Лицея с первых лет пребывания в нем (см.: Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 29).

[19] О «народных» или «национальных» песнях, коллективно сочинявшихся лицеистами, сатирических портретах товарищей и педагогов и о рукописных журналах лицеистов см.: Грот К. Я. Пушкинский лицей. СПб., 1911. С. 215—319.

[20] Статья (не Лагарпа, а Вольтера) «Об эпиграмме и надписи древних» в переводе Пущина была напечатана в «Вестнике Европы» (1814, № 18, сентябрь. Т. 77. С. 115—119). Имеющиеся в тексте в качестве примеров античные эпиграммы перевели Пушкин и Илличевский. Пушкин перевел эпиграмму Авзония «Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало». Статья Лафатера «О путешественниках» была напечатана там же, № 22, ноябрь. Т. 78. С. 77—96. *Тетради Корфа* — рукописные сборники лицейских стихов Пушкина, предоставленные П. В. Анненкову для его издания.

[21] Стихотворение Пушкина «Воспоминание (К Пущину)» приведено Пущиным не совсем точно: во 2-й строфе — «темном», а не «тесном» уголке. Первая строфа — слегка измененная цитата из стихотворения К. Н. Батюшкова «Ложный страх».

[22] Четверостишие принадлежит не Дмитриеву; это строфа из оды Д. В. Давыдова «Мудрость», четвертый стих в ней: «И просили мудрость вон».

[23] История с гоголь-моголем произошла 5 сентября 1814 г. Она была обыграна в рукописном журнале «Лицейский мудрец» (1815, № 3, «Письмо к издателю»). В авторе письма К. Я. Грот заподозрил Пущина (см.: Грот К. Я. Указ. соч. С. 292).

[24] В собраниях сочинений Пушкина стихотворение печатается с разночтениями по другим спискам.

[25] Публичный экзамен, где Пушкин в присутствии Державина читал «Воспоминания в Царском Селе», происходил 8 января 1815 г.

Замечая, что все это рассказано в печати, Пущин имел в виду статью П. И. Бартенева о Пушкине-лицеисте (Московские ведомости, 1854, №№ 117—119, 30 сентября, 2 и 5 октября) и «Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова (СПб., 1853).

[26] Стихотворение «К Маше» (сестре А. А. Дельвига), начало которого приводит Пущин, написано в 1816 г.

[27] *Живописец* — А. Д. Илличевский. Е. П. Бакуниной, сестрой другого лицейского товарища Пушкина и Пущина — А. П. Бакунина, были увлечены они оба, а также И. В. Малиновский (см. в ранней редакции стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»):

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак, и пылкий и незлобный,
. . . .

Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы впервой все трое полюбили
. . . .

Бакунина значится в так называемом «донжуанском списке» Пушкина как Катерина I (Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935).

[28] Стихотворение «К Пущину» написано в день рождения Пущина 4 мая 1815 г. Впервые напечатано: Российский музеум, 1815, № 8.

[29] Публичные экзамены первого курса лицеистов проходили с 9 по 31 мая 1817 г.

[30] «Прощальная песнь» Дельвига, исполнявшаяся лицеистами при выпуске, была впоследствии напечатана отдельным изданием (Шесть лет. Праздничная песнь. Воспитанники Императорского лицея в Царском Селе в 1817 году. Слова воспитанника барона Дельвига. Музыка В. Теппера. СПб., 1835. См. также: Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986. С. 125—126). Пущин получил это издание в Петровском заводе от Е. А. Энгельгардта (см. ниже письмо 20). Стихи Илличевского неизвестны.

[31] Долгое время на основании свидетельства Е. И. Якушкина (см.: Записки И. И. Пущина о Пушкине. СПб., 1907. С. 92—93) считалось, что портфель, куда Пущин после восстания вложил конституцию Никиты Муравьева, переписанную Рылеевым, с замечаниями ряда декабристов, рукописи стихотворений Пушкина, Рылеева, Дельвига и упомянутый альбом, был передан им 14 или 15 декабря 1825 г. П. А. Вяземскому. Это было опровергнуто не только тем фактом, что Вяземский в декабре 1825 г. находился в своем подмосковном имении, но и письмом к Пущину от 22 апреля 1857 г. его брата Михаила, писавшего: «А допотопный твой портфель спрашивай у Вяземского, которому он еще в 41 году отдан мною на сохранение» (Летописи Гос. лит. музея. М., 1938. Кн. III. С. 279). Очевидно, приехав впервые после восстания в Петербург в 1841 г., М. И. Пущин получил его у лица, хранившего портфель 16 лет,— скорее всего у Е. А. Энгельгардта (см. об этом: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 172—175). Судя по переписке Пущина с другим братом, Николаем (см. с. 352—355 наст. изд.), именно последний взял осенью 1857 г. портфель у Вяземского и вернул владельцу.

Вяземский долго не мог или не хотел найти у себя портфель, и потребовалось специальное письменное и довольно саркастическое обра-

щение Пущина к нему (см. письмо 257 от 21.IX.1857 г.), чтобы наконец портфель был найден. Местонахождение упоминаемого Пущиным лицейского альбома неизвестно. Лицейская тетрадь, значащаяся в описи вещей и бумаг Пущина, составленной после его смерти Н. Д. Пущиной (вероятно — для завещательного распоряжения), скорее всего, является списком с другого лицейского альбома, присланного Пущину Ф. Ф. Матюшкиным в Сибирь, о котором идет речь в письме 168.

[32] В заметках о Лицее, написанных М. А. Корфом в 1854 г. и использованных Я. К. Гротом, утверждается, что царь ушел до исполнения прощальной песни (Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899. С. 222 и сл.).

[33] О «Священной артели» — преддекабристской организации — и ее членах, лишь часть которых названа Пущиным, см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 124—131; ее же: «Священная артель». Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг.— В кн.: Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 155—188.

[34] В этой фразе не очень ясно изложены два существенных этапа развития тайного общества: ликвидация Союза спасения и замена его Союзом благоденствия в 1818 г. и решение Московского съезда 1821 г. о мнимой ликвидации общества, приведшее к фактическому уничтожению Союза благоденствия и возникновению затем Северного и Южного обществ.

[35] Пущин принял Рылеева в Северное общество осенью 1823 г.

[36] Это осуждение поведения молодого Пушкина было, очевидно, одной из прочно укоренившихся мыслей в воспоминаниях о нем Пущина — характерно, что то же он рассказывал Е. И. Якушкину при первых беседах с ним в Ялуторовске (см. с. 440—441 наст. изд.).

[37] Строка из стихотворения Пушкина «Пирующие студенты».

[38] Речь идет об организационном заседании Вольного журнального общества, которое пытался в начале 1819 г. создать Н. И. Тургенев. Предполагалось, что Общество будет издавать политический журнал, рассчитанный на широкий круг читателей. В сохранившемся наброске программы журнала в числе его участников упомянут и Пушкин (Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 247—249). Поэтому присутствие его на заседании Журнального общества вряд ли было случайным. Однако это действительно не было заседанием тайного общества, хотя большинство участников к нему принадлежало. О Журнальном обществе и программе журнала см.: Тургенев Н. И. Дневники и письма. Пг., 1921. Т. III. С. 381—382.

[39] Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку 6 мая 1820 г.

[40] Сделанный поэтом список своих стихов (так называемая «Тетрадь Милорадовича») не разыскан до сих пор.

[41] История высылки Пушкина на юг широко освещена в литературе (о заступничестве за Пушкина Карамзина, Жуковского, Чаадаева, Ф. Глинки, А. И. Тургенева см.: Оксман Ю. Г. К истории высылки Пуш-

кина из Петербурга в 1820 г. / Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1983. С. 50—51).

Беседа Александра I с Энгельгардтом могла иметь место, хотя вряд ли сыграла значительную роль в судьбе поэта.

[42] О причинах и цели перехода Пущина в гражданскую службу см. вступ. статью.

[43] История высылки Пушкина из Одессы в 1824 г. подробно освещена в биографической литературе о нем. Об отношениях Пушкина и Е. К. Воронцовой см.: Чернова Е. Б. К истории переписки Пушкина и Е. К. Воронцовой. / Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. II. Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман...» / Прометей. М., 1974. Т. 10.

[44] Известный портрет Пушкина кисти О. А. Кипренского, гравированный Н. И. Уткиным.

[45] *Соседи в Тригорском* — семья П. А. Осиповой.

[46] Последние три стиха — из первоначальной редакции стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»).

[47] В. Ф. Раевский был арестован в Кишиневе в феврале 1822 г. (значит, заключение его к январю 1825 г. продолжалось три года). Как известно, Пушкин предупредил Раевского о готовящемся аресте, что дало последнему возможность уничтожить бумаги, связанные с его деятельностью в Кишиневской управе Южного общества. Это, как и стойкое поведение Раевского во время следствия, спасло тайное общество от его раскрытия правительством.

[48] Причинам, по которым Пушкин не принадлежал к тайному обществу, посвящена обширная литература (см., в частности: Нечкина М. В. Новое о Пушкине и декабристах / Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 155—166; Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. С. 143—168).

[49] Речь идет об О. М. Калашниковой, крепостной девушке, дочери управляющего Михайловским, возлюбленной Пушкина во время ссылки. В 1831 г. Пушкин дал ей отпускную из крепостного состояния, в октябре того же года она вышла замуж за чиновника П. С. Ключарева.

[50] *За нее* — за свободу, «святую вольность» (обычный термин свободолюбивых тостов 1820-х годов).

[51] По-видимому, замечания Пушкина были близки к тем, которые он изложил в письме к П. А. Вяземскому от 28 января 1825 г.: «Читал я Чацкого — много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен» *(Пушкин,* XIII, 137). Последние слова Вяземский привел в своей статье о Фонвизине: Современник, 1837. Т. V. С. 69. А. А. Бестужеву Пушкин послал более подробный разбор, предназначенный для передачи Грибоедову (конец января 1825 г. — *Пуш-*

кин, XIII, 138) отрывок из него был приведен П. В. Анненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (СПб., 1855. С. 128—129).

[52] Это был Иона — настоятель Святогорского монастыря, которому был поручен духовный надзор за поэтом.

[53] В справочной литературе приводится иная дата приезда Пущина в Читинский острог — 4 января 1828 г. (*ВД,* VIII. М.; Л., 1925. С. 380).

[54] Список («неизвестной рукой») стихотворения Пушкина «Мой первый друг...», привезенный А. Г. Муравьевой в Читу и там отданный ею Пущину, не сохранился. Текст был переписан Пущиным в тетрадь «заветных сокровищ» (*ЦГАОР,* ф. 279, оп. 1, ед. хр. 248), существует и еще один список его рукой (см. комм. в кн.: *Штрайх, 1956,* с. 395). Однако в обоих есть некоторые разночтения с текстом, приведенным Пущиным в рукописи «Записок» и, очевидно, исправленным по автографу Пушкина. Автограф этот, по свидетельству Пущина в «Записках о Пушкине», разысканный М. И. Пущиным в 1842 г. в Пскове, был прислан в Сибирь: Пущин писал Ф. Ф. Матюшкину 24 февраля 1853 г., что получил «от брата Михайлы в 843-м году собственной руки Пушкина» (см. письмо 167). У кого находился автограф в Пскове до этого времени, не установлено. Находясь на поселении, Пущин в 1841 г. послал это стихотворение вместе с другим («В альбом Пущину») П. П. Ершову, который отослал их П. А. Плетневу для напечатания (см. письмо 81). Стихи появились в печати (Современник, 1841. Т. 22. С. 172—173). М. А. Фонвизин сообщал Пущину 6 августа 1841 г.: «Поэт Ершов бывает обыкновенным моим спутником. Он мне сказывал, что получил благодарность за Пушкина стихи, вами ему сообщенные и которые напечатаны в «Современнике» (*Фонвизин,* т. 1. С. 216).

[55] Это стихотворение Пушкина тоже вписано Пущиным в тетрадь «заветных сокровищ» с пометой: «Прислано Е<гором> А<нтоновичем>».

[56] Пушкин умер 29 января 1837 г., отпевание происходило 1 февраля — очевидно, что Розенберг вернулся в Петровский завод с известием о его гибели не в январе, а позднее.

[57] Сюртук хранится теперь во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде.

[58] Письмо, которое цитирует Пущин, обращено к П. А. Вяземскому (В. К. Кюхельбекеру — ?) и написано в апреле — мае 1824 г. (*Пушкин,* XIII, 92). *Романтическая поэма* — «Евгений Онегин»; *Атей* — В. Гутчинсон, домашний врач Воронцовых.

[59] Следующие далее копии документов, относящихся к дуэли и смерти Пушкина, давно и неоднократно опубликованные, нами не воспроизводятся. Об этой подборке документов, так называемом «дуэльном комплексе», сохранившемся во многих списках, см.: Э й д е л ь м а н Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966. С. 178—181, 292.

ПИСЬМА

Отдельные письма И. И. Пущина стали появляться в печати с конца XIX в. Однако широкое их издание началось только в советское время. В 1925 году вышла в свет подготовленная С. Я. Штрайхом книга «Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири», в которой были опубликованы 104 письма Пущина, причем 64 из них — впервые (подробную сводку предшествовавших публикаций см.: Ч е н ц о в Н. М. Восстание декабристов. Библиография. М.; Л., 1929). В 1926 году Б. Л. Модзалевский обнародовал обширный свод писем Пущина к Е. П. Оболенскому, незадолго до этого поступивший в Пушкинский Дом (Памяти декабристов, т. III. Л., 1926), а десять лет спустя появилась публикация писем Пущина к Г. С. Батенькову, хранящихся в *ГБЛ* (Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. М., 1936). Подборка писем Пущина к разным адресатам за разные годы была опубликована в 1938 году в Летописях Гос. лит. музея (кн. III. Декабристы). В 1956 году С. Я. Штрайх вновь опубликовал «Записки» Пущина о Пушкине, включив в книгу уже 256 писем декабриста, более половины которых появилось в печати впервые. Несколько ранее неизвестных писем Пущина было опубликовано в конце 1970-х годов в книгах Н. Я. Эйдельмана «Пушкин и декабристы» (М., 1979) и И. Т. Трофимова «Поиски и находки в московских архивах» (М., 1979). О других публикациях писем И. И. Пущина см.: Движение декабристов. Библиография. 1928—1959. М., 1960; и Движение декабристов. Указатель литературы. 1960—1976. М., 1983. Среди публикаций последних лет следует отметить издание писем декабристов (в том числе и Пущина) к Я. Д. Казимирскому: Сибирские письма декабристов. 1838—1850. Красноярск, 1987.

В настоящем издании публикуются 314 писем Пущина. Письма (за исключением хранящихся в Красноярском краеведческом музее) сверены с подлинниками, что позволило исправить многочисленные ошибки и неточности предыдущих изданий. Лишь в шести случаях (письма 13, 44, 104, 178, 220, 296) оригиналы писем Пущина разыскать не удалось, и они воспроизводятся по тексту первых публикаций. В комментариях к тем письмам, которые были существенно дополнены или опубликованы впервые (М., 1988), указаны места их хранения. Остальные письма, включенные в настоящую книгу, хранятся: в *ИРЛИ* (письма 1—12, 14—17, 19, 21—30, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 46, 47, 49—51, 53, 54, 56, 57, 65, 68, 70, 72, 74, 79, 103, 107, 109, 116, 124, 126, 162, 164—168, 175, 181, 188, 201, 203, 205, 209, 216, 219, 224, 236, 237, 246—249, 252, 257, 260, 266, 272, 274, 287, 291, 299, 301, 303, 304), *ОР ГБЛ* (37, 39, 41, 45, 59, 61, 66, 73, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 91, 92, 110, 111, 115, 134, 160, 163, 174, 177, 179, 182, 185, 189, 194, 196, 198, 199, 202, 204, 207, 208, 210, 211, 214, 217, 218, 221, 223, 225—230, 232—234, 238, 245, 251, 258, 261, 267—271, 273, 275—279, 281, 283, 286, 289, 290, 292, 294, 295, 302, 305, 307, 309, 310, 313, 314), *ЦГАОР* (31, 34, 36, 48, 52, 55, 62—64, 67, 71, 80, 85, 87, 88, 90, 95, 98, 102, 114, 131—133,

137, 141, 143—153, 158, 171—173, 184, 190, 191, 193, 195, 206, 212, 231, 240, 250, 253, 254, 262—265, 280, 282, 298, 300, 308, 311, 312), *Красноярском краеведческом музее* (105, 106, 112, 118, 120—123, 125, 127, 128, 154—157), *ОПИ ГИМ* (113, 117, 119), *ЦГАЛИ* (100, 108).

1. В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

[1] В. Д. Вольховский (с 1819 г. поручик, состоящий при Гвардейском корпусе) в июне 1820 г. был командирован в Бухару при миссии А. Ф. Негри. Пущин в это время — подпоручик л.-гв. Конной артиллерии, чем и объясняются его заботы о ремонте, т. е. закупке лошадей для своей части. Заботы, «которые непременно сопряжены» с его существованием, — намек на дела тайного общества.

[2] Здесь перечислены не просто знакомые, но только члены Союза благоденствия. *Колошин* — имеется в виду Павел Иванович Колошин, служивший в это время в 1-й армии и находившийся в Варшаве, куда 15 августа 1820 г. прибыл Александр I для открытия второго польского сейма.

[3] Еще по дороге в Варшаву царь получил письмо австрийского императора Франца, настаивавшего на созыве конгресса Священного союза в связи с революцией в Неаполе. Конгресс открылся в Троппау 8 октября 1820 г. Далее многоточием отмечены дефекты оригинала, испорченного при вскрытии письма.

[4] Миссия А. Ф. Негри в Бухару в 1820 г. помимо дипломатических целей (расширение торговли с Россией и возвращение русских пленных) имела научные задачи. Именно в связи с этим к ней был прикомандирован ряд офицеров Генерального штаба, в том числе Вольховский.

2. В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

[1] *Комедиант Яковлев* — Михаил Лукьянович Яковлев, лицейский товарищ Пущина и Вольховского. Вольховский был командирован в январе 1824 г. по особым поручениям в Отдельный Оренбургский корпус.

[2] Павел Колошин, у которого Пущин жил, приехав в Москву, в 1824 г. женился на Александре Григорьевне Салтыковой. Многоточием обозначено в письме тайное общество (до женитьбы Колошин был членом Коренного совета Союза благоденствия).

[3] В 1823 г. Колошин так же, как и Пущин, перешедший в гражданскую службу, был советником 2 департамента Московской палаты Гражданского суда. Вернувшись в апреле 1825 г. на службу, был советником Московского губернского правления.

[4] Сергей Николаевич *Кашкин,* член Северного общества, с 1820 г. находился в отставке. Следуя примеру Пущина, в ноябре 1824 г. вступил

в гражданскую службу заседателем 1 департамента Московского надворного суда.

[5]Речь идет об отсутствии в Москве членов тайного общества. Контакты Пущина с ними установились не сразу после приезда (см. об этом вступ. статью).

[6]Перейдя в гражданскую службу, Пущин получил чин титулярного советника (IX класс), которому соответствовало обращение «ваше благородие». Начиная с чина коллежского асессора (VIII класс), чиновник именовался «ваше высокоблагородие». Этот чин Пущин получил только в июле 1825 г.

[7]Московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына.

[8]Письмо Пущина приписано к письму Павла Колошина. Последний писал, в частности: «После долгого ожидания наконец Пущин прибыл к нам: все тот же. Принялся за дело и думает надворный суд свой исправить: дело великое, но трудное».

3. А. С. ПУШКИНУ

[1]28 января 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Пущин привезет тебе 600 рублей. Отдай их кн<ягине> В<ере> Ф<едоровне> и с моей благодарностию» (*Пушкин,* XIII, 137),– по-видимому, долг ей еще со времени совместного пребывания в Одессе.

[2]В. К. Кюхельбекер с лета 1823 г. жил в Москве, где преподавал в Университетском пансионе и издавал вместе с В. Ф. Одоевским альманах «Мнемозина». В апреле 1825 г. переехал в Петербург, в Михайловское к Пушкину не приезжал.

[3]*«Войнаровский» и «Думы»* Рылеева были изданы С. Селивановским в Москве в 1825 г. отдельными книжками. 10 марта 1825 г. Рылеев писал Пушкину: «Думаю, что ты получил уже из Москвы «Войнаровского» <...> Знаю, что ты не жалуешь мои «Думы», несмотря на то я просил Пущина и их переслать тебе» (*Пушкин,* XIII, 150). Пушкин получил их 7 апреля (*Пушкин,* XIII, 160).

4. А. С. ПУШКИНУ

[1]Получив письмо Пущина с предложением Селивановского, Пушкин писал о нем Вяземскому: «...Кажется, должен я буду отклонить по причине новой типографической плутни» (*Пушкин,* XIII, 160–161). Он имел в виду свой конфликт с Е. И. Ольдекопом, напечатавшим без разрешения «Бахчисарайский фонтан».

[2]12 марта – день вступления на престол Александра I после убийства его отца Павла I.

5. А. С. ПУШКИНУ

[1]Письмо Пушкина неизвестно.

6. М. И. ПУЩИНУ

[1]Список А. И. Малиновского.

[2]А. И. Якубович провел на Кавказе семь с половиной лет (1818—1825). Уволенный в отпуск для операции после ранения в голову (во время экспедиции за Кубань в 1823 г.), выехал с Кавказа в ноябре 1824 г. и проездом в Петербург был в Москве.

[3]М. А. Назимов служил вместе с Михаилом Пущиным в л.-гв. Конно-пионерном батальоне.

7. М. И. ПУЩИНУ

[1]Список А. И. Малиновского.

8. М. И. ПУЩИНУ

[1]Список А. И. Малиновского.

[2]Письмо накануне известия о смерти Александра I.

9. С. М. СЕМЕНОВУ

[1]Письмо не сохранилось (С. М. Семенов сжег его). Текст воспроизведен М. Ф. Орловым по памяти в показании на следствии.

10. ОТЦУ И СЕСТРАМ

[1]Письмо в самодельной маленькой книжечке, карандашом, во многих местах стершимся. По официальным документам, Пущин был отправлен из Шлиссельбурга 10 октября, письмо уточняет дату выезда — 12 октября (см. ниже).

[2]Этот путевой дневник Пущин передал сопровождавшему его, Поджио и Муханова фельдъегерю Желдыбину для доставки отцу. Желдыбин обронил мешок с вещами и письмами на тракте, из чего возникло дело «О государственных преступниках. Об отправленной и удержанной переписке их» (*ЦГАОР*, ф. 109, 1 эксп., III отд., 1826, № 61, ч. 15). См. об этом деле и о судьбе Желдыбина: П а в л ю ч е н к о Э. В доброволь-

ном изгнании. М., 1976. С. 81—82. В деле, однако, хранится только копия письма, подлинник — в *ИРЛИ*. Был ли он доставлен родным Пущина или извлечен кем-то из дела, неизвестно.

[3] Речь идет о портретах сестры Пущина Анны Ивановны и двух его племянниц (Набоковых), присланных в Шлиссельбург.

[4] *Новый комендант* Шлиссельбургской крепости — генерал-майор И. П. Фридберг, прежний — генерал-майор Г. В. Плуталов.

[5] По воспоминаниям других декабристов, также ехавших с фельдъегерем Желдыбиным, он был груб и не желал контактов с «государственными преступниками» (см., например: Муравьев А. М. Записки. Пг., 1922. С. 26—28). Отношение Желдыбина к Пущину и его спутникам, за которое он поплатился годичным арестом,— свидетельство лишь исключительного умения Пущина располагать к себе людей.

[6] Речь идет о книге Шатобриана «Les martyrs ou le triomphe de la réligion chrétienne». Paris, 1809.

[7] Имеется в виду другая книга Шатобриана: «Génie du Christianisme ou Beautés de la réligion chrétienne».

[8] В семейном летописце Пущина отмечено рождение сына Е. И. Набоковой Ивана 18 августа 1826 г. и дочери Анны 8 декабря 1828 г. Вероятно, родившаяся в 1827 г. дочь вскоре умерла (см.: Памяти декабристов. Т. III. С. 85—86).

[9] Переведенный в 1826 г. на Кавказ, Вольховский участвовал в русско-персидской войне 1826—1828 гг.

[10] Имеется в виду В. К. Кюхельбекер, находившийся одновременно с Пущиным в Шлиссельбурге. 12 октября 1827 г. он вместо отправки в Сибирь был переведен в арестантские роты при Динабургской крепости.

[11] По-видимому, деньги, переданные Пущину родными во время свидания в Пелле (см. ниже), отослать которые в Сибирь обещал генерал Фридберг.

[12] Роман Медокс за авантюру, предпринятую им в 1812 г. (выдавая себя за адъютанта министра полиции, под предлогом сбора средств для формирования народного ополчения на Кавказе, он незаконно присвоил большие суммы казенных денег), просидел 14 лет в Шлиссельбурге. Привезенные в июле 1826 г. в Шлиссельбург декабристы Юшневский, Пестов, Дивов, Пущин, Николай и Михаил Бестужевы были помещены в одно отделение с ним. Медоксу удалось расположить декабристов к себе и войти к ним в доверие. Весной 1827 г. Медокс был отправлен в Сибирь, где действовал как агент-осведомитель III Отделения. В 1833 г. направил в Петербург донос о готовящемся будто бы в Сибири новом заговоре декабристов (см.: Штрайх С. Я. Провокация среди декабристов. М., 1925; его же: Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX в. М., 1930).

[13]О времени свидания в Пелле документальных свидетельств не сохранилось. Скорее всего, оно состоялось при переезде из Петропавловской крепости в Шлиссельбург.

[14]Имеется в виду генерал-лейтенант И. А. Набоков — муж сестры Пущина Екатерины.

[15]*Алексей* Егоров — слуга И. И. Пущина, неизменный его спутник «от лицейского порога до ворот крепости».

[16]О намерении сестры Пущина Евдокии ехать за ним в Сибирь было, вероятно, сказано при свидании. В сохранившейся переписке это намерение не отразилось.

[17]О разрешении следовать за братом, декабристом З. Г. Чернышевым, в Сибирь просила его сестра Наталья Григорьевна, впоследствии жена Н. Н. Муравьева-Карского (см.: *Розен,* с. 247).

[18]М. И. Пущин в октябре 1827 г. не был еще офицером. Участвуя в осаде Аббас-Абада, Сардар-Абада и Эривани, он был произведен в ноябре 1827 г. (т. е. позднее, чем И. И. Пущин уехал в Сибирь) только в унтер-офицеры. В прапорщики произведен в марте 1828 г.

[19]Переписка Пущина с братом Николаем во время пребывания в Алексеевском равелине не сохранилась.

[20]*Губернатор* в Тобольске в 1827 г.— историк и археограф Д. Н. Бантыш-Каменский, с сочувствием относившийся к декабристам. *Евгений* — тобольский архиепископ в 1825—1831 гг. Евгений (Казанцев). В 1822—1825 гг. он был псковским архиепископом, что и определило его личные отношения с зятем Пущина И. А. Набоковым, жившим в Пскове.

[21]Генерал-майор С. Р. Лепарский был назначен 3 августа 1826 г. на должность коменданта при Нерчинских рудниках. Лепарский был лично известен Николаю I, так как до назначения в Сибирь командовал конно-егерским Северским полком, шефом которого был Николай. Декабристы в своих воспоминаниях неизменно отзывались о нем с благодарностью, хотя он был их тюремщиком (исключение составляет Д. И. Завалишин). И. Д. Якушкин вспоминал: «Несмотря на преклонность своих лет и на странность приемов, он был человек очень неглупый, и ум его еще был свеж, а что и того лучше, сердце у него было совершенно на месте» (*Якушкин,* с. 104—105). См. о Лепарском: Т и м о щ у к В. Станислав Романович Лепарский, комендант Нерчинских рудников и Читинского острога. 1759—1837 гг.— Русская старина, 1892, № 7. С. 143—177.

11. СЕСТРАМ

[1]Копия рукой Е. А. Энгельгардта.

12. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]Упоминание о свидании с Энгельгардтом 14 декабря 1825 г.— важный аргумент в пользу того, что именно ему в день восстания Пущин передал портфель с декабристскими бумагами.

13. И. П. ПУЩИНУ

[1]О положении жен декабристов, последовавших за ними в Сибирь, и официальных инструкциях об этом см.: Щеголев П. Е. Жены декабристов и вопрос об их юридических правах. Щеголев П. Е. Исторические этюды. СПб., 1913; Павлюченко Э. А. Указ. соч. С. 53—60.

[2]О каком донесении идет речь, судить на основании этого текста трудно. С. Я. Штрайх предполагал, что имеется в виду донесение Вольховского, присутствовавшего при казни декабристов 13 июля 1826 г. в качестве представителя военного министерства (*Штрайх, 1956,* с. 402). Никаких данных о существовании такого донесения нет.

[3]У коменданта Шлиссельбургской крепости Г. В. Плуталова, умершего в 1827 г.

14. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1] *Чугунники*— лицейские товарищи Пущина. При окончании Лицея Энгельгардт подарил им чугунные кольца как символ прочности лицейской дружбы.

15. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]За Пущина, не имевшего права переписки, письмо написано рукой А. В. Розен.

[2]Речь идет об эпидемии холеры.

16. А. И. ПУЩИНОЙ

[1]Список А. И. Малиновского. Не дошедший до нас подлинник был написан рукой А. В. Розен.

[2]*Лексикон Ольдекопа*— Карманный французско-российский и российско-французский словарь. С краткою грамматикою обоих языков и с присовокуплением списка употребительнейших имен мужских и женских, географического словаря и сравнительной таблицы весов, мер и монет обоих народов, ч. 1, СПб., 1830.

17. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]Письмо написано рукой А. В. Розен.

[2]К празднованию лицейской годовщины 19 октября 1831 г. Пушкин написал стихотворение «Чем чаще празднует лицей...», третья и четвертая строфы которого посвящены шести умершим к этому времени лицеистам. В течение 1830—1831 гг. скончались К. Д. Костенский, П. Ф. Саврасов, С. С. Есаков, А. А. Дельвиг.

18. С. Г. ВОЛКОНСКОМУ

ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, ед. хр. 229.

[1]Известие о рождении сына Волконских Миши.

19. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]Письмо написано рукой Е. И. Трубецкой.

[2]Виды Петровского завода,— возможно, авторские повторения видов Читы, Петровского завода и зарисовок на пути из Читы в Петровский завод, сделанных Н. Бестужевым (см.: Зильберштейн И. С. Художник Николай Бестужев. М., 1977. С. 460—484). Однако ни одно из учтенных до сих пор таких повторений не атрибутировано как принадлежавшее Е. А. Энгельгардту.

[3]Речь идет о лицейском товарище Пущина С. С. Есакове, полковнике, участнике подавления польского восстания, застрелившемся в период военных действий. У Есакова осталось трое детей (см.: Эйдельман Н. Я. Прекрасен наш союз. М., 1982. С. 190—192).

20. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 177.

[1]Письмо написано рукой М. Н. Волконской.

[2]«Шесть лет промчались как мечтанье...» — прощальная лицейская песня А. А. Дельвига (см. об этом прим. 30 к «Запискам о Пушкине»).

[3]Е. А. Энгельгардт с 1834 по 1852 г. был директором редакции «Земледельческой газеты».

[4]Установить, что за книга имеется в виду, не удалось.

[5]Огородами в Петровском заводе занимались многие декабристы, особенно успешно шло дело у Н. А. Бестужева и С. Г. Волконского.

21. М. И. МАЛИНОВСКОЙ

[1]Список А. И. Малиновского. Не дошедший до нас подлинник был написан рукой Е. И. Трубецкой.

[2]И. В. Малиновский известил Пущина, что при посещении Николаем I Харькова он просил царя об облегчении участи декабристов и тот обещал скорый их выход на поселение (см.: *Штрайх, 1956,* с. 403). На поселении декабристы получали право переписки.

22. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]Письмо написано рукой Е. И. Трубецкой.

[2]Пущин имеет в виду лицейскую годовщину 19 октября.

[3]В. Е. Энгельгардт женился на Ю. А. Копьевой. Е. А. Энгельгардт предлагал Пущину жениться на одной из ее сестер, с которой тот был знаком до восстания.

[4]В. К. Кюхельбекер прибыл в Баргузин 20 января 1836 г., в январе 1837 г. женился на Дросиде Ивановне Артеновой, дочери местного почтмейстера.

[5]*Памятные листки* — распространившиеся в списках сразу после смерти Пушкина письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 393—407), записки врачей, лечивших поэта, — И. Т. Спасского (там же, с. 384—387) и В. И. Даля (там же, с. 267—271).

[6]А. Д. Илличевский умер 6 октября 1837 г.

[7]Письмо Жуковского к С. Л. Пушкину было опубликовано с сокращениями (опущены подробности дуэли). Современник, 1837, т. V. О «Записках» Спасского и Даля см. прим. 5.

23. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1]Список А. И. Малиновского. Не дошедший до нас подлинник был написан рукой М. К. Юшневской.

[2]*9 июня* — день выпуска первого курса из Лицея.

[3]Стихи Дельвига из «Прощальной песни».

24. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1]Список А. И. Малиновского. Не дошедший до нас подлинник был написан рукой М. К. Юшневской.

[2]В. Д. Вольховский в 1839 г. вышел в отставку и поселился вместе с семьей И. В. Малиновского в его имении Каменка Изюмского уезда Харьковской губ. М. И. Пущин, выйдя в отставку в 1835 г., поселился в имении Паричи Бобруйского уезда Минской губ., где завел сахарный завод.

[3]*Ты не знаешь внутренних происшествий* — выражение Малиновского, ставшее обычной лицейской шуткой.

25. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1] Список А. И. Малиновского. Не дошедший до нас подлинник был написан рукой Е. И. Трубецкой.

[2] *Эстляндские переселенцы* — А. Е. Розен с семьей. 14 февраля 1839 г. Розен был уволен в отставку рядовым с разрешением проживать в имении под Нарвой. Но смогли они выехать только 1 мая в связи с ожидавшимися родами А. В. Розен; по дороге они гостили шесть недель в Каменке (*Розен,* с. 395).

26. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] *Комендант* — Г. И. Ребиндер, полковник, назначенный комендантом Петровского завода после смерти Лепарского; *плац-майор* — Я. Д. Казимирский; *Баранов* — штабс-капитан, плац-адъютант коменданта Петровского завода.

[2] *Море* — озеро Байкал. Переправляясь через Байкал, декабристы, как бурлаки, тянули за собой судно.

[3] *Каролина Карловна* Кузьмина — воспитательница дочери Н. М. Муравьева Нонушки. *Кумушка* — М. Н. Волконская (Пущин был крестным отцом ее сына Миши).

[4] *Гымыль* — первоначальное место назначения Пущина на поселение.

[5] Трубецкие были поселены в селе Оёк близ Иркутска; А. З. Муравьев находился сначала в селе Елань, а в 1840 г. был переведен в Малую Разводную близ Иркутска; Юшневские жили в деревне Куда, в 1840 г. были также переведены в Малую Разводную.

[6] *Племянница Каролины Карловны* — Жозефина Адамовна Бракман, с 1839 г. — жена декабриста Александра Михайловича Муравьева.

[7] Речь идет о снятии с известного востоковеда Иакинфа (Н. Я. Бичурина) духовного сана. Иакинф просил об этом еще в 1832 г., но получил отказ Николая I. Знакомство Пущина и Оболенского с Иакинфом состоялось во время поездки последнего в Кяхту в 1837 г. (он посетил Петровский завод).

27. М. И. и И. В. МАЛИНОВСКИМ

[1] Список А. И. Малиновского.

28. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] *Ксенофонт* Балаганский, сын Егора Балаганского, служившего в Петровском заводе. У Оболенского в месте его поселения (село Итанца Верхнеудинского округа Иркутской губ.) кухаркой была сестра Егора Балаганского, Крашенинникова (см. письма Оболенского к Пущину: *ОР ГБЛ,* ф. 243, 2. 47, л. 92, 136).

29. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] На поселение Пущин и Оболенский ехали до Верхнеудинска вместе.

[2] Н. С. Бобрищев-Пушкин с 1827 г. был психически болен, с 1831 г. находился в доме умалишенных в Красноярске. По приезде туда на поселение в 1833 г. его брата Павла жил вместе с ним.

[3] Декабрист С. М. Семенов особенно сблизился с Пущиным во время службы последнего в Москве в 1824—1825 гг. По приговору Верховного уголовного суда был отправлен на службу в Сибирь в распоряжение генерал-губернатора Западной Сибири. В 1839 г.— столоначальник канцелярии Главного управления Западной Сибири.

[4] Кого из декабристов называли *Грузином,* установить не удалось.

[5] Было известно, что А. И. Одоевский умер от малярии в Псезуапе 10 октября 1839 г. Данное письмо опровергает эту дату. Несомненно, Одоевский умер раньше, иначе в Тобольске не могли бы узнать о его кончине до 15 октября (Пущин приехал из Тобольска в Туринск 17 октября.— См.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 149).

30. И. В. МАЛИНОВСКОМУ и В. Д. ВОЛЬХОВСКОМУ

[1] Список А. И. Малиновского.

31. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Елизавета Петровна *Потемкина,* сестра С. П. Трубецкого, хлопотала о переводе его в Западную Сибирь.

[2] О невесте А. М. Муравьева см. прим. 6 к письму 26. Свадьба состоялась 12 ноября 1839 г.

32. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] Имеется в виду декабрист И. В. Киреев (см. прим. Б. Л. Модзалевского к этому письму в сб.: Памяти декабристов. Т. III. С. 21).

33. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] О конфликте А. Н. Сутгофа с матерью, связанном с женитьбой, см. его письмо к П. Н. Свистунову от 23 сентября 1839 г. (Летописи Гос. лит. музея. М., 1938. Кн. III. С. 310—311).

[2] В. К. Кюхельбекер в сентябре 1839 г. был переведен из Баргузина в Акшинскую крепость, но выехал из Баргузина только в декабре 1839 г.

34. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Иосиф Францевич *Сосинович,* слепой поляк, сосланный по делу М. Воловича (попытка восстания в Слониме в 1831 г.), находился вместе с декабристами в Петровском заводе.

[2] Письмо это с упоминанием о *рыбе,* как видно из последующих писем Пущина, вызвало административные последствия (см. письма 36, 37 и 39). «Рыбой» Якушкин и Пущин называли карту, сделанную ими совместно (Якушкин писал об этом Пущину: «Помните ли общий наш труд над картой, которую вы прозвали рыбой и которая в самом деле имела несколько вид осетра» — *Якушкин,* с. 265).

35. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1] Письмо *на лицейском листке* — с виньеткой — видом Царского Села и здания Лицея.

[2] *Бывший предводитель* — И. В. Малиновский, бывший до 1839 г. изюмским уездным предводителем дворянства.

36. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] О *рыбе* см. прим. 2 к письму 34.

37. П. Н. СВИСТУНОВУ

[1] Анненкову.

[2] Яков Петрович *Тучинов,* ялуторовский «союзник» декабристов. *Тьер* — «История французской революции» французского историка А. Тьера (см. об этом письмо 48 — к И. Д. Якушкину от 11 июля 1840 г.).

[3] Декабрист И. С. Повало-Швейковский, переведенный по указу 10 июля 1839 г. в Курган, прибыл туда в начале 1840 г.

[4]Пущин не совсем понял письмо Волконского: тот сообщал, что до устройства в Кузьмихе разрешили жить в Иркутске Юшневским; Вадковскому (назначенному на поселение в село Манзурка Иркутской губ.) также разрешили «по болезненному состоянию» временно остаться в Иркутске (см. письмо Волконского к Пущину от 14 января 1840 г.— *Записки ОР ГБЛ.* М., 1961. Вып. 24. С. 359).

[5]Письмо М. А. Фонвизина к генерал-губернатору Западной Сибири П. Д. Горчакову от 14 декабря 1839 г. с просьбой определить его рядовым в Отдельный Кавказский корпус (см.: *Фонвизин,* т. 1, с. 169, 414). В просьбе было отказано, несмотря на поддержку ее Горчаковым. Формальным основанием для отказа послужил возраст (в справке было указано, что ему 56 лет, тогда как в действительности ему исполнился 51 год).

[6]Саша Фонвизин, сын И. А. Фонвизина, умер пятнадцати лет (29 ноября 1839 г.). М. А. Фонвизин писал, сообщая об этом Пущину: «Положение брата так меня тронуло, что в душе моей возродилось непреодолимое желание с ним увидеться, и, чтобы этого достигнуть, я решился просить князя Горчакова, отправляющегося в Петербург, выхлопотать мне перевод на Кавказ — он взялся за это» (*Фонвизин,* т. 1. с. 170—171).

[7]С. Г. *Краснокутский* скончался в Красноярске 3 февраля 1840 г. *Иван Федорович* — Фохт, который занимался в Сибири врачебной деятельностью, мог давать Краснокутскому советы из Кургана, где был на поселении.

38. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]Сестрам Борисовых не удалось приехать к ним в Сибирь.

[2]Я. М. *Андреевич,* вышедший на поселение одновременно с Пущиным и Оболенским, был помещен в больницу в Верхнеудинске, где и умер 18 апреля 1840 г.

Вадковский писал о нем 7 октября 1839 г. Оболенскому, что никакие доводы «не могли убедить высокопревосходительного <генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта> к отмене бесчеловечного приказания держать Борисова и Андреевича в домах сумасшедших!» (Декабристы. Неизданные материалы и статьи. / Под редакцией Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. М., 1925. С. 211).

39. М. А. ФОНВИЗИНУ

[1]Письмо Фонвизина, сопровождавшее отосланную им Пущину рукопись, не сохранилось. Скорее всего речь идет о записке Фонвизина «О крепостном состоянии земледельцев в России». 14 апреля 1842 г. Фонвизин писал Пущину: «Написав письмо и думая о действиях Киселева, мне

пришло на мысль: не послать ли ему при письме, подписанном каким-нибудь выдуманным именем, предположение, которое я вам когда-то сообщил?» (*Фонвизин,* т. 1, с. 243). Об этой записке см.: там же, т. 2, с. 29—33.

[2] В Минусинске на поселении находились декабристы А. П. и П. П. Беляевы, И. В. Киреев, А. А. и Н. А. Крюковы, Н. О. Мозгалевский, А. Ф. Фролов. Все они, кроме Мозгалевского, просили перевести их на Кавказ. Перевод разрешен был только братьям Беляевым, выехавшим из Минусинска в марте 1840 г.

[3] *То, что вы желали получить от меня* — списки сочинений М. С. Лунина. В декабре 1839 г. Фонвизин в письме к Пущину, отправленном с оказией, просил его: «Не забудьте прислать мне список с филиппик М. С. Лунина» (*Фонвизин,* т. 1, с. 172). Пущин прислал «письменную тетрадку», как сказано далее в письме. Она сохранилась в архиве Фонвизиных и содержит списки рукою Пущина 21-го и 22-го письма из «Писем из Сибири» и «Взгляда на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» (*ГБЛ,* ф. 319, карт. 5, ед. хр. 20).

[4] Слух о назначении нового министра, дошедший до Фонвизина, не подтвердился. Е. Ф. Канкрин оставался министром финансов до 1844 г., его преемником стал Ф. П. Врончепко. Послом в Лондон вместо К. А. Поццо ди Борго был назначен в 1840 г. Ф. И. Брунов.

[5] А. А. *Ивановский* в 1840 г. был назначен мануфактур-корреспондентом в Псков. Это объясняет знакомство его с семьями Набоковых и Пущиных. Возможно, что к его назначению имел какое-то отношение Б. К. Данзас, сохранявший дружеские связи с сестрами Пущина.

[6] В письме от 19 марта 1840 г. Фонвизин сообщал Пущину о занятиях Барятинского греческим языком, подтверждая, таким образом, получение сочинений Лунина (*Фонвизин,* т. 1, с. 175).

40. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] *Александр Лукич* Кучевской, осужденный в 1827 г. по уголовному делу, отбывал срок каторги вместе с декабристами в Петровском заводе. Обращенный на поселение в марте 1839 г., жил в Тугутуе вблизи Иркутска.

[2] Номер камеры Пущина в Петровском заводе.

41. М. А. ФОНВИЗИНУ

[1] *Тезка Якушкина* — тобольский гражданский губернатор Иван Дмитриевич Талызин.

[2] *Глен* — знакомый Пущиных и Набоковых. Сведения о нем — в дневнике М. И. Пущина 1826 г., обращенном к родным («Вы знаете

все, за что он себя считает должником Жанно и зятю».— См.: *Штрайх, 1956,* с. 371).

[3]В 1840 г. астраханским губернским прокурором был назначен Федор Алексеевич Покровский.

[4]Речь идет о конфликтах, возникших у В. И. Штейнгейля с некоторыми декабристами (см. письмо М. А. Фонвизина к И. Д. Якушкину от 12 июля 1840 г. и прим. 5 к нему — *Фонвизин,* т. 1, с. 179—180, 418).

[5]Книга, которую читали декабристы: Andryane A. Mémoires d'un prisonnier d'état en Spielberg («Мемуары государственного заключенного в Шпильберге»). Paris, 1837—1838. Т. 1—4 (замок Шпильберг — известная тюрьма в Австрии). А. Андриане (1797—1863) — участник революционного движения в Италии и Франции.

[6]Имя и отчество сына Басаргина было Александр Николаевич — т. е. имя наследника престола, будущего Александра II.

42. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]По правилам, определенным для декабристов на поселении, их письма как из Сибири в Европейскую Россию, так и по Сибири должны были идти через III Отделение (см. также прим. 3 к письму 64).

43. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1]Письма И. Д. Якушкина к братьям Беляевым неизвестны.

[2]Речь идет об И. И. Пущине, который в Петровском заводе впоследствии возглавлял декабристскую «артель».

[3]И. И. *Горбачевский,* единственный из декабристов оставшийся до конца жизни (1869) в Петровском заводе, перепробовал там различные занятия. В 1850-х годах у него была мельница; кроме того, он выполнял «комиссионные поручения» управляющего золотыми приисками И. Ф. Буттоца (см. воспоминания В. А. Обручева и П. И. Першина-Караксарского.— В кн.: «В потомках ваше племя оживет». Иркутск, 1986. С. 123—127, 145—148).

[4]Судя по этому письму, у Пущина были неофициальные возможности для переписки с Красноярском.

[5]Свадьба наследника престола вел. кн. Александра Николаевича состоялась 16 апреля 1841 г. Надежды декабристов и их родных на амнистию в связи с ней не оправдались. Амнистированы были только некоторые ссыльные поляки.

[6]О причине отказа Фонвизину в переводе на Кавказ см. прим. 5 к письму 37.

44. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1] Об отношении декабристов и, в частности, Пущина к Пушкину после появления стихотворений «Стансы» и «Клеветникам России» см. вступ. статью.

45. М. А. ФОНВИЗИНУ

[1] К генерал-губернатору Западной Сибири П. Д. Горчакову. Письмо разминулось с письмом Фонвизина к Пущину от 17 июня, где было передано распоряжение Горчакова обратиться за разрешением приехать в Тобольск к председателю губернского правления Н. П. Соловьеву. Разрешение Пущину было дано.

[2] Якушкин сообщал Пущину 15 декабря 1839 г. о Трубецких: «<...> они пока всей семьей живут в одной избе в Оёке» (*Якушкин,* с. 263).

46. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] *Гидропатия* — широко распространенное в XIX в. водолечение.

47. Е. И. ТРУБЕЦКОЙ

[1] *Самого Никса* — т. е. самого царя.

[2] О надеждах на свадьбу наследника см. прим. 5 к письму 43.

[3] О гражданском губернаторе Тобольска И. Д. Талызине Фонвизин писал Якушкину 12 июля 1840 г.: «Он один из тех людей, которые мягко стелят, да жестко спать» (*Фонвизин,* т. 1, с. 180).

[4] См. прим. 5 к письму 41.

48. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] Главное управление Западной Сибири переведено было к этому времени в Омск. Поэтому разрешение ехать в Тобольск должно было прийти из Омска.

[2] «История французской революции» Тьера была издана в Париже в 1827 г. и многократно переиздавалась. Запрет на нее в России был вызван общим сочувствием к Великой французской революции, которым проникнута эта книга. Первый русский перевод вышел в свет только в 1873—1877 гг.

[3] 4 октября 1840 г. Басаргин писал Пущину в Тобольск: «При этом письме вы получите, любезнейший Иван Иванович, обещанные мною

сведения об Туринске и его уезде. <...> если найдете тут что-нибудь похожее на материал для удовлетворения желания почтенного Егора Антоновича, то переделайте по-своему, добавьте и, переписав своей каллиграфической рукою, отошлите к нему» (Сибирь и декабристы. Иркутск, 1983. Вып. 3. С. 171—172).

49. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1]Энгельгардт собирал денежные средства для помощи сиротам — детям лицеистов. Пущин прислал ему 100 рублей (см.: *Штрайх, 1956,* с. 405). Энгельгардт предлагал также переводить и издавать для этой цели какие-либо книги.

51. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]А. П. Барятинский еще в Петровском заводе страдал болезнью горла, впоследствии совсем потерял голос.

[2]По настоянию Пущина его родными была сделана попытка перевести его в Иркутскую губ., где находился Е. П. Оболенский.

52. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1]Письмо Якушкина с отзывом об «Истории французской революции» Тьера неизвестно.

54. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]Н. И. Лорер был произведен в офицеры 10 октября 1840 г.

[2]В. Н. Лихарев убит в сражении с горцами 10 или 11 июля 1840 г. (возможно, при Валерике).

[3]И. Б. Аврамов умер 17 сентября 1840 г. на пути из Туруханска в Енисейск на судне с товарами (ему и Н. Ф. Лисовскому было разрешено заниматься торговлей в Туруханском крае).

55. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1]На обратном пути из Тобольска в Туринск Пущин заезжал на пять дней к Якушкину в Ялуторовск. Здесь настигла его весть о кончине В. П. Ивашева, заставившая Пущина немедленно двинуться дальше.

[2]Ивашев заказал обедню в годовщину смерти жены.

[3]Фонвизин отвечал 21 января Пущину на письмо, доставленное ему землемером С. Г. Завьяловым: «Черепанов вам кланяется и обещает исполнить по вашему письму» (*Фонвизин,* т. 1, с. 190). П. Н. *Черепанов* — тобольский губернский прокурор.

[4]2 февраля 1841 г. Якушкин сообщал Пущину: «<...> получил от вас посылку, которую мне доставили в совершенной исправности. Гутинька благодарит вас за прописи; учебный наш комитет определил ей упражняться по оным без отлагательства» (*Якушкин,* с. 270).

[5]Речь идет о переводе «Мыслей» Паскаля, сделанном Пущиным и П. С. Бобрищевым-Пушкиным.

[6]Письмо для экономии бумаги написано строками, идущими вдоль и поперек.

56. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]Мать Камиллы Петровны Ивашевой М. П. Ледантю приехала к дочери в Туринск в феврале 1839 г.

57. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]М. А. Назимов и М. М. Нарышкин были в конце 1840 г. «переименованы» из унтер-офицеров в юнкера, что не давало офицерского чина и поэтому препятствовало выходу в отставку.

58. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1]Декабрист А. И. Тютчев безграмотно писал по-русски (см. точное воспроизведение его правописания в показаниях на следствии: *ВД, V.* М.; Л., 1926. С. 427—450).

60. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1]Возможно, речь идет о Зуеве. Пущин упоминает о нем в письме к Н. Д. Фонвизиной от 23 апреля 1841 г. (см. письмо 66).

61. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1]С. Г. Волконский писал Пущину 12 февраля 1841 г.: «Кар<олина> Кар<ловна> неожиданно к нам приехала и по трехчасном здесь в Урике пребывании выехала и теперь временно живет в Оёке. <...>

По-моему, много неладного в проводах, ею претерпленных» (*Записки ОР ГБЛ,* вып. 24, с. 364). А. М. Муравьев и его жена, племянница К. К. Кузьминой, так обошлись с последней, опасаясь возможности ее брака с Н. М. Муравьевым. О происшедшем декабристы по всей Сибири сообщали друг другу с возмущением. Подробности Волконский изложил в следующем письме (т а м ж е, с. 366—367).

62. А. П. БАРЯТИНСКОМУ

[1]Д. И. *Францев* — советник тобольского губернского правления. Он познакомился и сблизился с декабристами еще во время своей службы в Красноярске; оказывал им разнообразное содействие.

63. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1]Речь идет о хлопотах, касающихся возвращения детей Ивашевых в Европейскую Россию, на что требовалось согласие царя.

[2]М. И. Муравьев-Апостол, страдавший от солитера, просил разрешения поехать для лечения в Тобольск.

64. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1]Направляясь в Урик, К. К. Кузьмина и сопровождавший ее золотопромышленник Николай Васильевич Кузнецов (о нем см.: К у б а л о в Б. Г. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925. С. 145) заехали в Ялуторовск. Здесь местные власти сделали попытку их арестовать, пресеченную из Тобольска в результате письма туда Якушкина (см. об этом эпизоде письмо Фонвизина к Якушкину от 30 декабря 1840 г.— *Фонвизин,* т. 1, с. 185—187).

[2]*Вильманстрандским спутником* Пущин называет Н. В. Кузнецова. На обратном пути из Иркутска в Москву он заезжал в Ялуторовск и сообщил Якушкину подробности об урикском инциденте с Кузьминой. Письма от нее он не привез (*Якушкин,* с. 275).

[3]Письма декабристов в Петербург читались сперва гражданским губернатором, а затем III Отделением. О контроле властей над перепиской декабристов на поселении см.: К о д а н С. В. Сибирская ссылка декабристов. Иркутск, 1983. С. 204—205.

65. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]Скорее всего имеется в виду эпиграмма В. Л. Давыдова на Николая I, вторая строфа которой гласила: «И слово он свое сдержал, // Как сохранилось нам в преданье: // Лет сорок сряду все прощал, //

Пока все умерли в изгнанье» (см.: Азадовский М. К. Эпиграммы декабриста В. Л. Давыдова. / Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, 1929. Т. XXXIV. Вып. 3—4. С. 188). Пущин называет эпиграмму *тюремной песней,* и это позволяет думать, что она была положена на музыку и распевалась декабристами.

[2] Гаврила Маркович *Дьяков* — врач, успешно лечивший Пущина в Тобольске в 1840 г., поклонник Шеллинга.

[3] Прозвище декабриста А. И. Якубовича.

[4] Оболенский в Итанце занимался с детьми своей кухарки Крашенинниковой.

66. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Перефразировка лицейского стихотворения Пушкина, приведенного Пущиным в «Записках о Пушкине» (см. с. 55 наст. изд.).

[2] Речь идет о романе А. Дюма «Записки учителя фехтования» («Mémoires d'un maître d'armes ou dix-huit mois à Saint-Petersbourg»); сюжет его, связанный с историей брака Анненковых, был подсказан Дюма неким Гризье, у которого Анненков брал некогда уроки фехтования. Отзыв самой героини романа см.: Воспоминания Полины Анненковой. Красноярск, 1977. С. 64.

[3] В статье «Петр Великий», которой открывался первый номер начавшего выходить в 1841 г. журнала «Москвитянин», Погодин превозносил Николая I, но не в таких буквально выражениях. «Отцом Отечества» он назвал его позднее, в № 5 журнала.

67. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Старики, которых Пущин предлагал отправить из Ялуторовска, — декабристы А. В. Ентальцев и В. К. Тизенгаузен.

[2] В. Я. *Стефановский,* тобольский почтмейстер, постоянно задерживал предназначенные декабристам почтовые отправления. Жалобы на это многочисленны в письмах декабристов, живших в Западной Сибири.

68. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] Речь идет о женитьбе А. Л. Кучевского на молоденькой девушке, находившейся у него в услужении (подробности истории этого брака в письме Ф. Ф. Вадковского к Е. П. Оболенскому от 1 декабря 1840 г. — Сб. Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 226—227).

69. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] *Сын Марии Петровны* — Евгений Петрович Ледантю, в 1841 г. — член строительной комиссии Иркутской губ.

[2] Первое известие, полученное в Западной Сибири об аресте в Урике М. С. Лунина в ночь на 27 марта 1841 г.

[3] См. прим. 5 к письму 55.

70. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1] Е. А. Энгельгардту не удалось издать перевод «Мыслей» Паскаля, сделанный декабристами. В 1843 г. в Петербурге вышел в свет перевод И. Бутовского (цензурное разрешение — 11 июня 1840 г.).

71. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] *Розети* — Аркадий Осипович Россет, племянник Н. И. Лорера, инспектировавший в это время артиллерию Сибирского и Оренбургского корпусов. Обстоятельства ареста Лунина, известные тобольским декабристам по сведениям Россета, полученным от генерал-майора корпуса жандармов Н. Я. Фалькенберга, были подробно описаны в письме С. Г. Волконского к Пущину от 25 мая 1841 г. (*Записки ОР ГБЛ,* вып. 24, с. 370—371). *Ксендз* — духовник Лунина Д. Гацискнй, *два учителя* — учитель иркутской гимназии А. К. Журавлев и А. М. Крюков (учитель в Кяхте), участвовавшие в копировании рукописей Лунина. Журавлев умер до окончания следствия по делу, для Крюкова оно не имело никаких последствий (см.: П е р ц е в а Т. А. Сибирский кружок распространителей сочинений М. С. Лунина. / Сибирь и декабристы. Иркутск, 1978. Вып. 1).

[2] Н. М. Муравьев действительно помогал Лунину в создании его сибирских сочинений. Им, в частности, составлены были исторические примечания к «Разбору Донесения тайной следственной комиссии». Однако никакие компрометирующие его бумаги следствием по делу Лунина не были найдены.

73. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] *На его месте* — на месте генерал-губернатора П. Д. Горчакова; *ее* — М. П. Ледантю. Письмо касается затруднения, внезапно обнаружившегося при решении вопроса о судьбе осиротевшей семьи Ивашевых: в пришедшем из Петербурга разрешении отправить детей в Европейскую Россию не было специально оговорено аналогичное разреше-

ние для их бабушки М. П. Ледантю. Горчаков не решился взять это на себя и обратился с новым запросом в Петербург, что надолго задержало отъезд детей и вызвало возмущение всех декабристов (см. об этом также письмо 74).

74. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1]Братья Борисовы 21 марта 1841 г. переведены были в деревню Малую Разводную близ Иркутска.

[2]Сведений о том, кто именно из ссыльных поляков был возвращен тогда на родину, нет.

75. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1]Подробности об аресте Лунина Волконский сообщил только 25 мая,— видимо, с верной оказией.

76. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1]*Барышни*— дочери тобольского чиновника П. Д. Жилина, приятеля Фонвизиных, Анна Петровна и Софья Петровна. Они в 1841 г. уехали в Европейскую Россию.

[2]Осторожность С. М. Семенова и его неразборчивый почерк были предметом постоянных шуток декабристов.

[3]*Костыльник*— сын священника С. Я. Знаменского Николай, воспитывавшийся у Фонвизиных в Тобольске, а каникулы проводивший в Ялуторовске у родителей. Незадолго до этого он сломал ногу и ходил на костылях. *Великий мастер*— И. Д. Якушкин.

77. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1]М. П. Ледантю с внуками выехала из Туринска в имение Ундоры Симбирской губ., принадлежавшее Андрею Егоровичу Головинскому, сводному брату матери В. П. Ивашева, назначенному опекуном детей декабриста (Б у л а н о в а О. К. Роман декабриста. М., 1925. С. 255). Письмо Пущина уточняет дату их выезда (у Булановой — 9 июля).

[2]О письме Сутгофа, которое Пущин показывал Якушкину, последний писал ему 6 июля 1841 г.: « <...> меня еще более при этом огорчила мысль, что все эти непристойные сплетни дошли до вас через Фал-

кенберга» (*Якушкин,* с. 288) — т. е. через жандармского генерала. Письмо Сутгофа от 20 февраля 1841 г., которое сам автор назвал «скандалезной хроникой», см.: *Записки ОР ГБЛ,* вып. 3. М., 1939, с. 34—35.

[3] Е. И. Трубецкая ошиблась — Лунин действительно был помещен в каторжную тюрьму в Акатуе.

78. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] 27 августа 1839 г. Басаргин женился на дочери подпоручика туринской инвалидной команды Марии Елисеевне Мавриной. Брак оказался неудачным. В 1844 г. в результате семейной драмы, обстоятельства которой неизвестны, жена Басаргина поступила в Екатеринбургский женский монастырь. Однако она пробыла там недолго и в конце августа того же года вернулась к мужу. В 1846 г. М. Е. Басаргина умерла.

[2] Г. М. Дьяков в это время добивался места городового врача в Омске, в чем ему препятствовала тобольская врачебная управа. 11 сентября 1841 г. М. А. Фонвизин писал Пущину об окончании этой истории: «Вам уже должно быть известно, что Дьяков получил место в Омске, куда уже и отправился. Чудак оскорбляется тем, что могут подумать, что он обязан этим госуд<арственным> прест<упникам>, и говорил Семенову, что он единственным благодетелем своим почитает царя и что ему одному хочет быть благодарным. В начале моей болезни он меня лечил, но после трех посещений, когда официально узнал о своем определении, то перестал ко мне ходить, несмотря на повторенные приглашения. Каков чудак — и уехал, не простившись» (*Фонвизин,* т. 1, с. 222).

[3] И. А. Анненкову, одному из первых среди ссыльных декабристов, было разрешено вступить в гражданскую службу в Сибири. 9 июня 1841 г. последовало распоряжение о переводе его в канцелярию тобольского губернского правления. Анненковы выехали из Туринска 9 августа (см. письмо 79).

79. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] 20 июня 1841 г. Оболенскому было разрешено переехать в Туринск, о чем ему сообщила сестра Наталья Петровна Оболенская.

80. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] *Новая семья* — семья Басаргина, состоявшая из его жены (см. прим. 1 к письму 78), тещи — Степаниды Ивановны Мавриной и ее сестры Авдотьи Ивановны.

[2] Ссыльный поляк Г. М. *Собаньский,* живший в Ялуторовске и близко знакомый с тамошними декабристами, был зарезан своим поваром с целью ограбления. Якушкин подробно описал это происшествие в письме к Пущину от 28 августа 1841 г. (Декабристы. Новые материалы. М., 1955. С. 277—278).

[3] П. Н. Свистунов 29 января 1842 г. женился на воспитаннице смотрителя курганского уездного училища Александра Ивановича Дуранова — Татьяне Александровне Неугодниковой и переехал в Курган.

81. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Мать Пущина, Александра Михайловна, умерла 19 июня 1841 г.

[2] О стихах Пушкина, посланных Пущиным П. П. Ершову, см. прим. 54 к «Запискам о Пушкине».

[3] М. М. Нарышкин летом 1841 г. отправлялся в экспедицию с генералом Зассом (см.: *Лорер,* с. 352).

[4] Слух о замене министра внутренних дел А. Г. Строганова Бибиковым оказался неверным.

82. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

83. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] О семейной жизни Н. В. Басаргина см. прим. 1 к письмам 78 и 80.

[2] Н. Я. *Сутормин* — учитель в Туринске. *Конек-Горбунок* — П. П. Ершов, учитель, потом директор Тобольской гимназии. Пущин помогал Сутормину готовиться к экзамену на звание учителя старших классов (*Штрайх, 1956,* с. 408—409).

84. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Холст предназначался в подарок тобольскому почтмейстеру В. Стефановскому, преследовавшему подчиненного ему туринского почтмейстера за прием от М. П. Ледантю и отправку в Петербург «Мыслей» Паскаля (*Штрайх, 1956,* с. 409).

[2] Возможно, именно во время этой встречи М. И. Пущин передал Вяземскому портфель с декабристскими бумагами брата (см. прим. 31 к «Запискам о Пушкине»).

85. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Табачница с рисунком, изображающим Фонвизина, Бобрищева-Пушкина и М. Кюхельбекера, неизвестна.

[2] Какие сочинения Бернардена Сен-Пьера пересылали декабристы друг другу, не ясно. Возможно, это было издание 1834 г. «Romans, contes opuscules» <«Романы, маленькие рассказы»>.

87. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Е. П. Оболенский приехал из села Итанцы в Туринск 27 февраля 1842 г. Н. В. Басаргин был переведен на поселение в Курган, прибыл туда 10 марта 1842 г. (см. его письмо от этого числа к Пущину: Сибирь и декабристы, вып. 3, с. 177).

[2] Речь идет об «Опытах» М. Монтеня и книге историка русского права, профессора Дерптского университета А. да Рейца «Versuch über geschichtliche Ausbildung der russischen Staats — und Rechtverfassung» (Mitave, 1829). Под заглавием «Опыт истории российских государственных и гражданских законов» она была опубликована в Москве в 1836 г. (перевод Ф. Л. Морошкина).

[3] *«Les Nouvelles Génévoises»* — наиболее известное сочинение швейцарского писателя Рудольфа Тепфера (1841). Книга была прислана Пущину Е. А. Энгельгардтом для перевода с тем, чтобы вырученные от издания деньги пошли на помощь осиротевшим детям лицеистов (см. об этой книге в письме Якушкина Пущину от 17 марта 1842 г.— *Якушкин,* с. 296).

88. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Известия о приезде племянника И. И. Пущина Э. Н. Гаюса, его желании заняться золотоискательством и намерении Пущина участвовать в этом предприятии вызвали серьезную полемику среди декабристов. И. Д. Якушкин решительно возражал против предпринимательской деятельности сибирских изгнанников, считая ее несовместимой с нравственными принципами декабристов. Об этом он писал Пущину 17 марта 1842 г. (*Якушкин,* с. 295—296).

89. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] *Ирбитские дела* — волнения государственных крестьян Пермской губ. в связи с проведением в жизнь реформы 1837—1841 гг. В Шадринском уезде волнения начались 24 апреля 1842 г. и охватили 10 волостей.

Для усмирения крестьян правительству в ряде случаев пришлось использовать воинские команды. Подробнее об этом см.: Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М., 1958. Т.2. С. 475–481.

[2] По предписанию III Отделения от 24 февраля 1842 г. декабристы могли отдавать своих детей в военно-учебные заведения или девичьи институты, по окончании которых правительство обещало вернуть им дворянство. Условием этого был отказ от своей фамилии и принятие новой по имени отца. Согласие на это дали только многодетные Давыдовы, сыновья которых стали именоваться Васильевыми (см. об этом: Волконский С. Г. Записки. СПб., 1902. С. 483–488). Декабристы отрицательно отнеслись к поступку Давыдовых. М. А. Фонвизин 23 июня 1842 г. писал Пущину: «Не судя Василия Львовича за принятие им предложенного правительством, я не поступил бы так и нахожу, что все наши, отказавшись, поступили по совести и сделали должное» (*Фонвизин,* т. 1, с. 266).

90. А. П. БАРЯТИНСКОМУ

[1] *«Наль и Дамаянти»* — индийская эпическая поэма, переведенная в 1841 г. В. А. Жуковским.

[2] *«Нашла коса на камень»* В. К. Кюхельбекера — фарс в 5 действиях. Издан анонимно в Москве, в типографии А. Семена в 1839 г.

91. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] *Нервическая барышня* — Анна Петровна Жилина, дочь тобольского чиновника П. Д. Жилина, друга декабристов (см.: *Фонвизин,* т. 1, с. 264).

[2] Письмо свидетельствует о сложных отношениях И. Д. Якушкина с женой. Известно, что первоначально Якушкин убедил ее не следовать за ним в Сибирь ради блага детей. Затем вопрос о поездке А. В. Якушкиной в Сибирь стал предметом переписки с правительством — вначале такая поездка была ей разрешена, но, поскольку Якушкина этой возможностью не воспользовалась, новое ее обращение было отклонено. Наиболее тесные отношения связывали Якушкина с тещей — Н. Н. Шереметевой (подробнее об этом см.: *Якушкин,* с. 581–583, 602–604).

[3] А. В. Ентальцев и его жена были не переведены в Тобольск, а только получили в мае 1842 г. разрешение генерал-губернатора Западной Сибири П. Д. Горчакова приехать туда для консультации с врачами. В сентябре они уже вернулись в Тобольск, «ибо медики объявили, что болезнь его — помешательство ума — неизлечима».

93. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] *Астральный дух* — прозвище П. С. Бобрищева-Пушкина, вызванное его склонностью к отвлеченным религиозно-мистическим проблемам.

[2] В третьем отделении Петровской тюрьмы жили декабристы Оболенский, Штейнгейль, Пущин, Лорер, Якушкин (*Якушкин,* с. 128).

[3] Николай Иванович Пущин, младший брат И. И. Пущина, чиновник 2 отделения III департамента Сената, был командирован в Сибирь от министерства юстиции «для приведения в известность состояния ссыльных и приискания средств, не усиливая меры наказаний, улучшить их нравственность и удержать их от новых преступлений» (*Фонвизин,* т. 1, с. 262). Во время поездки по Сибири он посетил многих декабристов. 17 августа 1842 г. В. К. Кюхельбекер, живший в Акше, записал в дневнике: «Вчера у меня был такой гость, какого я с своего свидания с Матюшкиным еще не имел во все 17 лет моего заточения,— Николай Пущин! Подурнел он, голубчик: из хорошенького мальчика стал он некрасивым мужчиною: зато у него душа та же — пущинская, какая должна быть у брата Ивана Пущина» (*Кюхельбекер,* с. 411). В октябре 1842 г. Н. И. Пущин побывал у Ф. Б. Вольфа, который писал И. И. Пущину об этом свидании: «Какая мне была радость обнять вашего брата, доброго, уважаемого, как вы. Я с ним провел несколько дней, и последнюю ночь ночевали у меня и беседовали, как будто бы были петровские товарищи: одним словом, я вполне наслаждался вашим счастьем. Мне казалось, как неизъяснимо сладостно должно вам было быть — обнять в глуши Сибири брата, и такого доброго брата. Как он вас понимает!» (*Штрайх, 1956,* с. 411).

[4] Н. И. Пущин первый раз был в Туринске в начале июня 1842 г. (*Фонвизин,* т. 1, с. 265—267).

94. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] О поездке Ентальцевых в Тобольск см. примеч. 3 к письму 91.

[2] Письмо Фонвизина к Якушкину с информацией о Лунине не сохранилось.

[3] О каком именно письме В. А. Жуковского, много и часто хлопотавшего перед властями за ссыльных декабристов, идет речь, сказать трудно. Об отношениях Жуковского с декабристами см.: Дубровин Н. Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам. / Русская старина, 1902, № 4. С. 45—119.

96. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] Капитон Михайлович *Голодников* — с 1839 г. учитель русского языка в ялуторовском уездном училище, впоследствии (1846—1849) заседатель Курганского уездного суда, автор воспоминаний «Государственные и политические преступники в Ялуторовске и Кургане» (сб. «В потомках ваше племя оживет». Иркутск, 1986. С. 251—258). О какой должности для него хлопотали в 1842 г., не ясно.

97. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] Смотритель училищ в Ялуторовске Иван Александрович *Лукин* неоднократно посылал в Тобольск доносы о том, что в приходском училище, по существу, преподает «государственный преступник» И. Д. Якушкин. Чтобы замять скандал, М. А. Фонвизину пришлось употребить все свое влияние. См. об этом подробнее: *Фонвизин,* т. 1, с. 284—285.

98. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Речь идет о не дошедшем до нас сочинении декабриста М. А. Фонвизина. О его судьбе и возможном содержании см.: *Фонвизин,* т. 2, с. 11—13.

[2] В это время на поселении в Кургане находились декабристы П. Н. Свистунов, Н. В. Басаргин, Ф. М. Башмаков, И. С. Повало-Швейковский, Д. А. Щепин-Ростовский. Судя по письмам Н. В. Басаргина к Пущину, никаких подобных конфликтов в среде декабристов не возникало (см.: Сибирь и декабристы, вып. 3, с. 159—212).

99. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] После объяснений Фонвизина в ответ на доносы Лукина (см. прим. 1 к письму 97) в отношении властей к ланкастерской школе Якушкина произошел перелом. 30 декабря 1842 г. Фонвизин писал Якушкину: «На этих днях был я у губернатора, и при мне пришел к нему возвратившийся из путешествия директор гимназии <...>. Качурин с восторгом распространился о состоянии, в каком он нашел вашу школу, говоря, что подобной нет не только в Сибири, но и в России, что он велел всем

уездным смотрителям своего ведомства побывать в ялуторовской школе и изучить ее устройство и порядки для введения подобного в своих приходских училищах». Далее Фонвизин писал о похвалах, которые расточали С. Я. Знаменскому и губернатор, и директор гимназии, замечая, что ему «оставалось только молчать, слушать и удивляться» (*Фонвизин,* т. 1, с. 290). О том, какую роль сыграл в этом деле сенатор И. Н. Толстой, ревизовавший в это время Восточную Сибирь, можно только догадываться. Во всяком случае, он не счел необходимым заехать в Ялуторовск и повидаться со своими товарищами по Семеновскому полку (Якушкиным и М. Муравьевым-Апостолом). *Александр Львович* Жилин – художник-любитель.

100. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

(Акиму Степановичу)

[1] Адресата письма (жившего, по-видимому, в Тобольске или Ялуторовске), как и его брата, автора разбираемых Пущиным сочинений, установить не удалось.

101. И. Д. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 92.

[1] М. А. Фонвизин также был возмущен поведением И. Н. Толстого: «Хорош твой прежний знакомый сенатор,– писал он Якушкину,– не стыдно ли было ему проехать Ялут <оровск> и не видеть тебя? А еще стыднее ему, восстановителю правосудия и порядка, брать по 36 лошадей и платить прогоны на 12. Хорош гусь!» (*Фонвизин,* т. 1, с. 292). Замечание Пущина о свидании с сенатором в Томске в 1827 г. имеет в виду встречу (по дороге из Шлиссельбурга в Читу) с сенатором Б. А. Куракиным, взявшим у Пущина письмо к отцу, но передавшим его Бенкендорфу (*Штрайх, 1956,* с. 410).

[2] П. А. Вяземский работал над переводом романа Бенжамена Констана «Адольф» в 1828–1830 гг. В апреле 1830 г. он через А. И. Тургенева сообщал уже автору о законченном им переводе (Остафьевский архив князей Вяземских, т. III. СПб., 1899, с. 196).

[3] Декабрист А. П. Арбузов умер в январе 1843 г. в селе Назаровское Ачинского уезда Енисейской губ.

[4] О согласии Давыдовых отдать детей в казенные учебные заведения на условиях, предписанных правительством, см. прим. 2 к письму 89.

102. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] Письмо С. Г. Волконского к Пущину от 2 мая 1843 г.— наиболее подробное описание болезни и смерти Н. М. Муравьева (см.: *Записки ОР ГБЛ,* вып. 24, с. 375—377).

103. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1] Сестра Пущина Мария Ивановна Малиновская скончалась 16 августа 1844 г., оставив шестилетнего сына Антона.

[2] *Марья Васильевна* — вдова В. Д. Вольховского, сестра И. В. Малиновского.

104. И. В. МАЛИНОВСКОМУ

[1] Взгляды И. И. Пущина на решение крестьянского вопроса отразились в его замечаниях и дополнениях к двум запискам М. А. Фонвизина по этому вопросу. Как и Фонвизин, Пущин считал необходимым освободить крестьян с землей, с немедленным прекращением феодальных повинностей, с возложением финансовых тягот выкупной операции не на крестьянство, а на государство (см.: *Фонвизин,* т. 2, с. 29—42; Мироненко С. В. Крестьянский вопрос в трудах декабриста М. А. Фонвизина. — Исторические записки, т. 96. М., 1975, с. 197—230).

105. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Николай Иванович Пущин с 1841 г. служил в 3 департаменте Сената за обер-прокурорским столом; его сын Николай родился в 1844 г., умер в 1845 г.

[2] После смерти декабриста А. П. Юшневского (10 января 1844 г.) генерал-губернатор Восточной Сибири В. Я. Руперт обратился в Петербург за разрешением его вдове возвратиться в свое имение в Киевской губ., на что в июне 1844 г. последовал отказ Николая I. *Прежний граф* — гр. А. Х. Бенкендорф, умерший в ноябре 1844 г., его преемник — гр. А. Ф. Орлов.

106. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Н. Ф. *Мясников* — владелец водочного завода в Ялуторовске и золотоискатель.

[2] *А. Е. Жадовский* — лицеист 3-го выпуска, занимавшийся золотыми приисками и неоднократно заезжавший по дороге в Петербург к Пущину.

[3] В Красноярске, где в это время служил Казимирский, находились на поселении В. Л. Давыдов, М. Ф. Митьков, М. М. Спиридов.

107. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

[1] Э. Н. Гаюс.

[2] В Ялуторовске тогда, кроме Пущина, находились на поселении М. И. Муравьев-Апостол, В. К. Тизенгаузен, Е. П. Оболенский, И. Д. Якушкин.

[3] *Громкое прилагательное* — «государственный преступник».

[4] *Звездоносцы* — лицеисты, достигшие к этому времени высоких степеней власти: А. М. Горчаков, М. А. Корф.

[5] *Фрицка* — лицейский товарищ Пущина Ф. Х. Стевен.

[6] Биография В. Д. Вольховского: <Малиновский И. В.>. О жизни генерал-майора Вольховского. Харьков, 1844 (извлечено из Харьковских губернских ведомостей). Об авторстве И. В. Малиновского см.: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею, СПб., 1913. Т. III. С. 275—276.

[7] Речь идет о письме Сперанского к царю из пермской ссылки — в то время неизданном, но распространявшемся в списках (впервые — в кн.: Дружеские письма гр. М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 32—52). В этом письме Сперанский оправдывал разработанный им в 1810-х годах план коренных государственных реформ, который так и не был осуществлен. П. А. *Словцов,* в бумагах которого оказались списки писем Сперанского,— историк Сибири, умерший в 1843 г., автор «Исторического обозрения Сибири» (1838—1841).

[8] В 1839 г. на запросы П. Д. Киселева: 1) возможно ли поселение в Сибири помещичьих крестьян «в виде обязанных» и 2) можно ли отводить в Сибири земли под хозяйственные заведения частных лиц — Николай I в первом случае ответил совершенно отрицательно, во втором же оговорил, чтоб на отводимых землях «не были водворяемы люди крепостного состояния». О последнем состоялся указ 27 октября 1839 г. (см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. СПб., 1888. Т. II. С. 546).

[9] В период своего управления Сибирью Сперанским были созданы два генерал-губернаторства (Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское) и утвержден Устав об управлении инородцев.

[10] Сенаторская ревизия И. Н. Толстого, назначенная еще в 1843 г., была вызвана конфликтом генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта с его помощниками. По итогам ревизии Руперт в 1847 г. был отставлен (*Воспоминания Бестужевых,* с. 741—742). Пущин в 1820-х годах был знаком с И. Н. Толстым, тогда офицером Семеновского полка, как и с его братом Я. Н. Толстым.

[11] Резкий отзыв о жене Кюхельбекера не помешал Пущину приютить впоследствии его вдову и детей. Д. И. Кюхельбекер жила у него с 1846 по 1849 г.

[12] 14 декабря 1825 г. Кюхельбекер с пистолетом, взятым у А. Одоевского, был послан сперва в Морской экипаж, оттуда в Московский полк. На обратном пути перевернулись сани, и декабрист упал, в пистолет набился мокрый снег, отчего он потом давал осечку. Однако Кюхельбекер безрезультатно стрелял в вел. кн. Михаила Павловича, потом в генерала Воинова и, наконец, преследовал полковника Стюрлера. После разгрома восстания он попытался бежать и был схвачен в Варшаве 19 января 1826 г. Об объявлении приговора Якушкин, слушавший его в одной группе с Кюхельбекером, рассказывал: «Он был в той же одежде, в которой его взяли при входе в Варшаву,—в изорванном тулупе и теплых сапогах <...>. Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер нескоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» (*Якушкин,* с. 80). О поведении Кюхельбекера во время «сентенции», т. е. гражданской казни декабристов, сведений нет.

[13] Записки Б. Франклина издавались на французском языке неоднократно. Пущин имеет в виду издание: Mémoires complets, oeuvres morales et litteraires de B. Franklin. Paris, 1841.

[14] Дочь Пущина Анна родилась в Туринске 8 сентября 1842 г., она была крестницей Е. П. Оболенского. Имя ее матери, местной жительницы, осталось неизвестным.

[15] *Пряжка* — знак беспорочной службы.

[16] Речь идет о Михаиле Илларионовиче Бибикове, племяннике М. И. Муравьева-Апостола (впоследствии женился на дочери Н. М. Муравьева Софье).

[17] Повесть В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845).

[18] «Ижорский», мистерия Кюхельбекера. В 1830 г. из Динабурга Кюхельбекер просил Дельвига напечатать ее анонимно или под псевдонимом. Тогда удалось напечатать в журналах лишь отрывки. В 1833 г. вследствие личной просьбы Пушкина, обращенной через Бенкендорфа к царю, было дано цензурное разрешение. Издание вышло в 1835 г. (Ижорский. Мистерия. СПб., в типографии III Отделения с. е. и. в. канцелярии. 1835).

108. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

[1] На письме помета Вяземского: «Должно быть, от Ивана Пущина, декабриста» (*Штрайх, 1956,* с. 415).

[2] Вяземский в 1845 г. служил в министерстве финансов и был управляющим Заемным банком.

[3] Декабрист Н. И. Тургенев, находившийся в 1825 г. за границей, отказался вернуться в Россию для следствия и суда; был осужден заочно, жил в Париже.

109. Е. Ф. МАЛИНОВСКОЙ

[1] *Катерина Федосеевна* — будущая вторая жена И. В. Малиновского, племянница В. Д. Вольховского. Пущин напоминает ей о лицейской дате *19 октября. Тони* — сын Малиновского от первого брака Антон.

110. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Речь идет о женитьбе Е. П. Оболенского на няне дочери Пущина Аннушки Варваре Самсоновне Барановой. Свадьба состоялась 6 февраля 1846 г. Как видно из письма, Пущин резко отрицательно относился к поступку друга.

[2] С 1 мая 1846 г. вступало в действие новое «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», утвержденное Николаем I 15 августа 1845 г. Хотя в нем нашли отражение некоторые принципы буржуазного права, но по существу оно являлось кодексом феодальным, закреплявшим за помещиками право судить своих крестьян, а карательные меры по отношению к ним приравнивались к статьям «О сопротивлении распоряжениям правительства и неповиновении установленным от него властям». Соответственно предусматривались телесные наказания (розгами и плетьми), клеймение, ссылка на каторгу сроком до 15—20 лет. Классификация преступлений, уголовных наказаний и исправительных мер была действительно разработана гораздо детальнее, чем в предшествовавшем русском законодательстве.

111. М. А. ФОНВИЗИНУ

[1] В это время Кюхельбекер был уже тяжело болен: он почти ослеп, его мучила грыжа. Спустя полгода поэт скончался в Тобольске.

112. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Речь идет о книге: Forgues E. La Chine ouverte <Открытый Китай>. Paris, 1846.

[2] Пущин говорит о знаменитой триаде С. С. Уварова: «православие, самодержавие, народность», ставшей основой реакционной политики Николая I в области просвещения, науки и литературы. Формула была впервые высказана Уваровым в 1832 г., а затем официально провозглашена в 1834 г. в циркуляре попечителям учебных округов (Журнал министерства народного просвещения, 1834, т. 1).

113. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

[1] 68 писем Пущина к Кюхельбекеру были приобретены Ю. Г. Оксманом в 1933 г. и переданы им Ю. Н. Тынянову. В настоящее время местонахождение этих писем неизвестно (Литературное наследство, т. 59, с. 498).

114. А. Ф. БРИГГЕНУ

[1] В 1844—1846 гг. декабрист А. Ф. Бригген перевел «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря и с 1845 г. начал переписываться с В. А. Жуковским о возможности издания перевода. Жуковский обратился к управляющему III Отделением Л. В. Дубельту, а тот к царю. Последовало высочайшее разрешение. Тогда Жуковский предложил Бриггену «уступить ему рукопись перевода на одно издание с правом пользоваться продажею его в продолжение трех лет по выходе в свет книги» за 2500 р. ассигнациями с тем, чтобы после реализации издания полностью рассчитаться с переводчиком, оставив себе только деньги, затраченные на печатание книги. Не сомневаясь, что предложение будет принято, Жуковский писал Бриггену, что высылает предложенную сумму в III Отделение. Оттуда ее переслали Бриггену. Однако издание перевода Бриггена так никогда и не состоялось. Жуковский, действуя по просьбе Н. И. Тургенева, многим обязанного А. Ф. Бриггену и предоставившего необходимую сумму, думал скорее не об издании перевода, а просто о материальной поддержке декабристу. Подробнее об этом см.: Тальская О. С. К истории перевода А. Ф. Бриггеном «Записок» Гая Юлия Цезаря.— В кн.: Сибирь и декабристы, вып. 3.

115. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] В это время в Ялуторовске жили вдова Ентальцева Александра Васильевна и вдова Кюхельбекера Дросида Ивановна.

117. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

[1] После выхода в 1839 г. на поселение Д. И. Завалишин женился, завел на положенных ссыльнопоселенцу 15 десятинах «образцовое», как он выражался, хозяйство, занимался огородничеством, принимал активное участие в распространении просвещения и образования в Забайкалье. Однако почти все его начинания окончились неудачей. 23 августа 1847 г. он писал Пущину: «И вот после восьми лет трудов и пожерт-

ваний я снова одинок и в положении несравненно худшем во всех отношениях, нежели в каком расстался с вами,— потерял лучшие годы жизни: здоровье, силы, деятельность, спокойствие душевное и лишение всех бытовых у меня средств» (Ш а т р о в а Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. Красноярск, 1984. С. 91—97).

[2] Жена Завалишина Аполлинария Семеновна (урожд. Смольянинова) умерла в 1845 г.

[3] Роман Э. Сю «Juif Errant» <«Вечный жид»> вышел в свет в Париже в 1844 г.

118. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] *Вид Петровского завода* — известная акварель Н. А. Бестужева (см.: З и л ь б е р ш т е й н И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев. М., 1977. С. 481—483), которая пользовалась большой популярностью среди декабристов и неоднократно копировалась как автором, так и другими лицами. *Молодой человек из Тобольска,* который взялся скопировать акварель, добавив к ней супружескую пару Казимирских,— возможно, А. Л. Жилин.

119. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

[1] Декабрист Г. С. Батеньков был осужден по III разряду и приговорен к 20-летним каторжным работам в Сибири. Причины, по которым Батеньков не был отправлен в Сибирь, а содержался 20 лет в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, до сих пор не выяснены окончательно. Сам Батеньков считал, что одной из причин его заключения в крепость было подозрение Николая I в том, что именно через него, своего ближайшего помощника по управлению Сибири, осуществлял связь с тайным обществом М. М. Сперанский. Одиночное заключение тяжело отразилось на здоровье Батенькова — временами он терял рассудок. В Томск Батеньков был доставлен 9 марта 1846 г. Письма Батенькова к Пущину за 1854—1858 гг. опубликованы: Летописи Гос. лит. музея. Кн. III. С. 30—62.

[2] Пущин имеет в виду революцию 1848 г. во Франции, начавшуюся февральским восстанием в Париже.

121. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Речь идет о годовщине приговора Верховного уголовного суда по делу декабристов.

[2] Письмо за подписью домоправительницы Пущина М. М. Мешалкиной. Ее подписью Пущин часто пользовался в целях конспирации.

122. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Пущин пишет о своем намерении просить разрешения ехать на Туркинские воды близ Иркутска под предлогом лечения — в действительности же для свидания с товарищами, поселенными в Восточной Сибири (см. об этом письма 125 и 126).

124. А. И., Е. Ф. и И. В. МАЛИНОВСКИМ

[1] Фотий Петрович *Калинич* — учитель чистописания в Лицее.

125. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] А. Ф. Бригген вступил в службу в 1838 г. (канцелярским служителем 4 разряда в курганский окружной суд). В 1848 г. он был произведен в коллежские регистраторы и назначен заседателем курганского окружного суда. В письме к дочери М. А. Туманской от 7 октября 1848 г. он сообщал: «Князь был очень любезен со мною, <...> пообещал дать мне подходящее место — обещание, выполнения которого я жду до сегодняшнего дня» (*Бригген,* с. 242).

126. Князю П. Д. ГОРЧАКОВУ

[1] В следующем письме Пущин писал: «Я 5-го числа отправил к князю в Петербург письмо». Следовательно, письмо к П. Д. Горчакову было написано до 5 февраля.

127. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Речь идет о хлопотах, предпринятых И. А. Набоковым, чтобы получить разрешение Пущину на поездку в Иркутск. *Шеф* — А. Ф. Орлов.

128. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Михаил Семенович *Корсаков* (1826—1871) служил при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве; впоследствии сам был восточносибирским губернатором. Был в дружеских отношениях со многими декабристами. Путевые заметки М. С. Корсакова о встрече с декабристами в Ялуторовске см. наст. изд., с. 433—434.

129. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

130. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и ДОЧЕРИ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Пущин обещал вступить в переговоры с А. М. Муравьевым, чтобы получить от него для М. И. Муравьева-Апостола деньги на починку дома. *Роль Барбеса* – осуждение А. М. Муравьева за медлительность в помощи родственнику. Барбес – французский революционер-демократ Арман Барбес, участник демонстрации в Париже 15 мая 1848 г., вызванной медлительностью Временного правительства в проведении социальных реформ. Был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

[2] Намеки в этом и предыдущем письме на некоторые осложнения во взаимоотношениях Пущина с декабристом Ф. Б. Вольфом сохранившиеся письма не разъясняют.

[3] Из-за болезни Пущину пришлось прожить в Тобольске почти до конца июля 1849 г.

131. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] К этому времени до Тобольска дошли первые известия о деле петрашевцев.

133. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Письмо написано рукой П. С. Бобрищева-Пушкина в тот же день, что и предыдущее.

[2] См. прим. 1 к письму 130.

134. Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ

[1] Об этом заочном лечении М. А. Фонвизин писал 5 марта 1849 г. И. Д. Якушкину: «Брат Иван Александрович советовался обо мне с доктором Иноземцевым, и он угадал мою болезнь – предписал мне леченье, самую строгую диету в продолжение двух месяцев, и я вылечился радикально» (*Фонвизин,* т. 1, с. 316).

135. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Речь идет о деле петрашевцев. *Иван Александрович* — брат М. А. Фонвизина, письма которого Пущин читал вместе с Фонвизиными, находясь в Тобольске.

[2] И. А. Фонвизин неоднократно просил разрешения посетить брата в Тобольске. В 1843 г. его прошение было поддержано из Сибири ходатайством жандармского генерала Н. Я. Фалькенберга, на которое в Петербурге была наложена резолюция: «Невозможно». Отказ последовал на аналогичную просьбу в 1849 г.

[3] Речь идет о событиях 1848—1849 гг.: революции в Венгрии, на подавление которой были двинуты русские войска, и подавлении революции в Италии объединенными силами европейской контрреволюции (Франции, Австрии, Испании, Неаполя).

136. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Во время этой перестройки дома, 18 августа 1849 г., М. И. Муравьев-Апостол оставил под печью в запечатанной бутылке «Завещание археологам» со сведениями об ялуторовских декабристах (найдено при ремонте в 1938 г., текст завещания см.: *Штрайх, 1956,* с. 419).

[2] 19 июля 1849 г. Пущин писал, что достал для Муравьева-Апостола сочинения Беранже (см. письмо 139).

[3] Имеется в виду дело петрашевцев.

[4] *Переводчик Кесаря* — А. Ф. Бригген (см. об этом письмо 114). В 1849 г. он был выслан П. Д. Горчаковым из Кургана в Туринск. Поводом к этому явился конфликт Бриггена с местными властями из-за дела крестьянина Михаила Власова, несправедливо обвиненного в убийстве (см.: *Бригген,* с. 55).

137. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Переданная декабристам информация о петрашевцах не имела ничего общего с реальностью. К следствию были привлечены 123 человека, из которых 32 отданы под секретный надзор, двое умерли в тюрьме, один отправлен на Кавказ, 22 преданы военному суду и из них 21 человек приговорен к расстрелу. После инсценировки предстоящего расстрела они были отправлены на каторгу в арестантские роты и в солдаты линейных войск. *Золотоискатель,* о котором шла речь, — Р. А. Черносвитов, привлекавшийся по делу петрашевцев.

138. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] И. А. Фонвизин писал брату: «Теперь для совершенного успокоения вашего насчет неприкосновенности ни к каким политическим смутам детей наших скажу вам, что они покойно живут в Пятигорске на Кавказе» *(ОР ГБЛ,* ф. 319, карт. 4, ед. хр. 19, л. 12).

139. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и ДОЧЕРИ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Труд французского историка и литератора Батиста Оноре Капфига «Европа накануне восшествия на престол Луи-Филиппа», вышедший вторым изданием в 1847—1849 гг.

[2] Аннушка Пущина была приучена называть отца дядей, Муравьевых-Апостолов — папашей и мамашей.

[3] Рафаил Александрович *Черносвитов* в 1838—1842 гг. служил исправником в Пермской губернии и участвовал в подавлении волнений государственных крестьян в Шадринском уезде в 1841—1842 гг. После выхода в отставку он занимался золотопромышленной деятельностью и в конце 1848 г. посещал М. В. Петрашевского. 3 июля 1849 г. Черносвитов был арестован на станции Камышенской Омского округа, а 21 июля заключен в Петропавловскую крепость. В ходе суда причастность Черносвитова к «делу» петрашевцев не была доказана, но он был оставлен «в сильном подозрении» (см.: Дело петрашевцев. М.—Л., 1937. Т. 1. С. 433—509).

140. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

141. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ и Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] Д. И. Завалишин в 1849 г. находился на поселении в Чите, куда Пущину невозможно было доехать.

142. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

145. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Имеется в виду одно из сочинений немецкого агронома Альбрехта Даниэля Тэера — либо «История моего хозяйства», либо курс «Основания рационального сельского хозяйства». Якушкин и Фонвизин изучали его еще в 1820-х годах (см.: *Фонвизин,* т. 1, с. 115).

[2] 13 августа 1849 г. командование революционной венгерской армии во главе с Гёргеем сдало оружие царскому командованию. Революция была подавлена.

146. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] С. М. Волконский, внук декабриста, описывая хранившиеся у него перешедшие от деда портреты, упоминает два автопортрета М. С. Лунина (В о л к о н с к и й С. М. О декабристах. (По семейным воспоминаниям.) Пг., 1922. С. 80) — акварель и рисунок карандашом. Оба они воспроизводились неоднократно (см., в частности: Декабристы. Сборник материалов Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Л., 1926. С. 105; и сб. Памяти декабристов. Л., 1926. Кн. 1. С. 100—101). По мнению И. С. Зильберштейна, оба портрета работы Н. А. Бестужева, а Лунин вообще не умел рисовать. Однако данное письмо Пущина подтверждает наличие у Волконских в 1849 г. по крайней мере одного автопортрета Лунина.

147. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] В *Олонках* жил декабрист В. Ф. Раевский, в *Хомутовой* — А. А. Быстрицкий, в *Оёке* - Трубецкие, в *Тугуте* (Тугутуе) — А. Л. Кучевской.

148. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Содержание *докладной записки,* которую Пущин намеревался оставить для Н. Н. Муравьева, установить не удалось. Смысл ее до некоторой степени проясняется письмом 151.

149. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] А. Ф. Бриггена.

[2] Речь идет о продаже имущества М. Ф. Митькова в пользу декабристской артели (см. письмо 153).

151. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Портрет Пущина работы А. С. Трубецкой неизвестен.

152. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] С. П. Трубецкой сломал руку при падении с лошади.

153. В. Л. ДАВЫДОВУ

[1] Имущество ссыльных декабристов, не имевших прямых наследников, признавалось выморочным и поступало в доход государства. Так было поступлено, в частности, с имуществом умершего в 1844 г. А. П. Барятинского (см.: Кодан С. В. Указ. соч. С. 214). Иное решение в отношении имущества Митькова принималось в результате поддержки генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева.

[2] Давыдовы ожидали приезда своего сына Петра, оставленного А. И. Давыдовой в 1828 г. в Каменке двухлетним ребенком (приехал в 1850 г.).

154. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Я. Д. Казимирский воспитывался вместе с декабристом П. Ф. Громницким во 2-м кадетском корпусе.

155. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Имеются в виду 10 лет после выхода на поселение.

157. Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ

[1] Сын Пущина и Д. И. Кюхельбекер Ваня родился в Ялуторовске 4 октября 1849 г. во время пребывания Пущина в Иркутске. В январе 1850 г., оставив Ваню Пущину, Д. И. Кюхельбекер вернулась к отцу в Баргузин. Об обстоятельствах, при которых они расстались, см. письмо Пущина к Н. Д. Фонвизиной от 4—6 июня 1855 г. (№ 199).

158. П. Н. СВИСТУНОВУ

ЦГАОР, ф. 1712, оп. 1, ед. хр. 7.

[1] В 1850 г. у Д. А. Щепина-Ростовского, с 1842 г. жившего на поселении в Кургане, произошел конфликт с курганским городничим Тарасевичем, расследовавшийся специально командированным чиновником. Декабристская артель систематически поддерживала Щепина-Ростовского материально.

159. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 168.

[1] С течением времени собирать взносы в кассу декабристской артели становилось все сложнее. Кроме того, постепенно смерть уносила пайщиков. Поездка Пущина в Иркутск преследовала и цель выяснения положения товарищей в Восточной Сибири.

[2] Пущин имеет в виду исторически сложившийся замкнутый образ жизни еврейских общин в разных странах мира.

[3] Ревизия И. Н. Толстого подтвердила жалобы на коррупцию, царившую при генерал-губернаторе В. Я. Руперте, и последний был отстранен в 1847 г. от должности.

[4] 25-летие со дня восстания декабристов.

[5] Товарищи Пущина по Лицею в 1850 г.: С. Г. Ломоносов – посланник в Португалии; Ф. Ф. Матюшкин – адмирал, командовал морской частью в Свеаборге; М. А. Корф – член Государственного совета с 1843 г., но не «на покое»: в 1848 г. назначен членом Особого комитета для надзора за печатью (Бутурлинский комитет), с 1849 г. – директор Публичной библиотеки в Петербурге; С. Ф. Броглио, о котором Пущин сначала написал в «Записках о Пушкине», будто он сенатор Наполеона III, но потом выяснил и отметил в особом примечании, что он погиб в Греции в 1829 г. (см. с. 53).

160. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *Молодые новобрачные* – П. В. Давыдов, женившийся в Иркутске на Е. С. Трубецкой; *старые новобрачные* – Е. П. и В. С. Оболенские, Н. В. и О. И. Басаргины, П. Н. и Т. А. Свистуновы. *Лучший Секретарь* – Н. И. Лучшев, в семье которого Батеньков жил в Томске.

[2] Речь идет об Евгении и Павле Созоновичах, сыновьях П. Г. Созоновича, бывшего офицера Бутского военного поселения, приговоренного к каторге за пощечину полковому командиру. Сестра этих юношей, Августа (Гутинька), – воспитанница М. И. Муравьева-Апостола.

[3] *Николай-дагерротипщик* – Н. А. Бестужев.

[4] *Племянник-ревизор* — Н. Н. Анненков, генерал-адъютант, двоюродный брат (а не племянник) декабриста И. А. Анненкова, ревизовавший в 1849—1851 гг. Западную Сибирь. Письмо В. И. Штейнгейля на имя Н. Н. Анненкова см.: *Штейнгейль,* т. 1, с. 278, 530—531. В письме к М. А. Бестужеву от 16 апреля 1857 г. Штейнгейль вспоминал: «Приехал Анненков ревизором и по просьбе моей и кузена исходатайствовал перемещение меня в Тобольск, куда я и прибыл в феврале 1852 года» (т а м ж е, с. 385).

161. П. Н. СВИСТУНОВУ

ЦГАОР, ф. 1712, оп. 1, ед. хр. 7.

[1] Празднества по случаю 25-летнего юбилея восшествия Николая I на престол.

[2] Речь идет о деле петрашевцев.

[3] Уже вернувшись в Тобольск, В. И. Штейнгейль жаловался на свое материальное положение: «В Таре я имел ресурсы: давал уроки, получал помощь за взаимную по делам доброго и вполне жалкого нашего общего друга Л. И-ча <Л. Филатова>. Здесь все это обрезалось, и, если б не Ив<ан> И<ванович>, я завыл бы волком» (*Штейнгейль,* т. 1, с. 279). Судя по другому письму Штейнгейля (т а м ж е, с. 315), Л. И. Филатов уехал из Сибири и служил в Можайске.

162. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] С лета 1823 г. до 1825 г. и Пущин и Кюхельбекер жили в Москве. Встреча с ними могла произойти по возвращении Матюшкина из сибирской экспедиции Врангеля (1820—1824) и до отправления в 1825 г. в кругосветное плавание.

[2] Пущин был отправлен в Сибирь с декабристами А. В. Поджио и П. А. Мухановым.

[3] О фельдъегере Желдыбине см. прим. 5 к письму 10.

[4] В Европейскую Россию к этому времени вернулись некоторые декабристы, дослужившиеся на Кавказе до офицерского чина и вышедшие в отставку (А. Е. Розен, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, бр. Беляевы).

[5] О судьбе литературного наследия В. К. Кюхельбекера, переданного Пущиным сестре поэта Ю. К. Глинке, см.: М с т и с л а в с к а я Е. П. Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера.— *Записки ОР ГБЛ,* М., 1975. Вып. 36.

[6] *Мыс Матюшкин* — мыс у Берингова пролива, названный Врангелем именем Матюшкина во время экспедиции 1820—1824 гг.

[7] Штрайх указывает, что путевые письма Ф. Ф. Матюшкина включены в четырехтомное сочинение Е. А. Энгельгардта о России, вышедшее в 1828—1832 гг. (*Штрайх, 1956,* с. 423). Обнаружить такое издание не удалось.

[8] За 25 лет беспорочной службы чиновники награждались особым почетным знаком.

163. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Речь идет о спорах в печати по поводу даты тысячелетия России. В № 27 «Московских ведомостей» за 1852 г. была напечатана статья Смирнова «52 года́ в летописях русской истории», где 852 г. был назван временем основания русского государства. М. П. Погодин откликнулся на нее язвительной репликой в «Москвитянине» (1852, № 6, март, отд. VIII, с. 77), где высмеивал пристрастие Смирнова к 52-м годам. Однако в «Московских ведомостях» (№ 49) появилась статья С. М. Соловьева «Несколько слов по поводу вопроса о том, когда Русскому государству исполнилось тысяча лет», где поддерживалась точка зрения Смирнова. Погодин продолжал ее оспаривать в «Ответе г. Соловьеву», напечатанном в № 10 «Москвитянина» (отд. VIII, с. 35—38). Он решительно отвергал аргументы Соловьева, ссылаясь на летописные источники и «Историю» Карамзина.

[2] Е. С. Волконская в 1850 г. в возрасте 15 лет была выдана матерью замуж за начальника V отделения Главного управления Восточной Сибири Д. В. Молчанова. В 1852 г. Молчановы проезжали Томск, направляясь временно в Европейскую Россию.

[3] Пущин имеет в виду петрашевцев Ф. М. Достоевского и С. Ф. Дурова, отбывавших каторжные работы в Омской крепости. Информация об их положении шла к декабристам от омского протоиерея А. И. Сулоцкого, жившего прежде в Тобольске и Ялуторовске. *Кривцов* — плац-майор Омской крепости, где содержались сосланные петрашевцы, отличавшийся жестокостью и варварским отношением к заключенным. Ф. М. Достоевский запечатлел его в «Записках из Мертвого дома» (см.: Житомирская С. В. Встречи декабристов с петрашевцами. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 623—625).

[4] *Потомок Рюрика* — Е. П. Оболенский.

164. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] *Теребеневский* портрет Пущина-лицеиста 1817 г. хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина.

[2] С приходом в Морское министерство Ф. П. Врангеля Матюшкин занимал ряд административных постов в министерстве.

[3] В июле 1852 г. И. А. Фонвизин получил разрешение приехать в Тобольск для свидания с братом; на возвратном пути он заезжал в Ялуторовск (см.: *Якушкин,* с. 367). М. А. Фонвизин решился проводить брата до Ялуторовска. Это подтверждается письмом его к Е. П. Оболенскому от 14 октября 1852 г., которое начинается: «Когда мы беседовали с вами в Ялуторовске, вы говорили мне...» (*Фонвизин,* т. 1, с. 369).

[4] Лицейская шутка о гувернере К. Б. Мейере.

165. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Вымышленное имя, которым Пущин иногда подписывал свои письма из Сибири.

166. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] Куплет из лицейской «Национальной песни».

[2] Номера комнат Пущина в Лицее и Петровском заводе.

167. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] Куплет из лицейской «Национальной песни».

[2] См. прим. 54 к «Запискам о Пушкине».

168. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] *Тетрадка из лицейского архива* — вероятно, рукописный сборник «Стихотворения воспитанников Лицея, выпуска 1811—1817. Часть II. В Царском Селе», принадлежавший Ф. Ф. Матюшкину (так называемая «Тетрадь Ф. Ф. Матюшкина») и хранящийся теперь в *ИРЛИ* (ф. 244, оп. 8, № 1).

[2] *Мандарином* Пущин назвал Д. В. Молчанова, мужа Е. С. Волконской. В связи с делом купца Занадворова, которое он расследовал, Молчанов был обвинен во взяточничестве, долго находился под следствием и только в 1857 г. был оправдан. За эти годы он был разбит параличом, заболел психически и вскоре умер.

[3] *Маремьяна-старица* — прозвище Пущина, данное за его постоянные заботы и хлопоты об окружающих. О какой записке, касающейся одного из родственников декабриста Тизенгаузена, идет речь, установить не удалось.

[4] Пущин пишет о событиях, знаменовавших собой начало Крымской войны 1853—1856 гг. Предлогом к войне явилось обострение спора между католическим и православным духовенством из-за обладания

«святыми местами» в Палестине («хлопоты о ключике»). В феврале 1853 г. чрезвычайным послом в Константинополь был назначен А. С. Меншиков, ультимативно потребовавший, чтобы все православные подданные Турецкой империи были поставлены под особое покровительство русского царя. В мае 1853 г. ультиматум был отвергнут, а в Дарданеллы с согласия турецкого правительства вошла англо-французская эскадра. В ответ на это 21 июня русские войска вступили в Дунайские княжества (Молдавию и Валахию), находившиеся под номинальным суверенитетом турецкого султана.

[5] Сборник «Дух лицейских трубадуров» хранится в *ИРЛИ.* См. о нем: Грот К. Я. Пушкинский лицей. С. 140.

[6] Имеется в виду статья В. П. Гаевского «Дельвиг (Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Нелединского-Мелецкого и Дельвига. Изд. А. Смирдина)», напечатанная в «Современнике», № 2 и 5 за 1853 г. Роман Д. В. Григоровича «Рыбаки», опубликованный в том же журнале (1853, № 3—6, 9), был встречен передовыми современниками с горячим одобрением. Герцен назвал его началом «новой фазы народной поэзии».

[7] По приговору Верховного уголовного суда декабристы были лишены чинов и дворянства,— следовательно, и полагавшегося прежде титулования «благороднем».

[8] Морским министерством управлял вел. кн. Константин Николаевич. *С гордым пламенем во взоре*— Константин Карлович Данзас, лицейский товарищ Пущина, секундант Пушкина в его последней дуэли.

[9] В «Памятной книжке Лицея» на 1852—1853 гг. в списке лицеистов первого выпуска не были упомянуты Пущин и Кюхельбекер.

169. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

ИРЛИ, ф. 244, оп. 25. № 169.

[1] Пущин имеет в виду, в частности, обстоятельства, при которых Энгельгардт был отстранен от директорства в Лицее. В 1822 г. Лицей был передан в ведомство военно-учебных заведений, что было частью общего поворота к реакции в области просвещения. Энгельгардту были предъявлены обвинения в финансовых упущениях. Расследование шло семь лет, в течение этого времени был наложен запрет на его имение. В 1829 г. сенатским указом Энгельгардт был оправдан.

[2] Сборник с таким названием и портретом Энгельгардта не фигурирует в посвященной истории Лицея литературе и не выявлен в архивах. Возможно, речь идет о не учтенном до сих пор издании лицеистов, присланном Энгельгардтом Пущину в Сибирь.

[3] В 1848 г. для пересылки почты были введены специальные штемпельные конверты. Декабристы с помощью своих сибирских друзей

могли отправлять письма в этих конвертах из других городов, что позволяло избегать бдительного надзора III Отделения.

170. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Это письмо М. А. Фонвизина к Пущину неизвестно. Сохранившиеся письма его к Пущину — 1840-х годов.

[2] То есть о спиритизме.

171. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Военные действия в Крымской войне начались для России неудачно. Против 82-тысячной русской армии Турция двинула почти 150-тысячную армию. 23 октября 1853 г. русские войска у с. Ольтеница неудачно атаковали переправлявшийся через Дунай турецкий отряд.

173. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] 12 ноября 1853 г. А. М. Муравьеву было разрешено вернуться в Европейскую Россию, но, не получив еще этого известия, 24 ноября он скончался.

[2] То есть сообщать Давыдову о смерти А. М. Муравьева.

174. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *Омское дело* — дело купца Занадворова, из которого возникло обвинение Д. В. Молчанова во взяточничестве.

175. Ф. Ф. МАТЮШКИНУ

[1] Имеется в виду Александр Петрович *Арбузов,* морской офицер, ехавший на Камчатку в составе частей, двинутых туда в связи с передвижением англо-французского флота к Петропавловску.

[2] В Синопском сражении (18 ноября 1853 г.), где эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова нанесла сокрушительное поражение турецкому флоту, перевес в артиллерии был на стороне русских моряков (720 орудий против 510). *История Копенгагена* — в 1807 г. Копенгаген сильно пострадал во время бомбардировки. В 1854 г. союзный флот под командованием английского адмирала Непира блокировал в Кронштадте и Свеаборге Балтийский флот, однако атаковать эти базы союзники не решились и осенью покинули Балтийское море.

[3] Имеется в виду декабрист В. К. Тизенгаузен, которого Пущин неизменно называл «doyen d'âge» (старейшина).

176. С. Д. КОМОВСКОМУ

ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 86.

[1] Пущин имеет в виду строки из «Прощальной песни» Дельвига: «Судьба на вечную разлуку, Быть может, породнила нас».

[2] Здесь слово *«муха»* — в значении современного нам выражения «пунктик».

[3] На первый лицейский курс поступили 30 человек, окончили его 29. Кюхельбекер и Пущин, как уже сказано, не были упомянуты в «Памятной книжке Лицея»

177. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *Маркиз* — Н. А. Траверсе, лицеист выпуска 1850 г. Впоследствии (1862) привлекался за нелегальные связи с Герценом.

[2] *Свербей Свербеевич* — Н. Д. Свербеев, служивший при Н. Н. Муравьеве. Он женился на З. С. Трубецкой, дочери декабриста.

178. С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ

[1] И. Д. Якушкину 15 января 1854 г. была разрешена поездка для лечения на Туркинские воды. Однако болезнь помешала ему сразу выехать, и он прибыл туда только 14 августа (оставался там до лета 1855 г.).

179. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Речь идет о М. А. Дороховой, директрисе Иркутского девичьего института, невесте П. А. Муханова. После смерти Муханова, скончавшегося почти накануне свадьбы, она оставила свое место с тем, чтобы поселиться с родными Муханова в Европейской России. Из замысла этого ничего не вышло. Впоследствии Дорохова заведовала институтом в Нижнем Новгороде (см. о ней также письмо 182).

[2] Трехстишие памяти М. А. Фонвизина в письме Батенькова к Пущину от 16 июня 1854 г.:

Крест донесем горделиво —
И с нашей могилы другие
Поднимут его на плечá.

(*ЦГАОР,* ф. 1705, оп. 1, ед. хр. 7, л. 11).

[3] Сестра С. Г. Волконского Софья Григорьевна, жена министра двора, потом фельдмаршала П. М. Волконского, в 1854 г. приезжала к брату в Сибирь.

[4] *Плачевное дело* — судебное преследование Д. В. Молчанова.

180. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] Имеются в виду портреты, присланные Е. И. Якушкиным ялуторовским декабристам: портрет московского митрополита Филарета — Е. П. Оболенскому; портрет П. Д. Киселева (*генерала*) — Н. В. Басаргину (письмо Е. И. Якушкина, разъясняющее, кому какие дары предназначены, см.: Э й д е л ь м а н Н. Пушкин и декабристы. С. 197).

181. Н. А. БЕСТУЖЕВУ

[1] В Ялуторовске в 1854 г. оставались кроме Пущина И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол и Е. П. Оболенский.

[2] *Серебрянка* — обоз с серебряной рудой из Нерчинска в Петербург.

[3] *Д. Д. С<тарцев>* — селенгинский купец, друг и компаньон Бестужевых (в их попытке разведения мериносовых овец), взявший на воспитание и усыновивший сына Н. А. Бестужева Алексея и дочь Екатерину.

182. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] О М. А. Дороховой см. прим. 1 к письму 179.

[2] Ф. Б. Вольф умер 24 декабря 1854 г.

183. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] 2 сентября 1854 г. под Евпаторией флот союзников начал высадку англо-французско-турецкой армии (62 тысячи человек и 134 орудия). Русские войска не препятствовали высадке и встретили противника на позициях у реки Альма. В сражении 8 сентября русская армия была разбита и отошла за Севастополь.

184. П. Н. СВИСТУНОВУ

Речь идет о романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и о вышедшей в 1853 г. книге Д. А. Милютина «История войны 1799 г.» (об итальянском походе Суворова).

[2] *Bon ami* декабристы называли А. И. Тютчева, изъяснявшегося преимущественно на французском языке.

[3] Речь идет, вероятно, о копии какого-то портрета С. Г. Волконского, которую делал художник М. С. Знаменский. *Гомеопат* — П. С. Бобрищев-Пушкин.

185. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *Соломенное* — заимка близ Томска, где жил Г. С. Батеньков.

186. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

187. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] *Барон* — Александр Федорович Штакельберг, с марта 1854 г. чиновник при тобольском губернаторе В. А. Арцимовиче; учился в Лицее.

188. М. Н. ПУЩИНОЙ

[1] Адмирал В. А. Корнилов, участник обороны Севастополя, 5 октября 1854 г. был смертельно ранен ядром на Малаховом кургане. Его брат Александр Алексеевич — лицейский товарищ Пущина.

189. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Вести о кончине Е. И. Трубецкой.

[2] Имеется в виду героическая оборона Петропавловска 18—24 августа 1854 г., когда две попытки союзников высадить десант на Камчатке были отбиты русскими отрядами. Десант был сброшен в море. 27 августа союзная эскадра покинула район Петропавловска.

[3] Меры, о которых идет речь, — сплав русских войск к устью Амура, произведенный Н. Н. Муравьевым в мае 1854 г.

190. Н. Г. ДОЛГОРУКОЙ

[1] *Н. Г. Долгорукая* — сестра А. Г. Муравьевой, воспоминанием о которой является это письмо.

[2] Слова из стихотворения Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный...»: «Да озарит он заточенье // Лучом лицейских ясных дней!»

191. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Приписка к письму Е. П. Оболенского.

[2] Н. Д. Фонвизина после смерти мужа уехала в свои костромские имения.

192. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] Княгиня Шаховская, о которой идет речь,— Наталья Дмитриевна, вдова декабриста Ф. П. Шаховского.

193. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Слух этот не подтвердился.

195. И. Д. ЯКУШКИНУ

[1] 18 февраля 1855 г. умер Николай I.

[2] В приказе по войскам от 19 февраля 1855 г. Александр II передавал «последние слова» отца: «Благодарю славную верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году...» (Русский инвалид, № 39, 20 февраля).

[3] И. А. Гончаров возвращался из Сибири после путешествия на фрегате «Паллада». От Иркутска до Петербурга он ехал в свите отправлявшегося в столицу Н. Н. Муравьева (приехали туда в середине февраля 1855 г.).

197. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] В письме от 27 апреля 1855 г. Е. И. Якушкин переписал для Пущина два стихотворения Пушкина («Христос воскрес, питомец Феба!..» и «О муза пламенной сатиры...»), ошибочно приняв их за одно стихотворение (*ОР ГБЛ*, ф. 243, 4. 44, л. 10—10 об.).

198. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *Цинциннатство.* — Образовано от имени римского патриция, консула и диктатора Луция Квинкция Цинцинната, удалившегося в деревню и занимавшегося на покое сельским хозяйством.

[2] Н. А. Бестужев умер 15 мая 1855 г.

199. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Письмо на имя Матрены Петровны Нефедовой, няни, прожившей всю жизнь у Фонвизиных.

[2] 28 октября 1854 г. И. Д. Якушкин сообщал Пущину из Иркутска о том, что Д. И. Кюхельбекер просит прислать ей проценты с капитала за два года. В декабре он успокаивал Пущина: «О капиталах своих Др<осида> Ив<ановна> нисколько не хлопочет <...>, видно, она в тот раз шарахнулась, сама не зная почему» (*Штрайх, 1956,* с. 427).

[3] См. прим. 2 к письму 121.

200. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] В письме от 27 мая 1855 г., кроме «Ариона» (Пущин называет его «Челн»), Е. И. Якушкин переписал стихотворение Пушкина «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...» (*ОР ГБЛ,* ф. 243, 4. 44, л. 11 об.— 12).

201. Н. И. ПУЩИНУ

[1] В 1855 г. Н. И. Пущин был членом общего присутствия строительного департамента Морского министерства, которым управлял вел. кн. Константин Николаевич.

202. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Какие брошюры привез в Ялуторовск П. В. Зиновьев, установить нельзя. Во время Крымской войны такая политическая литература издавалась в большом количестве. Одна из брошюр принадлежала бельгийскому писателю и публицисту Виктору Жоли (см. письмо Пущина к брату Николаю от 22—23 ноября 1855).

[2] *Венские конференции* — встречи четырех держав (Англии, Франции, Австрии и Пруссии) накануне и во время Крымской войны, на которых вырабатывались общие позиции по отношению к России. К участию в третьей конференции, состоявшейся 2 марта 1855 г., Пруссия не была привлечена.

203. Н. И. ПУЩИНУ

[1] *«Морской сборник»* — журнал, издававшийся с 1848 г. Морским министерством. В годы общественного подъема второй половины XIX в. «Морской сборник», преодолев узковедомственные рамки, превратился в одно из наиболее прогрессивных научно-литературных и общественно-политических изданий. Н. Г. Чернышевский писал о журнале как одном «из замечательнейших явлений нашей литературы» (подробнее см.: Днепров Э. Д. «Морской сборник» в общественном движении периода первой революционной ситуации в России.— В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, с. 229—258.

204. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Севастополь был оставлен вечером 27 августа 1855 г.

[2] *Незабвенный* — так Александр II назвал своего отца в официальных документах о его кончине. «Незабвенным» стали иронически называть Николая I Герцен, декабристы и вся прогрессивная общественность.

[3] Скрытая цитата из Ветхого завета (Книга пророка Даниила, гл. XII, стих 2 и 3), где сказано: «И многие из спящих во прахе земли пробудятся <...>. И разумные будут сиять, как светила на тверди <...>»

205. Н. И. ПУЩИНУ

[1] *«Вопросы жизни»* — рукопись статьи выдающегося хирурга и педагога Н. И. Пирогова, доставленная в Сибирь с ведома автора (см. письмо 210). Статья Пирогова была опубликована в № 9 «Морского сборника» за 1856 г. В ней Пирогов подвергал резкой критике систему народного образования, сложившуюся в николаевское время, доказывал, что общественное образование для всех есть «вопиющая проблема времени».

206. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Отставка П. А. Клейнмихеля, одного из ближайших к царю деятелей николаевского царствования, в 1837—1855 гг. главноуправляющего путями сообщения, известного крупными злоупотреблениями, была воспринята современниками как свидетельство начинающихся перемен в правительственном курсе.

[2] Декабрист В. Л. Давыдов скончался 20 октября 1855 г.

207. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Первое обращение к Н. Д. Фонвизиной на «ты» — в письме Пущина от 23 декабря 1855 г., которое здесь не публикуется. Комментируемое письмо Пущина — первый отклик на полученный от Натальи Дмитриевны большой пакет с письмом от 22 октября 1855 г., ее исповедью Пущину под названием «Унженская поэма» и ее сочинением «Исчисление нормального возраста» (изложенная в нем теория Н. Д. Фонвизиной заключалась в том, что каждый человек остается будто бы в течение всей жизни в психологическом состоянии своего «нормального возраста»; для себя она признавала таким возрастом 13 лет, для Пущина — 28 лет). «Унженская поэма» — это вовсе не та «Исповедь», написанная Н. Д. Фонвизиной для С. Я. Знаменского и хранящаяся в архиве Якушкиных в *ЦГАОР* (как ошибочно полагал С. Я. Штрайх — см.: *Штрайх, 1956,* с. 428), а исповедальный рассказ Пущину о личной драме, возникшей во время пребывания ее в костромском имении на Унже (чувство к бурмистру, оказавшемуся незаконным сыном ее отца). Использованные здесь письма Фонвизиной за вторую половину 1855 г. хранятся в личном архиве П. А. Белецкого.

[2] Строки, приведенные Пущиным, заимствованы из переписанного Фонвизиной в том же письме на особом листке (с виньеткой, без заглавия, но с надписью «На память 1855-го года») романса А. Л. Гурилева «С песней душа улетит...» на слова Н. Ф. Щербины (издан в 1852 г., стихотворение называлось у Щербины «Сила песни»).

[3] В переписке с Пущиным, предшествовавшей их браку, Н. Д. Фонвизина ощущает себя то пушкинской Татьяной (в связь этого образа с ее личностью она истово верила) — и пишет тогда от ее имени, то доживающей свой век немолодой «генеральшей Натальей Дмитриевной» — и письма от ее лица носят совсем иной характер — обычной деловой и бытовой переписки. *Слово на надписях* — надписи на полученном Пущиным пакете гласили: «Последний отклик Татьяны, писанный на праздниках с 25-го декабря 1855-го года. *Прости!!*» Внизу подпись: «Прощай!!! Татьяна».

208. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] На том же пакете надпись «Сделай милость, не читай письмо прежде и даже не распечатывай, а прочти *на другой день после чтения моей Поэмы.* <...> Скажи словечко в первом же твоем письме, что исполнил мое желание».

[2] Отождествляя себя с Татьяной, Фонвизина в своих письмах пыталась называть Пущина Онегиным. Против этого он и возражал.

209. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Речь идет о великом русском химике Д. И. Менделееве, на сестре которого, Ольге Ивановне, был женат декабрист Н. В. Басаргин. Д. И. Менделеев в это время тяжело болел и по совету Н. И. Пирогова переехал в Крым, где был учителем гимназии в Симферополе.

[2] Облатки для заклейки конвертов вместо сургучной печати.

210. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] После неоднократных ходатайств отца и сестры П. С. и Н. С. Бобрищевым-Пушкиным 11 января 1856 г. было разрешено вернуться на родину в Тульскую губ.

211. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Речь идет о деньгах, собиравшихся в вспомоществование В. И. Штейнгейлю.

[2] Во время службы в Конной артиллерии до 1822 г.

[3] *На мельнице* — т. е. в Петровском заводе; *в походе за Байкалом* — во время перехода декабристов из Читы в Петровский завод в 1830 г.

[4] М. И. Пущин, с согласия брата и при поддержке П. А. Вяземского, обратился с просьбой о возвращении Пущина в Европейскую Россию (черновик прошения рукою П. А. Вяземского хранится в *ИРЛИ*). Александр II отказал ввиду готовившейся к коронации общей амнистии декабристам.

[5] Письмо Н. Д. Фонвизиной на листке с видом Девичьего монастыря в Москве.

[6] *Кит* — одно из прозвищ П. С. Бобрищева-Пушкина.

212. П. Н. СВИСТУНОВУ

[1] Рассказ о поведении психически больного Николая Сергеевича Бобрищева-Пушкина, который считал, что его арестовали и снова везут в крепость.

[2] Об этом прозвище декабриста Тютчева см. прим. 2 к письму 184.

213. П. Н. СВИСТУНОВУ

ЦГАОР, ф. 1712, оп. 1, ед. хр. 7.

[1] У А. И. Тютчева осталось четверо детей.

214. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Узнав о смерти Александра I, Пущин срочно выхлопотал себе отпуск и отправился в Петербург, понимая, что наступает решающий момент в деятельности тайного общества. Посещение им по дороге в столицу М. А. Фонвизина — важное свидетельство о деятельности московских декабристов. *Сергей Павлович,* за которого приняли Пущина,— двоюродный брат М. А. Фонвизина С. П. Фонвизин.

[2] В связи с подготовкой амнистии министр внутренних дел С. С. Ланской 22 ноября 1855 г. разослал циркуляр, в котором губернаторам предписывалось к 1 марта 1856 г. представить необходимые данные о всех сосланных в Сибирь декабристах.

215. П. Н. СВИСТУНОВУ

ЦГАОР, ф. 1712, оп. 1, ед. хр. 7.

[1] *Свербеев* — зять С. П. Трубецкого, в то время еще жених.

216. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Парижский мирный договор, которым завершилась Крымская война, был подписан 18 марта 1856 г. По нему Россия отказывалась от притязаний на «покровительство» православным подданным Турецкой империи, соглашалась на нейтрализацию Черного моря и обязывалась не иметь там военного флота и баз. Россия уступала южную часть Бессарабии и признавала коллективный протекторат великих держав над Молдавией, Валахией и Сербией, оставшихся под суверенитетом султана.

217. П. С. БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ

[1] Пущин, вероятно, помогал внебрачному сыну А. П. Барятинского П. А. Терпутову получить фамилию отца. Усилия эти не увенчались успехом — в собрании М. С. Волконского хранятся письма от П. А. Терпутова за 1904 и 1905 гг. (*ЦГАОР,* ф. 1146, оп. 1, д. 904 — *Штрайх, 1956,* с. 431).

218. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] «Пахарь» Д. В. Григоровича был напечатан в «Современнике» № 3 за 1856 г.

[2] Слухи эти были неверны. Наместничество в Сибири не было введено. Вопрос о постройке железной дороги через Сибирь, поднятый

Н. Н. Муравьевым, в то время не был разрешен, не были утверждены и поданные в 1850-х годах некоторые частные проекты. Транссибирская дорога начала строиться в 1891 г.

[3] Прозвище П. Н. Свистунова.

219. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Письмо написано от имени вымышленного Н. Балина.

[2] *«Вопросы»* — статья Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», см. о ней прим. 1 к письму 205.

[3] В. Л. Давыдов умер в Красноярске 25 октября 1855 г.; Н. А. Бестужев — в Селенгинске 15 мая того же года.

[4] А. И. Тютчев умер 24 января 1856 г.

[5] Не свояк, а зять декабриста В. И. Штейнгейля — М. И. Топильский, директор департамента министерства юстиции.

220. НЕИЗВЕСТНОМУ

[1] Впервые опубликовано М. В. Нечкиной по автографу со ссылкой: Центр. Гос. архив древних актов, ф. 48, оп. III, д. 12. Автограф, по сообщению С. Я. Штрайха, был передан в *ЦГИА,* ныне *ЦГАОР,* но там им не обнаружен (*Штрайх, 1956,* с. 431).

221. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] *Государственные преступники* — официальное наименование декабристов, *политические* — ссыльных поляков. *Допотопными* Пущин называл декабристов.

222. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед хр. 625.

224. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Н. Д. Фонвизина посетила Нарышкиных в их имении Высокое.

[2] См. прим. 1 к письму 219.

226. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] Приехав в Ялуторовск для свидания с Пущиным 3 июля 1856 г., Фонвизина съездила потом в Тобольск и Омск, откуда снова вернулась в Ялуторовск к 25 августа (см. письмо 228).

228. Е. П. и М. М. НАРЫШКИНЫМ

[1] *Елена Родионовна* — сестра Феодосии Родионовны Трапезниковой, хозяйки дома, в котором в Ялуторовске жил И. Д. Якушкин.

[2] *Курьер Миша* — Михаил Сергеевич Волконский, сын декабриста С. Г. Волконского и крестник И. И. Пущина, служивший при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве и бывший вместе с ним на коронационных торжествах в Москве. 26 августа 1856 г. Александр II приказал отправить М. Волконского с известием об амнистии в Иркутск. Официальное объявление манифеста и указа об амнистии состоялось 24 октября.

[3] По указу Александра II от 30 августа 1856 г. были дарованы княжеские титулы детям С. П. Трубецкого, Е. П. Оболенского, С. Г. Волконского, Д. А. Щепина-Ростовского, хотя самим родителям титулы возвращены не были.

230. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] *Лебедь* — П. Н. Свистунов, *барон* — В. И. Штейнгейль.

[2] Очевидно, декабристы начали догадываться об истинном характере отношений Пущина и Натальи Дмитриевны. Она, видимо, намекала на это И. Д. Якушкину (см. ниже), не догадавшемуся, впрочем, кто ее избранник.

[3] *Веньямин* — младший сын *(библ.)*.

231. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] *Воля* — предместье Варшавы, взятое штурмом русскими войсками в 1831 г. при подавлении польского восстания 1830—1831 гг.

232. Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ

[1] *Хомутец* — имение Муравьевых-Апостолов в Миргородском уезде Полтавской губ.; принадлежало после 1825 г. Василию Ивановичу, брату декабристов.

235. С. Г. ВОЛКОНСКОМУ

ИРЛИ, ф. 187, № 57.

[1] А. М. Горчаков с 1856 г. был министром иностранных дел.

236. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

[1] *Без попа помолились* – о погибших декабристах (почти в годовщину восстания 14 декабря).

237. И. А. АННЕНКОВУ

[1] И. А. Анненков с 1839 г. находился на гражданской службе в Сибири, поэтому его отъезд в Европейскую Россию был затруднен. В конце концов Анненков получил назначение состоять сверх штата чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе декабристе А. Н. Муравьеве и 20 июня 1857 г. сдал дела в Тобольске.

239. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] Какого знакомого *(агента)* имел Пущин в III Отделении, неизвестно. И. Д. Якушкину не было разрешено остаться в Москве, и он вынужден был уехать в имение Н. Н. Толстого.

[2] Н. В. Басаргину не разрешили остаться в Москве. Приехав туда 25 марта 1857 г., он уже 2 апреля вынужден был уехать в Курск.

240. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Е. И. Якушкин писал Пущину 30 марта 1857 г.: «<...> дошедшие до вас слухи об отце совершенно справедливы. Ему точно не только не позволено лечиться в Москве, но не позволено даже жить в Московской губернии. Третьего дня я отвез его в Тверскую губ., в дер<евню> Новинки <...>. Хорошо, что Толстой, старый семеновец, предложил ему переехать на время в его деревню» (*Якушкин*, с. 448–449). В том же письме сказано, что его везет «Митрофан Щепкин, сын профессора и племянник актера».

[2] Речь идет о Николае Николаевиче Толстом (брате Я. Н. и И. Н. Толстых). Переезд в его деревню, в сырую местность, ухудшил здоровье Якушкина и ускорил его кончину.

241. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] Александр Аркадьевич Суворов, внук А. В. Суворова, был в это время генерал-губернатором трех прибалтийских губерний. В 1826 г. он привлекался к следствию по делу декабристов и за связь с А. И. Одоевским был отправлен на Кавказ. Это не помешало впоследствии его служебным успехам при Николае I и близости с царской семьей. Отношения Суворова с Александром II позволяли ему ходатайствовать перед императором об улучшении положения возвращенных из Сибири декабристов.

[2] Пущин познакомился с П. В. Анненковым во время своего пребывания в Петербурге. Очевидно, по его инициативе он принял меры к возвращению своего портфеля (где находились, в частности, лицейские материалы), в 1841 г. отданного М. И. Пущиным П. А. Вяземскому (см. прим. 31 к «Запискам о Пушкине»).

242. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Конфликты возвращавшихся из Сибири декабристов с московским генерал-губернатором А. А. Закревским и шефом жандармов В. А. Долгоруковым — главным образом из-за определения места жительства — сильно волновали И. И. Пущина. Власти запрещали им даже на некоторое время задерживаться в Москве для отдыха или получения квалифицированной медицинской помощи. М. И. Муравьев-Апостол с 3 января жил в деревне Зыкове под Москвой, а 12 апреля 1857 г. переехал в Тверь.

[2] Разрешение на поездку в Париж для свидания с матерью было дано Свистунову 1 апреля 1857 г.

243. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] 10 апреля 1857 г. Е. И. Якушкин писал Пущину: « <...> я готовлю к вашему приезду полный экземпляр сочинений Пушкина — работы за ним еще много, но в мае кончу. В этом экземпляре будет многое, чего не будет и в 7 томе; словом, этим трудом вы останетесь довольны» *(Якушкин,* с. 453).

[2] Речь идет об обещании, данном Пущиным Е. И. Якушкину — написать все, что помнит о Пушкине,— еще во время их встреч в 1853 г. в Ялуторовске (см. письмо Е. И. Якушкина к жене на с. 440—441 наст. изд.). Е. И. Якушкин напоминал об этом Пущину в том же письме от 10 апреля 1857 г.

[3] Имеется в виду психическое заболевание Д. В. Молчанова.

244. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] *Палогея Васильевна Муравьева* — жена М. Н. Муравьева, свояченица Якушкина (родная сестра его покойной жены). М. Н. Муравьев, 17 апреля назначенный министром государственных имуществ, действовал в защиту Якушкина, и 13 мая разрешение на его возвращение было дано (см. письмо 245).

[2] Хлопоты Н. Д. Фонвизиной о передаче крестьян в казну не увенчались успехом.

[3] В какой связи упомянут здесь Лафонтен, автор сентиментальных немецких романов, не ясно.

[4] Текст от слова *«Ахшарумов»* — приписка на отдельном листке. Приведен список амнистированных петрашевцев (Пущин называет их коммунистами).

245. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Книга Н. И. Тургенева «Россия и русские», изданная на нескольких европейских языках в 1847 г., была резко осуждена декабристами, увидевшими в ней стремление принизить значение их движения и отмежеваться от него.

246. М. Н. ПУЩИНОЙ

[1] Свадьба Пущина и Н. Д. Фонвизиной, состоявшаяся 22 мая 1857 г., была первоначально скрыта от родных.

247. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Об истории портфеля Пущина см. прим. 31 к «Запискам о Пушкине». См. также письма 249, 252 и письмо Пущина к Вяземскому от 21 сентября 1857 г. (письмо 257).

249. Н. И. ПУЩИНУ

[1] Имеется в виду книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» (1-е издание, для царской семьи,— 1848 г., 1-е издание «для публики» — 1857 г.).

251. М. М. НАРЫШКИНУ

[1] Пущин стремился найти дочь Рылеева Анастасию Кондратьевну (в замужестве Пущину), чтобы вернуть свой давний денежный долг ее отцу.

252. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

[1] Ваня Пущин учился в известном московском частном пансионе Циммермана.

[2] *Urbain* (Юрбен) — владелец библиотеки в Москве.

253. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Батеньков навестил И. И. и Н. Д. Пущиных в Марьине в июле - начале августа 1857 г.

254. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] И. Д. Якушкин умер в Москве 11 августа 1857 г. и похоронен на Пятницком кладбище.

[2] А. В. Ентальцева советовала Пущину лечиться конопляными ваннами и опасалась, не повредили ли они ему (см. письмо Г. С. Батенькова от 15 августа 1857 г. — Летописи Гос. лит. музея. Кн. III. С. 47).

[3] Реакционная книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» вызвала резкий протест всей прогрессивной общественности. А. И. Герцен и Н. П. Огарев выступили в Вольной печати с «антикорфикой» (выражение Герцена), центральное место в которой занимала изданная в самом начале 1858 г. книга «14 декабря 1825 г. и император Николай» (подробнее см.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Изд. 2-е, испр. М., 1984. С. 9—48).

255. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] О рукописной брошюре сочинения Корфа см. прим. 1 к письму 262.

256. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] *Фабрикант*— прозвище Н. В. Басаргина.
[2] Речь идет о книге М. А. Корфа, см. прим. 1 к письму 249 и прим. 3 к письму 254.

257. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

[1] Игра слов: Пущин пишет о себе, оставшемся «без портфелей» (т. е. без своего и без министерского портфеля, в отличие от Вяземского).

258. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] Военный корабль «Лефорт» перевернулся и затонул во время жестокого шторма 10 сентября 1857 г. на переходе из Ревеля в Кронштадт. Вся команда, а также находившиеся на борту 70 женщин и детей погибли.

259. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] Отклик на слова Е. И. Якушкина в письме от 23 сентября 1857 г.: «Вы, вероятно, знаете об указе, который ограничит власть помещиков и который должен выйти в октябре» (Летописи Гос. лит. музея. Кн. III. С. 472). Слухи о том, что в правительстве началось обсуждение крестьянского вопроса, циркулировавшие в обществе, особенно усилились после известной речи Александра II 30 марта 1856 г. Выступая перед московским дворянством, император признал, что лучше освободить крестьян сверху, чем ждать, когда они освободятся снизу. Еще одним подтверждением намерения правительства коснуться этого вопроса

стало учреждение в январе 1857 г. Секретного комитета по крестьянскому делу (подробнее см. в книге Л. Г. Захаровой «Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856—1861». М., 1984).

[2] Распоряжение насчет Горбачевского — о выдаче ему пособия из Малой артели.

[3] Речь идет о хлопотах Н. Д. Пущиной, связанных с ее стремлением перевести принадлежащих ей крестьян в ведение казны. Этим актом она лишала своего дядю С. П. Фонвизина, известного крепостника, права на наследование ее имений. *Дядюшка-министр* — М. Н. Муравьев, крепостник и реакционный деятель, заслуживший впоследствии за подавление польского восстания 1863 г. прозвище Муравьев-вешатель.

260. М. Н. и Н. И. ПУЩИНЫМ

[1] Речь Пирогова при открытии двухэтажной пристройки к прежнему зданию Лицея, сделанной со стороны заднего сада. На первом этаже был размещен лазарет, а на втором устроен столовый зал.

[2] *Вчерашняя новорожденная* — Варвара Ивановна Пущина.

261. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Речь идет о только что назначенном томским губернатором Александре Дмитриевиче Озерском.

[2] *Лучшие люди* (Лучшевы) и *Кобылины* — томские друзья Батенькова.

[3] Ассоциация с датой 14 декабря.

262. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] *Брошюрка* — текст книги Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» — с замечаниями А. Н. Сутгофа, по-видимому, была прислана Пущину Е. И. Якушкиным. Получив ее обратно, Якушкин надеялся найти на полях замечания Пущина и на Корфа, и на замечания Сутгофа. Как видно из данного письма, Пущин не счел это нужным. Впоследствии В. Е. Якушкин опубликовал замечания Сутгофа (Былое, 1907, № 4).

263. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

А. В. Шереметев умер 21 октября 1857 г. и был похоронен в селе Покровском-Шереметеве Рузского уезда Московской губ. Вместе с Пущиным он в 1819—1822 гг. служил в лейб-гвардии Конной артиллерии.

264. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] Пущин имеет в виду публикацию в печати рескриптов Александра II виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову и петербургскому генерал-губернатору П. Н. Игнатьеву. В соответствии с рескриптами в Петербургской и Виленской губерниях создавались комитеты «для улучшения быта помещичьих крестьян». Их задачей была выработка принципов освобождения крестьян. С изданием рескриптов крестьянский вопрос впервые стал предметом гласного обсуждения.

265. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Письмо Пущина к Е. И. Якушкину написано на обороте письма вдовы декабриста Мозгалевского Авдотьи (Евдокии) Ларионовны, в котором она благодарит Пущина за материальную поддержку (Летописи Гос. лит. музея, кн. III, с. 275—276).

[2] *Евгений Калужский* — Е. П. Оболенский, живший в Калуге.

267. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] Ф. Ф. Матюшкин.

[2] Рисунки П. И. Борисова, о которых идет речь, хранятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде (КП 19188 и 12948). Они поступили в Пушкинский Дом из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г. (как попали они от наследников Е. А. Энгельгардта в комиссию, неизвестно). Впоследствии долго атрибутировались как рисунки А. М. Муравьева, затем Н. А. Бестужева, и только в 1976 г. (через 20 лет после публикации данного письма Пущина) принадлежность их Борисову была окончательно установлена. В 1961 г. в Пушкинский Дом поступили два аналогичных рисунка, повторенных П. И. Борисовым для Малиновских (см.: Куйбышева К. С., Сафонова Н. И. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова. М., 1986. С. 529—531).

[3] *Он* — К. И. Иванов, зять декабриста И. А. Анненкова, переписавший для Пущина стихотворение Пушкина, по-видимому, у П. В. Анненкова, с автографа поэта. Стихотворение «19 октября» (1825 г.) содержит строки о Пущине: «Поэта дом опальный, // О Пущин мой, ты первый посетил; // Ты усладил изгнанья день печальный, // Ты в день его Лицея превратил». В первой редакции следовала еще строфа о Пущине, кончавшаяся: «Ты, освятив тобой избранный сан, // Ему в очах общественного мненья // Завоевал почтение граждан». Возможно, о тексте первой редакции и идет речь в письме Пущина.

268. П. Н. СВИСТУНОВУ

[1] *Апостольский ключ*— Хомутец, имение отца М. И. Муравьева-Апостола Ивана Матвеевича в Полтавской губ. Выйдя в отставку в 1823 г., Матвей Иванович жил в Хомутце.

[2] *Истина*— необходимость уничтожения крепостного права.

269. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] О лицейском воспитателе, религиозном мистике М. С. Пилецком-Урбановиче см.: Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 118, 134—135; Летописи Гос. лит. музея. М., 1936. Кн. I. С. 465—470. Приведенная строка — из лицейской «Национальной песни», принадлежавшей А. А. Дельвигу.

270. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] Речь снова идет о намерении Н. Д. Пущиной передать своих крестьян в казну.

271. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] Появление сразу в двух крупных русских журналах в 1858 г. «Хижины дяди Тома» было заметным общественным явлением в момент начала подготовки отмены крепостного права.

[2] Речь идет о записи Вани Пущина в купеческое сословие. Впоследствии он был усыновлен дядей Николаем Ивановичем Пущиным.

273. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] *Папаич*— двоюродный брат Пущина Петр Павлович Пущин. Об этом эпизоде см. подробнее в «Записках о Пушкине».

274. Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ

[1] Переписка Пущина с Е. И. Якушкиным свидетельствует, что с помощью последнего Пущин собирал в это время для себя коллекцию фотопортретов декабристов. Акварели Бестужева он просил также для пересъемки.

275. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] *Сожитель,* которому Пущин задавал *мильон лицейских вопросов,*— М. Л. Яковлев, живший вместе с Матюшкиным.

276. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] *Его просил*— брата Михаила. Пущин имел в виду, в частности, свой долг Рылееву, который он желал отдать его дочери.

277. М. М. НАРЫШКИНУ

[1] *Любезный мой сосед*— Нарышкин жил в Петровском заводе в одном отделении тюрьмы (третьем) с Пущиным.

278. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] См. об этом прим. 12 к «Запискам о Пушкине».

[2] О каких стихах идет речь, установить не удалось.

[3] *Проза поэтическая* Александра Николаевича *Муравьева*— его речь 19 февраля 1858 г. на открытии Нижегородского комитета для составления проекта положения об улучшении быта помещичьих крестьян (см.: Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 147—148). А. Н. Муравьев в 1856—1861 гг. был нижегородским губернатором и яростно боролся с крепостниками. Речь была напечатана в сокращенном виде в «Нижегородских губернских ведомостях» и сразу стала распространяться в списках.

279. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] После возвращения из Сибири петрашевец С. Ф. Дуров жил у своего товарища А. И. Пальма в Одессе, въезд в столицы был ему запрещен. Хлопоты о разрешении Дурову на время приехать в Москву были успешны — см. об этом письма 288 и 294. *Тетушка Елизавета Павловна*— жена генерала Е. А. Головина, тетка Н. Д. Пущиной.

[2] *Купчик Пущин*— Ваня Пущин. Из этого письма выясняется, что до записи в купечество он носил фамилию Васильев (как крестник Николая Васильевича Басаргина он звался Иван Николаевич Васильев).

280. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] О речи А. Н. Муравьева см. прим. 3 к письму 278.

281. Е. П. НАРЫШКИНОЙ

[1] А. К. Пущина, дочь К. Ф. Рылеева, поняла Пущина «настоящим образом». В ответном письме она писала: « <...> я была сильно тронута благородством души вашей и теми чувствами, которые вы до сих пор сохранили к покойному отцу моему» (Летописи Гос. лит. музея, кн. III, с. 280).

282. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

[1] Речь идет о хлопотах по предоставлению казенного пособия декабристам А. А. Быстрицкому и В. Н. Соловьеву.

[2] С. П. Трубецкой писал, со своей стороны, Пущину о М. А. Бестужеве 13 марта 1858 г.: « <...> знаю только, что Михайла зимовал на устье Амура» (Летописи Гос. лит. музея, кн. III, с. 328). Сведения о том, что М. А. Бестужев собирался в Америку, Пущин получил от Е. И. Якушкина, писавшего 10 апреля 1857 г.: «М. Б<естужев> собирается ехать в Америку для покупки парохода на Амур» (т а м ж е, с. 465).

[3] Текст Евангелия от Луки (гл. IV, ст. 18—19), приведенный в речи А. Н. Муравьева: «Отпустити сокрушенныя во отраду, проповедати лето господне приятно».

283. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Михаил Александрович Бакунин после 16-летнего заключения в Петропавловской крепости был в 1857 г. отправлен на поселение в Сибирь. В Томске Бакунин поселился в доме Лучшевых, где многие годы до него жил Г. С. Батеньков. 5 октября 1858 г. Бакунин женился на Антонии Ксаверьевне Квятковской.

284. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] *«Тверские губернские ведомости»* издавались с 1839 г. Однако в них не было неофициальной части, особенно необходимой при гласном обсуждении крестьянского вопроса. О хлопотах Толя ввести ее см.

его письмо к Батенькову от 29 марта 1858 г. (Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толя. М., 1936, с 330). *Мой Бакунин*—лицейский товарищ Пущина Александр Павлович Бакунин, в 1846—1853 гг. бывший тверским губернатором.

[2] В Калуге жили Оболенский, Свистунов и Батеньков.

[3] Племянником М. И. Муравьева-Апостола Пущин скорее всего шутливо назвал Александра Николаевича Муравьева, в то время нижегородского губернатора. А. Н. Муравьев был дальним родственником Матвея Ивановича.

285. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

ИРЛИ, ф. 606, № 18.

[1] *Калужский дворянин*—Г. С. Батеньков.

[2] Пущин имеет в виду прекращение после вступления на престол в 1801 г. Александра I раздачи казенных крестьян в частное владение.

[3] Обзор политики самодержавия в крестьянском вопросе см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. СПб., 1888. Т. 1, 2. Наиболее значительными мерами в этой области были: указ 1803 г. о вольных хлебопашцах, разрешавший помещикам отпускать крестьян на волю с землей за выкуп, и указ 1842 г. об обязанных крестьянах, позволявший помещикам переводить крестьян в обязанные, давая им при этом личную свободу при условии выполнения ими определенного договором комплекса работ. Практический результат обоих указов был ничтожным.

286. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] В Калуге жили Оболенский, Свистунов, Батеньков, в Туле *с окрестностями*—Нарышкины и дочь Рылеева А. К. Пущина (о свидании Пущина с ней см. письмо 311).

288. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] В 1846 г. по примеру ланкастерской школы для мальчиков Якушкин открыл в Ялуторовске под видом «духовного приходского училища для девиц всех сословий» такую же ланкастерскую школу для девочек. Это первое женское учебное заведение в Сибири пользовалось большой популярностью, и число обучавшихся в нем девочек постоянно росло.

289. Н. Д. ПУЩИНОЙ

[1] Имеется в виду «Письмо к императору Александру II по поводу книги барона Корфа» (Колокол, 1857, лист 4. 1 октября).

[2] И. А. Анненков был душеприказчиком Ф. Б. Вольфа, завещавшего свое имущество в пользу неимущих товарищей. И. В. Киреев после амнистии оставался до 1861 г. в Минусинске, получал казенное пособие, недостаточное для содержания семьи (в 1858 г.— жена и двое детей).

291. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

[1] В третьей книге журнала «Русская беседа» за 1856 г. появилась статья В. И. Даля «Письмо к издателю А. И. Кошелеву» (номер со статьей вышел в ноябре). В ней Даль касался широкого круга вопросов: сельских промыслов и фабричного производства, писал о нравственности народных обычаев и высказывал мысли о русской грамматике, главное же — выступил противником распространения грамотности среди простого народа. «Грамотность сама по себе,— писал Даль,— ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку, а не просветит. Перо легче соли; вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, коштаны, мироеды, а не в пахари; он склоняется не к труду, а к тунеядству». Прогрессивная общественность единодушно осудила Даля. В числе выступивших против него в печати были Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Добролюбов, Ушинский.

293. М. С. КОРСАКОВУ

ЦГИА г. Москвы, ф. 864, оп. 1, д. 22.

[1] *Поленька* — дочь декабриста Н. М. Мозгалевского, воспитанница Басаргиных, вышедшая замуж за Павла Ивановича Менделеева, брата жены Н. В. Басаргина.

[2] Это намерение Корсакова не осуществилось.

294. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Место в Москве, где жил друг Батенькова Н. В. Любенков, у которого Батеньков часто останавливался, приезжая в Москву.

[2] В 1858 г. умерли два дяди Н. Д. Пущиной — Сергей Павлович Фонвизин и Евгений Александрович Головин. О ком из них идет речь, не ясно.

[3] Речь идет о губернских комитетах по устройству быта помещичьих крестьян, которые были созданы в каждой губернии для выработ-

ки условий освобождения крестьян от крепостной зависимости. Поскольку Н. Д. Пущина владела имениями, расположенными в разных губерниях, то ей приходилось иметь дело с разными комитетами.

296. М. В. ИВАШЕВОЙ-ТРУБНИКОВОЙ

[1] *Сын партизана* — Денис Денисович Давыдов.
[2] Н. В. Басаргин.

297. Е. И. ЯКУШКИНУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 625.

[1] О какой книге идет речь, установить не удалось.

298. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Е. И. Якушкин распространял литографированные портреты декабристов.
[2] Письмо объясняет историю изготовления экземпляров «Записок о Пушкине». *Лист* — для письма-посвящения Е. И. Якушкину.

300. Е. И. ЯКУШКИНУ

[1] Е. И. Якушкин намеревался предпринять издание сочинений Рылеева, просил помощи Пущина и запрашивал его о наследниках Рылеева.
[2] Имеется в виду коллекция портретов декабристов, созданная Н. А. Бестужевым. О возможности получить у Е. А. Бестужевой на время эти портреты Пущин запрашивал ее в письме 274.

301. Н. И. и М. Н. ПУЩИНЫМ

[1] Н. И. Пирогов был назначен попечителем учебного округа в Киеве, а зять декабриста С. П. Трубецкого Н. Р. Ребиндер — на его место в Одессу.
[2] *Он же таковой же.* — См. прим. 4 к письму 164.

303. М. Н. ПУЩИНОЙ

[1] Н. Н. Муравьеву принадлежит заслуга возвращения России Амура, уступленного Китаю в 1689 г. Переговоры Муравьева с китайским правительством были успешно завершены Айгунским трактатом (16 мая

1858 г.), по которому Амур вплоть до устья сделался границей России с Китаем. Однако обладание одним левым берегом Амура не давало выхода к морю. Необходимость добиться этого имеет в виду Пущин, говоря о желании, «чтоб упрочилось и настоящим образом Амурское дело». Это было реализовано только по Пекинскому договору 1860 г., отдавшему России Уссурийский край и южные порты.

306. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 232.

[1] Речь идет о деятельности Тверского губернского комитета, в котором именно в это время бурно обсуждался проект освобождения крепостных крестьян. Либеральное большинство членов комитета во главе с его председателем А. М. Унковским предлагало проводить реформу на основе выкупа крестьянами части земли у помещиков, что противоречило правительственной программе, изложенной в рескриптах Назимову и Игнатьеву. Члены комитета, несогласные с мнением большинства и выступающие за безземельное освобождение, обратились с жалобой к министру внутренних дел С. С. Ланскому, тот, в свою очередь, представил разрешение спора на рассмотрение Главного комитета по крестьянскому делу. Как раз 27 октября вопрос был рассмотрен, и Тверскому комитету, в связи с просьбой большинства членов, было разрешено представить свои соображения о выкупе крестьянами земли в собственность (Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856—1861. С. 116—118, 126).

307. П. Н. СВИСТУНОВУ

[1] *Министр* — А. М. Горчаков, с 1856 г. министр иностранных дел. В № 25 «Колокола» (1 октября 1858 г.) внимание Пущина могли привлечь две публикации: 1) «Письмо к редактору», в котором автор, пессимистически оценивая возможность проведения крестьянской реформы в России, писал о том, что «напрасно сохраняют еще веру в Александра II», и обвинял царскую семью в спекуляции, и 2) материал о государственном контролере Н. Н. Анненкове, двоюродном брате декабриста И. А. Анненкова. Н. Н. Анненков в 1842 г. просил царя за своего кузена и помог его продвижению по службе. По-родственному он встретился с ним в 1851 г. в Тобольске, когда ревизовал управление Западной Сибирью, дружески отнесся и к другим декабристам (см.: *Фонвизин,* т. 1, с. 236, 349, 350, 365). Анненков находился в дальнем свойстве и с И. И. Пущиным (там же, с. 458).

308. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

[1] А. В. Поджио совместно с С. П. Трубецким предприняли добычу золота на приисках в Манзурской волости Иркутской губ. Через два года от этого пришлось отказаться вследствие убыточности дела. Пущин, очевидно, совершенно не знал об участии в нем Трубецкого.

[2] Попытка Е. И. Якушкина и И. И. Пущина издать сочинения Рылеева тогда по цензурным причинам не удалась. Дочь Рылеева с большой охотой отозвалась на предложение Пущина об издании сочинений отца. 3 ноября она писала Пущину из Тулы: «Милостивый государь Иван Иванович. Приятнейшее письмо ваше я получила 29 октября. Как и чем выразить вам мою благодарность за ваши заботы и попечения обо мне?.. Вы думаете, чтобы я могла усумниться, не получая долго известия; никогда не сомневалась в вас, узнав вашу прекрасную душу <...>. Чувствительно благодарю вас за проект письма к министру. <...> Молю бога, чтобы он осуществил наши пожелания; касательно рукописи и портрета я совершенно покойна, потому что они в ваших руках. Вы можете их держать, сколько вам угодно. Писем Пушкина к моему отцу здесь нет; впрочем, я знаю, что некоторые бумаги остались в Воронежской губернии, напишу к сестре, чтобы она мне прислала их». Упоминаемое письмо Пущина не сохранилось (*Штрайх, 1956,* с. 438).

309. П. Н. СВИСТУНОВУ

[1] *Пашенька* — воспитанница Н. Д. Фонвизиной-Пущиной П. М. Свешникова. Стихотворение Батенькова *«Одичалый»* было впервые опубликовано с подписью «О-е-а» в «Русской беседе», 1859, т. III, кн. 15, отд. 1, с. 6—12.

310. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] Письмо написано под диктовку Пущина П. С. Бобрищевым-Пушкиным.

[2] Речь идет об освобождении ряда декабристов от полицейского надзора. В их числе 12 декабря 1858 г. был освобожден и В. И. Штейнгейль *(Барон Баронов).*

311. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

[1] М. А. Бестужев оставался в Селенгинске до 1867 г., когда, после смерти жены, переехал в Москву.

312. М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

[1] П. И. Фаленбергу в феврале 1859 г. разрешено было выехать в Ригу, куда он и поехал; затем, в качестве управляющего имениями Куликовского, поселился в селе Иванковцах Проскуровского уезда Подольской губ.

[2] Речь идет о портрете австрийского фельдмаршала графа Йозефа Радецкого, который Пущин послал в подарок Оболенскому.

313. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

[1] *25 марта* — Благовещенье, когда, по народным приметам, птица гнезда не вьет.

[2] В письме от 12 марта 1859 г. В. И. Штейнгейль сообщал Пущину о своем визите к начальнику штаба корпуса жандармов и управляющему III Отделением А. Е. Тимашеву. Штейнгейль добивался разрешения носить медаль 1812-го года и отмены юридического расторжения брака с женой.

[3] *Треугольником* Пущин называл живших в Калуге Е. П. Оболенского, П. Н. Свистунова и Г. С. Батенькова.

[4] Г. С. Батеньков в 1812 г. был прапорщиком 13-й артиллерийской бригады, участвовал в Отечественной войне и заграничных походах.

314. Е. П. и М. М. НАРЫШКИНЫМ

[1] Приписка И. И. Пущина к письму Н. Д. Пущиной.

ПРИЛОЖЕНИЕ

М. И. ПУЩИН

ИЗ «ЗАПИСОК» (1825—1826)

Печатается по тексту: Русский архив, 1908, № 11, с. 432—450.

[1] Известие о смерти Александра I (умер 19 ноября 1825 г. в Таганроге) было получено в Петербурге утром 27 ноября. Находившиеся в Зимнем дворце братья умершего царя немедленно присягнули новому императору — следующему по старшинству сыну Павла I цесаревичу Константину. В тот же день Константину присягнула столица, а за ней и вся Россия. Однако Константин не только подтвердил свой отказ царствовать, сделанный Александру несколькими

ми годами ранее, но привел Царство Польское, наместником которого он был, к присяге следующему брату, Николаю. Выяснилось, что еще в 1823 г. были заготовлены, но не обнародованы документы, объявлявшие наследником престола Николая. После двухнедельного междуцарствия и сложных переговоров Петербурга с Варшавой на 14 декабря была назначена новая присяга — императору Николаю I.

[2] Речь идет, вероятно, о генерал-майоре Петре Семеновиче Верзилине (1793—1849), кавказском сослуживце и соратнике А. П. Ермолова. В 1831—1838 гг. Верзилин был первым наказным атаманом Кавказского линейного войска.

[3] К. Ф. Рылеев с весны 1824 г. был правителем дел канцелярии Российско-Американской компании, занимавшейся освоением русских земель в Северной Америке и на прилежащих к ней островах.

[4] История доноса Я. И. Ростовцева вел. князю Николаю Павловичу о готовящемся восстании изложена М. И. Пущиным по позднейшим дошедшим до него рассказам и не вполне верно. Ростовцев не предупреждал товарищей по тайному обществу о своем намерении, а сообщил Оболенскому и Рылееву о своей беседе с Николаем на другой день, поставив их перед свершившимся фактом (встреча состоялась 12 декабря). Документ, который М. И. Пущин описывает как письменную запись беседы Ростовцева с будущим царем,— в действительности копия того письма, с которым Ростовцев обратился к Николаю, прося его о встрече (текст этого письма см. в «Алфавите декабристов», составленном А. Д. Боровковым: *ВД,* т. VIII, 167—168).

[5] Первоначальный допрос М. И. Пущина, записанный В. В. Левашевым, сохранился, и это дает возможность сравнить его с воспоминаниями. Левашев записал, что на вопрос: «Известно ли было вам намерение неустройства? От кого и когда?» — Пущин отвечал: «В последнее воскресенье, прохаживаясь пешком, зашел я к Якубовичу, где нашел Московского полка Бестужева и того же полка к<ня-зя> Щепина-Ростовского. <...> Увидя меня, Якубович спросил: «Аристократ ли вы?» — на что я не дал ему никакого ответа, он сказал: «Вы чувств благородных и нас, конечно не продадите». Засим начал спрашивать меня, думаю ли, что, собрав 500 человек на площади, вся гвардия к оным пристанет. Я ответствовал, что сего не думаю, но если бы собралось 15000, водимых человеком с весом, то чрез оных все бы мог исполнить. Еще спросил он, думаю ли я, что эскадрон мой присягнет, присягнув уже за несколько дней. Я уверил его, что его высочество слишком любим, чтобы подвергнуть сие малейшему сомнению. На сие сказал он мне, что он наверное знал, что есть много недовольных и что должно легко ожидать потрясения.

«Если же весь корпус соберется, то будешь ли и ты там с эскадроном?» На что я отвечал, что буде сие случится, то узнаю, что предпринять. После сего, простясь с ним, я его оставил, подозревая их всех, но не считая сие опасным» (*ВД*, т. XIV, 450—451).

[6] Для следствия по делу декабристов был учрежден 17 декабря 1825 г. «тайный комитет» (14 января 1826 г. было приказано не именовать его тайным, а 26 мая, в самом конце своей работы, он был переименован в комиссию). В его состав входили: председатель — военный министр А. И. Татищев, члены — вел. кн. Михаил Павлович, петербургский военный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов, член Государственного совета А. Н. Голицын и пять генерал-адъютантов: И. И. Дибич, А. И. Чернышев, В. В. Левашев, А. Н. Потапов и А. Х. Бенкендорф. Правителем дел комитета был А. Д. Боровков, его помощником — В. Ф. Адлерберг.

[7] Ответы М. И. Пущина на вопросные пункты, присланные ему после допроса 29 декабря 1825 г., см.: *ВД*, т. XIV, 453—455.

[8] С. И. Кривцов действительно не назвал имени А. А. Суворова в числе членов тайного общества, но его назвали другие декабристы. Тем не менее после первоначального допроса у В. В. Левашева Суворов был освобожден, а впоследствии отправлен на Кавказ в действующую армию. Все это не помешало его дальнейшей карьере — в 1830 г. он был уже флигель-адъютантом, а к концу жизни — генерал-губернатором Прибалтийского края.

[9] Николай Николаевич *Семичев* — член Южного общества декабристов с 1824 г. В восстании Черниговского полка, возглавлявшемся С. И. Муравьевым-Апостолом, он не участвовал, а, напротив, был в составе подавлявших его правительственных войск.

[10] Заседания ревизионной комиссии Верховного уголовного суда происходили в течение двух дней — 8 и 9 июня 1826 г.

[11] Объявление приговора декабристам, разделенным «по тяжести вины» на 14 разрядов, происходило в комендантском доме Петропавловской крепости 12 июля 1826 г. с 12 часов ночи до 4 часов утра. Председателем суда был П. В. Лопухин, генерал-прокурором — министр юстиции Д. И. Лобанов-Ростовский, членами — 72 высших чиновника, представлявших Государственный совет, Сенат и Синод.

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ ЗА КАВКАЗОМ

Печатается по тексту: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 102—109.

[1] Воспоминания М. И. Пущина о встречах с А. С. Пушкиным на Кавказе написаны по настоянию Л. Н. Толстого, познакомившегося

с ним в 1857 г. на курорте Кларан в Швейцарии. Посылая их П. В. Анненкову, Толстой писал: «Записка презабавная, но рассказ его — изустная прелесть» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 60. С. 182).

[2] В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал, что встретился с М. И. Пущиным не в палатке Раевского, а у Паскевича («Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженным своим штабом. <...> Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году».— Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1975. С. 373).

[3] У Пушкина в «Путешествии в Арзрум»: «Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину» (там же, с. 374).

[4] В действительности — не с саблей, а с пикой (см. письмо М. И. Пущина к И. И. Пущину от 25 августа: Щукинский сборник. М., 1904. Вып. 3. С. 324). Ср. также с шуточным автопортретом Пушкина в альбоме Ел. Н. Ушаковой: верхом, в бурке, с пикою в руке.

[5] Паскевич исполнял распоряжение Бенкендорфа о надзоре над Пушкиным. Вместе с тем он вел себя внешне дружелюбно, надеясь, что Пушкин воспоет его подвиги на Кавказе. Этого, однако, не произошло.

[6] В «Путешествии в Арзрум»: «Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы» (там же, с. 391).

[7] Второе стихотворение Пушкина — «Сосок чернеет сквозь рубашку...»

ВОСПОМИНАНИЯ О И.И.ПУЩИНЕ

Н. В. БАСАРГИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по автографу: *ЦГАОР,* ф. 279, оп. 1, ед. хр. 171.

[1] *Отец Пущина.* И. П. Пущин был не адмиралом, а генерал-адъютантом флота, сенатором.

[2] Декабристы неоднозначно относились к позднему браку И. И. Пущина и Н. Д. Фонвизиной. Отрицательное отношение Басаргина разделяли далеко не все.

М. С. ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ДЕТСТВО СРЕДИ ДЕКАБРИСТОВ». ПРИЕЗД ИВАНА ИВАНОВИЧА ПУЩИНА И ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО

Печатается по тексту: «В потомках ваше племя оживет». Иркутск, 1986. С. 241—242.

[1] Отец автора — протоиерей в Тобольске, потом в Ялуторовске и Омске, близкий друг многих декабристов Стефан Яковлевич Знаменский.

[2] Пущин и Оболенский приехали в Ялуторовск не одновременно: Пущин — 19 июля, Оболенский — 20 августа 1843 г.

М. С. КОРСАКОВ

ИЗ «ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В СИБИРЬ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Печатается по тексту: *Штрайх, 1956,* с. 377—379.

[1] Отец автора, Семен Николаевич Корсаков, в 1817—1845 гг. чиновник статистического отделения департамента полиции министерства внутренних дел, изучал и практически применял гомеопатию (см. его дневники: *ГБЛ,* ф. 137, п. 11—13).

[2] Воспитанница М. И. Муравьева-Апостола Августа Павловна Созонович преподавала в ланкастерской школе И. Д. Якушкина в Ялуторовске.

Е. И. ЯКУШКИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по тексту: *Штрайх, 1956,* с. 379—380.

ИЗ ПИСЬМА К ЖЕНЕ

Печатается по тексту: сб. Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 29—39.

[1] 4 августа 1855 г. М. Д. Горчаков, сменивший в начале года на посту командующего русскими войсками А. С. Меншикова, попытался отвлечь французский корпус от Севастополя, атаковав его позиции на Черной речке, но русские войска были отброшены.

[2] Многочисленные записки по общественно-политическим вопросам, написанные Н. В. Басаргиным после возвращения из ссылки, опровергают это утверждение (см. Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 381—453).

[3] *Жена Басаргина* — Ольга Ивановна (урожд. Менделеева, в первом браке Медведева), *жена Оболенского* — Варвара Самсоновна (урожд. Баранова).

[4] Имеются в виду поляки, сосланные по делу об «Организации 1848 г.» под руководством Генрика Краевского (см.: Дьяков В. А. Польская ссылка эпохи декабризма.— В сб.: Сибирь и декабристы. Иркутск, 1978. Вып. 1. С. 115).

[5] Оболенский написал «Воспоминания о Рылееве» (сб. Девятнадцатый век. М., 1872). Автограф в архиве Якушкиных (*ЦГАОР*, ф. 279, ед. хр. 289).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

---

[1] Страницы вступительной статьи и комментария в указатель не включены.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О И. И. ПУЩИНЕ

Пущин И. И.

П 88 Записки о Пушкине. Письма / Сост., вступ. ст. и комм. М. П. Мироненко и С. В. Мироненко.— М.: Правда, 1989.— 576 с., 8 л. ил.

И. И. Пущин (1798—1859) — замечательный общественный деятель своего времени, декабрист, участник восстания на Сенатской площади, друг А. С. Пушкина. Книгу составили его «Записки о Пушкине» и письма, большая часть которых написана в Сибири, в годы ссылки.

П $\frac{4702010100-1860}{080(02)-89}$ 1860—89 84 Р 1

ПУЩИН Иван Иванович

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

ПИСЬМА

Составители
Мироненко Мария Павловна и Мироненко Сергей Владимирович

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1860

Сдано в набор 14.12.88. Подписано к печати 22.05.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 32,34. Уч.-изд. л. 32,01.
Тираж 400 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000).
Заказ 844. Цена 2 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Калининградская правда».
236000, Калининград, обл., ул. Карла Маркса, 18.

